

Ю. Я. С О Л О В Ь Е В

ВОСПОМИНАНИЯ
ДИПЛОМАТА



Иосиф Коробов

*Б*ИБЛИОТЕКА ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

Ю.Я. СОЛОВЬЕВ

ВОСПОМИНАНИЯ ДИПЛОМАТА

1893-1922

Издательство
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Москва. 1939

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ

Первая часть книги Ю. Я. Соловьева — «25 лет моей дипломатической службы» — вышла в свет в 1928 г. Издание полностью разошлось и в настоящее время является библиографической редкостью. Между тем воспоминания Ю. Я. Соловьева заслуживают внимания советского читателя.

Издательство социально-экономической литературы, переиздавая вышедшую в свет часть воспоминаний Ю. Я. Соловьева, решило дополнить издание второй частью, найденной в личном архиве автора и в свое время подготовленной им к печати.

Почему книга Ю. Я. Соловьева заслуживает внимания советского читателя?

Прежде, чем ответить на этот вопрос, необходимо познакомиться с ее автором.

Ю. Я. Соловьев родился в семье довольно известного общественного деятеля эпохи Александра II, участника так называемого «освобождения крестьян». Окончив Царскосельский лицей, Ю. Я. Соловьев в 1893 г. поступает на службу в министерство иностранных дел. В 1895 г. он получает назначение секретарем миссии в Китае и остается там три года. С 1898 по 1904 г. Ю. Я. Соловьев является первым секретарем миссии в Греции. Далее он перемещается в качестве первого секретаря в Черногорию, а затем назначается на этот же пост в русскую миссию в Румынии, где находится до 1908 г. После двухлетнего пребывания в качестве первого секретаря миссии в Штутгарте (1909—1911 гг.) Ю. Я. Соловьев назначается советником посольства в Испании. Здесь

его застаёт Великая Октябрьская социалистическая революция. Ю. Я. Соловьев — один из немногих царских дипломатов, которые согласились работать с Советским правительством и не вступили на путь саботажа и контрреволюции. Не имея возможности ввиду создавшейся общей обстановки оставаться в Испании, Ю. Я. Соловьев покидает Мадрид и отправляется на Родину. В ноте испанскому правительству он писал: «Ввиду того что испанское правительство не признает существующего в России правительства, я считаю миссию оконченной». Отъездом из Мадрида заканчивается первая часть воспоминаний Ю. Я. Соловьева и подводится итог его 25-летней дипломатической работе.

В силу ряда причин, о которых рассказывает автор в своих воспоминаниях, ему не удалось немедленно осуществить поездку на Родину. Выехав из Мадрида 1 февраля 1918 г., он прибыл в Москву лишь 19 августа 1922 г. Четырем годам путешествия из Мадрида в Москву посвящена вторая часть воспоминаний. Вернувшись на Родину, Ю. Я. Соловьев в течение пяти лет работал в Народном комиссариате иностранных дел (НКВД), затем перешел на службу в Общество Красный Крест, где занимался вопросами международного характера. В 1934 г. Ю. Я. Соловьев умер. Таковы основные даты биографии автора воспоминаний.

Ю. Я. Соловьева нельзя считать обычным дипломатическим работником царского министерства. Уже с первых страниц его книги перед читателем вырисовывается человек, стоящий по интеллектуальным качествам намного выше людей своего круга. Ю. Я. Соловьев скупой и сдержанно пишет о себе. Однако эта сжатость, скромность повествования и манера рассказа выдают в нем человека наблюдательного, умеющего анализировать события. Но Ю. Я. Соловьев не просто анализирует события, он оценивает их критически и умно. На протяжении многих лет службы ему встречаются десятки и сотни людей, автор является свидетелем крупнейших событий, и все, что он записывает, представляет собой живой и увлекательный рассказ.

Само собой разумеется, что записи Соловьева нуждаются во внимательном и критическом подходе. Следует также иметь в виду, что его книга отнюдь не дневник в обычном понимании. В его воспоминаниях про-

шедшие события рассматриваются сквозь призму сегодняшнего дня. Можно подумать, что «сегодня» автор относится к прошедшим событиям не так и оценивает их иначе, чем он подходил и оценивал в момент, когда они совершались и когда он их наблюдал или участвовал в них. Однако в этом процессе изменения угла зрения ничего необычного нет. Следует только иметь в виду, что суждения и оценки автора отражают классовую и «кастовую» точку зрения, и наряду с верными замечаниями и правильным анализом событий Ю. Я. Соловьев многого не понимал.

Книга Ю. Я. Соловьева охватывает 25-летний период внешней политики России. Было бы, однако, ошибкой пытаться изучать ее по книге автора. Да автор и сам не ставит перед собой задачи дать очерк внешней политики России. Книга Соловьева представляет собой воспоминания о дипломатической работе. Это подлинный кусок истории дипломатии и в основном русской дипломатии. У нас, к сожалению, часто путают и смешивают эти родственные, но далеко не адекватные понятия. Дипломатия — это один из методов, средств, при помощи которых осуществляется внешняя политика. Книга Ю. Я. Соловьева представляет собой именно историю методов российской дипломатии, начиная с 1893 и по 1918 г. Само собой разумеется, что автор касается в книге также внешней политики, но последняя является лишь фоном, на котором проходит дипломатическая работа. Ряд сообщаемых им деталей и, казалось бы, неважных «мелочей» повседневной дипломатической рутины позволяет восстановить те или иные исторические события во всей их полноте и значимости. С другой стороны, автор сообщает ряд интереснейших фактов, которые остались незамеченными в исследовательских работах, посвященных изучению проблем внешней политики конца XIX — начала XX века. Все это делает книгу Ю. Я. Соловьева весьма интересной, она, несомненно, займет видное место в литературе по истории русской дипломатии.

Пребывание Ю. Я. Соловьева на дипломатических постах в Пекине, Афинах, Цетинье, Штутгарте, Мадриде, не говоря уже о службе в министерстве, а затем его четырехлетняя эмиграция совпадают с рядом важнейших событий внешнеполитического характера.

Многое из тех специфических методов, которые применялись русской дипломатией и, в частности, Ю. Я. Соловьевым, навсегда отмечено историей и погребено вместе с царским режимом. Однако далеко не все отмечено и не все подлежит погребению. В деятельности русской дипломатии конца XIX — начала XX века не все подлежит зачеркиванию. Ряд исторических задач, над которыми работала русская дипломатия, сохранил свое значение, несмотря на свержение царского режима. Задачи эти принадлежали не царской России, а России как государству и русскому народу. Вот почему воспоминания Ю. Я. Соловьева имеют значение не только как рассказ о прошлом, но и как урок для настоящего и будущего.

Перед читателем воспоминаний проходит огромная плеяда русских и иностранных государственных деятелей и дипломатов. Достаточно указать таких министров иностранных дел России, как Гирс, князь Лобанов-Ростовский, Ламздорф, Извольский, Сазонов. Ряд крупных русских дипломатов — Чарыков, Нератов, граф Бенкендорф и др., также находится в поле зрения автора. Из иностранных государственных деятелей и дипломатов перед нами проходят Ли Хун-чжан, китайский император Гуан Сюй, принц Генрих Прусский, французский министр иностранных дел Пишон, греческий король Георг I, греческая королева Ольга Константиновна, черноморский король Николай и ряд других. Характеристики, данные на них Ю. Я. Соловьевым, подчас очень метки.

Пребывание Ю. Я. Соловьева в течение двух лет (1893—1895) в качестве младшего чиновника в министерстве иностранных дел позволило ему довольно подробно ознакомиться с аппаратом и структурой министерства. Очерк о центральном штабе русской дипломатии является интересным как с точки зрения положительных, так и отрицательных сторон организации министерства.

Первая заграничная работа Ю. Я. Соловьева прошла в Китае, где он провел три года. Этот период (1895—1898) был одним из активных в деятельности русской дипломатии в Китае. Ю. Я. Соловьев рассказывает о ряде событий этого периода. Переговоры с руководителем внешней политики Китая Ли Хун-чжаном,

поездка последнего на коронацию Николая II, подкуп его русской дипломатией, секретный договор о Китайской Восточной железной дороге (КВЖД), учреждение на французские капиталы Русско-Китайского банка графом Витте, захват Германией Цзяочжоу, появление русской эскадры в Порт-Артуре, аренда Квантунского полуострова и, наконец, миссия князя Ухтомского — таковы отдельные события, происходившие в период пребывания автора воспоминаний в Китае. Наряду с событиями имеются и портреты. Русский посланник в Китае граф Кассини, первый секретарь миссии в Китае, а впоследствии посланник в Корее Павлов, французский посланник Жерар, небезызвестный адмирал Дубасов, впоследствии «прославившийся» карательными экспедициями, «чрезвычайный посланец» царя князь Ухтомский и другие деятели того периода проходят перед читателем в живом и ярком описании автора.

В период, когда автор воспоминаний был в Китае, Ли Хун-чжану пришлось отбивать объединенный натиск ряда империалистических государств и с целью лучшей защиты лавировать между ними. В таблице «Главнейшие кризисы в международной политике великих держав после 1870—1871 годов» В. И. Ленин писал: «1895: (Китайско-японская война). Грабят («делят») *Китай*. (Япония + Россия + Англия + Германия + Франция)»¹.

События, как известно, развивались следующим образом. В 1895 г. после победоносной войны с Китаем Япония навязала последнему Симоносекский мирный договор. В ответ на этот мирный договор, который давал Японии ряд территориальных и экономических приобретений, последовал протест России, Франции и Германии. Но протест отнюдь не имел в виду защиту Китая. Он преследовал задачу соучастия в ограблении Китая. Япония вынуждена была потесниться, отдать часть захваченной добычи, в частности вернуть Китаю весь Ляодунский полуостров. «Помощь» трех государств против захватнических аппетитов Японии обошлась Китаю недешево. Вскоре после «протеста» трех держав последние захватили ряд пунктов китайской территории. Россия заняла Порт-Артур и Дальний, Англия — китайский порт Вэйхайвей, а Германия — порт и территорию Киаочао.

¹ Ленинский сборник XXIX, стр. 285.

Захват Россией Ляодунского полуострова положил начало дальнейшей экспансии в Маньчжурии. В русских правящих сферах началась ожесточенная борьба вокруг путей и методов дальнейшего проникновения в Маньчжурию. Между Витте, являвшимся тогда министром финансов, министром иностранных дел Ламздорфом, военным министром генералом Куропаткиным, с одной стороны, и министром внутренних дел Плеве, статс-секретарем Безобразовым и адмиралом Алексеевым, будущим царским наместником на Дальнем Востоке, началась ожесточенная борьба. Первая группа придерживалась мягкой и осторожной политики. Вторая группа стояла за решительные и энергичные мероприятия по дальнейшей экспансии России в сторону Маньчжурии. Николай II, как всегда колебавшийся, в основном все же поддерживал вторую группировку. Эта борьба продолжалась в течение всего периода с 1895 по 1904 г. К сказанному следует прибавить также, что Германия всячески провоцировала царскую Россию на дальнейшее продвижение в Маньчжурию, поскольку руководителям германской внешней политики было чрезвычайно выгодно, чтобы Россия как можно сильнее увязла на Дальнем Востоке. Это неизбежно ослабило бы Россию на Западе и тем самым развязало руки Германии. Что касается Англии, то последняя открыто поддерживала Японию, заключив с ней в 1902 г. военный союз, толкая ее на конфликт с Россией. Русско-японская война, поскольку она неизбежно ослабила бы Россию, тем самым сделала бы ее менее опасной и для Англии. Что касается Франции, то последняя, связанная с Россией франко-русским союзом, с тревогой смотрела на экспансию России в Маньчжурии, опасаясь ослабления союзницы. Противодействовать этой политике Франция не могла, тем более, что царская дипломатия сделала французский капитал участником своей дальневосточной политики.

Такова была сложная международная обстановка, создавшаяся вокруг Китая в тот период, когда Ю. Я. Соловьев являлся секретарем русской миссии в Пекине.

Несмотря на то, что автору воспоминаний была неизвестна подоплека борьбы, разыгравшейся в Петербурге вокруг вопроса о Маньчжурии, отдельные эпи-

зоды этой борьбы им подмечены правильно и точно. В особенности умение Ю. Я. Соловьева наблюдать сказалось в описании приезда и пребывания в Китае «чрезвычайного посланца» царя князя Ухтомского, бывшего личным другом Николая II. Это же относится к портрету адмирала Дубасова.

Зная внешнюю политику царизма по отношению к Китаю в последние годы XIX века и первое пятилетие XX века и международную обстановку того времени, читатель извлечет из главы книги Ю. Я. Соловьева, посвященной пребыванию в Китае, ряд интересных и ценных подробностей.

Следующая глава, рассказывающая о шестилетнем (1898—1904) пребывании автора в Афинах, также содержит интересные подробности и детали, характерные для методов царской дипломатии того времени.

Династические связи в XIX веке, как известно, являлись одним из эффективных средств политического влияния. Греческой королевой (жена Георга I) была русская великая княгиня, которая приходилась теткой Николаю II. Всю жизнь она чувствовала себя русской великой княгиней и не скрывала этого. Помимо династической связи между греческим королевским двором и российским императорским имелся ряд брачных союзов. Российское дипломатическое представительство являлось в этих условиях лишь дополнением к тем связям, которые осуществлялись путем личных свиданий и непосредственной переписки между родственными домами. В период пребывания Ю. Я. Соловьева в Афинах «греческий вопрос» перестал играть в русской политике ту роль, которую он играл во времена Александра I и Николая I. С другой стороны, проблема Балканского полуострова в том виде, в каком она появилась на арене европейской политики во втором пятилетии XX века, находилась еще в зачаточном состоянии. Этим объясняется, в частности, то обстоятельство, что в главе, посвященной пребыванию в Афинах, Ю. Я. Соловьев почти не затрагивает вопросов большой политики.

Интересным и в высшей степени характерным для самодержавно-бюрократического режима царской России является эпизод с покупкой в Греции судов во время войны с Японией. Казнокрадство, авантюризм и открытый грабеж сказались в этом эпизоде во всей полноте.

Ю. Я. Соловьев не жалеет красок для описания этого скандального происшествия.

С точки зрения внешней политики царской России на Балканах раздел воспоминаний о пребывании Ю. Я. Соловьева на посту поверенного в делах России в Черногории является значительно более интересным, нежели глава о Греции.

Роль Черногории во внешней политике царизма достаточно известна. Она усилилась в царствование Александра III после неудач русской дипломатии в Болгарии и значительного уменьшения влияния России на Балканах вообще.

Автор воспоминаний дает мастерски нарисованный портрет черногорского князя (впоследствии короля Николая), который вел себя весьма двусмысленно по отношению к России. Княжеский двор находился буквально на содержании у царского правительства, которое выплачивало ему ежегодную субсидию. Кроме того, Николаю удалось выдать двух своих дочерей за русских великих князей. Ловкие интриганки, ханжи и авантюристки, дочери Николая старались усилить влияние на царский двор самых реакционных и темных течений. При содействии «черногорок» приближались ко двору такие авантюристы, как французский «доктор» Филипп, Распутин и др. Что касается князя Николая и его двух сыновей, то они, принимая субсидии и подарки от царского правительства и двора, одновременно интриговали против России. Ю. Я. Соловьев приводит в книге немало примеров двурушнической политики Николая Черногорского.

Исключительно интересным является эпизод, описанный автором воспоминаний, о том, что в день Цусимского боя Николай Черногорский находился в качестве официального гостя в Берлине, где был принят Вильгельмом II совместно с японским принцем Арисага. Характерен также инцидент, вследствие которого Ю. Я. Соловьев был вынужден покинуть Цетинье: он протестовал против того, что в день траура по погибшим в Цусимском бою русским морякам черногорский двор назначил празднество по случаю открытия табачной фабрики.

Вынужденное пребывание Ю. Я. Соловьева в Петербурге (после отъезда из Цетинье) дало ему возможность

ближе познакомиться с центральным аппаратом министерства иностранных дел. Это был период, когда руководство внешней политикой России переходило из рук графа Ламздорфа в руки Извольского, сыгравшего впоследствии роль одного из наиболее активных участников подготовки первой мировой войны. Хорошо отмечено в воспоминаниях заигрывание Извольского с думскими кругами и его попытка играть определенную роль в организации так называемого общественного мнения. Правильно и довольно метко нарисована роль Извольского во время знаменитого свидания в Бухлау, где он дал согласие на аннексию Австрией Боснии и Герцеговины в обмен на обещание Австрии поддержать требования России на Константинополь и проливы. В связи с этой сделкой, окончившейся для царской дипломатии провалом, Ю. Я. Соловьев правильно аттестует Извольского, мнившего себя великим государственным человеком, как ловкого международного авантюриста.

Пребывание Ю. Я. Соловьева в Бухаресте (1906—1908) дало не много материалов для его воспоминаний. В основном в этой главе автор ограничивается довольно живым описанием правящей верхушки Румынии и в связи с этим дает ряд любопытных зарисовок. В его изображении проходят и румынский король Карл I, и королева, известная как писательница Кармен Сильва, и другие румынские деятели. Из иностранных дипломатов, попавших в поле зрения Соловьева, следует остановить внимание на германском посланнике Кидерлен-Вехтере, о котором автор пишет как о «грубоватом, но очень умном дипломате бисмарковской школы».

Ни сравнительно кратковременное пребывание в бюро печати министерства иностранных дел, ни последовавшее затем назначение на пост поверенного в делах в Штутгарте не оставили в воспоминаниях Ю. Я. Соловьева ярких впечатлений, хотя обе эти главы читаются с интересом и являются своеобразными памятниками прошлого русской дипломатии.

Последняя глава первой части воспоминаний Ю. Я. Соловьева относится к его пребыванию в Мадриде, где он находился с 1912 по февраль 1918 г. В Мадриде его застала мировая война, Февральская революция и затем Великая Октябрьская социалистическая революция. Наиболее интересной частью этой главы, несомненно,

является последняя, начинающаяся с Февральской революции и рисующая взаимоотношения автора воспоминаний с Временным правительством и его «послами». Отметим живое и яркое описание жизни дипломатического корпуса (состоявшего из представителей Антанты, с одной стороны, и четверного союза — с другой) в нейтральной Испании. Эта часть полна интересными деталями, эпизодами и наблюдениями. Очень тонко подчеркнута позиция Испании, попавшей во время войны в тяжелое положение между двумя воюющими лагерями. Обычно эта позиция в литературе в основном изображается как германофильская. Такому изображению автор воспоминаний противопоставляет фразу, услышанную им от одного из испанских деятелей и подчеркнутую в качестве правильного изображения действительной позиции Испании. «Мы,— сказал собеседник Ю. Я. Соловьева,— не столько германофилы, сколько франкофобы».

Последняя глава первой части воспоминаний и первая глава второй части теснейшим образом связаны друг с другом. Автор порой возвращается к уже рассказанному, добавляя новые детали. В этих главах больше, чем во всех других разделах книги, чувствуется напряженность борьбы, которую Ю. Я. Соловьев вел с представителями Временного правительства и покровительствовавшими им союзниками. Именно здесь нашел отражение грандиозный перелом в жизни Соловьева, когда он, дворянин и царский дипломат, перешел на сторону Советской власти, понял ее великую историческую роль. С исключительной иронией и вместе с тем пониманием происходивших исторических событий убеждает Соловьев Стаховича, «посла» Временного правительства, не настаивать после Октябрьской революции на вручении верительных грамот, подписанных Керенским.

Резко и правдиво описывает Ю. Я. Соловьев поведение союзных дипломатов и союзных правительств, сделавших из «послов» Временного правительства и различных эмигрантских деятелей своих подручных, которыми они распоряжались в целях, не имевших ничего общего с интересами России. С другой стороны, последние сами охотно шли на роль агентов Антанты. Разве не характерно сообщение Ю. Я. Соловьева о том, что несогласный с его линией поведения в Мадриде в каче-

стве российского поверенного в делах претендент на пост посла Стахович послал жалобу на Ю. Я. Соловьева французскому министру иностранных дел Пишону.

Исключительно интересным является описание деятельности автора воспоминаний после Октябрьской революции до момента отъезда из Мадрида. Перейдя на службу Советского правительства, Ю. Я. Соловьев лояльно и честно по мере своих сил и понимания пытался проводить в жизнь мирную инициативу Советского правительства. Как в своих заявлениях, так и в дипломатическом быту он держался той новой позиции, на которую встало Советское правительство, выходя из империалистической войны. Мало того, Ю. Я. Соловьев активно начал добиваться проведения в жизнь советского предложения о всеобщих мирных переговорах. В этих целях он вступает в переговоры с испанским правительством и старается выяснить, насколько вероятно признание, хотя бы де-факто, Советского правительства Испанией. Ю. Я. Соловьев замечает, что такое признание Советского правительства имело бы значение в случае начала мирных переговоров в Мадриде. Фраза о возможности мирных переговоров в Мадриде является отнюдь не случайной. Несколько позже автор сообщает, что испанское правительство в лице маркиза Алусемаса (премьер-министр) высказывало готовность содействовать мирным переговорам, а следовательно, и восстановлению каких-либо непосредственных отношений между Мадридом и Петроградом.

Мы уже отмечали точность Ю. Я. Соловьева в передаче им тех или иных фактов. У него совершенно отсутствует неряшливость в формулировках, в особенности когда они касаются дипломатических вопросов. Но тогда возникает вопрос, о каком официальном признании Испанией Советского правительства говорит Ю. Я. Соловьев? До сих пор было известно, что испанский поверенный в делах в Петрограде согласился передать ноту Народного комиссариата иностранных дел (НКИД) от 10 (23) ноября 1917 г. ко всем нейтральным государствам, в которой выражалась просьба довести до сведения воюющих держав предложение Советского правительства об общих мирных переговорах. В то время как другие его коллеги не только не передали советского мирного предложения, но даже не под-

твердили факта получения ноты, испанский поверенный в делах выразил согласие (что он и выполнил) передать содержание ноты своему правительству. Известно, что за этот поступок поверенный в делах Испании был отозван из Советской России. Считает ли Соловьев ответную ноту испанского поверенного в делах официальным признанием Советского правительства? Но тогда, принимая во внимание манеру Соловьева точно выражаться, такое предположение вряд ли возможно. Если это не так, следует думать, что Соловьев знал о других шагах испанского поверенного в делах, но по каким-то соображениям об этом в воспоминаниях не говорит. Таким образом, запись Соловьева должна натолкнуть наших историков на исследование этого вопроса.

Еще более интересным с точки зрения истории того периода является другой эпизод. Мы имеем в виду переговоры Ю. Я. Соловьева с итальянским послом в Мадриде маркизом Карлотти (являвшимся до 1916 г. в течение ряда лет послом Италии в Петербурге). Соловьев посетил Карлотти и передал ему предложение Советского правительства о мире. Он отмечает, что Карлотти, «несомненно, лучше всех своих мадридских коллег понимал смысл происшедших в России событий и их мировое значение». Далее Соловьев записывает текстуально следующее: «В ответ на мое посещение Карлотти, после того как он снесся с Римом, пришел ко мне и просил передать в Петроград согласие Италии на начало мирных переговоров». Эта запись Соловьева (а в достоверности ее у нас нет оснований сомневаться) имеет большое историческое значение. О попытках Италии в последний период мировой войны выйти из нее путем заключения сепаратного мира с Австрией в литературе известно. Но о том, что после Октябрьской революции Италия, единственная из союзных держав, готова была принять советское предложение о начале общих переговоров о мире (и приняла его, судя по разговору Соловьев — Карлотти), до сих пор не было известно. В самом деле, описываемые события относятся к концу ноября 1917 г., т. е. к периоду наиболее критического положения Италии, только что пережившей разгром своей второй армии у Капоретто. Положение Италии было настолько тяжелым, что во время последовавших вслед за Капоретто союзнических конференций

в Рапалло и Пескьера, когда итальянское правительство настойчиво просило союзников о немедленной помощи, Ллойд-Джордж считался с угрозой выхода Италии из войны. С другой стороны, и внутреннее положение Италии в связи с ростом революционного движения и общего недовольства масс еще более усиливало эту угрозу. Вот почему возможность принятия итальянским правительством мирного предложения Советского правительства является более чем вероятной.

К сказанному следует прибавить еще один факт. Известно, что 30 ноября 1917 г к генералу Духонину (тогдашнему главковерху) явился в ставку начальник итальянской военной миссии генерал Ромеи и заявил, что он получил через своего офицера телеграмму петроградского посольства, в которой говорится, что союзники решили освободить Россию от ее обязательств и предоставить ей возможность заключить более выгодный сепаратный мир, а не перемирие. Мы не станем останавливаться сейчас на рассказе о происхождении этой телеграммы и ее дальнейшей судьбе. Подчеркнем лишь, что все исследователи, занимавшиеся этим вопросом, до сих пор исходили из предположений, не учитывавших возможности занятия Италией особой позиции по вопросу о советском мирном предложении. Между тем эта особая позиция могла иметь связь и с телеграммой, о которой упоминал генерал Ромеи (хотя телеграмма говорила о сепаратном мире со стороны России, а не об общих переговорах о мире). Архивы итальянского министерства иностранных дел, несомненно, могли бы пролить много света на эту попытку Италии занять особую позицию по отношению к мирному предложению Советского правительства.

Невольно встает вопрос, почему об этой позиции Италии до сих пор не было известно, почему итальянское согласие участвовать в общих мирных переговорах не получило дальнейшего развития. На эти вопросы Ю. Я. Соловьев отвечает сообщением других весьма интересных данных. Ю. Я. Соловьев немедленно послал об этом своем разговоре с Карлотти телеграмму военным шифром при помощи помощника военного агента в Могилев, в ставку главковерха, но, как оказалось впоследствии, телеграмма была перехвачена в Лондоне военными властями. Англичане не только перехватили

телеграмму, они, безусловно, расшифровали ее. В этой связи Ю. Я. Соловьев записывает: «Мне даже представляется, хотя, к сожалению, я не располагаю точными данными об этом, что задержка моей телеграммы о желании Италии принять участие в мирных переговорах не прошла без каких-либо трений между двумя главными союзниками, постоянно расходившимися в своей политике во время войны».

Последние главы воспоминаний Ю. Я. Соловьева посвящены его путешествию из Мадрида в Москву. Это путешествие, как мы уже говорили, продолжалось свыше четырех лет. Автор последовательно находился в Женеве, Берне, Берлине, Варшаве и снова в Берлине, с кратким заездом в Вену и Прагу. Ему приходилось встречаться с представителями русской эмиграции, местными политическими деятелями и, наконец, с представителями дипломатического корпуса. Как на прежней дипломатической работе, так и во время скитаний он продолжал наблюдать и анализировать совершающиеся вокруг него события. Следует отметить, что человеку его происхождения и профессии было не так легко в тот период найти правильную оценку событий, принимая во внимание его полную оторванность от Советской страны и отсутствие контакта с ее представителями. Тем более интересным и заслуживающим внимания является его умение правильно оценивать события и твердая решимость сделать тот вывод, который он сделал.

На страницах второй части воспоминаний разбросано немало метких наблюдений и оценок политической обстановки. Автор часто возвращается назад, к событиям и к людям, уже сошедшим с мировой арены. Так, в частности, он рисует портрет бывшего министра иностранных дел Сазонова, с которым ему приходилось неоднократно встречаться. Соловьев пишет, что накануне войны Сазонов не отдавал себе отчета в надвигающейся катастрофе. Он сам иногда как бы сознавался в невозможности для него разобраться, в частности, в той сложной обстановке, которая создалась на Балканах.

Из непосредственных впечатлений, вынесенных автором воспоминаний в течение четырехлетнего пребывания между Мадридом и Москвой, следует прежде всего остановиться на варшавских впечатлениях. Наблюдательность позволила автору дать правильный анализ

французской политики как в отношении Польши, так и Советской республики. Панская Польша в планах Франции во время и после Версаля играла роль военного плацдарма против Советской республики. Находясь в Варшаве во время польско-советской войны, Ю. Я. Соловьев сумел разобраться в искусственной атмосфере антисоветской пропаганды, которая махровым цветом распустилась в то время в польской столице. Он неоднократно отмечает отсутствие воинственного настроения у польского населения. Последнее в своем громадном большинстве мечтало о мире и совсем не было склонно к военным авантюрам. Доказательством такого положения может служить, между прочим, и то, что в период наступления Красной Армии на Варшаву там оказалось до 80 тысяч польских дезертиров.

Последняя глава второй части книги посвящена пребыванию автора воспоминаний в Берлине и отъезду его в Москву. Эта часть особенно интересна, поскольку Соловьев завязал связи с нарождавшейся тогда в Германии группировкой среди политических деятелей страны, которая стояла за германо-советское сближение и держалась так называемой «восточной ориентации». К этой группировке принадлежали такие люди, как Аго фон Мальцан, ставший впоследствии статс-секретарем германского министерства иностранных дел и руководителем всей политики по отношению к Советскому государству; граф Брокдорф-Ранцау — будущий посол Германии в Москве после заключения Рапалльского договора; Бюлов, профессор Гетч и др. Ю. Я. Соловьеву пришлось не только встречаться с этими людьми, но и внести свою лепту в дело советско-германского сближения, которое в тот период только зарождалось. Всякий историк, которому захотелось бы основательно изучить начало советско-германских отношений, несомненно, извлечет из воспоминаний Ю. Я. Соловьева много полезных сведений и деталей. Кстати, интересно отметить и такой факт. После подписания Рапалльского договора автор беседовал с рядом германских политических деятелей о значении этого акта. В своей записи он отмечает, что из всех его собеседников лишь один социал-демократ Брейтшейд сделал «оговорки при выражении одобрения Рапалльского договора».

Подводя итоги своему пребыванию в Берлине, Ю. Я. Соловьев отмечает, что наряду с правильно понятой Германией линией на сближение с Советской республикой эта политика проводилась недостаточно энергично и с весьма большими колебаниями. Сторонникам «восточной ориентации» в Германии, людям, пытавшимся продолжать в германской внешней политике традиции Бисмарка, приходилось неоднократно отступать перед натиском «западников», стоявших за полюбовное соглашение с державами Антанты, за соглашение за счет интересов Советского государства. Тенденция к такому соглашению, несмотря на тяжелые разочарования, пережитые Германией при попытках его реализации, неоднократно возрождалась в германской внешней политике. И каждый раз в результате такого возрождения «западничества» страдали интересы Германии.

Заслуживают внимания читателя и непосредственные путевые впечатления автора воспоминаний по дороге из Берлина в Москву.

Заканчивая краткий обзор воспоминаний Ю. Я. Соловьева, следует остановить внимание читателя на следующем вопросе. Автор имел возможность наблюдать развитие внешней политики России в течение 25 лет. Советскую внешнюю политику он наблюдал в течение значительно более короткого срока. Однако с присущей ему проницательностью Ю. Я. Соловьев с первых дней существования Советского государства, отрезанный от Родины рядом границ и стеной антисоветской пропаганды, сумел понять, что в лице Советской власти внешняя политика народов бывшей Российской империи получила подлинного хозяина, защитника своих настоящих интересов.

Ю. Я. Соловьев был первым и долгое время единственным сотрудником царского министерства иностранных дел, который, находясь на заграничной службе, в момент Октябрьской революции открыто и мужественно стал на сторону Советского правительства и перешел на службу советскому народу. Он резко и принципиально отмежевался от всех 28 послов и посланников, в отношении которых Народный комиссариат иностранных дел 9 декабря 1917 г. опубликовал следующее циркулярное постановление: «Ввиду неполучения ответа на посланные телеграммы и радиотелеграммы послам,

посланникам, членам посольств и пр. Российской Республики с предложением немедленного ответа о согласии работать под руководством Советской власти на основе платформы II Всероссийского съезда, увольняются со своих постов без права на пенсию и поступления на какие-либо государственные должности. Равным образом они лишаются права производить с сегодняшнего дня какие бы то ни было расходы из государственных средств» (далее следует список 28 дипломатических работников министерства иностранных дел начиная с послов в Японии, США, Италии и т. д. и кончая консульскими работниками¹).

Работа Ю. Я. Соловьева после возвращения в Советский Союз (в НКВД, а затем в Обществе Красного Креста) заслужила высокую оценку со стороны обоих названных учреждений.

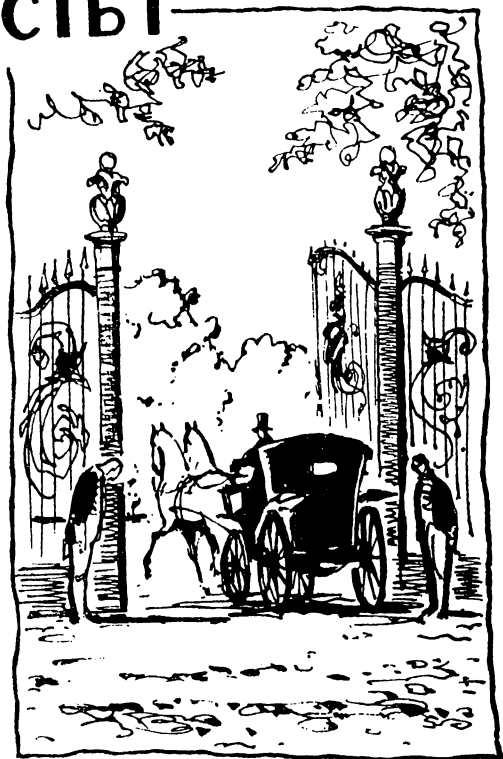
Все сказанное выше о личности автора мемуаров усиливает впечатление той неподдельной искренности, которая остается от чтения его воспоминаний и которая сопутствовала ему во всех его действиях в момент разрыва со всем прошлым и перехода на честное служение трудовому народу нашей Родины.

Советский читатель, несомненно, с большим интересом прочтет воспоминания Ю. Я. Соловьева. На созданном им фоне он еще раз оценит все величие тех изменений в жизни советского народа, которые произошли за 40 лет в нашей стране, идущей уверенным шагом по пути к коммунизму.

Б. Штейн

¹ «Внешняя политика СССР. Сборник документов», т. I (1917—1920 гг.), М. 1944, стр. 26.

часть I



25 лет моей
дипломатической
службы (1893-1918)

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

«Дипломаты — это честные люди, посланные за границу, чтобы лгать в пользу своего государства», — так характеризовали римляне¹ сущность дипломатической профессии. Верна ли эта характеристика и не сгустили ли в ней циники-римляне краски, я не берусь судить, так как слишком близко стоял к этой профессии в течение многих лет.

В этой книге я решаюсь описать то, что глаза мои видели за два с половиной десятилетия дипломатической деятельности.

Начал я свою службу в бывшем министерстве иностранных дел 23 мая 1893 г. На дипломатической работе побывал в шести странах, служил в центральном ведомстве при десяти министрах иностранных дел, «достиг» чина действительного статского советника и был пожалован в звание «камергера двора его императорского величества».

За это время я имел дело с сотнями официальных и неофициальных представителей разных стран и народов и близко сошелся со многими десятками из них.

В 1917 г., во время Октябрьской революции, я был поверенным в делах России в Мадриде, а теперь един-

¹ Приведенное Соловьевым изречение принадлежит не римлянам, как ошибочно указывает автор, а английскому дипломату Генри Уоттону (1568—1639 гг.). Изречение Уоттона, которое он написал в альбом знакомым в Аугсбурге, вскоре получило широкую известность. Английский король Яков I, считая определение дипломатии, данное Уоттоном, циничным, уволил его в отставку. — *Прим. ред.*

ственный из всех дипломатических представителей российского правительства, служивших за границей до ноября 1917 года, работаю в Советском Союзе. Мне кажется, что мои воспоминания могут представить известный интерес и для нынешнего поколения, столь далекого от описываемой эпохи.

Эта эпоха непосредственно предшествовала установлению в пределах бывшей Российской империи нового социального строя. Она охватывает в России период двух войн и трех революций и предшествовавший этим войнам период роковых авантур царской дипломатии на Дальнем и Ближнем Востоке. Тем не менее я буду по возможности воздерживаться от оценки виденного. События говорят сами за себя, а на их фоне красноречивы без комментариев даже мелкие повседневные факты дипломатического обихода.

Воспоминания обыкновенно не терпят неточностей. Хотя я не вел дневника, и в силу профессиональной щепетильности никогда не сохранял своей переписки, касающейся службы, мне все же удалось благодаря любезности Центрального архива РСФСР некоторым образом проверить свою память. Я перечитал подлинники около двухсот моих донесений и телеграмм и многие сотни документов и писем моих начальников — послов и посланников. За двумя-тремя исключениями, я не ссылаюсь на них, чтобы не загромождать текста и не лишать книгу характера личных воспоминаний. Равным образом мною приведены лишь две или три выдержки из газетных статей, так или иначе относящихся к моей службе.

Москва, 1 июля 1927 г.

(1893—1895 гг.)



На службу в министерство иностранных дел я поступил в 1893 г. Мне только что пошел 22-й год. Выбор заграничной деятельности мной был сделан уже давно, и я мальчиком усердно изучал иностранные языки — французский, немецкий и английский. Будучи в гимназии, я собирался перейти из шестого класса в Морское училище, но этот план встретил противодействие со стороны моей матери. Она не хотела, чтобы я ушел из гимназии. Окончив гимназию, я все же перешел в Александровский лицей, который широко открывал двери для другого рода заграничной службы — дипломатической. Действительно, окончив лицей в мае 1893 г., я был зачислен по министерству иностранных дел, на что в то время давало право окончание двух «привилегированных» учебных заведений — лицея и Училища правоведения. Молодые люди, окончившие эти учебные заведения, при поступлении на службу немедленно получали небольшое жалованье (правда, оно ограничивалось 18 рублями в месяц). Вообще причисленные к министерству иностранных дел первое время служили безвозмездно; таким образом, доступ туда был открыт лишь сыновьям более или менее состоятельных родителей. При этом я сохранял за собой право на летний отпуск, чем и воспользовался. Действительную службу я начал лишь в сентябре того же года.

В министерстве иностранных дел у меня никаких связей не было, но окончание лицея, в особенности с первой

золотой медалью, очень облегчило мне первые шаги. Первым человеком в министерстве, с которым мне пришлось иметь дело, был долголетний директор архива министерства иностранных дел барон Ф. Н. Стюарт, отец двух моих товарищей. Он и взял на себя тогда своего рода «священнодействие» — представление меня начальствующему составу министерства. Перед тем, однако, Стюарт весьма добросовестно старался отговорить меня от поступления в иностранное ведомство, куда он не пустил своих сыновей. Стюарт нарисовал мне мрачную картину дипломатической службы, приведя целый ряд примеров того, как молодые люди застревали в каких-нибудь отдаленных странах и, не делая никакой карьеры, не могли выбраться оттуда годами. Между прочим, он ссылаясь на оставшийся у меня в памяти пример с бароном Розеном (в то время, однако, уже поверенным в делах в Мексике). Пример оказался неубедительным: Розен был впоследствии посланником в Белграде, Мюнхене, Афинах и Токио, а затем послом в Вашингтоне; с ним мне пришлось некоторое время служить. Как бы то ни было, слова Стюарта меня не испугали, но я ему остался признателен. Благодаря ему при поступлении на иностранную службу я не создавал себе особых иллюзий о легкости дипломатической карьеры, и, надо сказать, мне часто приходилось на отдаленных постах моей службы вспоминать о предупреждениях Стюарта. Кстати, сам он на заграничной службе не пошел далее генерального консула в Бухаресте. Во время русско-турецкой войны¹ это место имело дипломатическое значение: Румынского королевства тогда еще не было², и генеральный консул в вассальном Румынском княжестве исполнял дипломатические обязанности. Петербургский архив министерства иностранных дел в общем мало интересовал Стюарта, и мне помнятся его полушутливые просьбы при передаче ему дел из департаментов, чтобы они были приводимы предварительно в порядок, так как он является лишь «кучером погребальной колесницы» и ему безразличен тот труп, который ему поручено везти. Чтобы не возвращаться больше к архиву, прибавлю, что преем-

¹ Имеется в виду русско-турецкая война 1877—1878 гг.—
Прим. ред.

² Королевством Румыния была провозглашена в 1881 г.—
Прим. ред.

ник Стюарта Горяинов интересовался гораздо больше архивным делом и оставил после себя ряд ценных исторических монографий, часть которых была напечатана в иностранных журналах.

Начав со мной обход начальствующих лиц, Стюарт представил меня Н. П. Шишкину, в то время управляющему министерством ввиду продолжительной болезни долголетнего министра Н. К. Гирса. Впечатление, которое произвел Шишкин, было одним из первых разочарований, постигших меня в министерстве. В моем молодом воображении все дипломаты представлялись необычайно блестящими. Шишкин в весьма потертом форменном вицмундире был скорее похож на старого курьера, а вовсе не на лицо, хотя бы и временно стоящее во главе иностранного ведомства одной из самых крупных в мире держав. Как бы то ни было, благодаря любезному посредничеству Стюарта мне был оказан весьма благосклонный прием. Я был принят на службу в качестве причисленного к Азиатскому департаменту министерства иностранных дел, причем было оговорено, что, в случае если мне придется отбывать воинскую повинность, я буду продолжать числиться по министерству. Затем Стюарт представил меня директору Азиатского департамента графу Д. А. Капнисту. Последний, весьма ленивый и не очень далекий человек (брат умного посла в Вене, Петра Алексеевича), держался замкнуто, почти вовсе не показываясь в департаменте; второй раз я с ним встретился лишь после моего назначения на работу за границу.

Министерство в то время состояло из канцелярии, «святая святых» министерства, куда молодые люди назначались лишь после двухлетней службы в одном из департаментов (канцелярией тогда управлял князь Оболенский-Нелединский-Мелецкий, ставший впоследствии, при графе Ламздорфе, товарищем министра). Канцелярия ведала всей политической работой министерства, за исключением Востока, дела которого находились в Азиатском департаменте. При канцелярии находились две экспедиции: первая, ведавшая шифрами, и вторая — так называемая газетная. Она впоследствии была реорганизована в бюро печати. В период реорганизации мне пришлось ею управлять. Кроме того, при канцелярии состоял так называемый старший чиновник, который занимался

перлюстрацией¹ секретных телеграмм иностранных представителей в Петербурге. Этот «черный кабинет»² работал весьма исправно, и в результате перлюстрированные шифрованные телеграммы иностранных представителей попадали к министру ранее, чем соответствующий посол делал ему сообщение на основании полученных по телеграфу инструкций. При канцелярии находилась и литография для секретных документов.

Департаментов в министерстве было три: Азиатский, о котором будет речь впереди, внутренних сношений, ведавший консульскими и юридическими делами, и хозяйственных дел и личного состава. Во главе второго департамента в то время стоял весьма сведущий, но необыкновенно оригинальный человек барон Остен-Сакен, с которым мне пришлось встретиться на дипломатическом экзамене. Одной из его оригинальных привычек было передвижение бегом по коридорам министерства. Департаментом хозяйственных дел и личного состава управлял Никонов, типичный чиновник, прошедший всю жизнь в стенах министерства и пользовавшийся весьма незавидной репутацией в денежных делах. Помимо министра, во главе министерства в то время стоял товарищ министра упомянутый выше Н. П. Шишкин и советник министерства граф В. Н. Ламздорф (будущий министр). В совет министерства входил и неперменный его член Ф. Ф. Мартенс. Это был знаток международного права, профессор университета и лица. Мартенс был постоянным консультантом по всем юридическим вопросам и авторитетным представителем правительства на целом ряде международных конференций. Перу Мартенса принадлежит и общепринятый в то время курс «Современного международного права цивилизованных народов».

Служба моя в министерстве началась с переписки бумаг (в то время пишущих машинок еще не было). Труд этот был для меня необыкновенно тягостен, так как я обладал скверным почерком. Это было одной из причин, заставивших меня стремиться как можно скорее перейти

¹ Перлюстрация — тайное вскрытие государственными органами корреспонденции в процессе ее пересылки. — *Прим. ред.*

² «Черный кабинет» — так назывался орган, учрежденный во Франции при Людовике XIII, для перлюстрации корреспонденции. — *Прим. ред.*

на службу за границу. Переписывать бумаги я начал в так называемом турецком столе Азиатского департамента. Департамент разделялся на два отделения: Ближнего и Дальнего Востока. Начальником первого был Д. К. Сементовский-Курило (будущий посланник в Болгарии), а второго — Жданов, окончивший жизнь генеральным консулом в Лионе, и притом почему-то нештатным. Весь департамент состоял из двух больших комнат, в которых и помещались оба отделения. Начальником турецкого стола был А. А. Нератов (впоследствии долготелый товарищ министра). Нератов всю жизнь провел в стенах министерства, за границу никогда назначен не был, но его весьма ценили за трудолюбие и знание канцелярского обихода министерства; про Нератова острили, что он своего рода Жюль Верн, объехавший весь свет, не покидая своего письменного стола. Помимо турецкого, в отделении Ближнего Востока были еще два стола — славянский и греческий, в каждом из этих столов работали по два или по три чиновника. Греческим столом в то время заведовал С. А. Лермонтов, которого мне позднее пришлось сменить последовательно на трех заграничных постах. Закончил он свою службу посланником в Штутгарте. Помимо этих трех столов, был еще стол политический, который занимался главным образом шифровкой и расшифровкой телеграмм. Эта процедура выполнялась весьма торжественно, причем причисленные к столу уверяли, что их начальник С. С. Кетов не мог приступить к исполнению своих обязанностей, не вдев предварительно монокля и не закулив сигары. Впрочем, бедный Кетов дальше этой должности не пошел, отправившись вскоре на тот свет. Из других чинов департамента у меня в памяти остался вице-директор Лисовский, типичный чиновник, игравший в департаменте весьма незначительную роль. Рядом с ним выделялась не очень представительная, но весьма энергичная фигура «делопроизводителя 5-го класса» Н. Г. Гартвига, ставшего при Ламздорфе директором Азиатского (переименованного в Первый) департамента. Он был назначен посланником в Тегеран, а затем в Белград и умер, как говорили, от аневризма в доме австро-венгерского посланника в Сербии барона фон Гиделя в самый разгар предвоенного кризиса, вызванного убийством в Сараеве австрийского наследного принца эрцгер-

цога Франца-Фердинанда¹. Смерть Гартвига осталась навсегда загадкой и вызвала немало толков. Моим компаньоном при поступлении в департамент был князь А. А. Гагарин, бывший ординарец туркестанского генерал-губернатора. Гагарин, отставной офицер, поступил в министерство уже не очень молодым — он был на десять лет старше меня. Впоследствии мы с ним встретились в Испании. Когда я был советником посольства в Мадриде, он был генеральным консулом в Барселоне. Вместе с Гагариным мы и начали переписывать бумаги, делали первые в то время обязательные визиты своим сослуживцам и посвящали друг друга в тайны переписки бумаг, подскребывания ошибок и замазывания подскребок особым небольшим инструментом — подушечкой, заполненной сандарак². В общем в переписке бумаг многие из чинов министерства достигали большого искусства и делали даже своего рода карьеру, как например тайный советник Бауэр, который специализировался на переписке верительных грамот, требовавших, как и «всеподданнейшие доклады», совершенно особого искусства, недоступного простым смертным. И даже про графа Ламздорфа говорили, что своей карьерой он во многом обязан красивому почерку и умению чинить карандаши и гусиные перья для канцлера князя Горчакова, при котором он начинал свою службу.

Состав Азиатского департамента был двойственный. Туда поступали такие, как я, молодые люди, стремившиеся получить дипломатические посты, а также и специалисты по восточным языкам, окончившие соответствующие высшие учебные заведения и предназначенные для драгоманской³ и консульской службы на Востоке.

¹ 28 июня 1914 г. в Сараеве был убит членами сербской террористической организации наследник австрийского престола эрцгерцог Франц-Фердинанд. По мнению автора, убийство в Сараеве явилось причиной первой мировой войны. Это, однако, глубоко ошибочно. Первая мировая война была следствием резкого обострения межимпериалистических противоречий. Событие же в Сараеве явилось лишь поводом для начала войны.— *Прим. ред.*

² Сандарак — душистая смола, добываемая из коры сандаракowego дерева. Употребляется в живописи для изготовления лаков.— *Прим. ред.*

³ Драгоман — переводчик при дипломатической миссии или консульстве (обычно в странах Востока). Драгоман раньше вследствие недостаточного знания местных языков руководящими работ-

Между этими двумя категориями, как мне пришлось убедиться впоследствии, начальством проводилась довольно строгая демаркационная линия; в общем, знание восточных языков способствовало дипломатической карьере. Лишь весьма немногие из «восточников» достигли посольских и посланнических мест, как например посол в Константинополе И. А. Зиновьев, посланник в Афинах М. К. Ону и другие. В силу этого по социальному признаку состав Азиатского департамента был весьма разнообразен. Например, один из наших сотрудников — Поппе, будущий генеральный консул в Харбине, был сыном почтенного немца-портного с Васильевского острова. При былом феодально-бюрократическом строе в иностранном ведомстве знание восточных языков отчасти восполняло «недостатки» происхождения, к которому министерство относилось весьма разборчиво. Даже представители богатого московского купечества лишь изредка допускались на дипломатическую службу. Таких в министерстве было немного. Среди них можно отметить посланника в Лиссабоне П. С. Боткина, его племянника С. Д. Боткина, секретаря миссии в Рио-де-Жанейро Андреева и второго секретаря в Токио Абрикосова.

К счастью, в департаменте мне пришлось просидеть весьма недолго. Уже через два месяца я был призван отбывать воинскую повинность, для чего переехал в Варшаву, где и пробыл около года вольноопределяющимся в гвардейском уланском полку.

Здесь мне хочется отметить, хотя мои воспоминания в данном случае и не касаются непосредственно дипломатической службы, что и в гвардейских полках отношение к рядовым и даже унтер-офицерам (невольноопределяющимся) было весьма суровое, и иногда мне приходилось быть невольным свидетелем грубой физической расправы титулованного офицерства с нижними чинами. Впрочем, офицеры обыкновенно избегали делать это в присутствии вольноопределяющихся; может быть, поэтому офицеры и не долюбивали вольноопределяющихся. Год военной службы был для меня весьма полезен, так как я научился хорошо ездить верхом. Это мне весьма пригодилось во время моей службы на Востоке.

никами миссий играли значительную роль в дипломатической работе и выполняли важные политические поручения.— *Прим. ред.*

Дипломатический экзамен я сдавал в Петербурге еще вольноопределяющимся, в уланской форме. Этому экзамену подвергались все молодые люди, поступавшие в министерство иностранных дел и стремившиеся получить заграничное назначение. Причисленных к министерству в то время экзаменовали по международному праву, политической экономии и иностранным языкам. Помимо того, мы обязаны были представить письменные работы на русском и французском языках в виде извлечений из дипломатической переписки, экономического отчета по какой-либо стране и разбора юридического дела из области консульского суда. Как известно, наши консулы на Востоке пользовались правом консульской юрисдикции. Экзаменоваться мне было легко, так как главным экзаменатором был Ф. Ф. Мартенс, которому я только что сдал выпускной экзамен в лицее. Из экзаменовавшихся вместе со мной двадцати человек у меня остались в памяти лишь Колоколов, будущий генеральный консул в Кашгаре, С. Д. Боткин, будущий министр-резидент в Дармштадте, К. Е. Бюцов, в то время молодой человек, ставший впоследствии советником миссии в Швеции, и Гельске, получивший домашнее образование; к нему отнеслись снисходительно, по-видимому, потому, что в общем списке к его имени было приписано: сын министра-резидента в Веймаре.

Отбыв воинскую повинность, я вернулся обратно на службу в Азиатский департамент, где последовательно работал в политическом столе (так называемом архиве) и в славянском столе, которым временно заведовал. Мне до сих пор памятли мои затруднения при работе в архивах, для которой требовались «специальные» знания. Архивы содержались в таком порядке, или, вернее, беспорядке, который был известен лишь «посвященным». Злые языки утверждали, что ревностные чиновники старались завести такой «порядок», в котором могли бы разбираться лишь они сами, делаясь, таким образом, «незаменимыми». Немало хлопот мне, между прочим, причинил «митрополит Михаил Сербский», картон с делом которого совершенно для меня неожиданно хранился не в шкафу, а под столом, за которым я сидел. Другим немалым для меня огорчением явилась как-то необходимость переписать «всепопданнейший доклад» по делу определения в институт Люцкановой, племянницы из-

вестного Драгана Цанкова. Мой почерк совершенно не подходил для переписки такого документа, и меня спас один из сослуживцев, товарищ по лицу, который переписал мне этот доклад.

В октябре 1894 г. министерство торжественно хранило своего министра Н. К. Гирса. И тогда мне впервые пришлось увидеть вблизи Николая II, который приехал на похороны, окруженный великими князьями. Прошел он от меня в двух шагах, причем поразил меня незначительностью своей фигуры. При малом росте он был почти на полторы головы ниже окружавших его великих князей.

На похоронах многие из нас, чиновников министерства, несли бесчисленные подушки с орденами покойного. Благоволивший ко мне курьер, распределявший подушки, вручил мне одну из них с несуществующим более орденом Бразильской розы времен Бразильской империи¹.

Смерть Гирса вызвала весьма важный в то время вопрос о назначении его преемника. Выбор пал на престарелого посла в Вене князя Лобанова-Ростовского, вскоре сыгравшего значительную роль в русской дальневосточной политике. При этом не могу не упомянуть о некоторых канцелярских недоразумениях, вызванных этим назначением. Николай II, только что назначивший двух молодых управляющих министерством, назначил и Лобанова только управляющим, что для старого посла было весьма обидным. В то же время была упущена необходимость уволить одновременно от должности временно управляющего министерством Н. П. Шишкина. Он некоторое время перестал даже посещать министерство; Шишкин не мог подписываться ни как временно управляющий, ни как товарищ министра: о восстановлении его товарищем министра своевременно не было отдано особого указа.

Назначение Лобанова-Ростовского вскоре сыграло решающую роль в моей дальнейшей судьбе, но пока я продолжал тяготиться службой в Азиатском департаменте. Чтобы найти более производительную и интересную работу, чем переписка бумаг в департаменте,

¹ 7 сентября 1822 г. принадлежавшая Португалии Бразилия была объявлена независимой империей. Империя просуществовала до 15 ноября 1889 г., когда Бразилия была провозглашена федеративной республикой.— *Прим. ред.*

я решил выполнить мой план — сдать государственный экзамен при университете, чтобы остаться при кафедре государственного права. На научную работу меня звал профессор государственного права в лицее и университете Н. М. Коркунов. Он очень одобрил мою диссертацию «Теория местного самоуправления в Англии», поданную на последнем курсе лицея.

Предпринятые мной шаги в университете увенчались успехом, и я получил разрешение сдать всего три экзамена в дополнение к тем, которые сдал в лицее. Я начал готовиться к ним. Экзамены должны были происходить в мае. Записавшись, кроме того, вольнослушателем университета, я мог производительно заполнить время, свободное от механической департаментской работы.

Но судьба решила иначе. Кто-то из друзей моих покойных родителей, не спросив у меня, переговорил обо мне с Лобановым, и в результате как-то утром в департамент была принесена записка министра, в которой значилось, что причисленный к Азиатскому департаменту Соловьев назначается вторым секретарем миссии в Пекине. Я не сразу отдал себе отчет в том, какой огромный шаг был неожиданно сделан мной в начале дипломатической карьеры, но в этом я скоро убедился, обнаружив внезапную перемену в отношениях ко мне товарищей по департаменту. Они не могли простить мне этого назначения, сделанного помимо их ведома. В департаменте и вообще в министерстве долго не могли забыть подобного обхода общего порядка получения заграничного назначения. В министерстве существовала рознь между внутренней и заграничной службой, и многие из заграничных дипломатов, особенно таких, как я, рано уехавших в отдаленные страны, испытывали на себе не раз неудовольствие петербургских чиновников, косившихся на сослуживцев, посланных за границу и порвавших таким образом связь с петербургскими канцеляриями, с их интригами и комбинациями. Уезжая на заграничную службу, я взял себе за правило не писать частных писем в министерство и раз навсегда поставил себя в стороне от канцелярской атмосферы, ограничиваясь выполнением своих прямых обязанностей по месту заграничной службы. Впоследствии мне пришлось узнать, что мое назначение было отчасти вызвано желанием нового министра порвать с департаментскими комбинациями. С другой стороны,

и в самой миссии в Пекине было не совсем благополучно. По желанию посланника в Пекине графа А. П. Кассини оба секретаря — первый — Клейменов (бывший затем первым русским генеральным консулом в Шанхае) и второй — И. Я. Коростовец (будущий посланник в Пекине и Тегеране, затем уполномоченный в Монголии, небезызвестный автор нескольких книг о Китае) — были перемещены против их желания на новые должности, а состоявший при миссии в действительности личный секретарь Кассини бывший морской офицер А. И. Павлов (будущий посланник в Корее) был последовательно в течение двух месяцев назначен вторым, а затем первым секретарем.

В силу создавшихся в связи с этим тяжелых отношений в миссии многие опасались принять открывшуюся вакансию второго секретаря, что облегчило мое назначение. Решив принять предлагаемое мне место, я, не задумываясь, стал готовиться к отъезду.

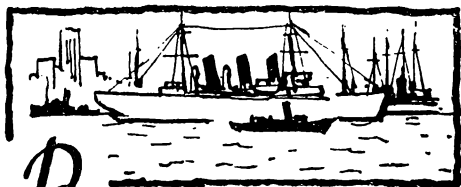
На мое решение оказало, помнится, влияние и то, что к этому времени в Петербурге особенно интересовались Дальним Востоком, где заканчивалась японо-китайская война¹ и где, по мнению многих, открывалось новое широкое поле для нашей иностранной политики — хорошая школа для молодого дипломата.

Официальное мое назначение состоялось в мае, но в министерстве меня не торопили с отъездом. Некоторое время я еще продолжал работать в департаменте и с большим, чем раньше, интересом, зная, что этому наступит скорый конец, а к тому же мне открыли для ознакомления политический архив пекинской миссии. Выехал я из Петербурга в начале июля, избрав путь через Америку, с твердым намерением пробыть в дороге не менее двух месяцев — обычный тогда срок для этого путешествия. В то время сибирский путь был еще далеко не закончен и в Китай удобнее было ехать или через Суэцкий канал, вокруг азиатского материка, или же через Америку. По распоряжку, принятому в министерстве иностранных дел, назначаемый за границу чиновник, получив так называемую курьерскую дачу и дипломатический паспорт, мог ехать к месту своего назначения, как он

¹ Имеется в виду японо-китайская война 1894—1895 гг.—
Прим. ред.

хотел. Курьерская дача выдавалась золотом. Я получил одну из высоких дач в связи с отдаленностью места назначения, а именно 2 тысячи рублей в золотых империялах; этого на поездку мне было почти достаточно. Остановлюсь еще на маленькой подробности: при наличии дипломатического паспорта в то время не было надобности в каких бы то ни было иностранных визах, и мой паспорт был сохранен мной до самого Пекина в полной неприкосновенности, за исключением русской пограничной отметки о выезде. Теперь, после мировой войны, это может показаться необыкновенным. По дипломатическому паспорту я прожил 25 лет как за границей, так и в России. Последним моим дипломатическим паспортом был испанский. Я прибегал к помощи такого документа как можно реже, но все же сознание, что в кармане имеешь подобную «охранную грамоту», облегчало передвижение по белу свету. Дипломатический паспорт был внешним знаком принадлежности к той особой интернациональной группе, в которую я вступил. Столь привилегированное для дипломатов положение продолжалось, однако, лишь до мировой войны.

(1895 г.)



В свое время среди дипломатов ходил довольно забавный анекдот об известном английском публицисте, в молодости дипломате, Лабушере, который, получив место сверхштатного атташе в Каире, пропутешествовал туда полгода, а в действительности застрял где-то в Южной Германии. На последовавший грозный запрос из министерства, почему он не в Каире, Лабушер ответил, что он направился к месту своего назначения пешком, так как не получил подъемных на свой переезд. Для меня такого извинения не было, а потому я не слишком задерживался в пути. Тем не менее, не бывав с детства за границей, я счел необходимым до прибытия в добровольную, так сказать, ссылку в отдаленный Китай посмотреть на Европу и Америку.

Я побывал в Берлине, проехал по Рейну и застрял на некоторое время в Париже. Выбравшись из стен петербургской канцелярии, я не явился, не будучи к этому вынужден службой, в наше посольство в Париже. Оговариваюсь, впрочем, что за всю мою службу это был единственный случай, когда я избежал лишней встречи со своими заграничными коллегами. При всех последующих передвижениях я всегда заходил в наше местное посольство, миссию или консульство и обычно встречал предупредительный прием, который, впрочем, делался все теплее по мере моего продвижения по иерархической лестнице. Не могу не сделать здесь небольшого отступления.

Во время войны и даже до нее много нареканий вызывал неприветливый и подчас грубый прием со стороны наших заграничных дипломатических и консульских чиновников. Один из моих коллег, шутя, предлагал выпустить отдельной брошюрой, подобно изданиям военной пропаганды «Немецкие зверства»¹, книжку «Консульские зверства». Это обвинение не вполне справедливо. Лишь меньшинство наших заграничных чиновников — по именно в больших центрах — принимало всякого посетителя, как «собаку в кегельной игре», памятуя, быть может, изречение известного нашего посла в Лондоне Бруннова, что «каждая просьба соотечественника разрешается отказом». Зато другие вменяли себе в обязанность если не всегда удовлетворять просьбы обращающихся к ним, то во всяком случае любезно принимать их, не делая из необходимого посещения русского посольства или консульства своего рода наказания. Одним из других обвинений, часто предъявляемых нашим представителям за границей, было то, что большинство наших дипломатов настолько подчинялось атмосфере страны, в которой оно пребывало, что становилось англичанами в Англии, французами — во Франции и т. п. Забавной иллюстрацией этого было наблюдение за моим коллегой, которого я встретил в Париже. Он ездил как дипломатический курьер по Западной Европе и должен был после Парижа отвезти почту в Лондон. Когда он вернулся оттуда, его было трудно узнать. Он перестал говорить членораздельно, цедил сквозь зубы и т. д., чем доставил нам, нескольким его товарищам, находившимся в Париже, немалое удовольствие. Мы его осмеяли, но, по-видимому, не исправили.

Париж 90-х годов прошлого столетия имел совершенно иной вид, чем в настоящее время. Только бульвары были освещены электрическими свечами Яблочкова, которые нестерпимо мерцали. На большинстве же улиц горели газовые фонари, и поэтому было в достаточной степени темно. Автомобили были еще неизвестны. Это, по мнению многих парижан, лишь в зрелом воз-

¹ Во время первой мировой войны правительства стран Антанты распространяли всякого рода литературу о зверствах армии своих противников. Разумеется, Германия тоже не оставалась в этом отношении в долгу у стран Антанты. — *Прим. ред.*

расте ознакомившихся с новым способом передвижения, придавало особую красоту Елисейским полям и Булонскому лесу. Осмотрев добросовестно все парижские музеи и достопримечательности, я запасаю билетом прямого сообщения Париж — Шанхай. Это мне обошлось в 1550 франков (приблизительно 600 рублей). За эти деньги я получил билеты первого класса на переезд через Атлантический и Тихий океаны с полным продовольствием и билет со спальным местом из Нью-Йорка в Ванкувер. К этому времени канадская трансконтинентальная дорога была только что отстроена и компания Кука предоставляла особо льготные условия проезда. К тому же мною впервые удачно был использован дипломатический паспорт: я заплатил за билеты на 300 франков дешевле.

На трансатлантический пароход (я выбрал американскую линию, чтобы сразу перейти на английский язык) я должен был сесть в Саутгемптоне. В Англию выехал с расчетом пробыть в Лондоне около недели. Приехав туда, помнится, в субботу и, остановившись в довольно мрачной гостинице Гровенор-отель при станции Виктория, почувствовал такую скуку, что чуть не сбежал обратно еще на несколько дней в Париж. Лондон, особенно в воскресные и предвоскресные дни, был особенно мрачен: все театры закрыты, электрического освещения еще не было, и я положительно не знал, куда деваться. Переборов себя, я все же остался в Лондоне, стал осматривать музеи и бывать по вечерам в театрах. В конце концов я не выдержал и отправился в наше посольство. В его канцелярии я застал двух секретарей. Посол, в то время барон Стааль, и советник, кажется Хрептович-Бутенев (будущий посланник в Мюнхене), отсутствовали. Меня любезно встретил второй секретарь Н. Н. Булацель и сразу засадил писать цифры для какой-то шифрованной телеграммы. Этим я был, впрочем, доволен, так как работа заполнила мое утро. Пришедший вскоре первый секретарь А. Н. Крупенский (будущий посол в Риме), однако, был почему-то рассержен тем, что меня привлекли к работе; он бестактно, в моем присутствии, сделал выговор своему коллеге. После окончания занятий Булацель пригласил меня завтракать с ним в Сен-Джемский клуб, где собирались все иностранные дипломаты. Затем он повез меня в один из

спортивных клубов Лондона. Там мне пришлось в первый и последний раз видеть особый вид тенниса, столь известного в XVIII веке, — «жё де пом» («jeu de raquette»). Играть в эту игру в закрытом помещении, и притом меньшими мячами и ракетками, чем в столь распространенном лаун-теннисе, причем мячи отражаются стеной. Как тот, так и другой клуб произвели на меня впечатление своей необыкновенной роскошью.

Вернусь к первой встрече со своими русскими коллегами за границей. Во время моей последующей службы мне пришлось довольно часто встречаться и с Крупенским и с Булацелем. С первым у нас навсегда остались натянутые отношения, а со вторым, наоборот, — наилучшие. Упомяну и о впечатлении от помещений, которые занимали наши бывшие посольства в Европе. Мне пришлось побывать во всех из них. Большая часть зданий посольств была повсюду занята приемными залами, отличающимися иногда большой роскошью, канцелярии же неизменно находились или в мезонинах, или, как в Париже, в антресолях, и доступ к ним был возможен лишь по узким боковым лестницам. Уже одно это производило на рядового посетителя, не попадавшего никуда далее канцелярии, неблагоприятное впечатление. Между прочим, в Париже высота комнат в канцелярии была настолько незначительна, что одному из секретарей, пробывшему там 12 лет, пришлось в голову написать на потолке ряд весьма грустных размышлений о своей судьбе.

В Саутгемптоне я попал на один из лучших в то время пароходов — «Нью-Йорк». У него было лишь 10 тысяч тонн водоизмещения. Он, таким образом, был раза в четыре меньше нынешних гигантов, но переезд через Атлантический океан совершался на нем почти в тот же срок, что и теперь. На этом пароходе мало чувствовалась качка, от которой я сильно страдал при полчасовом переезде из Кале в Дувр. Пассажиров первого класса на пароходе было триста человек. В их списке я был отмечен как второй секретарь русской миссии в Пекине. Это повлекло за собой приглашение меня за «дипломатический стол». В результате мне довелось познакомиться и ежедневно беседовать с рядом интересных лиц; я считаю, что еще до прибытия в Пекин это и было настоящим началом моей дипломатической службы. Главная задача последней — установление непрерывного

контакта с внешним миром, из чего уже вытекают другие две задачи: правильное осведомление своего правительства и создание для него благоприятной атмосферы за границей. Лишь на четвертом месте стоит задача — вести те или другие переговоры согласно инструкциям своего правительства. Только при выполнении первых трех задач дипломат оправдывает свое призвание и не ограничивается ролью «почтового ящика», т. е. просто передаточной инстанции. На первых порах для меня некоторым затруднением было недостаточное знание английского языка, что совершенно необходимо, как только оставляешь пределы Европы. Но взятое на себя обязательство — принудительный разговор исключительно по-английски в течение почти четырехнедельного путешествия из Саутгемптона в Шанхай — дало вполне удовлетворительный результат. В Китае, где я также говорил почти всегда по-английски, я уже владел языком свободно.

Из моих собеседников особенно сохранились в памяти двое: известный путешественник и исследователь Тибета, а затем посланник в Пекине и посол в Петербурге американец Рокхилл, написавший весьма интересную книгу о Китае. Он совершенно свободно и исключительно хорошо говорил по-французски — этому языку он научился во время своего семилетнего пребывания в рядах французского иностранного легиона в Алжире. С Рокхиллом мне пришлось много лет спустя встретиться в Петербурге, где он в качестве американского посла пользовался большой популярностью. Другим был престарелый английский консул капитан Ховард. Ему было 67 лет, и он отправлялся на три года дослуживать свой стаж до пенсии в Нумеа (главный город французской колонии Новая Каледония). Из его рассказов у меня остались в памяти два. Первый относился к 1859 г., когда он, молодой офицер, был послан с австралийскими войсками в Индию для подавления восстания сипаев¹. Эти войска были отправлены на парусном судне, которое попало в полосу штиля; оно обросло водяными растениями, и пассажиры чуть не умерли от жажды из-за

¹ Так иногда называют индийское национальное восстание 1857—1859 гг. Сипай — наемные войска в Индии, формировавшиеся из местных жителей иностранными колонизаторами. Сипай составили основное военное ядро восстания. — *Прим. ред.*

недостатка пресной воды. Войска прибыли в Индию лишь через несколько месяцев, когда восстание уже было подавлено (как известно, с большой жестокостью). В этом отношении молодому австралийцу судьба сослужила службу, оставив его в стороне от свирепых экзекуций.

Будучи затем в 1877—1878 гг. консулом в Севастополе, Ховард близко сошелся с русскими моряками и по их приглашению участвовал в военных действиях против турок на пароходе «Веста», в то время как турецкими мониторами на Дунае командовали английские офицеры (как известно, ко времени русско-турецкой войны у России в Черном море почти не было военных судов¹, и небольшой пароход «Веста» был наскоро превращен в канонерку). Русское морское начальство по окончании экспедиции «Весты» представило Ховарда к георгиевскому кресту, и хотя он от награды отказался, но тем не менее это происшествие вызвало неудовольствие лондонского министерства иностранных дел. В результате он был переведен на какой-то отдаленный пост.

С симпатичным стариком мы доехали до Ванкувера, где я сел на пароход, направлявшийся в Шанхай, а он также на пароход — в Австралию. В моей памяти надолго сохранилась эта встреча со старым английским консулом, дослуживавшим свой стаж в отдаленных местностях в наказание за дружественное отношение к России. Мне часто приходилось иметь дело с английскими дипломатами, но с таким русофилом встретиться больше не пришлось. Переезд через Атлантический океан прошел благополучно. Нас почти не качало, и к концу путешествия, как это обыкновенно бывает при продолжительных морских переходах, большинство пассажиров так между собой перезнакомилось и даже подружилось, что в Нью-Йорке не хотелось покидать пароход.

¹ По заключенному в Париже в 1856 г. после Восточной (Крымской) войны договору Россия была вынуждена дать обязательство не держать флота в Черном море. Лишь в октябре 1870 г. Россия поставила в известность европейские державы о своем отказе от этого обязательства. Конференция в Лондоне, состоявшаяся в январе — марте 1871 г., согласилась отменить соответствующий пункт договора 1856 г. Ко времени русско-турецкой войны 1877—1878 гг. России еще не удалось создать сколько-нибудь значительного флота на Черном море.— *Прим. ред.*

На берегу нас ожидали обычные американские таможенные мытарства, и под впечатлением от них я решил отправить свои вещи запломбированными до канадской границы, не желая уплачивать пошлины за купленные мной в Лондоне вещи и в том числе за седло, которое затем исправно служило мне во все время моего пребывания в Китае. Это, впрочем, стоило мне немалых волнений, так как из-за вещей я чуть не опоздал на свой пароход в Ванкувер, откуда пароходы канадской линии на Шанхай отправлялись тогда лишь раз в три недели. В Нью-Йорке я пробыл три дня в страшной жару. Но мое положение облегчалось тем, что я жил в гостинице с неизвестной тогда в Европе ванной в каждом номере, которой я и пользовался несколько раз в день. В то время в Нью-Йорке было еще мало небоскребов. В одном из них, на Пятой авеню, размещалась лучшая в то время гостиница «Уолдорф», в которой я и остановился. До переезда в Канаду я провел у самой ее границы 24 часа на Ниагарском водопаде, который производил своим величием очень сильное впечатление. Энергия водопада уже тогда была использована для работы большой бумажной фабрики, возвышавшейся над ним.

На канадской границе меня ожидали испытания, причиной которых был мой багаж. На маленькой пограничной станции Торонто мне объявили, что поезд на Ванкувер (на расстоянии $4\frac{1}{2}$ суток пути) уходит через час, а моего багажа на вокзале нет. Между тем, по моему расчету, я должен был приехать в Ванкувер лишь вечером, накануне отплытия моего парохода. Застрять там на три недели мне очень не хотелось, тем более что денег у меня было уже в обрез. Оставив свой ручной багаж на вокзале, я бросился в город на таможенную, которая находилась довольно далеко от вокзала. К счастью, меня спас местный кучер, который за крупное вознаграждение (10 долларов) взялся провезти меня вскачь в таможенную и доставить оттуда на вокзал мои сундуки. Я взгромоздился на козлы его подводы, и мы понеслись по улицам маленького города на противоположный его конец. Я быстро покончил с таможенными формальностями, причем убедился, что в Канаде гораздо удобнее говорить по-французски. На этом языке говорит до сих пор значительная часть населения, не питающая больших симпатий к англичанам, в особенности к британ-

скому официальному миру. Это подтвердилось и тем, что мой приятель, английский консул, вернулся из таможи весьма расстроенный и с намерением жаловаться в Лондон на придирки таможни. Его паспорт консула ее величества королевы Виктории никакого впечатления на канадских чиновников не произвел.

Из таможи я со всеми сундуками на той же подводе вернулся на вокзал, но тут меня ожидали новые испытания: поезд уходил через несколько минут, а мой ручной багаж оказался запертым в какую-то деревянную клетку и недосмотренным. Сторож же куда-то исчез. Я обратился к начальнику станции, оказавшемуся на высоте своего положения. Повторяя мне: «Не волнуйтесь», он вместе со мной пустился бегом вдоль платформы на розыски сторожа, который ушел по соседству в кабачок пить пиво. Благодаря его помощи я получил, наконец, свой ручной багаж. Любезный начальник станции бросил мне его в поезд, уже находившийся в движении.

Сундуки мои были сданы в багаж перед самым отходом поезда, и я получил, как это полагается в Америке, вместо них пять медных блях с нумерами — дубликаты тех, которые были прикреплены к сундукам. Уверенный, что мои сундуки со мной, я спокойно продолжал путешествие, расположившись на взятом мной еще в Париже месте в спальном пульмановском вагоне. Несмотря на рекламирование этих вагонов, они, как известно, весьма неудобны. Всякий квадратный вершок в них рассчитан; места для ручного багажа нет, приходится его сдавать в багажный вагон и оставаться с одним большим несессером, весьма недостаточным для столь длительных переездов. На ночь поднимаются койки, расположенные вдоль прохода, от которого вы отделены лишь занавеской, и, так как все вагоны проходные, возможность ограбления весьма велика. Как мне рассказывали спутники-канадцы, они обычно не возят с собой мало-мальски значительных денежных сумм, расплачиваясь по возможности чеками. Помимо того, спальное место так тесно, что расположиться на нем можно лишь при значительных акробатических способностях.

Почти пять дней пути проходят по канадской железной дороге довольно монотонно; пустынные местности, по которым вы проезжаете, покрыты по большей части обгорелым лесом; все верхушки деревьев напоминают

бывшие в употреблении спички. Зато по вечерам вас поражает красивое зрелище лесных пожаров.

Вдоль железнодорожного пути, часто параллельно с ним, проходит колесная дорога. В то время она была совершенно заброшена и местами разрушена горными обвалами. Никому не приходило в голову ее чинить. Автомобили и открываемые ими возможности передвижения были тогда неизвестны. В вагоне-ресторане в течение всего пути мы получали неизменно бараньи котлеты и лососину. К кофе подавали консервированное масло и сгущенное молоко. Этими полусуррогатами мне пришлось довольствоваться и впоследствии, в течение моего трехлетнего пребывания в Китае. За сутки до Ванкувера монотонный пейзаж пути был прерван необыкновенно живописным переездом через Скалистые горы, среди вечных снегов. Там расположен известный курорт Банффи, пользующийся большой популярностью у европейцев и американцев, живущих на Дальнем Востоке.

Ванкувер, в конце прошлого столетия являвшийся еще небольшим рыбацким поселком, внезапно превратился в крупный морской порт. Он стал конечным пунктом недавно отстроенной канадской тихоокеанской железной дороги. Рядом с рыбацкими лачужками воздвигались большие каменные здания банков и торговых контор, прокладывались асфальтовые мостовые, ставились газовые фонари, и для путешественников была уже открыта довольно комфортабельная гостиница, где я и остановился. К моему большому ужасу, посланный мной из гостиницы на вокзал посыльный вернул бляхи и сообщил, что багажа моего еще нет. Оказывается, его в Торонто не погрузили. Положение было не из приятных. Без багажа ехать в Китай было невозможно; а ожидать три недели в Ванкувере или же ехать в Сан-Франциско, чтобы сесть на отправлявшийся оттуда в Шанхай пароход, было тоже весьма рискованно из-за недостатка нужных средств. Единственной для меня надеждой было одно обстоятельство: пароход отправлялся лишь вечером следующего дня, через час после прихода очередного поезда из Торонто; была надежда, что мои сундуки окажутся в этом поезде. Примирившись со своим положением, я на следующее утро принялся осматривать город, где, впрочем, очень скоро уже нечего было смотреть.

Между прочим, я попал на митинг «Армии спасения»¹. Там выступал новообращенный индеец, одетый в полувойennую форму этой армии, который произнес на ломаном английском языке длинный спич о подробностях своего обращения. Как этот, так и другие индейцы, встречавшиеся в Ванкувере, по своему виду необыкновенно напоминали японский и даже монгольский тип. Этим как будто бы подтверждалось весьма распространенное на тихоокеанском побережье убеждение, что много тысячелетий назад на месте Тихого океана находилась «вторая Атлантида»² и что население Западной Америки и Мексики одинаково в этническом отношении с населением Восточной Азии. Это, между прочим, доказывается и филологическими исследованиями языка коренного, исчезнувшего теперь населения Мексики и языков китайского, японского и монгольского.

Отправившись вечером на пароход, отходивший от пристани, расположенной рядом с вокзалом, я был очень рад, когда узнал, что сундуки мои прибыли и что можно спокойно продолжать путешествие.

Пароход «Императрица Японии», вернее «Эмпресс-оф-Джэпэн», только недавно отстроенный, был одним из первых великолепных пароходов Эмпресс-лайн. Эта линия была организована англичанами одновременно с постройкой канадской тихоокеанской железной дороги. Ее конечным пунктом в Азии является Гонконг. Пароходы этой линии построены так, что в случае войны могут быть обращены в военные вспомогательные суда и

¹ «Армия спасения» — реакционная религиозно-филантропическая организация, основанная в 1865 г. в Англии Бутсом. Целью «Армии спасения» является отвлечение трудящихся масс от политической борьбы путем всякого рода филантропических подачек. Организована «Армия спасения» была по военному образцу. В настоящее время подобные «Армии спасения» действуют в ряде стран Европы и Америки. — *Прим. ред.*

² Атлантида — по древнегреческому преданию некогда существовавший огромный остров в Атлантическом океане, населенный культурным и могучим племенем атлантов. По преданию, вследствие страшного землетрясения Атлантида исчезла, погрузившись в океан. Этническое сходство между рядом народов Америки и Азии дало основание для легенды о том, что между Америкой и Азией существовал материк («вторая Атлантида»), впоследствии исчезнувший. Позднее ученые стали объяснять это сходство тем, что некогда на месте Берингова пролива существовал перешеек между материками. — *Прим. ред.*

приспособлены для каперской службы¹. Из Ванкувера пароходы той же линии меньшего тоннажа поддерживают сообщение с Австралией; в то время последние отправлялись лишь раз в полтора месяца.

В море мы пробыли одиннадцать дней, и первым нашим портом была Иокогама. На пароходе поражало обилие американских миссионеров, отправлявшихся с женами и детьми в Китай. В связи с этим строго соблюдалось воскресенье, в течение которого не позволялась музыка и закрывался бар.

Как известно, при пересечении 180-го градуса долготы от острова Ферро часы на пароходе переставляются на 24 часа вперед, таким образом, после воскресенья наступал вторник. Вновь нагнать потерянный таким образом день можно, лишь совершив путешествие в обратном направлении, когда возможно прожить, наоборот, два понедельника или два вторника подряд. Между прочим, я обращался с вопросом к моим спутникам, спрашивая их, какой бывает порядок в случае двух воскресений и соблюдается ли в этом случае воскресенье все сорок восемь часов подряд. Американские миссионеры не были для меня интересны, и за весь переход мне почти не пришлось иметь с ними дело. Зато на пароходе находились два японца, с которыми я очень подружился и которых впоследствии посетил в Токио. Кроме того, я близко познакомился с двумя швейцарскими инженерами, отправлявшимися на строительство железных дорог в Китае. С ними мне пришлось затем встретиться в Пекине.

В Иокогаме пароход стоял лишь несколько часов, и я едва успел съездить в Токио, где должен был передать пакет из министерства иностранных дел нашему посланнику Хитрову, но в городе я его не застал — он жил в окрестностях. В общем в Токио мне пришлось пробыть на этот раз лишь около двух часов. Поэтому я решил непременно вернуться в Японию, что и выпол-

¹ Каперство — нападение вооруженных частновладельческих судов воюющего государства на неприятельские торговые суда и суда нейтральных стран, перевозящие контрабанду, в целях их захвата или потопления. Несмотря на запрещение Декларацией о морской войне, принятой в 1856 г. Парижским международным конгрессом, каперство, как форма морского разбоя империалистических держав, продолжало существовать. — *Прим. ред.*

нил два года спустя. Через 48 часов мы были в Шанхае, где я расстался с «Эмпресс-оф-Джэпэн». О своем переезде через Тихий океан я сохранил самое хорошее воспоминание, чему немало способствовала великолепная китайская прислуга. С нею мне пришлось затем иметь дело в течение трех лет, и я мог убедиться в незаменимых ее качествах и преданности, которой европейцы так мало от китайцев заслуживают. Пассажиры имели возможность заниматься на пароходе различными видами спорта, вплоть до крикета, в который мы играли при довольно бурной погоде. Для палубного крикета берутся мягкие шары, а вдоль палубы натягивается сетка, чтобы они не падали в море.

(1895 г.),



Через пять недель путешествия я снова вошел в круг моих соотечественников в Шанхае. В то время русские интересы в Среднем и Южном Китае были настолько незначительны, что в Шанхае не было штатного консульства, и обязанности нештатного консула выполнял местный коммерсант из русских немцев Юлий Августович Рединг. Он был довольно мрачен. Наши моряки называли его Сентябром Октябrevичем. Его обязанности заключались главным образом в помощи, оказываемой морякам при заходе в Шанхай русских военных судов, и действительно, я встретился в Шанхае впервые за границей с нашими моряками. В это время в Шанхае стоял корабль «Крейсер», переделанный из парусного в паровое судно. Рединг записал меня в местный англо-американский весьма комфортабельный клуб, в котором я обыкновенно в течение нескольких дней моего пребывания завтракал и обедал. Жил я в гостинице на французской концессии. Интересно было отметить разницу между укладом жизни на французской концессии, носившей все отличительные особенности французского провинциального, довольно облезлого города, и роскошью англо-американского сэттльмента¹ — с великолепными асфальтированными

¹ Сэттльмент — название особых кварталов в ряде городов старого Китая. Эти кварталы пользовались экстерриториальностью и заселялись преимущественно иностранцами. Сэттльменты имели собственное управление, были независимы от китайских властей и, таким образом, являлись одной из наиболее грубых форм нарушения суверенитета страны. — *Прим. ред.*

улицами, с прекрасной набережной и расставленными на всех углах полицейскими — сикхами (индусское племя) в больших красных тюрбанах.

В клубе, куда не допускались ни японцы, ни китайцы, я встретился с одним типичным представителем бывшего московского купечества. В то время русские интересы в долине Янцзыцзяна сосредоточивались исключительно в Ханькоу, где крупное чайное дело вели три московские фирмы: «Молотков, Токмаков и К°», «Панов, Чирков и К°» и «Молчанов, Печатнов и К°».

С представителем одной из этих фирм я и встретился в шанхайском клубе. Он был там завсегдатаем и широко пользовался великолепным баром, главным образом из-за шампанского. При нем в качестве собутыльника состоял весьма скромный на вид англичанин, в обязанность которого входило выслушивать мнение моего соотечественника об англичанах. В выражениях он не стеснялся, понося всяческим образом английскую нацию, ее королеву и т. д. Во всяком случае эта картина чеховской Москвы в Шанхае не была лишена своеобразной живописности.

В Шанхае я не загостился. На телефонное уведомление посланника о моем приезде — граф Кассини, как я узнал от Рединга, находился в это время в Чифу — я получил телеграмму-приглашение отправиться туда и приступить к исполнению своих обязанностей.

Как известно, в апреле в Чифу был ратифицирован Симоносекский мирный договор¹ между Японией и Китаем. Прелиминарный договор, подписанный в Японии Ли Хун-чжаном, был видоизменен под давлением трех держав, объединившихся по инициативе князя Лобано-

¹ Симоносекский договор — неравноправный для Китая договор, заключенный между Японией и Китаем 17 апреля 1895 г., завершил японо-китайскую войну 1894—1895 гг. По этому договору Китай признал независимость Кореи, уступил Японии Ляодунский полуостров, Тайвань и о-ва Пенхуледао (Пескадорские), а также обязался уплатить колоссальную контрибуцию в 200 млн. лян (около 300 млн. руб. по тогдашнему курсу). Попытка Японии заставить Китай вызвала вмешательство со стороны царской России, Германии и Франции, которые сами стремились участвовать в колониальном грабеже Китая. Под давлением трех держав, сосредоточивших значительный флот в дальневосточных водах, Япония вынуждена была возвратить Китаю Ляодунский полуостров, получив за это дополнительную контрибуцию в 30 млн. лян. — *Прим. ред.*

ва-Ростовского,— именно России, Франции и Германии. В связи с этим совместным выступлением в Чифу состоялась морская демонстрация, в которой приняли участие наша тихоокеанская эскадра и несколько французских и германских судов. В то время Чифу служило для пекинских дипломатов местом летнего пребывания, а факт ратификации Симоносекского договора, так сказать, под пушками соединенных морских сил трех держав собрал в Чифу в 1895 г. почти весь дипломатический корпус. Граф Кассини оставался там до сентября.

Прибыв в Чифу на весьма скверном пароходе и в очень плохую погоду, я остановился в маленькой гостинице «Бич-отель». В ней, между прочим, в отдельной комнате сохранялись стол, на котором был ратифицирован Симоносекский договор, и перо, которым подписал его Ли Хун-чжан. Облачившись в вицмундир (в то время было правилом в таком виде представляться новому начальству. С 1906 г. этот порядок был изменен, и мы являлись даже к министру в визитке или пиджаке), я отправился на виллу, где жил граф Кассини. Не могу не отметить маленькую подробность. Надев поверх вицмундира короткое модное в то время желтое пальто, я вынужден был заложить фалды своего вицмундира в карманы брюк. Это был как бы прообраз моей заграничной службы в течение 25 лет. Петербургский бюрократический строй уже тогда лишь отчасти регламентировал нашу заграничную службу. По своим навыкам последняя, нося космополитический характер, сплошь и рядом отодвигала на задний план обветшалый ритуал государственной службы Российской империи.

Граф Артур Павлович Кассини уже четвертый год занимал место посланника в Пекине. Его имя сделалось вскоре известным, будучи связано с концессией на постройку Китайской Восточной железной дороги и с занятием Россией Порт-Артура. Хотя название последнего ничего общего с посланником не имело, но Кассини был не прочь в шутку намекать, что название русского нового владения дано в его честь. Попал Кассини в Китай случайно, по протекции министерских доброжелателей. В то время, т. е. до 1896 г.—начала русской экспансии на Дальнем Востоке,—служба в Пекине считалась захолустным постом. Предшественниками графа Кассини были два генеральных консула в Марселе — Кумани и



Попов. Сам граф Кассини, который весьма бурно провел молодость в Петербурге, будучи кругом в долгах, должен был принять первоначально место генерального консула в Гамбурге, а затем недолгое время был министром-резидентом в том же городе. Место посланника в Китае с содержанием в 45 тысяч рублей позволяло ему постепенно расплачиваться с долгами. У Кассини была 13-летняя потом удочеренная им племянница Маргарита Кассини. При ней в роли гувернантки состояла некая мадам Шелле; на ней впоследствии Кассини женился. Сложность семейной обстановки графа Кассини меня, впрочем, не интересовала, и это очень облегчило мои первые шаги. И в дальнейшем я старался не входить в подробности взаимоотношений дамской половины нашей миссии.

Кассини был очень немолод, он представлял собой отживавший уже тогда тип дипломата горчаковской школы. Он говорил и писал почти исключительно по-французски, хорошо владел немецким языком и слегка английским. По-русски он избегал писать; за все время моего пребывания в Китае я видел лишь одну бумагу, написанную им по-русски. Посланник был весьма остроумным собеседником и гостеприимным хозяином, а обстоятельства моего приезда в Чифу привели к тому, что я стал у него постоянным гостем за завтраком и обедом. Гораздо ближе к Кассини стоял А. И. Павлов, назначенный первым секретарем одновременно со мной, а перед тем в течение трех лет бывший атташе при миссии, в действительности же личным секретарем посланника. Как я уже говорил, встреченная мной в Чифу часть миссии находилась в крайне натянутых отношениях с остальным ее составом. Это обычно создавало в Пекине весьма тяжелую атмосферу вражды в «монастырских» стенах миссии.

Как бы то ни было, посланник приложил все старания, чтобы обворожить меня и, таким образом, иметь на своей стороне весь дипломатический состав миссии, ограничивавшийся двумя секретарями. Между прочим, я еще до приезда получил китайский орден Двойного Дракона, как и другие члены миссии, по поводу возвращения Китаю Ляодунского полуострова. Делавший в то время быструю карьеру Павлов к началу японской войны был уже посланником в Корею, но затем, состоя при нашей



армии дипломатическим чиновником, попал в неприятное положение при покупке транспортных судов и снаряжения для наших войск и был уволен в отставку. Значительно позднее мне пришлось быть ему полезным в Петербурге. Дело его долго тянулось и не было еще закончено в 1908 г., когда я управлял в министерстве бюро печати. В последние годы до войны Павлов занимал место главного управляющего у графа Шереметева.

Из членов дипломатического корпуса в Чифу находилась в это время лишь жена английского посланника сэра Николаса О'Коннора, только что назначенного послом в Петербург. Несмотря на натянутые политические отношения между Англией и Россией после ратификации Симоносекского договора, леди О'Коннор поддерживала, вероятно, не без одобрения своего мужа, довольно близкие отношения с русской миссией, и, когда пришел день отъезда миссии в Дагу на нашей канонерке «Гремящий», жена английского посланника пожелала отправиться вместе с нами. Мы довезли ее до Тяньцзиня.

В случае переезда начальника миссии в пределах той страны, где он был аккредитован, вся дипломатическая канцелярия, включая шифры, сопровождала его, а потому на меня сразу легли обязанности шифровки и расшифровки телеграмм. Этим мне пришлось так или иначе заниматься не только в Пекине, но и в продолжение почти всей моей 25-летней службы. У меня остался в памяти первый случай передачи мною в расшифрованном виде какой-то секретной телеграммы посланнику в присутствии иностранного дипломата. Это меня смутило: в то время я еще не привык к обиходу дипломатической службы, при которой «государственные тайны» должны охраняться при ежедневном общении с иностранцами, порой принадлежащими к враждебному лагерю.

В Чифу в то время было лишь вице-консульство, во главе которого стоял А. Н. Островерхов. Впоследствии он сыграл некоторую роль при занятии нами Порт-Артура, а затем, будучи генеральным консулом в Ханькоу, оказывал содействие вождям первой китайской революции¹. В 1911 г. у него в консульстве собиралась дейст-

¹ Имеется в виду китайская революция 1911 г., приведшая к свержению Цинской династии и провозглашению Китая республикой.— *Прим. ред.*

вовавшая в подполье группа вожakov революции. Он поступал так на собственный страх и риск, не получив на это инструкций из Петербурга. Когда на пасху (в до-революционное время в этот день раздавались награды и делались назначения) им была получена шифрованная телеграмма, он думал, что это отставка; на самом деле оказалось, что его произвели в действительные статские советники. Петербург, после того как революция в Китае прошла для нас «благополучно», одобрил, таким образом, инициативу, проявленную Островерховым.

Из Чифу в Тяньцзинь мы прибыли, сделав пересадку в Дагу. Устье Байхэ не было в то время углублено, и, хотя «Гремящий» был плоскодонной канонерской лодкой, войти в реку он не мог. Нам пришлось перейти на паровой катер, который доставил нас на берег. Несмотря на то что в этом порту и было русское консульство, посланник останавливался обыкновенно в одном из роскошных по тому времени в Китае особняков, принадлежавших двум русским коммерсантам — Старцеву и Батуеву. Они занимались транспортированием чайных грузов, доходивших до Ханькоу морским путем, а затем отправлявшихся на Кяхту и Троицкосавск караванами. Оба наших соотечественника в течение многих лет избражали местных Монтекки и Капулетти¹, находясь в смертельной вражде. Если посланник останавливался у одного, то тем самым было неудобно посещать другого. Таким образом, остановившись на этот раз у Батуевых, мы Старцевых не видели. Как Батуев, так и Старцев были полубурятского происхождения. Они составили себе большие состояния. Между прочим, Старцев приобрел незадолго до войны целый остров вблизи Владивостока.

В конце XIX столетия Тяньцзинь играл большую роль. Он как бы являлся окном монархического Китая в Европу. Чжилийский вице-король имел свое местопребывание в Тяньцзине; до начала японо-китайской войны это место занимал самый влиятельный в то время госу-

¹ Монтекки и Капулетти — два враждовавших рода в Вероне, о которых упоминал еще Данте. В трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта» влюбленные, принадлежавшие к этим родам, гибнут, будучи не в силах преодолеть вражду между их семьями.— *Прим. ред.*

дарственный деятель в Китае Ли Хун-чжан. Вокруг него действовал ряд иностранных агентов, снабжавших Китай оружием и снаряжением. Большинство агентов были немцы. Между ними выделялись агент Круппа Мандель, комиссар китайских морских таможен в Тяньцзине Детринг и зять последнего фон Ханнекен, занимавший ответственное место морского инструктора в китайском военном флоте. К этой компании весьма близко стоял и генеральный германский консул в Тяньцзине граф Секкендорф. После первых поражений китайского флота, а затем и армии Ли Хун-чжан был отстранен от должности, впал в немилость, так как обнаружались многомиллионные растраты. Проданное иностранными фирмами вооружение оказалось никуда не годным. Тем не менее в критический момент богдыхан снова обратился к Ли Хун-чжану. Как говорилось выше, ему было поручено подписать мирный договор с Японией. Во время переговоров на Ли Хун-чжана было произведено покушение. Пуля, застрявшая под правым глазом, не была извлечена до самой его смерти.

Из Тяньцзиня мы продолжали путь по реке Байхэ в китайских джонках, которые тянули бечевой китайские кули. Подобное путешествие вверх по крайне извилистой реке занимало свыше сорока восьми часов, причем достигаемый по реке пункт Тунчжоу отстоит от Пекина еще на 20 верст. Последний переход требует почти полдня (с проведением железной дороги расстояние Пекин — Тяньцзинь покрывается за четыре часа). Путешествие в джонках осложнялось еще тем, что в случае дождя, который по китайскому поверию считается нечистым, кули скрываются под циновками и больше не работают. Из Тунчжоу в Пекин посланник и его дамы продолжали путь в носилках (зеленых, право на которые принадлежало лишь высшим сановникам), а мы с Павловым отправились верхом, для чего я впервые и применил седло, купленное в Лондоне. Еще до нашего отъезда из Тунчжоу вперед был выслан китайский конюх (мафу) для предупреждения властей о прибытии посланника и с просьбой задержать закрытие ворот. С заходом солнца городские ворота закрывались, и всякое движение в город или из города прекращалось.





Пекин конца XIX столетия в отличие от портовых городов с иностранными концессиями сохранил все признаки настоящего китайского города. Улицы были невероятно грязны. Во избежание пыли они поливались помоями, а освещались масленками, заключенными в бумажные фонари. Передвигаться можно было лишь в носилках, верхом или на двухколесных безрессорных тележках, запряженных мулами,— настоящих орудиях пытки. Я избрал себе за правило второй способ передвижения, отправляясь верхом даже на званые обеды в более отдаленные миссии. Большинство иностранных миссий, впрочем, сосредоточено было в южной части маньчжурского города, где они расположены и теперь, но совершенно перестроены после так называемого боксерского восстания 1900 г.¹ Тогда же были проложены мостовые, построены большие гостиницы, проведено электрическое освещение и появились рикши по примеру Японии. В мое время этот способ передвижения был для Пекина совершенно непригоден. В Пекине к концу прошлого века европейцев насчитывалось до 400 человек. Из них примерно 150 человек входили в состав дипломатического корпуса и центрального управления китайских

¹ Так неправильно называется Ихэтуаньское народное антиимпериалистическое восстание в Китае в 1899—1901 гг. Восстание было жестоко подавлено совместными усилиями Германии, Японии, Италии, Англии, США, Франции, царской России и Австро-Венгрии, которые направили в Китай свыше 60 тыс. солдат.— *Прим. ред.*

морских таможен. В это общество были вхожи и несколько иностранных профессоров университета, а вскоре затем и приглашенные иностранные советники китайских министерств и инженеры, служившие на отданных в концессию железных дорогах. Эта немногочисленная группа и образовывала весьма замкнутый дипломатический круг, между членами которого поддерживались близкие отношения. С китайскими сановниками и чиновниками отношения были исключительно деловые. Равным образом мы не имели никакой связи с миссионерами. Исключение среди последних составляли для нас немногочисленные члены нашей православной духовной миссии и католический епископ Фавье¹, игравший значительную роль среди европейцев. С ним русская миссия поддерживала отношения ввиду его близости к французской миссии.

Помещение русской миссии представляло собой четырехугольник, обнесенный высокой стеной с китайскими воротами и возвышавшейся за ними деревянной колоннадой, крытой красным лаком и напоминавшей вход в храм. В стенах миссии были расположены отдельные одноэтажные дома, кое-как переделанные из китайских. Направо от ворот был расположен мой домик из пяти комнат. Так как я предусмотрительно по совету посланника и Павлова купил в Тяньцзине на выгодных условиях в кредит мебель, то мог в первую же ночь переночевать у себя дома. Этот домик имел и небольшой сад с маленьким бассейном. Садик я со временем устроил на китайский лад, приведя, между прочим, в порядок бассейн и напустив в него по китайскому обычаю золотых рыбок.

В миссии нас встретили остальные ее члены. Это были долголетний первый драгоман миссии Павел Сергеевич Попов (известный китаевед, будущий профессор Петербургского университета по кафедре китайского языка), исполнявший должность второго драгомана Н. Ф. Колесов, доктор миссии В. В. Корсаков, студенты миссии — Е. Ф. Штейн (будущий поверенный в делах, а затем посланник в Буэнос-Айресе), В. Ф. Гроссе (будущий генеральный консул в Шанхае) и П. С. Рождест-

¹ Он принадлежал к ордену лазаристов и носил, как и все члены этого ордена, китайское платье.— *Прим. авт.*

венский (будущий генеральный консул в Сан-Франциско).

Помимо них, при миссии числился Гамбоев, монгол по происхождению, начальник почтовой конторы. По Петербургскому договору 1881 г. вся официальная переписка миссии шла сухопутным путем через Монголию. Тем же путем отправлялись и несрочные телеграммы, сдаваемые на телеграф в Троицкосавске¹. Как Попов, так и Гамбоев — большие друзья и давние члены миссии в Пекине — находились в ярко выраженной оппозиции к Кассини и вместе с большинством остальных членов миссии составляли особый кружок, чуждавшийся иностранцев и соблюдавший образ жизни, подобный тому, какой был принят тогдашним сибирским чиновничеством.

Военным агентом был в то время весьма блестящий полковник генерального штаба, бывший гвардейский улан К. И. Вогак (швед по происхождению). Будучи одновременно военным агентом в Японии и в Китае, он избрал своим местопребыванием Шанхай и лишь изредка появлялся в Пекине. Он пользовался большой популярностью среди иностранного населения концессии, вел весьма широкий образ жизни, а в политическом отношении проводил свою собственную линию, часто расходясь с графом Кассини. Впоследствии он сыграл значительную, но довольно сомнительную роль во время авантюры Безобразова, Абазы, Вонлярлярского и др. — авантюры, способствовавшей объявлению нам войны Японией в 1904 г.² Впоследствии мне пришлось неоднократно встречаться с ним в Петербурге.

¹ Вскоре по примеру других держав мы основали наши почтовые конторы в Тяньцзине, Чифу и Шанхае. Помнится, что мы в миссии составили и первую для них техническую инструкцию. Она была, впрочем, раскритикована петербургским почтовым ведомством, которое ее все же утвердило. Дипломатам, в особенности в отдаленных местностях, не приходится отказываться ни от какой работы. — *Прим. авт.*

² Группа, возглавляемая А. М. Безобразовым, являлась инициатором авантюристской политики царизма на Дальнем Востоке. В 90-х годах Безобразов в ряде писем к Николаю II выдвигал проекты экономического захвата Кореи и Южной Маньчжурии. Письма Безобразова об огромных барышах, которые сулила эксплуатация лесных и минеральных богатств Китая и Маньчжурии, расположили к нему Николая II, и он был приближен к двору, а в мае 1903 г. назначен «статс-секретарем его величества». С этого

Вечером, в день нашего приезда в Пекин, я впервые встретился с неразлучным «дипломатическим» другом Кассини французским посланником Жераром. Начиная с 1894 г., когда Жерар приехал в Пекин, вскоре после окончательного оформления франко-русского союза¹, этот весьма способный и необыкновенно трудолюбивый французский дипломат приложил все старания, чтобы насколько возможно теснее связать французскую политику в Китае с русской. Жерар был холостым, что ему облегчило установление весьма дружеских отношений с графом Кассини в его несколько своеобразной семейной обстановке. Не было дня, чтобы вечером или к обеду Жерар не появлялся бы в русской миссии. Это было тем понятнее, что в 1894—1898 гг. в Китае велась объединенная франко-русская политика, направленная против англичан. В своих воспоминаниях «Моя миссия в Китае» Жерар дает весьма обстоятельную картину этой политики, не касаясь, впрочем, некоторых небезынтересных личных подробностей своей деятельности.

Надо, впрочем, оговориться, что в одном отношении Жерар остался неосведомленным: граф Кассини не сообщил ему текста секретного Московского договора о Китайской Восточной железной дороге. Из мемуаров Ли Хун-чжана выяснилось, что этот текст стал известен Жерару лишь «случайно»: он ознакомился с ним из записной книжки, «забытой» Ли Хун-чжаном на столе, и записал его в то время, как Ли Хун-чжан отлучился из комнаты. Вообще Жерар не пользовался безукоризненной репутацией в сфере политической деятельности. Между прочим, в молодости, будучи чтецом у германской императрицы, жены Фридриха III, он выпустил под псевдонимом «Граф Василий» книгу с рядом интимных подробностей о германском дворе, для чего воспользовался положением домашнего человека у импе-

времени политика России на Дальнем Востоке фактически определялась группой Безобразова и получила название «безобразовщины». — *Прим. ред.*

¹ В 1893 г. Россия ратифицировала заключенную в 1892 г. военную конвенцию с Францией, предусматривавшую немедленную одновременную мобилизацию в России и Франции в случае мобилизации одной из держав Тройственного союза (Германия, Австро-Венгрия, Италия). Этой конвенции предшествовали длительные переговоры и, в частности, консультативный пакт между Россией и Францией, заключенный в 1891 г. — *Прим. ред.*

ратрицы. В европейском обществе в Пекине Жерар не пользовался популярностью; его близость к русской миссии иногда вызывала лишние для него осложнения. Как бы то ни было, способности Жерара были оценены парижским министерством иностранных дел. Вскоре после Китая он был назначен первым французским послом в Японии. Дальше он так и не пошел. Свою карьеру Жерар окончил в Брюсселе, где французы сохранили за ним звание посла, хотя в действительности у них была там лишь миссия.

Отношения между русской и французской миссиями были настолько близки, что у нас в шутку утверждали, что в национальные праздники предполагается совместное богослужение нашего архимандрита Амфилохия с католическим епископом Фавье. Надо заметить, что как православная духовная миссия в политическом отношении служила в то время продолжением дипломатической, так и католическая миссия работала совместно с французским представительством. Об обстоятельствах отъезда Жерара из Пекина мне придется говорить ниже.

Вместе с французским посланником навсегда уехали русской миссии были нидерландский и бельгийский посланники: Кнобель и Лумье. Относительно них мы шутили, говоря, что если русская и французская миссии — сестры, то нидерландская и бельгийская, конечно, — их племянницы. Эта группировка имела, впрочем, значение и в общем направлении политики держав в Китае. Энергичной поддержкой русской и французской миссий объясняется последующее получение бельгийской компанией концессии на постройку Пекин-Ханькоуской железной дороги.

Другим дипломатическим центром в Пекине была английская миссия и близкое ей Управление китайских таможен, состоявшее почти сплошь из англичан; они поддерживали лишь официальные отношения с русской миссией. Одним из центров, где собирались главным образом англичане, был Пекинский клуб (в то время помещавшийся в весьма небольшом домике из четырех комнат). Этот клуб устраивал два раза в год скачки, имел библиотеку, бар и комнату для карточной игры. Дипломаты из франко-русской группы ко времени моего приезда занимали в отношении клуба отрицательную позицию и мало его посещали.

Упомянув о клубе, я не могу не остановиться вскользь на других европейских начинаниях в Пекине. По соседству с клубом помещалась, тоже в небольшом домике, единственная европейская гостиница, содержавшаяся швейцарцем Талье. Он же имел магазин, торговавший всем, чем угодно. Такой же магазин содержался датчанином Кирульфом, а единственным банком до последовавшего вскоре открытия пекинского отделения Русско-Китайского банка было отделение Гонконг-Шанхайского банка, состоявшее из двух служащих-англичан и помещавшееся в двух комнатах.

Как я уже говорил, с американскими и католическими духовными миссиями у дипломатов общения почти не было. Что же касается православной духовной миссии, учрежденной, как известно, после взятия китайцами крепости Альбазина, в 80-х годах XVII века¹, то мы поддерживали с ней довольно тесные отношения, и она стояла несколько особняком от других духовных миссий, преследовавших цели религиозной пропаганды. В мое время наши монахи не обращали китайцев в православную веру, а довольствовались совершением богослужения для небольшой группы китайцев, отдаленных потомков уведенных в плен китайцами казаков альбазинского гарнизона. После Нерчинского договора 1689 г.² китайцы разрешили уведенным в плен казакам, образовавшим особый отряд телохранителей императора Кан Си, свободное исповедование их религий. Когда умер попавший с ними в плен монах, Россия говорила для себя право посылать ему преемников, а китайское правительство впоследствии предоставило русским монахам два подворья в Пекине: северное и южное (Бегуан и Югуан). В последнем и поместилась русская дипломатическая миссия после ее учреждения

¹ В 1686 г. маньчжурские отряды напали на построенную в 1665 г. русскими отрядами крепость Альбазин на Амуре и увели с собой несколько русских семей. Петр I под предлогом заботы «о душах» 45 русских семей, уведенных маньчжурами, добился в 1715 г. от китайского императора Кан Си разрешения учредить православную духовную миссию в Пекине.— *Прим. ред.*

² Нерчинский договор определял государственную границу между Россией и Китаем и регулировал торговые и политические отношения между обеими странами. Это был первый договор, заключенный Китаем как с Россией, так и вообще с европейскими странами.— *Прим. ред.*

графом Игнатьевым в 1860 г. согласно Пекинскому договору. Когда я приехал в Китай, настоятелем духовной миссии был архимандрит Анфилохий, бывший духовник герцогини Эдинбургской, русской великой княгини. Он был удален за какие-то прегрешения против нравственности, в которых не был замешан женский пол. Кроме него, в миссии было два иеромонаха, из которых один, священник Николай, был в свое время капитаном второго ранга Дробязгиным.

Из происшествий, вызвавших некоторую сенсацию в Пекине, нельзя не упомянуть о бегстве из духовной миссии молодого монаха, в миру Сипягина. Он, будучи весьма красивым и привлекательным молодым человеком с университетским образованием, стал часто посещать дипломатическую миссию и, наконец, исчез вместе с воспитательницей детей моего предшественника Коростовцева. Это не помешало Сипягину по протекции графа Ламздорфа стать затем русским консулом в Яссах.

Через несколько дней после моего приезда в Пекин я вместе с миссией был приглашен на «скаковый обед», данный по случаю окончания скакового сезона английским посланником сэром Николасом О'Коннором (он вскоре выехал в Петербург, куда был назначен послом). На этом обеде я перезнакомился с большинством членов английской колонии, которая была весьма многочисленна. Помимо дипломатического состава миссии, в нее входил весьма многочисленный драгоманат. Наряду с двумя драгоманами, по-английски — «китайскими секретарями» (первым драгоманом был в мое время Джордан, впоследствии сэр Джон Джордан, долготелый посланник в Пекине), при миссии числилось от 10 до 12 студентов, изучавших одновременно китайский язык и дипломатическую, вернее, консульскую службу. Многие из них стали затем известными китаеоведами, как например Джайлс, Бартон и др. Первый из них теперь генеральный консул в Нанкине, а второй — в Шанхае. Джайлс известен как автор лучшего англо-китайского словаря.

Состав Управления китайских морских таможен был также весьма многочислен. В то время в числе молодых причисленных находился и ушедший недавно в отставку главный инспектор морских таможен сэр Френсис Эглен. Китайским секретарем таможен, иначе говоря, пер-

вым драгоманом был в виде исключения русский, фон Грот. Это была достопримечательная фигура. Он пользовался в Пекине необыкновенной популярностью и авторитетом как знаток китайского языка и быта. Среди европейцев он представлял исключение, часто проводя целые недели вне Пекина, в обществе одних китайцев, на которых имел, по-видимому, большое влияние. Занимался он, впрочем, как и большинство европейцев, долго проживших в Китае, помимо своих прямых обязанностей, скупкой и продажей всякого рода китайских редкостей, имел своего рода монополию одаривать всех европейских дам более или менее дорогими подарками, которые от него охотно принимались. Впоследствии Грот после оставления службы в таможнях основал общество «Монголор» по разработке золотых приисков в Монголии.

Грот много лет состоял секретарем клуба и принимал деятельное участие в скачках, составлявших главное развлечение европейцев в Пекине.

Главным инспектором морских таможен в то время был известный сэр Роберт Харт, занимавший эту должность в течение 50 лет. С его именем связано развитие этого необыкновенно мощного аппарата английского влияния в Китае. Харт во время моего пребывания был своего рода достопримечательностью Пекина. Рассказы о его странностях постоянно ходили по городу. В таможнях он распоряжался почти самодержавно, сделав из них государство в государстве, своего рода английскую колонию, распространявшуюся на все порты Китая. У китайцев он пользовался большим влиянием, шекотливые переговоры велись английской миссией обыкновенно при его посредничестве. Оригинальность его была безгранична. Он был одновременно и щедр и скуп. Он как-то внезапно решил завести пианино для всех своих женатых служащих. Было сразу куплено 200 штук. В то же время потолки в его доме были покрыты плесенью, а ножи так стары, что гнулись при употреблении, как ленты. Будучи поклонником женщин, он всю жизнь носил светло-голубые галстуки, сделанные из платя одной дамы его сердца. Скучая по Европе, которую он не видел по десяткам лет, он утверждал, например, что больше всего мечтает попасть когда-либо в европейский цирк.

Из моих впечатлений от первого большого дипломатического приема я сохранил в памяти лишь два обстоя-



тельства: меня поразила товарищеская откровенность, с которой со мной заговорил после обеда назначенный в Петербург английский посол. Видя во мне молодого человека, только что попавшего — и, быть может, надолго — в Пекин, посол весьма игриво намекнул на тот монашеский образ жизни, к которому приговорены иностранцы в Пекине, а также на те опасности, которые сопряжены для молодых людей с попытками более близкого знакомства с женским населением китайской столицы. Другим запомнившимся мне эпизодом того же обеда было пожелание, наивно выраженное, когда мы расходились, только что прибывшим из Петербурга нидерландским посланником, поехать куда-нибудь совместно в ресторан. Ни у кого из нас не хватило духа сразу объяснить ему без прикрас, что в Пекине ничего подобного для европейцев не существует, что, за исключением трех комнат клуба, закрывавшегося в 11 часов вечера, нет ничего другого и что нам остается лишь возвращаться восвояси.

Из сделанного вскользь очерка Пекина конца XIX века ясно, что для молодых людей, имеющих представление о дипломатической службе как о блестящей жизни в столицах мира, это пребывание имело мало привлекательного. Будучи к этому подготовлен, я твердо решил, что пробуду в Китае те три года, после которых я имел право на отпуск. Взвесив все это, я сразу принялся за целесообразную организацию своей жизни, насколько позволяла обстановка. Будучи вынужден, как и другие дипломаты, ограничить свою жизнь «монастырскими стенами миссии», я постарался как можно комфортабельнее обставить свою небольшую квартиру, принялся за уроки китайского языка и начал подробно знакомиться со своими служебными обязанностями. Последние в течение моего пребывания в Пекине отнимали у меня время совершенно неравномерно. Впоследствии во время предварительных переговоров по вопросу о занятии нами Порт-Артура мне иногда приходилось просиживать в канцелярии по 12 и более часов в сутки. Первая зима, проведенная мной в Пекине, была, наоборот, с точки зрения работы весьма легкой, так как наша дипломатическая деятельность в Китае лишь впоследствии стала более интенсивной. Кроме того, мой коллега, первый секретарь Павлов, весьма ревниво относился к са-

мой, конечно, интересной редакционной работе и писал один все направляемые в Петербург политические донесения. Мои обязанности по преимуществу ограничивались перепиской с нашими консулами в Китае (их было в то время десять), шифровкой и расшифровкой телеграмм и текущей канцелярской работой, в которой мне помогали два или три студента миссии. Кроме того, я ведал нашей небольшой командой забайкальских казаков; каждое утро ко мне являлся с докладом урядник. (Наши казаки вооружены не были. Вообще в это время настоящих конвоев при миссии не было. Например, в английской миссии военную форму носил лишь один «констебль». Он же исполнял обязанности портье.) Надо сказать, что наши казаки ни разу не причинили мне никакой заботы и вели себя примерно, свыкшись вполне с китайской жизнью, может быть, благодаря тому, что они происходили из Забайкалья. Некоторые из них были полубурятами. А в Пекине было немало монголов. Что касается изучения Китая, то я имел в своем распоряжении лишь несколько английских книг, которые внимательно прочел, но этим и ограничился: я не готовился стать ученым-китаеведом, а лишь собирался добросовестно отбыть свой трехлетний дипломатический срок в Пекине. Кроме того, я пригласил учителя-китайца и в течение одной зимы научился довольно свободно объясняться на этом языке. В виде развлечения я стал постепенно увлекаться верховой ездой и скоро подобрал себе трех верховых лошадей из числа лучших в Пекине. Жизнь в то время там была очень дешева. Содержание каждой лошади обходилось в месяц в 9 мексиканских долларов, иначе говоря, в 10 рублей. Жалованье конюха было 10 рублей. Своему слуге я платил 14 рублей, столько же повару, а двум младшим слугам — по 5 рублей без продовольствия.

Мне придется говорить дальше о политических событиях, свидетелем которых я стал в той или другой мере, но пока я остановлюсь на некоторых спортивных переживаниях, которые во многом скрасили мое пребывание в Пекине. Как я уже говорил, два раза в год, весной и осенью, в Пекине происходили скачки, на которых принимали участие почти все молодые члены иностранных представительств. Почти каждая миссия имела свою скаковую конюшню. Первое место занимали при этом

англичане; их конюшня была самая многочисленная, и многие годы почти все призы оставались в их руках. Через год после моего приезда ко мне обратился один из русских служащих в китайских морских таможнях большой спортсмен — Фон Таннер, владевший скаковой конюшней, с предложением принять участие в его спортивном предприятии. Это громкое название не вполне соответствовало действительности. Все скаковые конюшни состояли не из кровных скакунов, а из обыкновенных небольших монгольских лошадей, которые лишь тренировались на европейский лад. Я согласился, но с оговоркой, что скакать будет он, а я, быть может, приму участие лишь в одной скачке. За три дня до скачек меня увлекли двое соотечественников-туристов, и я поехал с ними к Великой стене. Эта экскурсия заняла три дня, и я вернулся лишь поздно вечером, накануне скачек. Дома я нашел записку, в которой Таннер сообщал, что он вывихнул себе ногу и скакать не может; он умолял скакать вместо него, так как, если я не буду участвовать в скачках, наша конюшня останется неиспользованной, и мы не вернем даже части расходов. В нашей конюшне было пять лошадей, мне предстояло в течение двух дней участвовать в 14 скачках, а между тем я никогда в них участия не принимал. Тем не менее я пошел на риск окончательно осрамиться и на следующий день был на скаковом кругу, облаченный в жокейскую куртку, и начал свои на первых порах довольно мучительные упражнения. Первый день мне не везло. Мне удалось выиграть лишь седьмую, последнюю скачку для жокеев-любителей, не выигравших еще ни одной. На второй день я был счастливее, выиграв три скачки, из которых последнюю — чемпионат на приз, предоставленный китайским министерством иностранных дел. Этот приз уже многие годы был монополией английской конюшни, самой многочисленной по своему составу. Сначала англичане и в том числе новый английский посланник, сменивший О'Коннора, сэр Клод Макдональд, входивший в жюри скачек, вздумали было запротестовать, ссылаясь на то, что я задел на финише своего соседа. Но потом они признали мой выигрыш и даже устроили мне шумную оvation, скрывая этим свое недовольство. Как это ни странно, но мой выигрыш на скачках настолько закрепил мое положение среди англичан,



в большинстве своем спортсменов, что через два-три месяца я был избран старшиной клуба вместе с секретарем германской миссии и старшим секретарем Управления китайских морских таможен. Из русской миссии в течение целого ряда лет никого не было в комитете клуба. Между прочим, мой неожиданный успех на скачках был описан в петербургском «Новом времени». Оказалось, что доктор нашей миссии Корсаков был корреспондентом этой газеты.

2

Зимой 1896 г. в Пекине начались предварительные переговоры об отправлении китайского чрезвычайного посольства в Москву на коронацию Николая II. Этому посольству придавалось большое значение, так как китайское правительство выбором выдающегося сановника в чрезвычайные послы должно было подчеркнуть свою благодарность России за оказанную ею помощь при заключении Симоносекского мира и возвращение Китаю Ляодунского полуострова. Переговоры были весьма трудны и продолжительны. В конце концов графу Кассини удалось одержать большой успех. Послом был назначен сам Ли Хун-чжан, игравший, как известно, в то время главную роль в Пекине. Подобное назначение было весьма неприятно англичанам, но недавно назначенному послу сэру Клоду Макдональду (кстати сказать, весьма неопытному дипломату, бывшему офицеру, попавшему в Китай с губернаторского места в одной из африканских колоний) не удалось помешать этому назначению.

Как полагается, Ли Хун-чжан отправился в Россию с весьма многочисленной свитой. По китайскому обычаю с ним везли и гроб на случай смерти для перевозки тела на родину. Перед отъездом ему был дан большой обед нашей миссией. Кассини, весьма неопытный оратор, пронося речь, сильно волновался. К тому же она была вызвана обстоятельствами, которые должны были сыграть большую роль в его карьере. Эту речь перевел на китайский язык первый драгоман П. С. Попов. Не могу не отметить, что наша старая школа китаеведов (к которой принадлежал и Попов) обращала большое внимание на китайскую письменность, но не занималась

изучением китайского произношения. Поэтому наши драгоманы старшего поколения говорили по-китайски с таким русским акцентом, что китайцы их часто не понимали. Выслушав Попова, Ли Хун-чжан протянул руку за бумажкой, по которой Попов читал свой перевод, доказывая тем самым, что слова Попова остались для него непонятными.

Всем известны последствия для Китая и для России пребывания Ли Хун-чжана в Москве: там был заключен секретный договор о Китайской Восточной железной дороге. Это было началом политики, приведшей постепенно к русско-японской войне, а еще раньше — к боксерскому восстанию в Китае, преддверию китайской революции. Подписавший Московский договор с русской стороны вместе с С. Ю. Витте министр иностранных дел князь Лобанов-Ростовский ненадолго пережил свой блестящий успех — так по крайней мере рассматривался в то время этот договор; Лобанов скорострительно умер в царском поезде, через несколько дней после коронации, при поездке Николая II в Киев.

Русские успехи в Пекине после Московского договора продолжали неуклонно расти, и вместе с тем усиливалась вражда между Россией и Англией. Англия готовилась в то время к захвату Южной Африки, что привело к бурской войне¹, а потому до поры до времени, по крайней мере внешне, мирилась с создавшимся в Китае для нее невыгодным положением. В связи с этим и отношения русской миссии с английской становились все более натянутыми. Мне помнится негодование графа Кассини по поводу причины посещения миссии сэром Клодом Макдональдом на следующий день после коронации Николая II. Английский посол выразил не поздравление по случаю коронации, а соболезнование по поводу ходынской катастрофы².

¹ Имеется в виду англо-бурская война 1899—1902 гг. — захватническая война Англии против двух южноафриканских независимых республик — Трансвааля и Оранжевой. Война закончилась поражением Трансвааля и Оранжевой и превращением их в английские колонии. — *Прим. ред.*

² Ходынская катастрофа — катастрофа, происшедшая 18 мая 1896 г. на Ходынском поле в Москве во время празднеств по случаю коронации Николая II. Устроители празднеств не огородили ямы и рвы, окружавшие и перерезывавшие Ходынское поле. На поле собралось несколько сот тысяч человек. Начавшаяся давка

Зато отношения наши с французской и бельгийской миссиями становились все теснее. Параллельно с получением нами концессии на постройку Китайской Восточной железной дороги Франция добилась железнодорожной концессии в Юньнане, а Бельгия готовила для себя получение концессии на постройку Пекин-Ханькоуской магистрали. Последняя линия согласно строившимся тогда на основе франко-русского союза широким планам «мирного внедрения» в Китай должна была связать будущую русскую железнодорожную сеть в Северном Китае с французской сетью в Южном. Эти планы стали приводиться в исполнение лишь в следующем году. 1896 год закончился для русской политики в Китае проведением в жизнь широко задуманного графом Витте плана — плана получения концессии на постройку Китайской Восточной железной дороги. Условием концессии было почти полное сохранение линии в русских руках, несмотря на прохождение ее по китайской территории.

Граф Кассини принял в Пекине непосредственное участие в выполнении первой части русского плана — получении выхода к незамерзающему морю через китайскую территорию. Дождавшись в сентябре 1896 г. ратификации пекинским правительством Московского секретного договора, он уехал в отпуск через Монголию и Сибирь, оставив поверенным в делах в Пекине первого секретаря А. И. Павлова.

В развернувшихся в 1897—1898 гг. событиях в Китае граф Кассини непосредственного участия больше не принимал, но был своего рода советником при преемнике князя Лобанова графе Муравьеве в Петербурге, а выполнение петербургских планов в Пекине выпало на долю Павлова.

Граф Кассини вскоре был назначен первым русским послом в Вашингтон (как известно, после испано-американской войны¹ миссии большинства великих держав в Вашингтоне были возведены в посольства). Затем

в толпе, зажатой между праздничными балаганами и ямами, привела к тому, что несколько тысяч человек было задушено и затоптано; несколько десятков тысяч человек было ранено.— *Прим. ред.*

¹ Имеется в виду испано-американская война 1898 г.— *Прим. ред.*

Кассини был назначен послом в Мадрид и, наконец, в 1909 г. уволен в отставку, причем ему было выдано из царских средств 30 тысяч рублей на уплату долгов. В 1912 г. по пути в Мадрид я в последний раз виделся с Кассини, скромно жившим в одном из предместий Парижа, женившимся на гувернантке своей племянницы и почти совершенно ослепшим. Несмотря на физическую усталость и болезнь, Кассини оставался и тогда необыкновенно остроумным и блестящим собеседником. Он живо отзывался, хотя и поверхностно, на международные события и пересыпал свою речь яркими воспоминаниями о своей прежней деятельности. Последнее письмо, написанное, впрочем, не его рукой, я получил от него в 1916 г. В этом письме он спрашивал меня о подробностях смерти его преемника в Мадриде, барона Будберга. В том, что он пережил своего преемника, старый дипломат нашел как бы некое удовлетворение. Увольнение послов в отставку являлось для них всегда трагедией. По остроумному французскому замечанию, «послы редко умирают и никогда не подают в отставку».

По всем своим свойствам Кассини был своеобразным типом итальянского кондотьера¹. С Россией он ничего общего не имел, но, подобно целому ряду таких же, как он, иностранцев на русской службе, оказал русскому правительству немало услуг. Впрочем, Кассини и ему подобные в условиях бывшей ультракосмополитической европейской дипломатической службы могли бы с неменьшим успехом представлять любую страну. Нельзя, впрочем, не отметить, что при всей своей ловкости Кассини иногда пасовал перед англосаксонской деловой прямолинейностью и в особенности перед американской грубоватостью. Я никогда не забуду возмущения Кассини, когда драгоман американской миссии, будучи слегка навеселе, ласково похлопал Кассини по плечу, не желая считаться с выработанными годами дипломатическими обычаями посланника. Этим объяснялась и неохота, с которой Кассини говорил по-английски, хотя он и владел этим языком довольно хорошо. Принимая англичан или американцев, он обыкновенно обращался к кому-нибудь из нас с просьбой служить ему переводчиком.



¹ Кондотьерами назывались предводители отрядов военных наемников в Италии в XIV—XV вв.— *Прим. ред.*

Мне пришлось однажды в качестве такового присутствовать при довольно курьезном разговоре. Два американских дельца, прослышав о получении нами концессии на Китайскую Восточную железную дорогу, просили Кассини передать русскому правительству их предложение переуступить им концессию за соответствующее количество миллионов долларов. Что касается английского языка, то Кассини упорно вел борьбу за сохранение среди пекинских дипломатов французского языка как дипломатического. На одном парадном обеде у китайцев после речи, произнесенной американским посланником, деканом дипломатического корпуса, по-английски, Кассини обратился через стол к Попову (кстати сказать, почти не владевшему английским языком) с просьбой перевести ему слова нашего декана. Примеру русского коллеги немедленно последовал французский посланник, обратившийся с такой же просьбой к сидевшему против него драгоману французской миссии. Вскоре после отъезда Кассини приехал вновь назначенный директор пекинского отделения Русско-Китайского банка Д. Д. Покотилов. Он совмещал с этой должностью положение агента министерства финансов. С тех пор началась у нас двойная политика министерства иностранных дел и министерства финансов в Пекине в лице Павлова и Покотилова. Под знаком этого параллелизма и прошла последующая эпоха — начало постройки Китайской Восточной железной дороги и занятие нами Порт-Артура и Дальнего. Между прочим, первая телеграмма, полученная миссией в Пекине, об учреждении Русско-Китайского банка гласила: «Министерство финансов решило основать Русско-Китайский банк, имеющий носить, однако, частный характер». В действительности как Русско-Китайский банк, так и общество Китайской Восточной железной дороги были образованы на тех же принципах, что и английская Южноафриканская компания известного Сесилия Родса. И в том и в другом случае частным компаниям давались привилегии государственного характера, превращающие их в своего рода правительственные организации со многими внешними признаками суверенности. Для привлечения китайских симпатий флаги как Русско-Китайского банка, который был поднят впервые в Пекине, так и Китайской Восточной железной дороги состояли из сочетания

русского трехцветного флага с китайским императорским (дракон на желтом поле) штандартом.

Вскоре после возвращения Ли Хун-чжана в Пекин прибыла и первая комиссия инженеров, выехавших затем в Маньчжурию для производства разведок по постройке новой линии. Во главе комиссии стояли инженеры Кербедзь (известный строитель варшавского моста) и Югович (впоследствии первый управляющий Китайской Восточной железной дорогой). У меня в памяти остался немногочисленный обед у Ли Хун-чжана, на который были приглашены Югович, Кербедзь, Павлов, Покотилов и я. В доме Ли Хун-чжана можно было наблюдать своеобразное сочетание китайского с европейским, причем европейская меблировка поражала отсутствием вкуса. На стенах были развешаны сувениры, привезенные им из европейского путешествия. В центре красовались сделанные из целлулоида, очевидно в Германии, три обрамленных вместе барельефа, изображающие посередине Ли Хун-чжана, справа — Бисмарка и слева — Гладстона. Такого рода прозрачный комплимент был сделан Ли Хун-чжану, вероятно, каким-нибудь ловким немецким промышленником, стремившимся получить ту или иную концессию в Китае.

Однако период русско-китайского медового месяца, к которому, как указано выше, были до известной степени приобщены французы и бельгийцы, оказался не очень продолжительным. Помимо англичан, в Китае начала проявлять лихорадочную деятельность Германия. Приняв еще в 1895 г. участие в военно-морской демонстрации у Чифу, немцы не видели возможности полностью использовать это выступление в своих целях. Еще в конце 1895 г. из Пекина был отозван германский посланник барон Шенк фон Швенцбург. В Берлине его нашли недостаточно деятельным. Вскоре его заменил барон Гейкинг, женатый на известной германской писательнице Елизавете Гейкинг, умной и честолюбивой женщине, желавшей во что бы то ни стало сделать карьеру для своего мужа¹. Еще раньше в Пекин в качестве директора Германского банка был прислан бывший гер-

¹ Раз кто-то из коллег заметил, что у баронессы великолепный почерк и она с успехом могла бы переписывать депеши своего мужа. Другой ему немедленно ответил: «Она ограничивается тем, что их пишет». — *Прим. авт.*

манский посланник в Китае фон Брандт. Германия стремилась во что бы то ни стало найти в Китае те пункты, которые она могла бы превратить в свои колонии. И она была крайне обижена, что после совместного выступления с Францией и Россией обе державы и не думали приобщать ее к своим успехам в «Поднебесной империи». Напряженная атмосфера вокруг нас постепенно сгушалась. Не только англичане и японцы выжидали удобного момента для перехода в наступление против нас, но и немцы начинали проявлять большее беспокойство, вызываемое опасением остаться ни при чем при надвигающемся дележе добычи. Весь 1897 год прошел в Пекине под знаком ожидания выступления Германии. Немцы искали малейшего повода, чтобы вызвать инцидент и использовать его в своих интересах, иначе говоря, чтобы получить хотя бы намек какого-либо права перейти к политике захватов в показавшем свое бессилие Китае.

Летом 1897 г. между Германией и Китаем произошли два инцидента. Первый — чисто церемониального характера — состоял в следующем. На приемах у богдыхана иностранные посланники должны были выходить после аудиенции через боковые двери. Барон Гейкинг напавился к среднему выходу, через который проходил лишь один богдыхан, и был остановлен военным министром, взявшим его за рукав. Немцы сделали вид, что крайне оскорблены этим; ими было предъявлено Китаю нечто вроде ультиматума. У меня остался в памяти обед в цзунлиямыне (бывшее китайское министерство иностранных дел, носящее характер коллегии), когда министры и весь дипломатический корпус целый час тщетно ожидали приезда германского посланника, который так и не приехал, выказывая тем свою обиду. Вскоре после этого для Гейкинга представился новый случай счесть себя обиженным. При поездке его с женой по Янцзыцзяну какие-то мальчишки бросили в них несколько камней. Но и этот случай не мог привести к серьезным осложнениям. Китайцы извинились, и этим дело кончилось.

Наконец, в октябре 1897 г., как цинично замечали пекинские коллеги Гейкинга, немцам повезло. В Шаньдунской провинции оказались убитыми два миссионера, как раз там, где католические духовные миссии находились под покровительством Германии. Последствия не заставили себя ждать: через несколько дней в Пекине стало

известно, что германская эскадра вошла в бухту Цзяочжоу и высадила там десант. Этот шаг Германии поставил Россию в особо трудное положение. Дело в том, что она со своей стороны уже несколько лет присматривала для себя удобный порт на китайском побережье для зимней стоянки своей тихоокеанской эскадры и вела по этому делу переговоры в Пекине. Обыкновение зимовать в Нагасаки по многим причинам становилось неудобным. Именно в Цзяочжоу с согласия пекинского правительства пробыла несколько недель русская эскадра под командой адмирала Тыртова; тем самым Россия приобретала какое-то преимущество перед другими державами в отношении этой бухты. Как это ярко описано в мемуарах графа Витте, появление немцев в Цзяочжоу застало Петербург врасплох. Это немедленно сказалось и в Пекине. Первая телеграмма из Петербурга, полученная нами в Пекине во вторник вечером (день доклада морского министра), гласила: «По высочайшему повелению нашей эскадре предписано отправиться в Цзяочжоу», но на следующий же день, по-видимому после доклада министра иностранных дел, пришла телеграмма: «По высочайшему повелению эскадра идет в Гензан» (порт в Корее).

Вечером, в 11 часов того дня, когда немцы высадились в Цзяочжоу, ко мне вбежал дежурный казак со словами, что Ли Хун-чжан прибыл в миссию. Оказывается, престарелый государственный деятель, будучи убежден, что им в Москве заключен был с Россией оборонительный союз в отношении всех держав, твердо рассчитывал найти у нас защиту от немцев, посягнувших на китайскую территорию. Из воспоминаний графа Витте известно, что московский секретный договор был в последний момент изменен, и Россия гарантировала неприкосновенность Китая лишь в отношении одной Японии. Это изменение в тексте якобы ускользнуло от Ли Хун-чжана в момент подписания договора.

Для миссии наступила страдная пора. Начался безостановочный обмен телеграммами с Петербургом. Из Пекина сообщалось о впечатлении, которое произвело на китайцев занятие Цзяочжоу, а из Петербурга вскоре начали приходить инструкции по поводу представлений, которые должны быть сделаны в Пекине в связи с новым направлением русской политики в Китае.

Дело в том, что вскоре после занятия Цзяочжоу из Чифу от Островерхова (нашего вице-консула в этом городе) стали приходить тревожные телеграммы о продвижении английских судов. В особенности обращало на себя внимание то обстоятельство, что небольшие английские суда, заходившие в Чифу, отправлялись оттуда в Порт-Артур (отстоявший от Чифу в 6 часах хода) и оставались там по нескольку дней.

Эти сведения, конечно, передавались миссией в Петербург, и вскоре выяснилось, что там были этим крайне встревожены. Через несколько дней пришла обширная инструкция: миссии предписывалось убедить китайцев в необходимости для них в целях собственной безопасности разрешить нашей эскадре перезимовать в одном из близлежащих к Цзяочжоу портов. Действительно, не дожидаясь ответа пекинского правительства, наша тихоокеанская крейсерская эскадра в конце декабря 1897 г. стала на якорь на порт-артурском рейде. Одновременно наш министр иностранных дел граф Муравьев дал понять английскому послу в Петербурге, что дальнейшее пребывание английских судов в Порт-Артуре будет рассматриваться как враждебное выступление. Англичане с этим примирились, их суда перестали посещать Порт-Артур, но тем самым для России завязался на Дальнем Востоке тот узел, который втянул ее в войну 1904 г. с Японией и имел для нас в дальнейшем весьма неприятные последствия. Многолетняя перспектива дает теперь возможность оценить весь роковой смысл нашей дальневосточной авантюры и понять графа Витте, который, как известно, будучи русским министром финансов, вопреки всем правилам дипломатического обихода, обратился с телеграммой непосредственно к Вильгельму II, убеждая его не занимать Цзяочжоу. Если бы совет графа Витте был принят во внимание, то, вероятно, и Германии и России не пришлось бы пережить тех тяжелых испытаний, от которых они еще до сих пор не оправились.

Пребывание нашей эскадры в Порт-Артуре вначале не носило характера оккупации. Вооруженных отрядов на берег мы не высаживали. Однако в Пекине немедленно начались переговоры с целью склонить китайцев отдать нам Порт-Артур в аренду. Параллельно с этими переговорами шли и переговоры Германии с Китаем о передаче ей в аренду бухты Цзяочжоу с прилегающей

к ней местностью. Наши переговоры осложнились тем обстоятельством, что петербургское правительство всячески старалось представить захват Порт-Артура как «дружеский» акт, направленный на защиту Китая от территориальных домогательств других держав. В феврале был подписан договор об уступке Китаем Германии Цзяочжоу¹, а на 15 марта было назначено подписание русско-китайской конвенции об уступке нам в аренду Квантунского полуострова (южной части Ляодунского) с Порт-Артуром и великолепной бухтой Даляньвань (будущий Дальний). Наши переговоры были весьма продолжительны, и приходилось шаг за шагом склонять китайцев к максимальным для них уступкам. Между прочим, в то время как немцы заключили арендный договор на Цзяочжоу на 99 лет, мы подписали такой же арендный договор на Квантунский полуостров лишь на 25 лет. Равным образом китайцы долго не соглашались уступить нам окружной город Цзиньчжоу, расположенный недалеко от Даляньваня. Этот последний вопрос долгое время и после занятия Порт-Артура и Даляньваня решен не был. Чтобы убедить китайцев уступить нам Квантунский полуостров, были пущены в ход все средства, вплоть до подкупа Ли Хун-чжана. Ему был переведен через Русско-Китайский банк миллион рублей. Были подкуплены и некоторые другие, менее видные китайские чиновники, причем в нашей канцелярской переписке приме-

¹ Цзяочжоу — территория в провинции Шаньдун (Северный Китай). Изложение эпизода с захватом Германией Цзяочжоу у Соловьева не совсем точно. Хотя царская Россия формально и протестовала по поводу этого захвата, но фактически для нее это не было неожиданностью. Еще в августе 1897 г. между Германией и Россией было заключено соглашение о признании преимущественных интересов Германии в Цзяочжоу. В ноябре 1897 г., используя как предлог убийство двух германских миссионеров, Германия оккупировала Цзяочжоу. Правительство Китая вынуждено было по договору, заключенному в Пекине с Германией в марте 1898 г., отдать оккупированную территорию в «аренду» Германии на 99 лет. В 1899 г. на территории Цзяочжоу был открыт порт Циндао, находившийся во владении Германии вплоть до первой мировой войны. Захват Германией Цзяочжоу был использован другими империалистическими державами для нового раздела китайской территории. Через несколько дней после подписания договора о Цзяочжоу Россия выторговала себе «в аренду» на 25 лет Ляодунский полуостров. В апреле 1898 г. Франция получила «в аренду» на 99 лет бухту Гуаньчжоувань в Южном Китае. В июне 1898 г. Англия захватила Вэйхайвэй. — *Прим. ред.*

нялось выражение: материально заинтересовать китайцев.

У меня надолго сохранился в памяти день подписания русско-китайского договора о передаче нам в аренду Квантунского полуострова. Подписание состоялось в цзунлиямыне. Вместе с Ли Хун-чжаном при подписании договора присутствовал один из членов китайского императорского дома — князь Цин, но главным действующим лицом был Ли Хун-чжан. В миссии заранее был заготовлен, насколько позволяли нам наши канцелярские средства, весьма внушительный «инструмент» договора, переписанный одним из наших студентов миссии. Переплетен он был в желтый китайский шелк и украшен серебряным орлом. Одновременно была заранее зашифрована телеграмма для отправления на телеграф немедленно после подписания договора. В случае отказа китайцев в последний момент подписать договор предусматривалось в тот же день высадить десанты с наших судов; в этом случае занятие Порт-Артура состоялось бы, но, конечно, при менее желательных для нас обстоятельствах ввиду напряженности атмосферы, окружавшей этот вопрос, в особенности в силу явной враждебности к нам Англии и Японии. Поверенный в делах Павлов, отправляясь со мной и с первым драгоманом Поповым в цзунлиямынь, очень волновался, хотя и старался это скрыть. Я знал, что Ли Хун-чжан был «материально» заинтересован в подписании договора, но, как испытанный китайский государственный деятель старого закала, он сохранял маску полного безразличия и спокойствия. Ли Хун-чжан долго испытывал терпение Павлова, не подписывая договора и разговаривая через Попова о посторонних предметах, держа в руке кисть с тушью для подписи. Разговор продолжался более десяти минут, пока Ли Хун-чжан не нашел, что этого времени достаточно для сохранения своего достоинства, или, по китайскому выражению, «спасения своего лица».

Вскоре после подписания договора Павлов уехал в Порт-Артур на свидание с главноначальствующим нашими оккупационными силами на Квантунском полуострове адмиралом Дубасовым, а я оставался впервые в жизни на неделю временно управляющим миссией в Пекине. За это время меня, помнится, посетили совместно французский и бельгийский посланники, хлопо-

тавшие о предоставлении бельгийской компании концессии на постройку Пекин-Ханькоуской железной дороги. Со мной, однако, стряслось происшествие неожиданного характера. В один прекрасный день, часов в 11 утра, в мой кабинет явился один из иеромонахов духовной миссии с сообщением, что в их миссии появился сумасшедший и что через несколько минут он должен прийти ко мне. Действительно вскоре появился бледный человек во фраке, который назвался Ельмановым, преподавателем русского языка в Кантонской высшей школе. Он объяснил мне, что, с тех пор как Россия стала строить Китайскую Восточную железную дорогу, англичане его преследуют, хотят отравить и что он для своей самозащиты вынужден носить постоянно при себе револьвер и почему-то пузырек с ядом. К счастью, я был предупрежден, а потому стал спокойно убеждать Ельманова, что, раз он находится в русской миссии, никакая опасность со стороны англичан ему больше не грозит, и он может спокойно отдать мне как револьвер, так и яд. Заперев и то и другое к себе в стол, я был так этому рад, что пригласил его с собой завтракать. Разговаривал он почти как здоровый человек. Тем не менее оставался открытым вопрос, что дальше делать с нашим сумасшедшим. В то время не могло быть и речи о передаче его китайцам, у которых никаких лечебниц для душевнобольных не было, а наши психиатрические заведения находились на расстоянии в тысячу верст. К счастью, Ельманов был довольно спокоен. Я поместил его в одну из комнат миссии и поручил казакам наблюдать за ним, отнюдь, впрочем, не стесняя его. Все шло благополучно, но однажды Ельманов, ускользнув от наблюдения казаков, ушел из нашей миссии и отправился в английскую. Там он объяснил англичанам, что он важный политический преступник и что русская миссия держит его поэтому взаперти. Ко мне зашел один из английских секретарей, дело было с ним выяснено, и мы получили нашего сумасшедшего обратно. По возвращении Павлова Ельманов с двумя казаками был благополучно отправлен во Владивосток в больницу. Такова была судьба первого русского пионера в Кантоне.

Наша миссия в Пекине в мое время защищала еще и датские интересы. Это доставило нам немало работы по заключению телеграфных конвенций между датским

и английским кабельными обществами и нашими сухопутными телеграфами. Тогда же впервые был выработан общий телеграфный тариф, от которого, впрочем, наживались главным образом кабельные общества. Наряду с этим для датчан мы выполняли и консульские функции. Например, в нашей канцелярии мы поженили единственного в Пекине датчанина — хозяина магазина — на швейцарской гражданке. Своеобразие этой церемонии легко понять, вспомнив, что в это время в России существовал лишь церковный брак. Насколько я знаю, этот датско-швейцарский брак был счастлив, несмотря на его оформление в Китае русскими чиновниками на основании датского консульского устава.



Во время моего управления миссией в связи с представительством нами датских интересов случился довольно забавный инцидент, суть которого особенно понятна теперь. В день датского праздника мы обыкновенно поднимали датский флаг. Однажды при утреннем рапорте казачий урядник спросил меня, поднимать ли по случаю праздника флаг; я распорядился это сделать. Но оказалось, что датский флаг, изготовленный в Пекине, имел на красном полотнище белый крест, нашитый лишь с одной стороны. Мои иностранные коллеги долго преследовали меня шутками, что я воспользовался отъездом моего начальника, чтобы поднять знамя революции — красный флаг.

Через две-три недели после возвращения Павлова мне пришлось — не помню уже с каким поручением — побывать в Порт-Артуре и Даляньване. Прибыв в Порт-Артур, я явился к адмиралу Дубасову, державшему свой флаг на броненосце «Память Азова». Вся эскадра, как и в критический день японской минной атаки 1904 г., стояла тогда на внешнем рейде. Это немало затрудняло управление вновь занятой областью. Дубасов требовал, чтобы за всеми приказаниями обращались к нему, а между тем на внешнем рейде бывало порой весьма бурно, и сообщение с берегом было трудным. Был случай, когда приамурский генерал-губернатор генерал Гроденков чуть не потонул при посещении «Памяти Азова». В силу этого, а также вследствие традиционного соперничества между военным и морским ведомствами между адмиралом и сухопутными военными властями сразу же установились крайне натянутые отно-

шения. Как морское, так и сухопутное военное начальство игнорировали друг друга и сносились между собой лишь через подчиненных лиц. Начальник сухопутных сил генерал Волков, гулявший обыкновенно по террасе своего дома с зеленым попугайчиком на указательном пальце, был на ножах с Дубасовым. Во все эти административные неурядицы посвятил меня наш второй драгоман Колесов, командированный миссией в Порт-Артур и непрестанно разъезжавший по делам между Волковым и Дубасовым.

Дубасов принял меня любезно, но стал сетовать на нашу миссию, обвиняя ее в том, что она не желает допустить занятия окружного города Цзиньчжоу. Там, по его словам, засело несколько тысяч китайских знаменных войск, и прошлой ночью из города было произведено семь выстрелов, никого, впрочем, не задевших. Адмирал полагал, что этот город необходимо штурмовать, но на это не была согласна миссия.

Зная особенности нашего военного и, в частности, морского начальства, я отнесся весьма скептически к заявлению адмирала, подозревая, что Дубасов, имея Георгия 4-й степени за русско-турецкую кампанию, хотел бы получить тот же орден на шею за взятие укрепленного города. К тому же во время моего пребывания в Китае я убедился, что китайские знаменные войска, как и бывшие московские стрельцы, в действительности являются не регулярными, вооруженными по-европейски войсками, а слегка военизированным городским населением, мирно занимающимся торговлей и ремеслами.

Не могу, кстати, не упомянуть здесь о своеобразном характере китайских войск того времени. Несмотря на поражение, нанесенное Китаю Японией, китайцы продолжали обучать свои войска по преимуществу стрельбе из лука в пешем и конном строю. Для того чтобы облегчить стрельбу с лошади, вдоль пекинской стены выкапывались ровики, по которым кавалеристы и пускали лошадей вскачь, стреляя в цель из лука. Многие из китайских военных мандаринов вообще полагали, что Китай проиграл войну с Японией только потому, что отказался от исконного своего оружия — лука и заменил его огнестрельным оружием. Вообще в императорском Китае военное искусство было в загоне. В противоположность бывлой русской табели о рангах военные ман-

дарины стояли в соответствующих гражданских чинах ступенью ниже своих штатских коллег, а потому, между прочим, с китайской точки зрения езда верхом на мулах, на которых ездили гражданские чины, считалась почетнее, чем на лошадях¹. Кстати, в Китае мулы достигают больших размеров, а лошади малорослы.

Пробыв в Порт-Артуре два-три дня, я на собственном опыте убедился, насколько наша дальневосточная авантюра была слажена наспех и насколько она отражала различные влияния, боровшиеся в то время в Петербурге. Во время моего пребывания в Порт-Артуре суда Добровольного флота высаживали военные части, прибывавшие в новые наши владения. Рядом с так называемой «виттевской гвардией», т. е. охраной Китайской Восточной железной дороги, в мундирах с желтыми выпушками и с китайскими драконами на петлицах, высаживались и восточнокитайские стрелки, что противоречило первоначальному плану Витте. По его плану, как Южноманьчжурская железнодорожная ветка, так и Квантунский полуостров должны были оставаться в ведении общества Китайской Восточной железной дороги, как русско-китайской организации. Мне рассказывали о недоумении наших солдат из охраны Китайской Восточной железной дороги: на их ротном образе фигурировал Георгий Победоносец, поражающий дракона; но такой же дракон украшал их воротник. Известна последующая борьба между Куропаткиным и Витте из-за Квантунского полуострова. Детищем первого был Порт-Артур, а второго — Даляньвань. Даляньвань стоил России много миллионов, но уже к началу русско-японской войны он явился прекрасной базой для японцев, обложивших Порт-Артур. Все это было результатом борьбы двух ведомств. Большие деньги тратились на Даляньвань, а на серьезное укрепление Порт-Артура их не хватало.

После Порт-Артура я решил непременно заглянуть в Даляньвань, а по возможности и в Цзиньжоу, чтобы лично убедиться в фантастичности утверждений Дубасова. Мне это вполне удалось. Прибыв на пароходе Добровольного флота в Даляньвань, я застал там в китайской кумирне на пустынном берегу штаб одного из

¹ На лошадях ездили военные чины.— *Прим. авт.*

забайкальских казачьих полков. В Порт-Артуре мне дали письмо к его командиру. Обратившись к полковнику с просьбой дать мне верховых лошадей, чтобы проехать в Цзиньчжоу (вместе с судовым доктором; с ним я познакомился на пароходе, и он вызвался меня сопровождать), я получил их. Полковник настоял на том, чтобы вместе с нами отправился конвой из нескольких казаков; это, по его словам, было необходимо для нашей безопасности. Доехав до ближайших окрестностей Цзиньчжоу, мы увидели линию дубасовского обложения города, отмеченную флажками над несколькими одинокими китайскими фанзами. Часовые провели меня к начальнику ближайшего поста — казачьему офицеру. По удивительному совпадению он оказался моим товарищем по киевской гимназии Яковлевым, исключенным из 3-го класса за неуспеваемость. Яковлев подтвердил мое предположение, что в Цзиньчжоу, кроме мирного «знаменного» населения, никаких войск нет. С доктором и с казаками я спокойно проехал в город, имевший вид обычного китайского городка, живущего своими повседневными интересами.

По возвращении в Пекин я доложил обо всем виденном Павлову, и мы в тот же день еще раз протелеграфировали в Петербург о необходимости сдержать пыл воинственного адмирала. Этот эпизод с занятием нашими войсками Квантунского полуострова пришел мне на память несколько лет спустя, когда наши войска под видом «подавления» боксерского восстания заняли почти всю Маньчжурию. На этот раз большинство наших сухопутных генералов и офицеров, командовавших отдельными частями, устраивало, как этого добивался Дубасов, штурмы беззащитных китайских деревень. Об этих «подвигах» посылались широковещательные донесения, после чего раздавались военные награды. Трагическая сторона этих «геройств» заключалась в том, что от них пострадало и китайское население и много наших солдат. Через три года начальники последних легкомысленно повели солдат на штурм тех же маньчжурских деревень и сопок, но занятых уже хорошо обученными и снаряженными японскими войсками.

По возвращении из Порт-Артура я снова приступил к повседневной канцелярской работе в Пекине, которая с наступлением лета становилась более тяжелой. Как

известно, в Китае летние месяцы отличаются особым климатическим явлением. В течение нескольких недель при тропической жаре идут непрерывные дожди, а ночью бывает часто жарче, чем днем. Все иностранцы с трудом переносят это время года. От постоянной испарины на теле часто появляется сыпь, иногда довольно мучительная. Канцелярские же занятия осложняются еще тем, что при писании влажной рукой бумага становится тоже мокрой. К тому же летом 1898 г. из-за усиленной работы в связи с занятием Порт-Артура и из-за вызванной этим событием политической обстановки миссия не имела возможности переехать по обыкновению за город, в так называемые Западные холмы, расположенные в трех часах езды от Пекина. Обычно каждая из дипломатических миссий нанимала на лето буддийскую кумирню, где европейцы жили по соседству с китайскими идолами. Между прочим, жена германского посланника баронесса Гейкинг устроила гостиную в самой кумирне, у подножия главного алтаря, живописно задрапировав часть идов китайскими вышивками.

В связи с постоянно нараставшим среди китайского населения чувством ненависти к иностранцам подобное обращение с местами буддийского культа не могло, конечно, не сыграть своей роли в разразившихся событиях, известных под именем боксерского восстания.

Надо сознаться, что пекинское население в то время относилось к европейцам со скрытой враждебностью, изредка переходившей в открытую форму. Во время совместных поездок по пекинским улицам наши драго-маны часто говорили, что они завидуют мне, потому что китайцы, зная, что я секретарь миссии, были уверены в том, что я не понимаю тех «комплиментов», которыми китайская толпа обыкновенно сопровождала появление иностранцев на улице.

Незнание китайского языка, однако, сыграло однажды со мной и тремя моими приятелями-иностранцами довольно злую шутку. Дело, к счастью, окончилось благополучно. Как-то зимой я отправился на прогулку по городу пешком вместе с французским первым секретарем графом Серсэ, его женой и французским инженером Гриллем (он был командирован в Пекин правлением Юньнаньской железной дороги. Франция получила тогда концессию на ее постройку). В китайском городе, отде-



ленном стеной от маньчжурского, где помещались миссии, было расположено много китайских лавок, торговавших старинными вещами, которые мы и хотели осмотреть. Мы были не вооружены, на всех четверых была лишь одна палка. Псбывав в нескольких лавках, мы обратили внимание на то, что вокруг нас постепенно собирается большая толпа народа, которая, обращаясь к нам, что-то кричит. Мы, шутя, объясняли это тем, что китайцы нас приветствуют. Но через несколько минут настроение толпы сделалось для нас понятным: один из нас получил в затылок небольшой камень. Вслед за тем в нас полетели камни, куски льда и кочерыжки капусты. К счастью, мы были в шубах и, подняв воротники, продолжали путь по направлению к внутреннему маньчжурскому городу, сохраняя по мере возможности под градом камней и под крики толпы спокойствие и не прибавляя шага. Скоро мы вышли на главную улицу у ворот маньчжурского города, и толпа прекратила преследование. В тот же день была отправлена совместная нота русской и французской миссий об оскорблении их сотрудников толпой. В результате по всему городу были расклеены сообщения китайских властей с указанием на этот инцидент и с угрозой применения суровых наказаний за повторение подобных выступлений против иностранных дипломатических представительств. Могу, впрочем, добавить, что за мое трехлетнее пребывание в Пекине это был единственный случай проявления ненависти к европейцам, членам дипломатического корпуса, со стороны пекинского населения. В провинции, конечно, как было указано выше, дело обстояло иначе. Случай убийства двух миссионеров, повлекший за собой занятие немцами Цзяочжоу, был далеко не единственным. Конечно, весьма часто иностранцы сами были виновниками подобных выступлений. Следуя примеру английского колониального режима, после неудачной для Китая войны 1894—1895 гг. иностранцы начали слишком резко проявлять высокомерие в обращении с китайцами. Иногда иностранцы позволяли себе и физическую расправу с китайскими слугами, которая до бесконечности озлобляла последних, хотя обыкновенно они и были вынуждены это скрывать. Что касается наших официальных сношений с китайцами, то надо отдать справедливость многолетнему составу нашей миссии, именно ее

драгоманам. Они старались соблюдать с китайцами, в особенности с представителями их официального мира, весь сложный ритуал китайской вежливости, вплоть до поклонов с приложенными к груди руками (кото). Совсем иначе относились к китайским мандаринам посланники, в большинстве случаев назначенные с других постов и никогда перед тем не бывавшие в Китае. В частности, граф Кассини в разговорах не раз выражал свое недовольство нашим первым драгоманом Поповым. Последний, по словам посланника, избегал передавать какие-либо резкие его заявления китайским министрам, облакая их в согласные с китайским этикетом формы. Кассини полагал, что тем самым терялась сила его представлений, которым он хотел придать резкую форму.

Впрочем, с китайскими сановниками, как я уже говорил, наши сношения носили исключительно официальный характер. Помимо деловых посещений цзунлиямыня, отношения эти ограничивались посещениями миссий китайскими мандаринами и нашими ответными визитами. За исключением двух-трех китайских переводчиков, никто из китайского официального мира в Пекине не говорил на иностранных языках. Помимо того, отказ иностранцев от соблюдения китайского этикета делал для китайских сановников посещение иностранных миссий весьма тягостным. Между собой они строго соблюдали этот этикет, выражавшийся при встречах в бесконечных поклонах. Подобное церемонное обхождение друг с другом доходило иногда до необычайных крайностей. Например, при встрече двух сановников при их передвижении в носилках этикет требовал, чтобы младший выходил из них и совершал ритуал поклонов перед другим, который в свою очередь тоже был обязан выйти из носилок и отвечать тем же. Во избежание этих воистину китайских церемоний китайский хороший тон позволял, чтобы сановник, находящийся в носилках, глядя в другую сторону или читая книгу, делал вид, что не замечает другого, направляющегося ему навстречу. Это было возможно, так как сановники никогда не передвигались иначе, как в окружении большой свиты и едущих впереди себя на лошадях конюхов, до известной степени заслонявших их. Мандарины высших классов на официальных визитах входили обыкновенно в сопровожде-

нии нескольких «придворных», которые стояли во время приема за их креслом. Например, за Ли Хун-чжаном их стояло обыкновенно трое, каждый из них имел на шапке по синему шарiku (полковничий чин). Один держал его трубку, второй — чашку с водой и небольшое полотенце, которым Ли Хун-чжан обтирал лицо, а третий — небольшую плевательницу.

Таков был дореволюционный Китай. Если европейцы во второй половине XIX века чуждались китайцев, то это было во многом вызвано стремлением и самих китайцев отгородиться от непрошенных гостей. К тому же представители монархического строя в Китае старались поддерживать в населении убеждение, что Китай является самым могущественным государством на свете и что все остальные народы мира — лишь его вассалы. После занятия нами Порт-Артура между иностранцами ходил рассказ, что однажды в разговоре с кем-то из своих соотечественников в Китае английский посланник сэр Клод Макдональд шутя приводил распространенное мнение, что китайцы вообще не отличают одни европейские страны от других и что, например, для них Австрия и Голландия — одно и то же. На это собеседник Макдональда ядовито заметил: «Да, но Россию от Англии китайцы прекрасно отличают». Этим он намекал на русские успехи в Китае, с которыми англичане никак не хотели примириться.

Говоря об обстановке в Пекине во времена монархии, я не могу не остановиться на описании церемониала приема иностранных представительств богдыханом. Этот церемониал был изменен по требованию иностранных держав после боксерского восстания, но до 1900 г., несмотря на ряд уступок, сделанных китайцами по Тяньцзинскому и Пекинскому договорам ¹, иностранные посланники прини-

¹ Тяньцзинские договоры были заключены между Англией, Францией, Россией и США, с одной стороны, и Китаем — с другой, в июне 1858 г. после поражения последнего в оборонительной войне против Англии и Франции. Согласно Тяньцзинским договорам Китай обязался принять иностранных послов в столице, открыть для иностранной торговли ряд новых портов во всех частях Китая, предоставить иностранным купцам право свободного передвижения по всему Китаю, не препятствовать деятельности христианских миссионеров и, кроме того, уплатить значительную контрибуцию союзникам. В июне 1858 г. в Пекине должен был состояться обмен грамотами о ратификации договоров. Россия и США

мались императором в одном из внешних павильонов за-претного императорского города, причем они должны были выходить из своих носилок и идти некоторое расстояние пешком. Император принимал дипломатов, сидя на троне, напоминавшем алтарь, под сенью павлиньих опахал. Дипломаты выстраивались на расстоянии десяти-пятнадцати шагов от трона. Приветственная речь посланника переводилась на китайский язык его драгоманом. Речь выслушивал один из князей царствовавшего дома (в то время это был принц Гун). Затем Гун поднимался на ступени трона, становился перед императором на колени и снова переводил приветственную речь на официальный маньчжурский язык. (В Китае в то время у власти была маньчжурская династия, и хотя маньчжуры сильно окитаились, но с формальной стороны господство маньчжур проявлялось до самого падения их династии. Например, в министерствах ответственные должности делились поровну между маньчжурами и китайцами.) Император слегка наклонялся к нему, говорил свое ответное слово, которое в том же порядке передавалось посланнику. Царствовавший тогда император Гуан Сюй был явно выраженным дегенератом и имел необычайно болезненный вид. Впрочем, может быть, именно ввиду своей слабости он согласился на проведение некоторых реформ, предложенных ему известным государственным деятелем Кан Ю-взем. Вскоре, однако, реакционная партия при дворе взяла верх, и вся власть была захвачена вдовствующей императрицей, провозгласившей себя регентшей. Интересно отметить, что после боксерского восстания под давлением иностранных держав именно она

обменялись ратификациями с Китаем. Но Англия и Франция сочли, что могут добиться от Китая новых уступок. Поэтому их послы, чтобы запугать Китай, отправились в Пекин в сопровождении военной эскадры. Китайцы эскадру к столице не подпустили, встретив ее огнем с форта Дагу. Ряд английских и французских судов был выведен из строя, несколько сот солдат убито. Тогда Англия и Франция снарядили против Китая большую армию. Китай потерпел поражение. Союзники заняли Пекин. 24 октября 1860 г. Китай подписал новый, еще более тяжелый договор с Англией, а 25 октября 1860 г.—с Францией (Пекинские договоры). Согласно условиям этих договоров Тяньцзинь был открыт для свободной торговли; установленная Тяньцзиньскими договорами контрибуция была увеличена с 4 до 8 таэлей; Англии дополнительно к полученному ею еще в 1842 г. Гонконгу была передана в собственность южная оконечность Гуаньдунского полуострова Коулун.—*Прим. ред.*

вынуждена была изменить исконный церемониал приема посланников и лично присутствовать на приемах, обставленных в угоду иностранцам более или менее согласно европейскому придворному обиходу.

Запретный город, вмещавший все дворцы богдыхана, был в конце прошлого века совершенно недоступен для иностранцев, за исключением дипломатических приемов. Подобные приемы устраивались очень редко: на новый год для всего дипломатического корпуса, а для отдельных посланников — при вручении верительных грамот. Стены этого города, окрашенные в нежно-розовый цвет, были местами совершенно облуплены, а некоторые его внешние дворы служили местом для свалки нечистот. Что касается обстановки торжественных приемов, то она тоже во многом указывала на очевидный уже тогда упадок монархической власти. Дворцовая стража, расставленная вдоль пути нашего следования к императору, была одета небрежно и не всегда опрятно. Солдаты держали в руках старомодные мечи различных образцов. Когда император выезжал из запретного города в один из своих загородных дворцов, то все улицы по пути следования перекрывались. Поперечные улицы занавешивались грязноватыми синими занавесями, и никто из подданных императора не осмеливался лицезреть своего повелителя. Гербом богдыхана был дракон, а вдовствующей императрицы — феникс. На кафтане своем император носил семь изображений дракона в круглых медальонах. Императорским цветом был желтый. Того же цвета были и его носилки в отличие от всех других. Носилки, в которых появлялись князья, были зеленые с желтыми ремнями, высшие же сановники имели право на зеленые носилки с красными и синими ремнями. Зелеными же носилками пользовались посланники и дипломатический состав миссий.

Феодално-бюрократический строй дореволюционного Китая характеризовался всеми этими своеобразными особенностями, закреплявшими строго продуманную, некогда мощную, но к концу прошлого века уже насквозь прогнившую систему государственного управления. Китайская иерархия строго поддерживалась этим внешним этикетом. Все чиновники разделялись по рангам с соответствующими отличиями в виде шарика на шапке и медальона на груди, изображавшего различных птиц или



зверей (птиц — для гражданских чинов, зверей — для военных). Между прочим, одним из «решительных» шагов германского посланника было наделение своей прислуги мандаринскими шариками. Это немало возмутило китайский официальный мир.

Все черты свергнутого строя представляют известный интерес, если вспомнить, что в течение всего лишь последних тридцати лет Китай стал доступен для передовых идей. В стране идет ломка пережитков старого уклада и мощно проявляется национальное чувство, естественно развившееся у китайцев при насильственном знакомстве с европейской «культурой». Ученики грозят перерасти своих учителей, быть может, не думавших, что плоды их науки могут отозваться на их же положении в Китае. Что касается бывшего строя китайской монархии, то тут нельзя не видеть много общего с русским былым монархическим строем, во всяком случае московского периода. Нельзя забывать, что монголы одновременно властвовали и в Китае и в России и что маньчжурская династия, близкая монгольской, сменила последнюю и удержала свою власть вплоть до революции.

3

Летом 1898 г. я часто болел. Это вызвало у меня решение по окончании трехлетнего срока вернуться в Европу, а также отказаться от предложения ехать в Сиам секретарем вновь учрежденной там миссии, несмотря на то что это было повышением по службе. Я был бы там одним секретарем и заменял бы посланника при его отъездах. Дело в том, что климат в Сиаме еще тяжелее, чем в Пекине, и я на подобный опыт не решился ввиду состояния своего здоровья.

Вернуться в Европу я решил через Монголию и Сибирь, во-первых, чтобы познакомиться с наиболее близкой к нам как географически, так и политически частью Китая — Монголией, а затем и с Сибирской железной дорогой, которая с занятием нами Квантунского полуострова получала выход к незамерзающему морю.

За время моего трехлетнего пребывания в Китае я лишь раз воспользовался месячным отпуском, чтобы побывать в Японии, которую я до того видел лишь мимоходом, а по возможности и в Корее. На этот раз я изъез-

дил Японию, насколько было возможно в короткий срок, вдоль и поперек. Кроме Токио, побывал в бывшей столице Киото, в промышленном центре Осака, в Нагасаки и в чудном горном уголке Никко, где находятся гробницы японских императоров. В Никко меня поразила могила японского главнокомандующего, убитого на Формозе. Необыкновенно было сочетание возвышающегося в храме ковчега с волосами и зубами маршала и вооружения покойного последнего европейского образца, сложенного возле ковчега. При храме находилась конюшня, где содержался его боевой конь, которого кормили бонзы.

В Токио я познакомился с только что прибывшим туда нашим посланником бароном Розеном. Он уже бывал раньше в Японии, где прослужил много лет в качестве секретаря, а потому его рассказы о Японии и японцах были весьма поучительны. С Розеном мне пришлось впоследствии служить в Афинах. Он был назначен в Грецию после Токио. В Токио он вернулся снова незадолго до русско-японской войны и находился там вплоть до разрыва наших дипломатических отношений с Японией. О нем я еще буду говорить дальше. Это был самый любимый мною из многочисленных начальников — посланников и послов; я служил с ним в Афинах и сохранил самые лучшие отношения и после того, как он покинул дипломатическую службу в связи с назначением его членом Государственного совета. Необыкновенно широкий кругозор и выдающийся здравый смысл выделяли Розена из среды большинства его коллег. Тем не менее Розен остался до конца старого режима непонятым. В министерстве обыкновенно с ним соглашались лишь после того, как события подтверждали верность его оценки политической обстановки.

В 1897 г. одновременно с назначением Розена в Японию обновился и весь дипломатический состав нашей миссии в Токио. В качестве первого секретаря приехал С. А. Поклевский-Козелл, будущий советник посольства в Лондоне, где он играл впоследствии большую роль, будучи одним из приближенных короля Эдуарда VII во время русско-английского сближения¹, которое, как известно, наступило вскоре после русско-японской войны.

¹ Сближение между Россией и Англией получило свое оформление в 1907 г. в англо-русском соглашении, которое ставило целью урегулировать англо-русские противоречия на Востоке путем разделения сфер влияния. Международное значение этого согла-

Поклевский-Козелл происходил из мелкопоместной польской шляхты. Его отец, попав в Сибирь и став там откупщиком, составил себе громадное состояние. Это пошло на пользу сыну при его дипломатической карьере. Говоря о Поклевском, Розен обыкновенно замечал, что «деньги прекрасно удобряют почву и дают в деле дипломатических отношений богатые всходы». После Лондона Поклевский был последовательно посланником в Тегеране, а затем в Бухаресте, где я с ним встретился проездом в 1915 г.

Драгоманом нашей миссии в Токио был в то время Козаков, который затем был первым секретарем в Пекине и много лет заведовал отделом Дальнего Востока в министерстве. Помимо членов миссии, я познакомился в Токио и с известным епископом Николаем. Последний стоял во главе православной японской церкви, которая насчитывала в то время 25 тысяч японцев. Епископ Николай, пробыв несколько десятилетий в Японии и будучи большим знатоком Востока, пользовался среди японцев исключительным авторитетом. Когда разразилась русско-японская война, епископ Николай заявил, что в качестве духовного главы японской православной церкви он обязан остаться в Японии. Он пробыл там всю войну, против чего японское правительство не возражало. В разговоре со мной епископ Николай, между прочим, с необыкновенной яркостью излагал уже однажды упомянутую мной теорию расовой общности между Японией и первобытным населением Америки и доказывал существование много тысячелетий назад второй тихоокеанской Атлантиды, соединявшей Японию с американским материком. В токийском православном соборе с деревянным куполом (каменного не позволяли возводить периодические в Японии землетрясения) меня поразило, что при архиерейском богослужении из всего клира епископ Николай был единственным русским. Его окружали японские и китайские священники и дьяконы. Хор был составлен исключительно из японцев, причем совершенно отсутствовали басы. Я обратил также внимание на то, что, кроме епископа

шения заключалось в том, что при наличии франко-русского союза 1893 г. и англо-французского соглашения 1904 г. англо-русское соглашение означало создание англо-франко-русского блока. Так, в 1907 г. было оформлено Тройственное согласие (Антанта).—
Прим. ред.

Николая, среди присутствующих я был единственным европейцем. В Японии мне пришлось также встретиться с вновь назначенным начальником духовной миссии в Пекине архиепископом Иннокентием. Он заменил упомянутого выше архимандрита Амфилохия. Еще молодой человек, Иннокентий относился весьма ревностно к своим обязанностям и занялся по примеру токийского епископа Николая обращением в православие китайцев. Затем он был назначен епископом харбинским, но, по-видимому, его деятельность в Китае была менее удачной, чем епископа Николая в Японии.

Из моих старых японских друзей по путешествию через Америку я встретил лишь одного японского журналиста, который пригласил меня к себе. Он был большим поклонником русской литературы, и в его доме на видном месте висел портрет Льва Толстого. Вернулся я из Японии на японском пароходе «Генкаймару», заходившем в корейские порты. Мне пришлось, к сожалению, лишь мимоходом побывать в Фузане и в Чемульпо. Корея в то время производила, несмотря на всю живописность своей природы, весьма грустное впечатление. Население было облачено в белые, обыкновенно весьма грязные, балахоны. Белый цвет на Дальнем Востоке является траурным. Вошел же он в обиход оттого, что обязательный для всего населения придворный траур продолжался в Корее три года и повторялся так часто ввиду многочисленности императорского дома, что фактически никогда не прекращался. На головах корейцы носили неуклюжие корзинообразные черные шляпы из конского волоса, завязанные под подбородком двумя лентами.

Чемульпо, маленький порт, при отливах почти совсем обнажал свое каменистое дно, и наш пароход, как и другие, остался во время отлива чуть ли не на сухом месте¹. В Сеул, столицу Кореи, мне не пришлось попасть: поездка туда требовала целого дня, а пароход простоял в Чемульпо лишь восемь часов. Я об этом очень сожалел, так как в это время в Сеуле только что закончилось весьма необычное политическое явление. В течение

¹ Между прочим, грустным украшением крошечного иностранного клуба была фотография команды единственного турецкого военного судна, посетившего дальневосточные страны, но погибшего со всем экипажем где-то у берегов Кореи.— *Прим. авт.*

11 месяцев корейский император проживал в русской миссии, откуда управлял страной. По совету нашего посланника Вебера он укрылся в миссии, опасаясь за свою жизнь. По-видимому, ему угрожала японофильская придворная партия. После этого император управлял своей страной долгие месяцы из стен русской миссии. Как мне рассказывали, все корейские министерства помещались в большом зале миссии, разгороженном ширмами. Когда происходили заседания совета министров, ширмы раздвигались и министры собирались на совет. Благодаря такой обстановке русское правительство могло распоряжаться в Сеуле весьма свободно. В результате туда были назначены русские — финансовый советник и военные инструкторы. После занятия Порт-Артура петербургское правительство решило до известной степени пожертвовать Кореей. Финансовый советник К. Алексеев был отозван. В то время на Корею еще распространялась деятельность китайских морских таможен. Под русским давлением их отделение едва не было окончательно ликвидировано. Весьма характерна телеграмма, отправленная в это время сэром Робертом Хартом из Пекина местному таможенному комиссару-англичанину. В ответ на отчаянные телеграммы последнего главный инспектор морских таможен отвечал двумя словами: «Seat tight», по-русски: «Сидите крепко». Действительно комиссар высидел.

Еще до занятия Порт-Артура петербургское правительство приложило все усилия, чтобы закрепить свое положение в Северном Китае и в других местах. Помимо военного агента полковника Вогака, деятельность которого начиная с 1896 г. была ограничена одним Китаем (в Токио был назначен другой военный агент), в Пекин прибыл и второй негласный военный агент, которому был присвоен соответствующий гражданский чин. Это был полковник Десино; местом его пребывания был избран город Чифу. Десино, впрочем, очень тяготился своим гражданским званием и, как сам рассказывал, не очень протестовал, когда иностранцы называли его полковником. При нем к тому же состоял помощник — поручик, сохранивший свой военный чин. Нечего говорить, что между Вогаком и Десино начались трения, миссии постоянно приходилось улаживать их. Между прочим, у нас в миссии чуть не произошла дуэль между помощниками

обоих полковников. Вскоре прибыл и третий — полковник Воронов (гвардейского гусарского полка) с двумя бравыми гусарскими унтер-офицерами. Последние вместе с полковником были присланы в качестве инструкторов для китайского корпуса генерала Це Ши-чена, который предполагал реорганизовать свои войска на европейский лад. Но из всей этой затеи ничего не вышло. Полковник Воронов, впрочем, скоро утешился, женившись на богатой невесте — дочери тяньцзиньского купца Старцева. Почти в одно время с русскими инструкторами прибыл со специальной миссией в Пекин известный впоследствии как друг министра Протопопова бурят доктор Бадмаев. Этот весьма ловкий аферист появился в Пекине с большой помпой и таинственными полномочиями. Он был окружен личной стражей, состоявшей из монголов, облаченных в красные кафтаны, и рассказывал необыкновенные истории об известных ему сокровищах, зарытых под стенами Пекина, а в виде реальных проектов Бадмаев развивал мысль об установлении постоянного сообщения между Кяхтой и Пекином при помощи русских троек. Его пребывание в Пекине скоро, впрочем, кончилось. Он так же внезапно испарился, как и появился.

За описываемое мною время первое место в числе «покушений с негодными средствами» петербургского правительства занимает прибытие в Пекин специальной миссии князя Э. Э. Ухтомского (будущего редактора «Санкт-Петербургских ведомостей»¹). Он сопровождал в свое время Николая II в его путешествии по Дальнему Востоку и описал это путешествие в роскошно изданной книге. После этого Ухтомский прослыл знатоком Дальнего Востока и, в частности, Китая. При основании Русско-Китайского банка Ухтомский стал членом его правления, а летом 1897 г. был командирован в Китай со специальной миссией, которая носила характер ответного визита после посещения Москвы Ли Хун-чаном. Эта командировка состоялась в обход министра

¹ «Санкт-Петербургские ведомости» — газета, издававшаяся в Петербурге с 1728 г. как орган Академии наук. В 70-х годах XIX века газета перешла в ведение министерства народного просвещения и затем превратилась в правительственный официоз. С 1896 г. редактором газеты стал князь Э. Э. Ухтомский. — *Прим. ред.*

иностранных дел графа Муравьева, который поэтому со своей стороны ничего не сделал для ее успеха. Ухтомский прибыл в Китай с большой свитой, составленной наспех из весьма разнообразных лиц. В нее входили кавалергардский поручик князь Александр Волконский (будущий военный агент в Риме), гусарский штабс-ротмистр Андреевский, чиновник министерства государственных имуществ Забелло и, наконец, небезызвестный журналист, будущий редактор правительственной газеты «Россия» С. Н. Сыромятников (Сигма). Полномочия этой миссии были неопределенны. За несколько дней до ее приезда в нашей миссии была получена телеграмма из Петербурга, пересланная почтой из Троицкосавска, в которой сообщалось, что по высочайшему повелению в Китай командирован член правления Русско-Китайского банка князь Ухтомский, а затем перечислялись сопровождавшие его лица. Никаких дальнейших указаний получено не было. Между тем мы вскоре узнали, что миссия ожидается уже в Шанхае и что для ее приема китайцами сделаны чрезвычайные приготовления. Я и полковник Вогак были командированы в Тяньцзинь для встречи Ухтомского. Из Тяньцзиня мы выехали навстречу Ухтомскому в Дагу. Мы могли убедиться, что китайцы действительно оказывают Ухтомскому совершенно необычайные почести. Миссия прибыла на одном из пароходов Добровольного флота под посольским флагом и была встречена всем китайским официальным миром. На берегу и вдоль только что отстроенной тогда портовой ветки Тяньцзинь-Пекинской железной дороги стояли китайские войска. Ухтомский со свитой появился в полной парадной форме, и в течение двух дней пребывания в Тяньцзине ему был устроен целый ряд торжественных приемов, закончившихся большим обедом у заместителя Ли Хун-чжана в Тяньцзине, генерал-губернатора Ван Вен-шоу. При каждом выезде Ухтомского из отведенного ему китайцами двора китайская стража трубила в трубы, и вообще местные власти всячески подчеркивали почетное звание высокого гостя. Несмотря на мои и Вогака старания отговорить Ухтомского от продолжения этой чрезмерной парадности, он все же выразил желание ехать в парадной форме и в Пекин, что при жаре, пыли и ввиду предстоящего нам с последней станции не законченной еще тогда Тяньцзинь-Пекинской

железной дороги довольно продолжительного передвижения в носилках было невероятно утомительно и не соответствовало общему тону пекинской обстановки. Между прочим, в Петербурге Волконскому было специально разрешено появиться в Пекине в кирасе, которую первая гвардейская кавалерийская дивизия носила лишь в конном строю. Однако блестящая кираса не произвела впечатления на население, я заметил, что китайская толпа смеялась при виде блестящих на солнце лат кавалергарда.

Во всяком случае ввиду ведомственного разногласия в Петербурге о характере командировки Ухтомского чрезмерное раздувание значения его миссии на месте было неосторожно. К тому же пребывание Ухтомского в Пекине затянулось. Это было вызвано возложенным на него поручением по делам Русско-Китайского банка и Китайской Восточной железной дороги. Впрочем, в первые дни пребывания Ухтомского в Пекине чрезвычайный характер его миссии был все же соблюден. Богдыхан его принял в торжественной аудиенции в сопровождении всего состава нашей миссии. Ухтомский вручил богдыхану знаки Екатерининского ордена для вдовствующей императрицы. По заранее установленному церемониалу Ухтомский (вопреки обычным формам аудиенции) поднялся на ступени трона и вручил знаки ордена непосредственно богдыхану. На следующий день Ухтомским были розданы и многочисленные подарки самому богдыхану, его придворным и высшим сановникам. Между прочим, небезынтересна характерная подробность, указывавшая на полную неосведомленность в отношении Китая лиц, снаряжавших наспех миссию. Для начальника китайских таможен (сэра Роберта Харта) было предназначено пять кусков красного сукна. Этот подарок пришлось, конечно, заменить другим.

После приема у богдыхана в честь Ухтомского состоялся обед в цзунлиямыне. Ухтомский произнес длинную речь, составленную им «на восточный лад». Окончил он ее словами: «С трепетом подымаю бокал за здоровье присутствующих сановников». Эти необыкновенные «восточные» выражения меня несколько удивили, и я справился у Грота, служившего в данном случае переводчиком, перевел ли он их по-китайски. Я получил от него ответ, что он, конечно, их не перевел, так как

с китайской точки зрения подобные выражения унизительны для произносящего их. Эта подробность служит доказательством того, что Ухтомский совершенно не был знаком с Китаем. Все это, конечно, немало мешало успеху его миссии.

К тому же миссия Ухтомского вскоре встретила серьезные затруднения со стороны враждебных нам иностранных представителей. Претендуя на положение чрезвычайного посла, Ухтомский не сделал визита ни одному из иностранных посланников, ожидая, что они первые посетят его.

Подобный церемониал для чрезвычайных послов Ухтомскому был известен со слов Волконского, который незадолго перед тем сопровождал в Тегеран Куропаткина. Последний был туда отправлен в качестве чрезвычайного посла для объявления о вступлении на престол Николая II. Но английский посланник, конечно, не желая способствовать успеху «посольства» Ухтомского, протелеграфировал в Лондон, чтобы справиться о характере его миссии. Запрошенное по этому делу наше министерство иностранных дел ответило, что Ухтомский не посол. После этого как Макдональд, так и большинство посланников не явились приветствовать Ухтомского; в результате последний был подвергнут своего рода дипломатическому бойкоту. Лишь французский и бельгийский посланники под предлогом осмотра выставленных в миссии подарков для китайского двора разошлись со своими коллегами, сделав Ухтомскому что-то вроде визита.

Как бы то ни было, миссия Ухтомского кончилась неудачно. В дальнейшем ему пришлось лишь присутствовать на торжественном открытии пекинского отделения Русско-Китайского банка. Все же остальные переговоры о расширении привилегий Китайской Восточной железной дороги вплоть до получения ею концессии на южную ветку вместе с портом кончились ничем. Как известно, в планы Витте входила как постройка южной ветки Китайской Восточной железной дороги, так и получение концессии на один из крупных портов Китая. Но концессия на порт должна была быть по его замыслу предоставлена не русскому правительству, а обществу Китайской Восточной железной дороги как участвующему русско-китайскому предприятию.

Как было сказано выше, Ляодунский полуостров и постройка южной ветки были выговорены позже и уже самым правительством по русско-китайской конвенции 27 марта 1898 г.¹ Таким образом, в этом отношении граф Муравьев провел свой собственный план вопреки первоначальному проекту Витте. Уже после отъезда Ухтомского из Пекина из полученных миссией министерских писем выяснилось, что Ухтомскому в Петербурге было присвоено — и то после запроса из Лондона — необыкновенное в дипломатическом обиходе звание «чрезвычайного посланца». После трехнедельного пребывания в Пекине члены миссии Ухтомского начали понемногу разъезжаться в разные стороны и уже без всякого церемониала. Они были уверены в том, что оказались жертвой интриг нашей миссии. Во всяком случае нельзя не сознаться, что если соперничество в руководстве дальневосточной политикой проявлялось весьма определенно в Петербурге между графом Муравьевым и Витте, то оно до известной степени сказывалось и в Пекине между нашим поверенным в делах Павловым и директором пекинского отделения Русско-Китайского банка Покотилковым (будущим посланником в Пекине). Он в свое время исполнял в Пекине и обязанности агента министерства финансов.

В деле Ухтомского особенно ярко проявился вред несогласованности нашей петербургской дальневосточной политики.

Заканчивая свои пекинские впечатления, я не могу не остановиться на одном эпизоде из дипломатической жизни в Пекине, в котором мне пришлось играть некоторую роль. После моего приезда в Пекин граф Кассини объяснил мне, что, по его мнению, дипломатический состав миссии проходит при всех дипломатических приемах впереди драгоманского. Хотя мне было тогда всего 23 года, я должен был занимать место выше нашего первого драгомана, человека 50-летнего возраста, прослужившего уже в этой должности свыше 20 лет. Я принял это к сведению, однако всячески стараясь не испортить своих личных отношений с Поповым. Но однажды в бельгийской

¹ По договору 27 марта 1898 г. Россия получила «в аренду» от Китая Ляодунский полуостров с портами Порт-Артур и Даляньвань и приобрела право соединить Ляодунский полуостров железной дорогой с КВЖД. Порт-Артур был объявлен военной гаванью и закрыт для иностранных кораблей. — *Прим. ред.*

миссии в присутствии китайских министров мне было дано место ниже французского первого драгомана, и я решил опротестовать это и немедленно после обеда уехал. Не помню, поддержал ли меня в этом случае Кассини или нет, но во всяком случае для меня этот эпизод не имел никаких неприятных последствий. Сказались же они неожиданно во французской миссии.

Мой французский коллега, второй секретарь граф Дашэ-ле-Мужен, бывший офицер, проявлявший обычно несколько экспансивные свойства характера, предъявил своему посланнику Жерару требование на место выше первого драгомана Висьера. В результате между посланником и секретарем произошла тяжелая сцена, закончившаяся рукопашной. Со стороны секретаря последовал вызов на дуэль. Посланник его не принял, ссылаясь на свое положение. Между тем инцидент стал известен английской тяньцзиньской печати. Дело в том, что Дашэ послал телеграмму в Париж. Он в ней требовал увольнения в отпуск, так как «был вынужден прибегнуть к физической расправе со своим посланником». Эта телеграмма была послана незашифрованной: посланник отказал своему секретарю в шифре для личной телеграммы. Понятно, что англичане, вообще недолголюбившие французов и в особенности Жерара, подхватили этот неприятный для него инцидент и описали его на страницах газет и даже в стихах. К тому же Жерар незадолго перед тем поставил себя в неудобное положение, отказавшись быть членом клуба, но продолжая по утрам его посещать и читать там газеты. В результате между секретарем клуба — англичанином и Жераром произошел весьма неприятный обмен письмами. После несостоявшейся дуэли между Дашэ и Жераром вызов первого был принят Висьером, а я оказался вместе с итальянским секретарем секундантом моего французского коллеги, на что мне было дано разрешение Павловым. Впрочем, и эта дуэль окончилась мирно после объяснения Висьера и писем секундантов, сообщавших об этом Дашэ. Не останавливаясь дальше на этой дипломатической дуэли, я добавлю в заключение лишь несколько слов о положении первых драгоманов в посольствах и миссиях на Востоке. По ходу деловой работы они обыкновенно стоят весьма близко к начальнику миссии, ведут непосредственно переговоры с местными властями и вообще для послов и посланников



они часто полезнее, чем второстепенный дипломатический состав. Характерно, что уже после отъезда из Пекина как Жерара, так и Дашэ вновь назначенный посланник в Пекине, будущий министр иностранных дел Пишон имел те же затруднения с Висьером и с преемником Дашэ Лебреном, но он вышел из затруднения удачнее, запросив из Парижа телеграфные инструкции. Парижская протокольная часть высказалась за предоставление места первому драгоману непосредственно после первого секретаря.

Весной 1898 г., незадолго до моего отъезда из Пекина, мне пришлось принять участие в торжествах по случаю приема принца Генриха Прусского, прибывшего во главе крейсерской эскадры в Китай, чтобы подчеркнуть преобладающую роль, на которую Вильгельм II претендовал в Китае после занятия Цзяочжоу. Все миссии устроили принцу большие приемы. У нас состоялся обед, а затем бал, на котором играл струнный оркестр, привезенный принцем. Это, кажется, был первый случай посещения Пекина европейским струнным оркестром. Насколько мне помнится, пребывание принца прошло более или менее гладко, о чем очень старались германский посланник Гейкинг и его весьма ловкая жена.

Что касается нового французского посланника — Пишона, сменившего Жерара, то у меня осталось в памяти лишь то, что он прилагал большие старания в деле покровительства французским миссионерам. Это было тем характернее, что в качестве радикального депутата он приобрел известность как противник католической церкви во Франции и был в числе тех, которые провели отделение церкви от государства. Это лишний раз доказывает, насколько миссионерская деятельность на Востоке является простым политическим средством в деле укрепления влияния той или другой великой державы. Впрочем, можно привести в этом отношении много других примеров. Так, бывший английский посланник в Пекине сэр Николас О'Коннор был назначен после Петербурга послом в Константинополь (где мне пришлось с ним впоследствии встретиться) главным образом потому, что, являясь ирландцем по происхождению, он был католиком. Это должно было облегчить его роль при защите «святых мест» в Палестине. Эта роль в отношении католиков была присвоена Францией, с чем англичане с трудом мирились,



Из Пекина я выехал через Монголию и Сибирь в июле 1898 г. Покидал Пекин без особого сожаления потому, что стремился познакомиться с дипломатической службой в других странах и опасался надолго застрять в Китае. С каждым лишним годом пребывания там это делалось вероятнее. Можно было в конце концов прослать за знатока этой столь же великой, сколь своеобразной страны и быть оставленным там на многие годы.

На основании Петербургского договора 1881 г. русские чиновники в Китае имели в то время право наравне с китайскими пользоваться монгольской почтой для переездов из Китая в Россию и обратно. Отчасти благодаря установившимся у меня после отъезда Кассини хорошим отношениям с нашим первым драгоманом Поповым мне была выдана весьма внушительная подорожная «как второму посланнику» (он сносился по этому вопросу с цзунлиямыном). В монархическом Китае преобладала коллегияльная система. В каждом ведомстве бывало по нескольку министров, потому дипломатический состав иностранных миссий носил по китайскому представлению тот же коллегияльный характер.

Рядом с посланником в китайских списках дипломатического корпуса фигурировали и вторые и третьи посланники, т. е. первый и второй секретари. Эти звания были начертаны на наших китайских визитных карточках и на фонарях. По вечерам при наших передвижениях пешком слуги носили или же при переездах в носилках

или верхом конюхи возили впереди нас такие зажженные фонари. Ввиду отсутствия посланника я оказался при поездке через Монголию уже не третьим, а вторым посланником. Монгольской почтой я мог воспользоваться лишь после Калгана, откуда начинается Монгольское плоскогорье.

До Калгана мне пришлось передвигаться по узким горным тропинкам. Для этого применялся особый способ передвижения — носилки, прикрепленные к спинам двух мулов. Из этих носилок можно было выходить после того, как передний мул был распряжен и передние концы перекладин носилок поставлены на землю. В этом экипаже передвигаешься по крайне узким горным тропинкам, на поворотах носилки сплошь и рядом висят над пропастью, но мулы с необыкновенной уверенностью идут, не спотыкаясь, по горному карнизу. Впрочем, я взял с собой и верховую лошадь, на которой и ехал по более ровным местам. Мне пришлось, таким образом, вторично проехать через Нанькоу и в последний раз полюбоваться Великой китайской стеной, одним из «семи чудес» мира. Стена в этом месте особенно величественна, так как проходит по гребню горных хребтов и спускается в долину правильными уступами, прерываемыми приблизительно через каждые 200—300 саженей четырехугольными башнями.

В Калгане у нас в то время не было консульства, но мне оказала весьма гостеприимный прием местная русская колония, состоявшая главным образом из приказчиков больших чайных домов, ведущих через Монголию сухопутную торговлю чаем и верблюжьей шерстью.

Кстати, о русских в Китае. Вплоть до Калгана они обыкновенно сохраняли русский облик, но, попадая в Среднем и Южном Китае в среду иностранцев, главным образом англичан, они очень легко ассимилировались с этой новой, не столько китайской, сколько международной средой. Мне приходилось быть свидетелем необычайных превращений. Так, однажды в канцелярию пекинской миссии явился крестьянин Тобольской губернии, прибывший в Пекин с двумя верблюдами, нагруженными молодыми отростками маральных (оленьих) рогов. Эти отростки являются весьма ценным в Китае лечебным средством, и небольшие их кусочки продавались там по 3 доллара. Наш сибиряк пробирался в Кантон, куда мы ему и облегчили морской переезд с грузом. Приблизительно

через год я встретил этого сибиряка на пароходе у японских берегов. Он совершенно преобразился. По его словам, рога были им удачно проданы в Кантоне, и он путешествовал по Дальнему Востоку для своего удовольствия. Одет он был с иголочки, в новенький пиджак и желтые штиблеты, борода и волосы коротко подстрижены, и он с большим рвением изучал английский язык, не выпуская из рук грамматики.

У меня осталась в памяти и другая подобная же встреча с соотечественником. Зимой 1897 г. я встречал мою сестру в Шаньхайгуане. Она приехала туда из Чифу на нашей канонерской лодке «Маньчжур». В это время Дагу, замерзающий зимой, был недоступен, а из Шанхая в Тяньцзинь железнодорожного сообщения не было. Ожидая на пустынном берегу отчалившую от канонерки шлюпку, я заметил двух молодых людей, одетых в полушубки и смазные сапоги; из-под полушубков у них виднелись выпущенные кумачовые рубашки. Они обратились ко мне с просьбой переговорить с командиром канонерки о доставке их в Чифу. Пробирались они в Ханькоу и оказались приказчиками одной из русских крупных чайных фирм. Просьбу их я, конечно, исполнил, и они были взяты на военное судно. С одним из этих молодых людей я встретился года через полтора в Шанхайском клубе и сразу его не узнал, настолько он был похож на англичанина. Между прочим, он мне рассказал, что является владельцем скаковой конюшни, именуемой «Епанча», и совершенно сроднился с ханькоуским международным образом жизни.

Калган — пограничный с Монголией китайский город. В конце прошлого века он имел все особенности маленького дореволюционного китайского административного центра. На площади города в деревянной клетке висела полуистлевшая голова казненного, вокруг которой летала стая ворон. Такие же головы я встречал и по пути в Калган на перекрестках дорог. Это были следы незадолго перед тем подавленного дунганского восстания¹. В Калгане по принятому порядку путешествия

¹ Распространенное название восстания дунган, уйгуров и других народов Северо-Западного Китая против маньчжурской династии в 60—70-х годах XIX в. В данном случае речь идет о новой вспышке, имевшей место в середине 1895 г. и жестоко подавленной китайскими властями.— *Прим. ред.*

по Монголии я старался купить себе тарантас сибирского типа, куда укладываются чемоданы и покрываются тюфяком, на который затем ложатся, что очень удобно при продолжительности пути. Однако тарантаса мне найти не удалось и пришлось ограничиться крытой двухколесной телегой для багажа, впрочем, столь же удобной. Ко мне в Калгане был прикомандирован забайкальский казак-бурят, сопровождавший меня вплоть до конечной в то время станции Сибирской железной дороги — Зима (в 200 верстах за Иркутском). Проводник оказал мне неоценимые услуги, в особенности в приготовлении шашлыка, которым я почти исключительно питался, так как через два-три дня путешествия по Монголии не мог брать в рот взятых с собой консервов, которые мне казались необычайно пресными. Во время первых после Калгана переходов меня везли сравнительно медленно: это была местность, населенная дунганами, у которых, по-видимому, не хватало лошадей. Порядок путешествия был следующий: каждый день мы делали приблизительно от трех до пяти перегонов. Станцию образовывали небольшие монгольские кочевья, поселенные специально для почтовой службы. На каждой станции мы обыкновенно заставляли уже заготовленным небольшим табун монгольских лошадей. Два конных ямщика брали к себе на седло поперечную перекладину, прикрепленную к оглоблям телеги. Остальные хватались за веревки, привязанные к этой перекладине, и наш небольшой конный отряд скакал по гладкой, как стол, степи. Другие ямщики гнали за телегой небольшой табун неоседланных лошадей, которые ловко заседлывались уже в пути. Запасные ямщики заменяли своих товарищей на полном скаку. Уставшие лошади оставались в степи. Все они были тавренные, а потому так или иначе попадали со временем к своим хозяевам. Прибывая на станцию, я обыкновенно находил уже разбитыми две юрты и палатку, которые мне полагались по рангу. Ко мне приводили напоказ барана, которого тут же резали, и затем мой спутник-казак готовил шашлык над костром из кизяка. Запах последнего, неотступно преследующий вас в Монголии, не слишком противен, хотя им и пропитаны все юрты. Для меня была очень приятна полная тишина и какое-то торжественное спокойствие, которым дышит степь. Вместе с тем в Монголии чувствовалась в то время полная безопасность,

Свое единственное оружие — револьвер я так и не вынимал из чемодана. Для меня путешествие облегчалось тем, что я почти не пользовался телегой и проделал весь путь верхом. Очень часто со своим монгольским провожатым мы уезжали далеко вперед и скакали по степи, оставив далеко позади телегу с вещами и казаком. В течение одиннадцати дней я не видал ни одного строения и, не зная монгольского языка, не мог ни с кем разговаривать, кроме как со своим спутником-казаком.

На каждой станции меня встречал в парадном кафтане начальник кочевья, что являлось исконным монгольским жестом гостеприимства. Он протягивал мне обе руки ладонями вверх, на которые гостю полагается положить свои руки плашмя. Мне пришлось испытать и монгольскую честность. Я как-то, едуци верхом, выронил свои золотые часы и спохватился, лишь проехав много верст. Они мне были доставлены, хотя и растоптанные лошадиным копытом. По приезде в Петербург мне удалось их починить. В числе монгольских обычаев в то время был обмен табакерок-бутылочек с нюхательным табаком. Монголы их передают из рук в руки, и каждый или нюхает табак при помощи особой вложенной в бутылочку ложечки, или же по крайней мере подносит ее из вежливости к носу. Все русские, проживавшие в то время в Монголии, носили такие табакерки, что по-видимому, облегчало сношения с местным населением. С монгольской медициной мне пришлось познакомиться на практике. На одном переходе я внезапно почувствовал себя так плохо, что, сойдя с лошади, не мог больше на нее сесть. Монгол, сопровождавший меня, стал весьма ловко массировать меня, после чего мне стало значительно легче, и мы благополучно продолжали свой путь. Что касается монгольских лекарств, то я убедился, что у монголов в большом ходу сахар как средство от глазных болезней. Я почти на всех станциях оставлял моим новым приятелям в подарок несколько кусков сахара. Много лет спустя, когда у меня болели глаза, я с успехом применял это средство, по-видимому, мало знакомое в Европе. К кирпичному чаю я вскоре так привык, что предпочитал его китайскому, которого у меня был целый запас. Кирпичным чаем мы пользовались и вместо денег расплачивались им за небольшие услуги, оказываемые



нам монголами. Помимо того мой казак по принятому обычаю наделял начальников станций тремя серебряными рублями за зарезанного барана. При подобных путешествиях китайские чиновники обыкновенно ничего не платили, считая, что баран им полагается даром, а в случае, если он был им не нужен, то, наоборот, монголы должны были выплачивать китайцам его стоимость. Может быть, это одна из причин, почему монголы относились в то время к русским путешественникам с особой предупредительностью. В качестве мелочи мы иногда расплачивались и кусочками серебра от разбиваемого на куски рубля. Это приходилось особенно часто делать при переправах через реки, которые с приближением к Урге (Улан-Батор) стали попадаться чаще. Среди же пути, когда нам пришлось пересекать пустыню Гоби, местность была настолько безводна, особенно потому, что долго не было дождя, что почтовых лошадей на станциях не оказывалось, и перехода три нам пришлось сделать на верблюдах, впряженных в мою телегу. По всему пути нашего следования попадались скелеты лошадей, погибших вследствие отсутствия воды.

Мне удалось видеть живописное зрелище, представляемое конными монголами, вылавливающими своеобразными арканами (в виде жерди с петлей на конце) из табуна лошадей, нужных для нашего дальнейшего путешествия. Это, впрочем, случилось лишь два раза, когда посылаемый вперед конный монгол почему-либо не попал заблаговременно на следующую станцию, где он должен был предупредить о заготовке лошадей. Среди ямщиков, выказывавших при этом, как и при самой езде, необыкновенную ловкость, попадались иногда и женщины. Большинство монголов было одето в ярко-красные или желтые кафтаны, и по вечерам в лучах заходящего солнца небольшая кавалькада представляла красивую картину. Поддаваясь настроению, ямщики затягивали хором заунывную песню, далеко разносившуюся по пустынной степи.

В Урге я пробыл два дня в гостях у нашего генерального консула Я. П. Шишмарева, по происхождению амурского казака. Ему было за 70 лет, но он был еще необыкновенно бодр, и мы вместе совершили по Урге и ее окрестностям несколько поездок верхом. Службу он начал переводчиком еще при графе Муравьеве-Амурском, во

времена заключения известного Айгунского договора¹, по которому к нам отошла Приморская область. В Урге я встретился и с венгерским ученым графом Зичи. Его научная экспедиция в Монголию имела целью доказать общность корней венгерского и монгольского языков. Объясняется это, помимо появления монголов в XIII веке в Венгрии, вообще монгольским происхождением венгров. Из Урги в Троицкосавск путь был уже недалек — всего два дня переезда. Издалека Троицкосавск мне показался маленьким Парижем: в течение двенадцати дней пути я не видал других жилищ, кроме юрт, за исключением нескольких незамысловатых построек в Урге.

Еще через два дня я был при скорой сибирской езде на перекладных уже на станции Мысовой, на Байкальском озере, откуда через несколько часов переезда на пароходе мы достигли «Листвиничной», на другом берегу озера, а затем снова на пароходе по прозрачным водам Ангары добрались до Иркутска. Сибирская железная дорога еще до него не доходила. Таким образом, мне представилась возможность познакомиться с этим городом во всей его сибирской первобытности — с невообразимой мостовой и наполовину проломленными досчатыми тротуарами. Из местных властей я ни с кем не повидался и лишь сделал официальный визит для получения подорожной местному генерал-губернатору генералу Горемыкину, брату одного из царских премьеров. В первый же день моего приезда в гостиницу, где я остановился, пришел один из местных жителей, оказавшийся директором местного отделения Сибирского банка, бывший ссыльный поляк Шестакович. Целью его посещения было желание найти для себя попутчика — явление в то время в Сибири обычное, так как опыт научил местных жителей, что путешествие в одиночку по сибирским дорогам небезопасно. К тому же путешествие вдвоем обходилось дешевле. Мой новый знакомый оказался весьма приятным попутчиком. Он прекрасно знал Сибирь, где прожил со времени польского восстания долгие годы, сделав при этом хорошую карьеру, хотя лишь второй год пользовался правом въезда в столицу. Как знаток Сибири он

¹ Айгунский договор был заключен 28 мая 1858 г. между Россией и Китаем; он определял границы этих стран по реке Амуру.— *Прим. ред.*

за время нашего совместного путешествия успел рассказать мне очень много интересного, и я долгое время потом сожалел, что не записал его рассказов. На перекладных нам пришлось сделать лишь 300 верст до станции Зима, до которой в то время доходила Сибирская железная дорога. Ехали мы в его тарантасе безостановочно днем и ночью, но по ночам не спали, так как мой спутник, опытный сибиряк, советовал быть постоянно на чеку, и мы оба держали в руках заряженные револьверы. По его словам, отлогие, но весьма продолжительные подъемы, называемые на местном наречии тянигусами, в особенности были опасны с точки зрения ночного нападения. Действительно, по сторонам дороги сплошь и рядом попадались деревянные кресты — память об убитых путешественниках. Время от времени мы проезжали мимо больших четырехугольных деревянных зданий, окруженных высоким частоколом. То были пересыльные тюрьмы, так называемые «каталажки».



На станции Зима мы застали поезд, готовый к отправлению, но так как он шел с частыми остановками, то в первый день мы сделали только 200 верст — приблизительно столько же, сколько мы делали на перекладных. На больших сибирских реках не было железнодорожных мостов, и наше путешествие осложнялось необходимостью переезда через реки на паромов. На переездах были установлены в то время две очереди, и меня, имевшего казенную подорожную, пускали в первую. После некоторых переговоров мне обыкновенно удавалось не расставаться и с моим спутником Шестаковичем. Западная Сибирь, в особенности Барабинская степь, произвела на меня очень сильное впечатление богатством растительного мира. К тому же Шестакович восторженно рассказывал вообще о Сибири, в особенности о Барнаульском округе.

Как бы то ни было, от Иркутска до Петербурга мы пробыли в дороге более двух недель, но я не раскаивался, что выбрал этот путь возвращения из Пекина. Иначе мне, вероятно, никогда не пришлось бы познакомиться с Сибирью. На Дальний Восток я во время дальнейшей службы больше не возвращался. Знакомство с Сибирью и Монголией, хотя бы и мимолетное, необходимо, чтобы отдать себе отчет о значении для России Дальнего Востока.



В Петербурге я пробыл недолго. Чтобы поправить свое здоровье, расстроенное пекинским климатом, мне пришлось уехать лечиться в Германию. До отъезда я представился новому министру графу М. Н. Муравьеву. Это был неглупый, но весьма легковесный дипломат шуваловской школы. Между прочим, Муравьев был любителем мундиров. Он только что завел повседневную дипломатическую форму военного образца и принял меня, одетый генералом. Муравьев умер через два года от удара у себя в кабинете, получив сообщение о боксерском восстании.

Три недели в тихом уголке в окрестностях Дрездена почти восстановили мое здоровье. В санатории д-ра Гаупта лечили меня модной тогда гидропатией с применением в ванне электрического тока. Мне впервые пришлось пожить провинциальной германской жизнью. Она пришлась мне очень по душе по своему размеренному темпу, скромности и, в противоположность жизни европейцев на Дальнем Востоке по английскому колониальному шаблону, не столько комфорту, сколько культурной насыщенности. Между прочим, после Китая, где я за три года не побывал ни разу в театре, дрезденская опера произвела на меня незабываемое впечатление, и я уже тогда решил при первой возможности попасть на службу в Германию. Это мне и удалось, но значительно позже. В Дрездене я бывал довольно частым гостем у нашего престарелого посланника барона Врангеля — он был большой коллекцио-

нер и, конечно, вследствие своего балтийского происхождения вполне сроднился с условиями немецкой жизни.

Вернувшись в Петербург, я узнал, что за время моего отдыха в министерстве было решено перевести меня в Афины. Сначала был предложен Бухарест, но я от него отказался. Попасть туда мне пришлось впоследствии уже в качестве первого секретаря. Одновременно меня ознакомили с телеграммой нового начальника в Афинах — М. К. Ону. Посланник требовал ускорить мой приезд туда ввиду увеличения работы миссии в связи с критскими событиями¹. Эта телеграмма пришла крайне не вовремя: вскоре после приезда в Петербург я сделал предложение и в январе должен был жениться. Как никак, не желая отлынивать от службы, я решил ускорить свадьбу и уже в ноябре выехал с женой к месту нового назначения через Вену и Рим. Во время пути я по нескольку дней бывал в Вене, Цюрихе, Венеции, Милане, Риме и Неаполе. Все эти города я посетил в первый раз. В Риме мы задержались. Там я встретил своего старого знакомого Н. В. Чарыкова. Он был в то время министром-резидентом при папской курии², а секретарем у него был С. Д. Сазонов, будущий министр иностранных дел. Сазонов в то время был уже десятый год секретарем. Впоследствии, сделав необыкновенно быструю карьеру, он оказался министром иностранных дел в критические для России дни 1914 г. Уже тогда он держался с большим авторитетом, и Чарыков (будущий товарищ министра ино-

¹ В 1895 г. на острове Крит, принадлежавшем Турции, вспыхнуло антитурецкое восстание. Султан объявил критянам «священную войну». На помощь восставшим из Греции были отправлены транспорты с вооружением и добровольцами. Греческое правительство объявило о своем сочувствии критянам и послало эскадру для оккупации острова. Вскоре греческая армия вступила в пределы Македонии, также принадлежавшей Турции. Началась греко-турецкая война. Турция, сторону которой приняла Англия и другие европейские державы, нанесла в течение трех недель поражение Греции. По подписанному 4 декабря 1897 г. мирному договору Греция должна была уплатить Турции контрибуцию. По выработанному тогда же послами Англии, Франции, Италии и России органическому статусу было объявлено, что остров Крит, продолжая входить в состав Османской империи, будет иметь автономное правительство.— *Прим. ред.*

² Папская курия — совокупность центральных учреждений, с помощью которых римский папа осуществляет управление католической церковью.— *Прим. ред.*

странных дел, а затем посол в Константинополе) как будто пасовал перед ним. Как с Чарыковым, так и с Сазоновым мне впоследствии пришлось служить в министерстве, а потому я буду говорить о них далее. Наше римское посольство при Квиринале, иначе говоря, при итальянском дворе, помещалось в старинном, нанимаемом нашим правительством палаццо на Пьяцца дель Пополо. Посол отсутствовал, и я его не видал. Секретарями были: первым — барон Корф, а вторым — граф Келлер. Из них второй был дядей первого и гораздо старше его. Дядя с племянником сидели в канцелярии вдвоем друг против друга. Она помещалась, что, как я уже говорил, случалось во всех наших посольствах, чуть ли не на чердаке. Впоследствии барон Корф был назначен посланником в Мюнхен, но скоропостижно умер в вагоне, подъезжая к месту своего назначения. Как говорят, это было самоубийство под влиянием шантажа.

В Афины мы попали через Бриндизи, остров Корфу и Патрас, откуда вдоль Коринфского залива идет железная дорога до Афин. Непрерывного железнодорожного пути в Европу в то время Афины не имели. Сообщение этой маленькой столицы с внешним миром поддерживалось пароходными линиями Бриндизи — Патрас или же Константинополь — Пирей. Бывали дни, когда в Афины вовсе не приходило европейской почты. В общем Афины 30 лет тому назад были крайне неприглядны и необыкновенно пыльны. Даже после Юго-Восточной Италии этот город производил впечатление захолустья. Мы с женой чуть не плакали, когда поняли, что, быть может, надолго застрянем в Афинах. Это, действительно, и случилось, но мы спустя некоторое время стали смотреть на Афины уже другими глазами. Как это всегда бывает после первого неприятного впечатления, для нас начали постепенно выявляться хорошие стороны нашей добровольной ссылки, иначе говоря, дипломатической службы. Не могу здесь не отметить, что по странному стечению обстоятельств все мои последовательные шесть заграничных назначений переносили меня в города, где я никогда раньше не бывал, и мне приходилось к ним приспосабливаться. Мой новый начальник — М. К. Ону был весьма интересным и оригинальным человеком. Службу он начал в качестве мальчика для поручений при канцелярии русского главнокомандующего во время венгерской

экспедиции 1849 г.¹ На него обратили внимание, как на очень способного молодого человека, и он был взят в Россию, где и окончил гимназию, а затем Лазаревский восточный институт и стал большим знатоком не только турецкого, но также греческого и арабского языков. Начав службу студентом посольства в Константинополе, Ону, подвигаясь там по служебной лестнице, сделался первым драгоманом уже ко времени заключения Сан-Стефанского договора². Мне запомнился его рассказ о том, как он первым русским въехал в Константинополь в качестве парламентаря. Наши войска остановились на берегу Мраморного моря. Среди телеграмм и писем, врученных Ону по приезде, была и телеграмма небезызвестной княгини Трубецкой с вопросом: «На когда назначено вступление русских войск в Константинополь?» Туркам содержание телеграммы было, конечно, известно. «Я никогда на эту телеграмму не ответил», — заканчивал этот рассказ Ону. Потом Ону был назначен, что бывало очень редко с драгоманами, советником того же посольства, а затем посланником в Афины, где и закончил свою карьеру. Он умер через два года после моего приезда в Афины. Ону великолепно знал Ближний Восток и в особенности Турцию и турок. Будучи сам по себе весьма умным человеком, Ону не обладал, однако, нужной для дипломата самоуверенностью и апломбом в обращении с европейскими коллегами. Что касается турок, начиная с высших и кончая низшими представителями султанского режима, то он умел говорить с ними необыкновенно авторитетно. На это давало ему право глубокое знакомство не только с Турцией, с ее обычаями и нравами, но и главным образом со всеми своеобразными чертами слуг падишаха. Женат он был на образованной, но необычайно скучной женщине — приемной дочери известного в свое время соподвижника князя Горчакова Жомини, француза по происхождению. Последний долгое время слыл за самого изящного редактора полити-

¹ Речь идет о вооруженной интервенции царской России в Венгрию в 1849 г. с целью подавления революции, вспыхнувшей в этой стране в 1848 г. — *Прим. ред.*

² Сан-Стефанский мирный договор — русско-турецкий договор, подписанный 3 марта 1878 г. в Сан-Стефано, под Константинополем, после окончания русско-турецкой войны 1877—1878 гг. — *Прим. ред.*

ческих депеш при многолетнем государственном канцлере.

Ону в своей дипломатической деятельности часто прибегал к совершенно восточным приемам, но применял их с тонкостью и изворотливостью настоящего левантинца (под это понятие подходит все разноязычное и разноплеменное иностранное население прежнего Константинополя). Если Ону сплошь и рядом терялся на больших придворных и дипломатических приемах, зато он был блестящ в разговоре с одним или двумя собеседниками, делая иногда замечания, поражающие своей глубиной мудростью и точностью выражения мысли. Эти его способности, к сожалению, не были использованы министерством в полном объеме. Его недовольство петербургскими бюрократами сказывалось порой в весьма колких замечаниях на их счет. Говоря о трех последних наших министрах, Ону обыкновенно замечал: «*Lobanow c'était un monsieur*» («Лобанов был порядочным человеком»). Этим он выражал свое мнение об его двух последовательных преемниках: графе Муравьеве и графе Ламздорфе. Что же касается делового анализа политической обстановки, то не раз бывали случаи, когда вопреки ходячей и общепринятой оценке положения в петербургских канцеляриях и при дворе Ону одной своей телеграммой освещал по-своему и с необыкновенным даром предвиденья исход того или другого события. Так, например, еще в 1897 г., за год до моего приезда в Грецию, господствующее в Афинах военное возбуждение считалось не только на Балканах, но и во всей Европе чуть ли не угрозой для европейского мира. Вернувшись из отпуска и приняв миссию от первого секретаря Ю. П. Бахметева (будущего посла в Вашингтоне), поддавшегося афинским придворным настроениям, Ону протелеграфировал в Петербург: «Двух недель войны будет достаточно, чтобы успокоить воинственных греков».

Действительно, через две недели войска турецкого главнокомандующего Эдхем-паши стояли, как принято выражаться, под несуществующими, впрочем, стенами Афин. Три года спустя, когда началась бурская война и когда ходячим мнением было то, что англичане очень скоро справятся с «восставшими бурами», Ону как-то заметил голландскому поверенному в делах ван Леннепу: «Через три года англичане будут утомлены». Мне

это передавал сам ван Леннеп. При этом в его глазах сквозил какой-то наивный страх перед «пророческим даром» нашего старого посланника. Ону смотрел на свои посланнические обязанности с особой точки зрения: с высоты своего в самом деле незаурядного знания людей и политических отношений. Из его слов выходило, что наше петербургское министерство делает ряд ошибок, что местная власть крайне неразумна, а что он призван регулировать и сочетать порой непримиримые противоречия двух борющихся между собой несознательных сил. На практике ему помогала его левантинская изворотливость. Мне помнится, в один из серьезных моментов развития критского вопроса Ону, который был в то время болен, поручил мне собрать подписи трех посланников, выступавших совместно с ним с нотой, адресованной греческому правительству. Это выступление должно было состояться после весьма продолжительных и трудных предварительных переговоров по согласованию текста ноты. Английский посланник, по-видимому, не желая восстанавливать против себя греческого короля, написал перед своей подписью: «С копией верно» (тождественная нота была уже предъявлена генеральными консулами в Канее верховному комиссару на Крите королевичу Георгию). Я вернулся к посланнику с вопросом, что делать дальше. Он вышел из положения, поставив свое имя над подписью англичанина. Таким образом, приписка последнего оказалась имеющей силу только для него одного. Остальные два посланника, французский и итальянский, подписались без приписок, и нота была вручена без нового обмена телеграмм с министерствами.

Не всегда, однако, деятельность нашего престарелого посланника встречала одобрение свыше. Характерна в этом отношении каламбурная пометка, сделанная на одном из его донесений Александром III: «А ну его».

Что касается придворных отношений, игравших в Афинах большую роль ввиду близости петербургского и афинского дворов, то они были для Ону весьма неприятны. Он, впрочем, умело скрывал то порой пренебрежительное отношение, которое проявлялось к нему весьма распушенными греческими принцами, опирающимися на интимные связи с нашей императорской семьей. По рассказам Ону, одним из самых тяжелых эпизодов в его жизни было назначение сопровождать Николая II, в то

время наследника, при его путешествии на Дальний Восток в 1890 г.

Когда было решено отправить наследника в дальнейшее путешествие, возник вопрос, кто из представителей министерства иностранных дел будет его сопровождать. Предполагалось первоначально поручить это посланнику в Мюнхене графу Хрептовичу-Бутеневу, бывшему долгое время советником посольства в Лондоне и хорошо знакомому с английскими порядками. Подобное назначение было бы, по-видимому, удачным: наследник должен был посетить последовательно Египет, Индию и другие английские владения, а между тем вся его свита была составлена из лиц, стоявших далеко от международных отношений и даже не знавших английского языка. Почему-то, однако, это назначение не состоялось, и в последний момент к Николаю II был прикомандирован Ону. Как я уже говорил, именно он по своему складу не подходил к этой миссии. Действительно, он скоро попал в весьма неприятное положение, в особенности потому, что на наследника влиял королевич Георгий Греческий, привыкший уже в Афинах не считаться с Ону. Молодые люди стали позволять себе всякие неприличные выходки по отношению к старику и в конце концов перестали слушать его советов. Между прочим, великие князья и принц, подстрекаемые морской молодежью и своей свитой, отправились в Александрии по всяким увеселительным заведениям, что не могло не произвести неприятного впечатления на население. Все представления Ону по этому делу остались безрезультатными. Затем во время морского перехода по Красному морю (это, впрочем, мне рассказывал не сам Ону) молодые люди начали относиться к Ону уже совершенно пренебрежительно, видя в нем неприятного гувернера. Одним из развлечений принца Георга было бросать грязную тряпку на голову старого посланника, когда он выходил из своей каюты. Вообще путешествие посланника на Дальний Восток, окончившееся, как известно, очень плачевно в Оцу, где японский полицейский ударил саблей Николая II по голове, было обставлено весьма неудачно. Характерна маленькая подробность, рассказанная Ону. В Бомбее, где наследник пробыл довольно долго, предусмотрено было посещение им одного из индийских махарадж. Эту поездку, как и другие экскурсии, путешественники совер-

шали в штатском платье. Между тем при снаряжении их за границу не позаботились даже о снабжении их достаточным штатским гардеробом, и великие князья ездили верхом в обыкновенных пиджачных парах, с задиравшимися по колено панталонами. Это не могло не вызвать улыбок у англичан, из которых последний клерк любой конторы блещет в колониях корректностью своего костюма. После несчастного случая с великим князем Георгием Александровичем, сильно разбившимся при каких-то «играх» на палубе броненосца, Ону вместе с ним возвратился в Европу. Что касается принца Георга, то некоторым дополнением к тому, что мне рассказывал Ону, был рассказ английского посла в Мадриде сэра Артура Гардинга. Последний еще молодым человеком находился на службе в Индии и был прикомандирован сопровождать там русских великих князей. По его словам, принц Георг держал себя повсюду весьма самостоятельно, чтобы не сказать вызывающе. Он требовал, чтобы при встречах играли после русского гимна греческий, которого, кстати сказать, никто из музыкантов по всему пути их следования не знал.

Как бы то ни было, ко времени моего приезда в Грецию Ону с большим авторитетом, несмотря на придворные нелады, занимал место русского посланника в Афинах и декана дипломатического корпуса, мечтая, однако, перейти на другой пост. Действительно, отношения с двором были лично для него весьма тяжелы и неприятны, в особенности после греко-турецкой войны. Во время этой войны на Ону был возложен ряд неприятных для двора поручений.

Первым секретарем был А. А. Смирнов (будущий посланник в Каире). Он был недурным поэтом, но в общем не очень умным человеком, обуреваемым нестерпимым снобизмом, для которого афинская придворная среда представляла благодарную почву. Атташе при миссии был москвич С. В. Протопопов, весьма неглупый человек и большой оригинал, а военным агентом — полковник Калнин, латыш по происхождению, вскоре назначенный на ту же должность в Константинополь. Русская колония пополнялась престарелым генеральным консулом в Пирее (порт Афин) Троянским и русским секретарем королевы Философовым, весьма мало интересным человеком, проводившим всю жизнь на придворных должностях. Тро-

янский был и русским делегатом в Международной финансовой комиссии, взявшей после греко-турецкой войны под контроль греческие финансы¹. Эта комиссия через несколько лет восстановила их равновесие, а также и курс драхмы, к большому огорчению большинства афинских дипломатов, получавших жалованье в золотой валюте и пользовавшихся разницей в курсе.

Как я уже говорил, придворная жизнь играла большую роль в афинском дипломатическом обиходе, в особенности для русской миссии. В противоположность Пекину, где иностранные дипломаты вели независимую жизнь, вне местных кругов, в Афинах вся наша жизнь вертелась так или иначе вокруг двора, причем это бывало подчас в достаточной мере тягостно. Королева Ольга Константиновна, по существу необыкновенно добрая женщина, не переставала считать себя русской великой княгиней, а потому вмешивалась в жизнь русской колонии, в особенности русской средиземноморской эскадры, которая постоянно заходила в Пирей, а часто там и зимовала. На ее судах давались бесконечные приемы в честь королевской семьи, на которых должна была присутствовать и русская миссия. Отношения последней как с часто сменявшимися адмиралами, так и с самой королевой были очень сложны. Между прочим, Ольга Константиновна, как дочь бывшего генерал-адмирала², постоянно вмешивалась в жизнь эскадры и порой бывала в весьма натянутых отношениях с ее командующими, как например с будущим морским министром, адмиралом А. А. Бирелевым. По своей сердечной доброте она особенно баловала матросов, которые приглашались, к большому неудовольствию короля, пить чай во дворец, формально к горничной королевы, но в действительности к ней самой. Этим был недоволен и адмирал, утверждавший, что так подрывается дисциплина и матросы выхо-



¹ Расходы во время войны 1897 г. с Турцией и контрибуция, которую Греция обязалась по договору выплатить Турции, окончательно подорвали финансы Греции. Европейские великие державы, воспользовавшись этим, установили международный финансовый контроль над Грецией. Закон об установлении международного финансового контроля над Грецией и о создании в этих целях Международной финансовой комиссии был издан 9 марта 1898 г.— *Прим. ред.*

² Великого князя Константина Николаевича.— *Прим. авт.*

дят из его повиновения. Нечего и говорить, что в то же время весьма частое пребывание русской эскадры в Пирее и сопровождавшие его почти ежедневные посещения королевой русских судов не могли не коробить необыкновенно чуткого национального самолюбия греков и были причиной постоянных осложнений. Это не только не поднимало русского престижа, но, наоборот, порой вызывало народные волнения.

Весьма характерно было в этом отношении скоро, впрочем, улегшееся восстание, направленное по своеобразному поводу главным образом против Ольги Константиновны.

Королева, будучи весьма религиозной, однажды задумала перевести на современный греческий язык евангелие. Между тем три из евангелий (Марка, Луки и Иоанна) были первоначально написаны по-гречески, а потому греки считали себя хранителями подлинного евангельского текста, хотя большинство из них древнегреческого языка и не понимало. Тем не менее перевод евангелия на новогреческий язык был сочтен в Афинах за панславистскую интригу. В продолжение трех дней волнения не прекращались. Местный университет превратился в укрепленную цитадель, весь гарнизон был поставлен на ноги. На улицах шла стрельба, вызвавшая многочисленные жертвы. Но король Георг I, опытный, почти циничный правитель, царствовавший, как известно, более 40 лет, вышел из затруднения весьма ловко. Он пожертвовал всем своим кабинетом и вдобавок митрополитом Прокопием, известным русофилом. В результате через три дня волнения так же скоро улеглись, как и начались.

Этот политический прием проявления крайней уступчивости вообще весьма характерен для личности короля. По происхождению датский принц, брат русской императрицы и английской королевы, Георг I весьма ловко пользовался своими связями, чтобы царствовать в маленьком тогда греческом королевстве, насчитывавшем лишь 2¹/₂ миллиона населения. Страдавшие мегаломанией греки не могли не сознавать, что «связи» короля им полезны. Со своей стороны, король, попав в 1862 г. в Афины после переворота, вызвавшего отречение короля Оттона¹ (по

¹ В феврале 1862 г. в ряде городов Греции вспыхнули восстания армейских частей. Эти восстания были направлены против короля Оттона и его политики полного подчинения и уступок Анг-

происхождению баварца), заручился пожизненной пенсией трех держав-покровительниц — России, Англии и Франции. Каждая из этих держав обязалась выплачивать ему до самой смерти, даже в случае его вынужденного отречения, по 100 тысяч франков в год. Помимо того, король Георг, будучи весьма деловым человеком, составил себе значительное состояние, которое держал за границей. Таким образом, ему, как иностранцу и притом непосредственно не заинтересованному в греческом вопросе, удавалось весьма ловко маневрировать среди столь легко возбуждающегося греческого населения. При этом он проявлял недюжинный такт, научился свободно говорить по-гречески и делал все возможное, чтобы угодить своим случайным подданным. Каждый год он уезжал в «продолжительный отпуск» во Францию, где вел весьма приятный образ жизни, отдыхая от трудов правления. Мне помнится, как однажды, когда мы стояли на платформе крошечного афинского вокзала в ожидании приезда какого-то высокопоставленного русского лица, король с улыбкой, как бы подтрунивая над своей столицей и показывая на начинающийся за вокзалом туннель, сказал мне: «Можно подумать, что мы в Лондоне». Это порою легкомысленное отношение к своей стране и столице в какой-то мере облегчало для короля его пребывание в Афинах, которое он с самого начала своего приезда не принимал всерьез. В делах внутреннего управления король ловко маневрировал между различными партиями, легко расставаясь со своими премьерами. Интересен его взгляд на обязанности конституционного монарха. Как-то раз он шутливо объяснил их одному из дипломатов. «Мои обязанности весьма легки,— сказал он по-французски,— обыкновенно первый министр, являясь ко мне с докладом, сообщает, что большинство палаты за него; в таком случае я иду гулять. Случается и так, что министр

ли, Франции и России. В октябре 1862 г. движение распространилось на Афины, где солдаты разграбили королевский дворец. 23 октября в Афинах было создано Временное правительство, которое объявило о низложении Оттона. В марте 1863 г. Национальное собрание под давлением Англии избрало королем племянника датского короля и зятя принца Уэльского — Вильгельма Георга. Фактически влияние Англии, России и Франции в Греции после переворота еще более усилилось. Правление Георга I продолжалось до 1913 г. — *Прим. ред.*

приходит и говорит мне, что большинство против него; в таком случае я ему отвечаю: «Идите гулять» (непереводимая игра слов: по-французски это равносильно русскому: «Убирайтесь»).

В 1915 г. я попал в Салоники и увидел там памятник на том месте, где в 1913 г. был убит болгарским четником Георг I при его первом посещении завоеванных греками Салоник — их долголетней мечты. Я вспомнил о легкомысленном короле и подумал, что он, вероятно, никогда не представлял себя кончающим жизнь не в изгнании, как король Оттон, а как искупительная жертва торжествующего панэллинизма. Вся жизнь Георга I плохо вязалась с этим трагическим концом.

Сыновья греческой королевской четы были далеко не так интересны, как их родители. Наследник королевич Константин был женат на принцессе Софии, сестре императора Вильгельма II. Этот брак внес диссонанс в русско-франко-английский патронат над Грецией, сыграл впоследствии немалую роль в судьбах Греции во время мировой войны, а затем вызвал двукратное изгнание короля Константина XI. Одиннадцатым он был провозглашен по счету одноименных императоров Восточной Римской империи. В этом сказывалось стремление Греции вернуть себе Константинополь. Эта мечта отразилась и на выборе имени наследника. Он был назван Константином, как некогда был так же назван и обучен греческому языку второй внук Екатерины II¹. Иллюстрацией к тому, как при афинском дворе сталкивались панславистские и панэллинские мечты о Константинополе, может служить такой случай, раскрывающий русофильские взгляды королевы. Ольга Константиновна летом обыкновенно уезжала на долгие месяцы в Россию, делая переход из Пирея в Одессу на греческой королевской яхте «Амфитрита». При виде Константинополя с возвышающейся над городом Айя-Софией один из придворных спросил королеву: «Когда же, наконец, греческий флаг (греки украшают флагами свои церкви) будет развиваться над бывшим Византийским собором?» Королева ответила одним словом: «Пота» («Никогда»).

Как бы то ни было, король Константин не только не завоевал Константинополя, но даже и умер в изгнании.

¹ Цесаревич Константин Павлович.— *Прим. авт.*

Его второй сын, Александр, возведенный на престол во время мировой войны союзниками вопреки воле отца, умер вскоре довольно таинственно от укуса взбесившейся обезьяны, а последний греческий король Георг II живет теперь не у дел в Бухаресте. Будущие короли — Георг и Александр — были в мое время мальчиками. В Афинах в обществе появлялись их отец — наследный королевич Константин и его братья — Николай, Андрей и Христофор. Все они, как и находившийся в то время на Крите в качестве верховного комиссара четырех держав (Англии, Франции, России и Италии) королевич Георгий, во многом заслуживали строгого, но справедливого о них мнения старика Ону. Говоря о короле, он добавлял иногда с особым ударением: «И его «очаровательные» сыновья».

Через два дня после моего приезда в Афины состоялись торжественные проводы отъезжающего на Крит королевича Георга. Назначение Георга на Крит явилось результатом весьма продолжительных переговоров держав, причем Германия и Австро-Венгрия отказались от непосредственного участия в урегулировании критского вопроса. По этому поводу германский канцлер князь Бюлов произнес в рейхстаге ставшую известной фразу: «Германия предпочитает положить свою флейту и прекратить свое участие в (европейском) концерте». В этих переговорах главное значение имело покровительство, оказанное королевичу Николаем II, подружившимся с принцем во время их совместного путешествия на Дальний Восток. Это была комбинация, повлекшая за собой окончательное присоединение острова к Греции. Назначение Георга на Крит, несмотря на только что проигранную греками войну с Турцией, лишней раз доказывало, насколько греческий вопрос стоял в зависимости от политики великих держав и не был обусловлен действительной силой Греции, которая в то время почти не обладала боеспособной армией.

Несмотря на незначительность греческого королевства, Афины в конце прошлого столетия были важным узлом политических интриг великих держав, а потому и дипломатический корпус был составлен из более или менее видных дипломатов. Многие из них стали впоследствии министрами иностранных дел. Интересной особенностью этого корпуса было то, что почти половина посланников была жената на русских.

Англичанин сэр Эдвин Эджертон был женат на вдове одного из моих предшественников, второго секретаря русской миссии Каткова, сына известного московского публициста. Эджертон очень полюбил своих пасынков, и в Афинах можно было наблюдать не лишенную известной знаменательности сцену, как внуки обличителя английской политики Каткова гуляли с любвеобильным отчимом — великобританским посланником. Женитьба Эджертона создавала для англичан особо благоприятное положение. Если к Эджертому благоволил король Георг, бывший по своим симпатиям англоманом, то леди Эджертон пользовалась полным доверием королевы, знавшей ее в течение многих лет и продолжавшей видеть в ней исключительно русскую. Конечно, это было лишним осложнением для Ону, жена которого была по происхождению француженка и во всяком случае не была соотечественницей в глазах королевы. Ольга Константиновна после 35-летнего пребывания в Греции осталась убежденной русской патриоткой.

Турецкий посланник Рифаат-бей, впоследствии паша, посол в Париже и министр иностранных дел, был тоже женат на русской. Мария Николаевна Рифаат, очень умная женщина, деятельно помогавшая своему мужу в его дипломатической карьере, была дочерью русского дивизионного генерала фон Ризенкампа, разжалованного в солдаты за столкновение со своим корпусным командиром Свистуновым. После помилования Ризенкамп жил в Афинах у своей дочери, но никогда никому не показывался. После всех потрясений он почти впал в детство. На русских же были женаты и итальянский посланник герцог Аварна (будущий посол в Вене) и болгарский дипломатический агент Цоков (бывший потом посланником в Петербурге).

Германскими посланниками были последовательно за мое время граф Плессен и князь Ратибор, с которым я встретился затем в Мадриде, где он был послом. Австро-венгерским посланником был ставший затем министром иностранных дел двуединой монархии барон Буриан (до Афин он был дипломатическим агентом в Софии, а перед тем — генеральным консулом в Москве). Он довольно свободно говорил по-русски. Германский и австро-венгерский посланники держались несколько особняком и являлись в Афинах среди остальных дипло-



матов как бы своего рода оппозицией, что соответствовало, между прочим, роли Германии и Австро-Венгрии в критском вопросе. После перевода герцога Аварны в Вену итальянским посланником был назначен Сильвестрелли, пробывший, впрочем, в Афинах недолго. Он был отозван по весьма курьезному в истории дипломатических сношений поводу. Им был представлен в римское министерство экономический доклад о Греции, где он отзывался о ней, как о стране весьма отсталой в экономическом и культурном отношениях. По неосмотрительности консулы (министерство иностранных дел) этот доклад был напечатан и стал известен грекам. После этого в афинской печати поднялась настоящая буря, посланника как-то забросали грязью, и он никуда не мог показываться без телохранителей. Итальянское правительство поспешило его отозвать, но, признавая свою вину, перевело его с повышением — послом в Мадрид. В конце XIX века Италия еще далеко не играла в восточном бассейне Средиземного моря той роли, которую она играет теперь. Хотя в критском вопросе она и присоединилась к трем державам-покровительницам (Англии, Франции и России), но все же занимала среди них второстепенное место. Между прочим, ее агенты получали гораздо меньше жалованья, чем их коллеги, представители других великих держав, и им приходилось проявлять необычайную экономию даже в канцелярских расходах. Мне помнится, например, случай, когда мы выступали вместе с Италией с совместной нотой. На мой вопрос итальянскому посланнику, скоро ли он может получить телеграфный ответ из Рима с одобрением текста ноты, он мне ответил, что его министерство разрешает сношения по телеграфу лишь в исключительных случаях и ему придется снести с ним по почте.

Как я уже говорил выше, в обязанности нашей афинской миссии входило участие в целом ряде придворных церемоний, которые вызывались близкими родственными отношениями петербургского и афинского дворов. За мое пребывание в Афинах там сменилось три русских посланника. Для них неизменно камнем преткновения служили именно эти отношения. Действительно, для русского дипломата, желавшего сохранить свое независимое положение и иметь возможность не выпускать из своих рук нити нашей политики в Греции, было

весьма трудно отгородиться от постоянного вмешательства придворных влияний, сочетать свою независимость с «благосклонностью» местного двора. Последний переписывался по политическим вопросам с петербургскими родственниками помимо и иногда без ведома посланника. К тому же согласно местным обычаям каждая из крупных миссий в Афинах была вынуждена давать большие приемы в честь греческой королевской семьи. За мое время связи между петербургским и афинским дворами еще усилились двумя женитьбами: королевич Николай Греческий женился на великой княгине Елене Владимировне, а принцесса греческая Мария (младшая сестра жены великого князя Павла Александровича и Александры Георгиевны, в то время уже покойной) вышла замуж за великого князя Георгия Михайловича. Мне пришлось присутствовать на обеих свадьбах: на первой — в Петергофе и на второй — на острове Корфу.

На свадьбе Георгия Михайловича присутствовал отец жениха престарелый великий князь Михаил Николаевич. На Корфу прибыла и наша средиземноморская эскадра. Георг I оказался не только испытанным монархом, но и опытным гофмаршалом. Он почти единолично и притом в неприспособленной обстановке вел церемониал свадьбы.

Таким образом, королевская семья стала еще многочисленнее (Георгий Михайлович часто с женой гостил в Афинах), и русскому посланнику приходилось принимать их у себя, что, конечно, вызывало большие расходы и немало хлопот. После смерти Ону в 1901 г. в Афины был назначен знакомый мне по Токио барон Розен. Он был вынужден уступить свое место в Японии А. П. Извольскому, восходящему тогда у нас дипломатическому светилу. Розен был весьма недоволен своим переводом в Афины. По его словам, афинская миссия была обращена в «придворную контору». Со своей стороны и двор, чувствуя пренебрежительное отношение Розена к Афинам как к политическому центру, выказывал русскому посланнику свое недовольство. Этим положением воспользовалась английская миссия, установив необычайно тесные отношения со всей королевской семьей. В результате дело окончилось инцидентом, обстоятельства которого весьма характерны для афинской обстановки.

История этого инцидента следующая. Одним из главных предметов греческого экспорта была коринка (мелкий изюм), которая вывозилась в Россию для выделки и главным образом подделки красного вина. Русское министерство финансов облагало этот ввоз довольно высокой пошлиной, дающей в среднем ежегодно около 600 тысяч рублей. Греческое правительство, недовольное этим, пустило в Петербурге в ход все придворные дружины, чтобы это высокое обложение было отменено. Об этом усиленно хлопотала и королева, обратившись к тогдашнему министру финансов С. Ю. Витте. Тем не менее в целях охраны интересов русского виноделия в Крыму и Бессарабии таможенный сбор все же отменен не был. Но в виде знака особого благоволения к Греции и, в частности, к королеве в Петербурге было решено все деньги, получаемые от этого сбора, переводить королеве на ее благотворительные дела. На эти средства был, между прочим, построен королевой госпиталь для моряков (в том числе русских) в Пирее.

Весной 1902 г. состоялось открытие этого госпиталя, на которое Розен получил приглашение от гофмаршальской части. Он вместе с женой встречал королеву у входа в госпиталь, находившегося возле одной из пристаней Пирейского порта. Королева же прибыла к прилегающей к госпиталю набережной на русской военной шлюпке в сопровождении своего лучшего друга — жены английского посланника леди Эджертон, русского адмирала и нескольких русских морских дам и офицеров. Находя, что положение, в которое он был поставлен, несовместимо с достоинством русского представителя, барон Розен немедленно обратился с письмом к министру иностранных дел, в то время графу Ламздорфу. В этом письме он просил о переводе его из Афин, а также сообщал, что вследствие неудовольствия Петербурга оставляет миссию на продолжительное время и передает управление ею поверенному в делах. В Петербурге этот шаг Розена не был одобрен. Николай II на подлиннике письма написал: «Надо успокоить Розена». Однако положение последнего в Афинах стало действительно до крайности неудобным. Вскоре вопрос разрешился иначе: во время продолжительного отпуска Розена состоялось передвижение посланников. Извольский был переведен из Токио в Копенгаген, а

Розен получил свой прежний пост в Японии, которую он окончательно покинул лишь в 1904 г. при объявлении русско-японской войны. Я не могу здесь не остановиться еще раз на личности Розена как одного из выдающихся, но непонятых при царском режиме русских дипломатов. При его ясном и вполне реальном отношении к вопросам нашей внешней политики он неизменно видел дальше, чем ее петербургские руководители. Но, вероятно, именно потому с ним никогда не соглашались, а отдавали ему должное, лишь тогда, когда было слишком поздно и то или другое бедствие постигало Россию, оправдывая предсказания дипломатической Кассандры¹, которой был барон Розен. Так, например, перед самой русско-японской войной Розен телеграфировал из Токио, что, по его мнению, тот образ действий, который был принят Петербургом по отношению к Японии, неизбежно приведет к войне, а если так, то необходимо поспешно закончить укрепления Порт-Артура и увеличить наши военные силы в Маньчжурии. Петербургские дипломаты (в этом случае это была правая рука Ламздорфа директор Азиатского департамента Гартвиг) отвечали короткой телеграммой: «Не теряйте из виду, что Маньчжурия не входит в сферу Вашей компетенции». В Петербурге, по-видимому, были далеки от мысли, что вскоре Маньчжурия войдет волею судеб если не в сферу компетенции русского посланника в Токио (он был отозван), то в круг действий японской армии. Ту же роль Кассандры Розен сыграл и перед мировой войной, предупреждая в особой записке, уже будучи членом Государственного совета, об опасностях нашего разрыва с Германией. Сущность этой записки была передана и в передовой статье «Нового времени»², но по обыкновению слова Розена остались гласом вопиющего в пустыне³.

¹ *Кассандра* — дочь последнего царя Трои — Приама. Любимая Аполлоном, она получила от него дар пророчества. Однако, отвергнув любовь Аполлона, Кассандра была им наказана. Наказание состояло в том, что ее предсказаниям никто не верил. — *Прим. ред.*

² «*Новое время*» — ежедневная газета, начавшая издаваться в Петербурге с 1868 г. В 1876 г. газета перешла к А. С. Суворину. С этого времени она занимала реакционно-черносотенную позицию, отражая на своих страницах взгляды высших бюрократических сфер. — *Прим. ред.*

³ В изданных в Америке мемуарах Розен повествует о тщетности своих советов в течение войны, с которыми он обращался

В Афины на место Розена был назначен по примеру Ону советник посольства в Константинополе Ю. Н. Щербачев. Так же как и два его предшественника в Афинах, он был необыкновенно интересным и умным человеком, и в то же время большим оригиналом. Начав свою службу незадолго до турецкой войны в Константинополе и никогда не обладая мало-мальски значительными личными средствами, кроме хутора на Украине, он совершенно отдался дипломатической службе, которую и провел почти исключительно в Константинополе, занимая лишь в течение нескольких лет место первого секретаря в Копенгагене, где весьма пришелся по душе Александру III своим «истово» русским внешним и внутренним обликом. Не имея возможности конкурировать со своими коллегами, ведущими блестящий образ жизни, он всю жизнь держал себя Диогеном, неизменно ходил в черном потертом сюртуке с суковатой палкой в руках, зато превосходил всех своих сотрудников усидчивостью и работоспособностью. Будучи назначен посланником в Афины, Щербачев отнесся, однако, в противоположность Розену с необыкновенной щепетильностью к своим светским и придворным обязанностям, оставаясь в отношении к себе тем же Диогеном. В то время большой дом миссии в Афинах не имел казенной обстановки, и посланникам приходилось меблировать его на свой счет. Ни обстановки, ни средств у Щербачева не было. Он заложил свой хутор на Украине. На эти деньги выписал из Англии обстановку для всех приемных комнат, а сам поселился в одной из верхних пустых комнат миссии, где в одном углу стояла узенькая железная кровать, а в другом — крошечный умывальник, над которым висел обломок зеркала. Это не мешало Щербачеву давать по возможности пышные приемы всему двору, на что он, помимо своих чрезвычайно ограниченных средств от залога имения, тратил и все свое посланническое содержание. Вместе с тем он был большим хлебосолом и приглашал нас неизменно к себе завтракать, на что я

поочередно к Сазонову, Покровскому и к Керенскому. Он считал, что необходимо заключить мир, за что союзные власти едва не отказали ему в американской визе. Иностранная печать в последние дни Временного правительства называла Розена кандидатом в министры иностранных дел. Розен погиб в 1922 г. в Нью-Йорке, попав под автобус. — *Прим. авт.*

часто соглашался, чтобы его не обидеть, хотя жил с семьей и с гораздо большим удовольствием завтракал бы у себя дома. Этот обычай приглашать весь личный состав к завтраку Щербачев усвоил в Константинополе, где по обычаю все члены посольства завтракали, а сплошь и рядом и обедали у посла. Меблировка маленькой столовой состояла из образчиков разнокалиберных стульев, выписанных им из разных городов Европы при выборе мебели для приемных комнат.

В служебном отношении Щербачев был тоже большим чудачком. В своем кабинете он устроил для себя вторую канцелярию, где работала его дочь и ее гувернантка. При этом в кабинете был и его частный архив, состоявший, между прочим, из всех визитных карточек, которые он когда-либо получал, и из многих десятков дипломатических паспортов, по которым он когда-либо ездил. Перед отправкой дипломатической почты в Петербург для Щербачева наступала настоящая страда: он в ночном костюме сидел с утра за столом и до бесконечности исправлял свои донесения в министерство. Мне помнится, что как-то раз, когда я сидел вечером на приеме в турецкой миссии, мне была принесена от посланника записка, где значилось: «Если вы еще не переписали той депеши, которую я вам отдал утром, то замените на четвертой странице слова «а также» словами «равным образом»». Как бы то ни было, но Щербачев, относясь весьма серьезно к своим посланническим обязанностям в Афинах, если и не приобрел там особых симпатий, то пользовался общим уважением как умный и порядочный человек. Немалым преимуществом для Щербачева служило, как и для Ону, то обстоятельство, что до Афин он пробыл долгое время в Константинополе и прекрасно ориентировался в балканских делах¹. Из рассказов Щербачева у меня осталось в памяти его повествование о том, как он, будучи молодым атташе, переписал Сан-Стефанский договор и затем сопровождал в Петербург графа Игнатьева, который в специальном поезде торжественно вез этот недолговечный до-

¹ Вообще константинопольское посольство при ряде послов (графу Н. П. Игнатьеве, князе Лобанове-Ростовском, А. И. Неллидове и И. А. Зиновьеве) сделалась своего рода «рассадником» русских дипломатов, посвятивших себя балканской политике. Их минусом было то, что они смотрели на все сквозь балканские очки.—
Прим. авт.

говор. В коридорах министерства Щербачев встретил присяжного остряка горчаковского окружения Гамбургера. Это был один из немногих царских дипломатов-евреев, впоследствии многолетний посланник в Швейцарии. Гамбургер спросил Щербачева: «Вы переписывали Сан-Стефанский договор, а крепко ли вы его сшили?»

Кстати, о наших бывших дипломатических или, вернее, канцелярских обязанностях. Всю первую половину моей службы мне сплошь и рядом приходилось переписывать чужие донесения, а не давать другим переписывать свои (пишущих машинок не было, и все секретные донесения должны были переписываться секретарями от руки), что меня крайне огорчало из-за моего дурного почерка. Я его понемногу все же выработал, но он оставался весьма крючковатым. Почти все политические донесения представлялись в оригинале Николаю II, который их добросовестно прочитывал и в результате знал приблизительно все наши почерки. Он как-то шутя заметил моему коллеге, первому секретарю, при его приеме: «А у вас в миссии есть какой-то необыкновенный почерк с крючками». На донесениях посольств и миссий Николай II иногда делал свои заметки, порой лестные для отправителя депеши. Однако приятные замечания Николая II не всегда доходили до заинтересованного лица: об этом «заботились» министерские чиновники. Наоборот, все неприятное неизменно сообщалось и притом в весьма торжественной форме. Как-то мой коллега первый секретарь Смирнов забыл подписать всю экспедицию. Николай II написал на полях: «Не подписано». В результате в миссии получена была бумага за подписью самого министра Ламздорфа, в которой значилось: «На ваших донесениях государю императору благоугодно было начертать: «Не подписано»».

За время моего пребывания в Афинах я почти каждое лето уезжал в отпуск в Россию. Это было очень приятно, так как летом в Афинах стоит необыкновенная жара, от которой невозможно спастись. Даже в Пирее и в небольшом дачном месте Кефисии температура мало отличается от афинской. В Россию я ездил двумя путями: через Корфу, Триест, Вену или через Константинополь и Одессу. В Вене и Константинополе я обыкновенно останавливался по нескольку дней и хорошо познакомился с этими двумя городами, проводя время

со своими местными русскими коллегами, а часто и иностранными дипломатами, которых я раньше знал по Пекину или Афинам.

Кстати, об иностранных коллегах. Службу я начал в двух отдаленных местах. При этих условиях обычно между секретарями различных миссий устанавливались весьма близкие отношения вне зависимости от преходящих политических взаимоотношений между государствами, в представительство которых они входили. Это немало облегчало и скрашивало долгое пребывание в небольших и чуждых центрах. Например, в Афинах между секретарями различных миссий существовали такие близкие отношения, что мы устроили даже нечто вроде международного научного кружка. В нем еженедельно каждый из нас делал доклад на какую-нибудь тему международной политики. При этом ни одного раза не возникло неприятных политических споров, и все придерживались строго академической темы доклада. Большая, впрочем, близость между дипломатами часто заставляла наиболее молодых из них чересчур увлекаться этим определенным кругом знакомства, относиться с известной пренебрежительностью к местному обществу и позволять себе посмеиваться над ним между собой. С годами я убедился в крайней нежелательности подобного рода дипломатической изолированности и критики местной среды. В результате сплошь и рядом плохо скрываемое пренебрежительное отношение к местному обществу настраивает последнее против иностранцев, и, таким образом, дипломатами не выполняется та, быть может, главная цель, для которой они посылаются за границу, а именно завязать возможно близкие повседневные отношения в той или другой стране. При возникновении серьезных разногласий между правительствами это всегда облегчает их разрешение. Помимо того, постоянная критика в тесном дипломатическом кружке страны пребывания неизменно отражается на настроении дипломата, и он гораздо труднее мирится с условиями, в которые поставлен. В последние годы своего пребывания в Афинах эту теорию я стал применять на практике. Между прочим, мне удалось самостоятельно, без помощи посланника, разрешить щекотливый для меня вопрос о поступлении в члены Афинского клуба. Иностранные посланники входили в клуб



без баллотировки, а секретари должны были баллотироваться. За несколько лет до моего приезда с кем-то из иностранных секретарей произошел в клубе какой-то инцидент, и с тех пор туда никто из них не поступал, опасаясь оказаться забаллотированным. Я разрешил вопрос поступления в клуб, попросив председателя совета министров Теотокиса и министра иностранных дел Романоса представить мою кандидатуру. Конечно, я был принят без разговоров.

В России почти всегда во время отпуска после нескольких дней пребывания в Петербурге я уезжал на Волгу, в небольшое имение, которое у меня там было, а затем жил в окрестностях Варшавы, в имении, где проводил лето с семьей. Это майоратное имение¹ в Вышкове я наследовал после брата, умершего в русско-японскую войну на Дальнем Востоке.

Я крайне жалею, что не записывал в то время моих впечатлений, так как ежегодная перемена места давала мне возможность, с одной стороны, сравнивать условия жизни на Балканах с русскими условиями, а кроме того, предохраняла меня от отчужденности в отношении своей страны, чем рискует большинство дипломатов, находящихся продолжительное время на заграничной службе и не посещающих время от времени родины.

Летом 1903 г. я пробыл довольно долго в Петербурге, где жил у брата, офицера конной гвардии, в казармах полка. Весной этого года я получил первое придворное звание камер-юнкера. Получение придворных званий в царское время было почти неизбежно связано с дипломатической службой: почти две трети царских дипломатов носили придворный мундир. По этому случаю мне нужно было представиться Николаю II. Аудиенция состоялась в Петергофском малом дворце, где я был принят вместе с другими представлявшимися, причем каждого из нас Николай принимал поодиночке, и мне пришлось говорить с ним с глазу на глаз в течение десяти минут.

Петергофский малый дворец, где царская семья обычно проводила лето, производил впечатление не дворца, а скорее большого частного дома, с которым не гармонировали придворные мундиры, военная стража и

¹ *Майоратное имение* — имение, переходящее по наследству к старшему в семье или роде.— *Прим. ред.*

все другие атрибуты царской власти. Вместе с тем уже тогда, в 1903 г., поражало обилие принятых мер предосторожности по охране безопасности царя. Вокруг стены, окружавшей парк малого дворца, непрерывно двигались группы всадников. То были лейб-казаки, объезжавшие парк с ружьями наизготовку. Комнаты, в которых принимали Николай II и Александра Федоровна, были весьма небольших размеров и разделены между собой маленькой гостиной, в которой ожидали приема как представлявшиеся, так и министры, приехавшие с докладом. Между прочим, одновременно со мной царского приема ждали министр иностранных дел граф Ламздорф и военный министр Куропаткин. Время было тревожное, над Россией уже висела угроза русско-японской войны. Куропаткин только что вернулся из своей поездки на Дальний Восток, во время которой ему, между прочим, пришлось по приказанию из Петербурга задержаться в Японии, чтобы дать возможность Безобразову, входившему тогда в силу, первым посетить Порт-Артур. Как известно, Ламздорф, Куропаткин и Витте, несмотря на ведомственные раздоры, на этот раз объединились в противодействии авантюристической политике дельцов вроде Безобразова, адмирала Абазы, Вонлярлярского и др., толкавших правительство на столь же опасные, сколь бестолковые и недобросовестные, операции в Северной Корее вроде известной лесной концессии на реке Ялу¹ и т. д. Эта группа, проникшая к Николаю II, так сказать, с заднего крыльца, была крайне неудобна для министерства иностранных дел, так как подрывала всякую возможность сговориться с Японией. Дело дошло до того, что министры Ламздорф, Куропаткин и Витте не знали о готовящихся «высочайших указах» по Дальнему Востоку. В июле 1903 г. дело шло о создании наместничества на Дальнем Востоке с пребыванием наместника в Порт-Артуре, территориально не связанным с нашими владениями на Дальнем Востоке и отстоявшем на 1200 верст от нашей

¹ Речь идет о предоставленной в 1898 г. корейским правительством концессии на разработку леса владивостокскому купцу. В 1902 г. купец перепродал концессию Безобразову. Несмотря на сопротивление Витте, созданная Безобразовым компания по эксплуатации концессии пользовалась широкой государственной поддержкой. После русско-японской войны концессия была передана Японии.— *Прим. ред.*

основной морской базы — Владивостока. К вышеупомянутой группе политических дельцов примкнул в это время и мой старый знакомый по Дальнему Востоку военный агент в Китае полковник, впоследствии генерал, Вогак. В моей памяти осталась та характерная для графа Ламздорфа сладкая улыбка, которой он встретил Куропаткина, и его слова: «Я с наслаждением читал, Алексей Николаевич, вашу докладную записку». В этой записке Куропаткин, между прочим, критиковал безобразовские планы, а потому Ламздорф не мог не быть солидарен с ним. На следующий день в той же гостиной, ожидая приема у Александры Федоровны и разговаривая с дежурным флигель-адъютантом, я взглянул на список представлявшихся в этот день Николаю II и увидел на особом месте имя полковника Вогака и отметку о получасовой аудиенции. Это было, насколько мне помнится, 30 июля, а на следующий день появился указ о назначении адмирала Алексеева наместником Дальнего Востока, причем ему подчинялись не только приамурский генерал-губернатор и военный губернатор Приморской области, но до известной степени и посланники в Китае, Японии и Корее. Указом наместнику поручалось объединить дипломатические сношения с «сопредельными областями»(!). После этого указа военный министр и министры финансов и иностранных дел подали в отставку, но ушел лишь один граф Витте, назначенный на не имевшее в то время политического значения место председателя комитета министров.

Это было нечто вроде увольнения на покой, из которого Витте вышел в 1905 г., когда был назначен председателем делегации по ведению мирных переговоров в Портсмуте¹, а затем в октябре того же года и первым председателем объединенного на конституционный лад Совета министров. Что касается Ламздорфа, то он остался на своем посту. Ему было сказано свыше: «Вы уйдете тогда, когда я это найду нужным».

Николай II принял меня в небольшом угловом кабинете, выходящем окнами на взморье, стоя у письменного стола в малиновой, почти красной рубашке русского покроя. Их носили царскосельские стрелки. Впервые

¹ Переговоры между царской Россией и Японией в 1905 г. о заключении мирного договора после поражения царизма в русско-японской войне 1904—1905 гг.— *Прим. ред.*

разговаривая с Николаем, я был поражен той несколько странной простотой, с которой он держался, почесывая себе левую руку в широком рукаве рубахи — жест, который так мало гармонировал с тем, что можно было ожидать от императора, дающего аудиенцию. Но в общем Николай говорил очень спокойно и естественно. Разговор у нас вертелся вокруг пребывания в Афинах великой княгини Елены Владимировны. Николай II справился о ней и окончил банальный разговор просьбой передать ей поклон. Александра Федоровна, которая приняла меня на следующий день, произвела иное впечатление. Обладая довольно высоким ростом, она стояла во время аудиенции, стараясь принять величественный вид, однако постоянно меняющаяся краска лица выдавала ее крайнюю нервность, неуравновешенность и даже плохо скрываемую неуверенность в себе.

Дня через два или три я представлялся великому князю Михаилу Александровичу, тогда еще наследнику, жившему в Красном Селе в расположении Преображенского полка в отдельном небольшом домике на манер офицерского барака. С ним жил его бывший воспитатель полковник Дашков. Если это возможно, то Михаил Александрович был еще менее интересен по своему разговору, чем Николай II и Александра Федоровна. Я положительно не помню, о чем мы с ним говорили. Зато у меня осталась в памяти поездка в Красное Село в поезде, а затем в придворной коляске с А. П. Извольским, которого я впервые встретил. Его я не знал даже в лицо. По-видимому, Извольского это неприятно удивило. Впрочем, я ему, как старшему, представился, назвав свое имя, после чего он назвал и себя. Он только что был назначен посланником в Копенгаген и представлялся по этому поводу. Разговор наш был невольно продолжителен и вертелся, конечно, вокруг дальневосточных дел. Между прочим, меня поразило у будущего министра иностранных дел, как впоследствии и у его преемника С. Д. Сазонова, отсутствие ориентации в состоянии нашего военного дела. Мне сдавалось, что у большинства наших ответственных дипломатов был развит в чрезмерной степени тот ведомственный «такт», который мешал им судить о наших военных возможностях и не позволял им критически относиться к нашей армии. Дело в том, что мне неза-



долго перед тем пришлось присутствовать в качестве привилегированного зрителя на больших маневрах под Варшавой, в окрестностях Вышкова. В них принимало участие много корпусов, и я воочию убедился, что наша армия в отношении командного состава совсем небоеспособна. Ею командовали в то время престарелые генералы, сплошь и рядом остзейского происхождения. Они главным образом пререкались между собой по вопросам местничества, а военным делом интересовались весьма мало. То же, по-видимому, происходило в тот момент и в Маньчжурии, где еще не было перед нами настоящего врага. Через год с небольшим все это кончилось разгромом нашей армии при Ляояне и Мукдене. То же впечатление я вынес и из разговора с Сазоновым в 1915 г., в разгар мировой войны. Я только что вернулся из Варшавы, где видел возвращавшихся с фронта наших солдат с одним ружьем на 4—5 человек. Я об этом рассказал министру. Мы потом заговорили о начавшемся отступлении на Карпатах и неладах между генералом Радко-Дмитриевым и Драгомировым (начальником штаба генерала Иванова). «Что же, если ссоры наших генералов заходят так далеко, то мы больше не великая держава»,— сказал Сазонов. Обиженный тон министра как бы возлагал в этом всю вину на чужое, военное ведомство. Сознания общей громадной ответственности перед страной не чувствовалось. Извольский гораздо живее отзывался на только что происшедший скандал в Сеуле. Там произошла дуэль между моим бывшим сослуживцем в Пекине А. И. Павловым, посланником в Корее, и военным агентом фон Раабенем.

Вообще не только на Дальнем Востоке, но и в Европе постоянно наблюдались весьма натянутые отношения между дипломатами и военными агентами. Это было проявлением на местах столь зловредной отчужденности между военной и гражданской бюрократией в царской России. Сам Извольский был на ножах с военным агентом в Японии Ванновским. В дипломатических кругах еще не была забыта и давнишняя борьба между нашим послом в Берлине графом Шуваловым и военным агентом князем Долгоруким, которого послу с большим трудом удалось выжить из Берлина. Интересно, что потом этот самый Долгорукий, будучи уже дряхлым старцем, был назначен послом в Рим при министре Извольском.



И это после долгих разговоров о необходимости омолодить состав наших представителей. Впрочем, дуэль между Павловым и Раабенем имела под собой и романтическую почву.

Вернувшись в Афины в конце августа 1903 г., я снова вошел в обычную, несколько уже надоевшую колею афинской жизни и лишь издали мог следить за надвигавшейся на Дальнем Востоке катастрофой. Судя по письмам моего брата, светский сезон зимой 1903/04 г. в Петербурге начался весьма блестяще, приемы сменялись приемами. Между прочим, при дворе был дан костюмированный бал, в котором весь двор и светское общество участвовало в костюмах времен Алексея Михайловича. В нем приняли участие в царских облачениях XVII века и Николай II и Александра Федоровна. Известие о внезапном нападении японских миноносцев на наши суда на порт-артурском рейде¹ пришло во время бала в Эрмитаже².

У нас в Афинах война проявилась прохождением на Дальний Восток русских военных судов, которые неизменно посещала королева Ольга Константиновна. Помню ее разговоры по этому поводу с нашими офицерами. Она неизменно со своей милой близорукостью, но несколько наивной улыбкой повторяла, говоря о японцах: «Ведь это же макаки». Почти половина офицеров, с которыми я познакомился и отчасти подружился в Афинах, погибла в Желтом или Японском морях, под Порт-Артуром или Цусимой³.

Вообще с нашим флотом в то время дело обстояло столь же неблагополучно, как и с армией.

Не могу здесь не рассказать о необыкновенной афере, затеянной из Петербурга в Греции к концу моего афинского пребывания и непосредственно связанной с нашим морским делом. Во время войны как японцы, так и мы старались пополнить свои силы покупкой военных судов за границы. Японцы купили два крейсера в Аргентине, а мы в свою очередь делали все возможное,

¹ Нападение произошло в ночь на 9 февраля 1904 г. и явилось началом русско-японской войны.— *Прим. ред.*

² Через несколько дней мой брат уехал на войну, переведясь во 2-й Верхнеудинский казачий полк. С войны он не вернулся, так как умер от тифа.— *Прим. авт.*

³ В последнем случае имеется ввиду морское сражение 27—28 мая 1905 г. близ острова Цусимы (Корейский пролив).— *Прим. ред.*

чтобы приобрести несколько судов в Чили. Зимой 1904/05 г. в Афинах появились два секретных агента: морского министерства и Главного управления по делам торгового мореплавания и портов. В то время во главе морского ведомства стоял великий князь Алексей Александрович, а во главе Главного управления по делам торгового мореплавания и портов — великий князь Александр Михайлович. Оба старались склонить греческое правительство, и притом путем подкупа отдельных лиц, к предоставлению греческого флага купленному нами у чилийцев флоту, так как после объявления войны Греция не сделала заявления о нейтралитете. Комбинация состояла в том, чтобы чилийские суда после покупки их нами перешли бы временно под греческий флаг и лишь затем были включены в состав нашего флота.

Подобная комбинация сама по себе была уже довольно сложна, но, конечно, она могла бы быть, правда, с большим трудом, разрешена путем дипломатических секретных переговоров с самим королем или с главой его кабинета. Но окружавшим обоих «морских» великих князей дельцам подобный подход не сулил бы никаких выгод. Они избрали окольные пути. Были высланы секретные агенты: капитан первого ранга Брусилов, скрывавшийся под французской фамилией Бланкар и выдававший себя за француза, хотя он едва говорил по-французски, и секретарь великого князя Алексея Александровича настоящий француз Коттю, изменивший для пущей конспирации свою фамилию на Котюрье. Со стороны Александра Михайловича действовал некий американец Флинт, бывший когда-то гувернером в России. Наше министерство иностранных дел, не желая, по-видимому, противодействовать великим князьям, дало нам эзоповскую телеграмму, предлагая содействовать обеим группам дельцов, но скрывая их переговоры друг от друга. Как ни серьезно было само по себе задание, но манера его выполнения носила характер настоящего фарса. Между прочим, главным действующим лицом в Афинах стал некий греческий банкир Георгиадис. Он вел переговоры с обеими группами, обещая им даже смену министерства. Это будто бы должно было облегчить осуществление шаткого плана «покупки греческого флага». Те же дельцы еще до Афин вели подобные же переговоры и в Константинополе. Они истратили уже

там много денег, но ничего не добились. Положение миссии во всем этом было весьма двусмысленно. У нас не было инструкции из Петербурга взять дело в свои руки, мы должны были оставаться лишь передатчиками фантастических шифрованных телеграмм, посылаемых великокняжескими агентами. Последние давали грекам совершенно необыкновенные обещания, например уступали им находившийся еще в международной оккупации Крит и даже Македонию. Между прочим, мне запомнился мой разговор на площади перед королевским дворцом с помощником нашего морского агента в Константинополе, прибывшим на подмогу секретным агентам. Указывая на стоявшую перед дворцом карету первого министра Дельяниса, он выражал надежду на то, что декрет о предоставлении флага будет подписан и телеграмма об этом пойдет в Сант-Яго (столица Чили) своевременно. Это было-де необходимо, так как в этот день распускалась палата, а без нее продажа флота не могла состояться. Наш моряк учитывал даже и то обстоятельство, что в Афинах в этот момент было одиннадцать часов утра, а в Сант-Яго только три часа полуночи. Дело, конечно, кончилось ничем, но на нем najилось несколько человек, в том числе и упомянутый выше банкир Георгиадис. Я встретил его на пароходе при моем отъезде из Афин в Черногорию, и он признался мне, что ему было выплачено предварительно за будущие услуги 400 тысяч драхм.

Как бы то ни было, греки не пошли на эту фантастическую комбинацию, но они соблюдали в течение всей войны благоприятный для нас нейтралитет. Вернее говоря, они для нашего удобства не сохраняли никакого нейтралитета. Русские военные суда стояли в Пирее без ограничения времени. Это было облегчено полным отсутствием дипломатических сношений между Японией и Грецией, где в то время дальневосточные страны вовсе не были представлены.

Той же зимой 1904/05 г. мне пришлось довольно неожиданно для себя покинуть Афины. В начале декабря из министерства на мое имя пришла телеграмма с предложением принять назначение секретарем в Черногорию. В Афинах я был вторым секретарем, а потому это было повышение, хотя, признаться, я менее всего мечтал о назначении в Цетинье. В Афинах я обжился, там ро-

дились двое моих детей. Жил я довольно широко. Сравнительно большие доходы от майората в Польше облегчили заграничную службу, неизбежно связанную в то время для женатых дипломатов с расходами по представительству. А для меня не было секретом, что Цетинье был едва ли не самый захолустный пост не только в Европе, но, быть может, и во всем мире. Однако после шестилетнего пребывания в Афинах я считал нужным все же принять это назначение.

Таким образом, в январе 1905 г. я покинул Афины. Не могу не остановиться еще в последний раз на пребывании в этом городе, с которым связан значительный период моей жизни. Все иностранцы, попадающие в Грецию на более или менее длительный срок, обыкновенно резко разделяются на две группы. Одни находятся в постоянном восхищении от этой страны, причем смотрят на нее сквозь розовые очки классических воспоминаний, перенося на современных греков преклонение перед их предками. Другие, обыкновенно не обладающие достаточной классической подготовкой, видят в современной Греции лишь ее отрицательные стороны: отсутствие воды и растительности, подчас нестерпимую жару, бедность населения и т. д. Для второй группы пребывание в Греции — сущее наказание, а порой превеличенное самомнение греков действует на такого рода иностранцев раздражающе. Во всяком случае тем, кому пришлось бы долгое время жить в Греции, нельзя не порекомендовать изучить греческий язык, который во многом сохранил красоту древнегреческого, а также заинтересоваться археологией. Одним из ее центров являются, бесспорно, Афины.

В мое время там уже существовал ряд археологических институтов всех национальностей. Во главе «Французской школы» стоял будущий хранитель Лувра Омоль, во главе Немецкого археологического института — известный ученый Дерпфельд, который вместе со знаменитым Шлиманом произвел раскопки Трои¹, а затем работал на острове Корфу при раскопках, начатых там Вильгельмом II. Кроме этих двух главных археологических институтов, в Афинах работали англий-

¹ Троя — древнегреческий город на северо-западе Малой Азии. С Троей, ставшей нам известной благодаря гомеровскому эпосу («Илиада» и «Одиссея»), у греков связаны имена прославленных

ские, американские и итальянские археологи. Русского института не было, но предполагалось основать афинское отделение Константинопольского археологического института, во главе которого стоял профессор Успенский. Мы уже получили для этого отделения в дар от греческого правительства земельный участок. В 1901 г. в Афины приехал русский богач и меценат Нечаев-Мальцев. Целью его посещения было заказать большое количество слепков с образцов древнегреческой скульптуры и архитектуры для будущего музея Александра III в Москве, ныне музея изящных искусств¹. Вместе с Мальцевым я ездил, между прочим, в Олимпию. Мы провели там целый день, осматривая в сопровождении археологов развалины древнегреческих дворцов и храмов. Затем я объехал почти все места паломничества любителей греческой старины: Дельфы, Микены и т. д. Кроме того, на находившемся в распоряжении миссии стационаре мы вместе с Ону посетили почти все греческие острова архипелага, как например Парос, Антипарос, Милос, Санторин, Гидру, Специю, Наксос и т. д. Все эти острова, хотя и имеют скудную растительность, все же необыкновенно живописны, в особенности в мае, как раз в то время, когда мы были там. Острова расположены весьма близко друг от друга. В день можно посетить даже два острова. Из более отдаленных мест я посетил остров Крит, куда плавал два раза на военных судах. Вместе с нашим генеральным консулом А. А. Гирсом (впоследствии директором Санкт-Петербургского телеграфного агентства, а затем посланником в Черногории) мы объехали верхом весь остров, причем навстречу нам выезжало все мужское население посещаемых нами деревень. Гирс в качестве одного из консулов четырех держав, оккупировавших Крит, являлся там своего рода начальством. Мы, между прочим, посетили и необыкновенно интересные раскопки в Фесте и Кноссе. Первые производились итальянцами, а вторые — англичанами. В это время в археологических кругах весьма увлекались критскими раскопками микенской эпохи (1500 лет

героев и ряд важнейших событий. Первые археологические раскопки на месте Трои произвел Генрих Шлиман в 1870—1882 гг.—*Прим. ред.*

¹ В настоящее время музей им. А. С. Пушкина.— *Прим. ред.*



до нашей эры), составляющей промежуточное звено между египетской и греческой культурами. Кстати сказать, южная часть Крита, именно долина реки Мессары, представляет собой настоящий египетский пейзаж и очень плодородна. Вообще это путешествие по Криту, необыкновенная красота природы его произвели на меня большое впечатление. Я тогда написал об этом путешествии первую в жизни корреспонденцию, помещенную в «Санкт-Петербургских ведомостях», издававшихся моим старым знакомым по Китаю Э. Э. Ухтомским. Ко времени поездки по Криту я уже довольно свободно говорил по-гречески, но гимназические классические воспоминания заставляли меня выражаться на чересчур литературном языке. Мне было намного легче, например, разговаривать с местным критским митрополитом, чем с нашими погонщиками; с ними гораздо лучше объяснялся Гирс, усвоивший на Крите народный говор.

Что касается более дальних путешествий, то мне удалось во время пребывания в Афинах провести две недели в Египте, именно в Каире, где мы с женой были очень любезно приняты нашим дипломатическим агентом Кояндером и нашим представителем в кассе египетского долга¹ Гельске. Зимний сезон в Каире был весьма блестящ и интересен, причем поражали как необыкновенная роскошь и комфорт больших английских гостиниц, в одной из которых мы жили, так и живописность города. К тому же зимой в Каире очень приятный климат. Интерес пребывания там увеличивался осмотром замечательных остатков египетской древней культуры в окрестностях Каира. Мне особенно запомнился Каирский музей. Подобного ему по богатству и по систематичности расположения выставленных предметов не найти нигде. Наша поездка в Египет была вызвана также желанием проводить мою сестру. Она ехала в Трансвааль через Египет в качестве сестры милосердия с отрядом русского Красного Креста, отправлявшегося в Южную Африку для оказания помощи бурам, которые вели войну с англичанами. Этот отряд работал там

¹ Так называемая комиссия (касса) египетского долга была учреждена по требованию европейских держав, после того как в 1876 г. Египет был объявлен банкротом. Эта комиссия, в ведении которой были египетские финансы, находилась под контролем представителей держав-кредиторов — Англии и Франции. — *Прим. ред.*

несколько месяцев, несмотря на затруднения, которые он испытал со стороны англичан и преданных им португальцев в Лоренцо Маркасе, единственном порту воевавших буров.

Из археологических находок, сделанных во время моего пребывания в Афинах, замечателен целый клад произведений древнегреческого искусства, найденный на морской глубине у берегов Пелопоннеса. Этот клад перевозился 2 тысячи лет назад триремами¹ римского военачальника Суллы, который направлял награбленные в Греции сокровища в Рим. Триремы потерпели крушение, и клад был найден только в начале XX века ловцами губок. Некоторые из статуй, реставрированные французскими мастерами, украшают теперь Афинский музей.

Как говорилось выше, в январе 1905 г. я покинул Афины, и при этом довольно стремительно. Из министерства пришли последовательно три телеграммы, требовавшие немедленного моего отъезда к новому месту службы. Причину этого я узнал лишь впоследствии. Как бы то ни было, я собрался в несколько дней, оставив временно семью в Афинах. После моего почти шестилетнего пребывания в Афинах как иностранцы, так и греки провожали меня очень любезно. На вокзале были почти все коллеги, а также гофмаршал греческого двора и много греков. Как полагается перед отъездом, я был принят, начиная от короля и королевы, всеми членами королевской семьи на прощальных аудиенциях, получив на память, помимо греческого ордена, ряд фотографий с подписями. Мой отъезд совпал с известиями о событиях 9 января в Петербурге. О них я узнал на прощальном завтраке у Елены Владимировны. На следующий день, откланиваясь королеве, я говорил с ней снова об этом. Я помню ее удивление, когда сказал, что России обязательно должна быть дана конституция. Это прощальное замечание, мне думается, сделало меня в глазах Ольги Константиновны почти революционером. Не могу не отметить здесь маленького факта — обратной стороны земного величия. Январь был очень холодным, а афинский дворец не имел в больших залах никакого отопления. В ожидании приема королевы мне пришлось бегать в зале, чтобы согреться.

¹ Триремы (триеры) — военные корабли с тремя рядами гребцов, строившиеся в Греции начиная с VII в. до н. э.— *Прим. ред.*

(1905 г.)



Из Афин я уехал в не особенно хорошем настроении. Я думал о новом местопребывании, которое, кстати сказать, мне в очень мрачных красках расписал недавно переведенный оттуда итальянский посланник Болатти. Это был, впрочем, очень нервный человек. Узнав, что я принял назначение в Цетинье, он воскликнул: «Да вы сумасшедший!» Под этим впечатлением я и ехал в Цетинье.

С самого начала мне не повезло. Пароход, на который я заказал место, делающий рейс между Корфу и Каттаро (далматинский порт на самой южной оконечности бывших австрийских владений на Адриатическом море), потерпел крушение у албанского побережья. Как я узнал в Корфу, следующий пароход отправлялся лишь через восемь дней. Между тем у меня в кармане лежала телеграмма министерства, требующая моего немедленного прибытия в Черногорию. В пароходном агентстве австрийского Ллойда мне сказали, что его пароходы совершают более или менее регулярно прямые рейсы и между итальянским портом Бари и Каттаро, а потому я решил продолжить свой путь на том же пароходе до Бриндизи (порт на юго-восточной оконечности Италии, южнее Бари). Из Бриндизи, на мое счастье, отправлялся через два часа после прибытия нашего парохода лондонский экспресс, перевозивший индийскую почту, доставляемую быстроходными почтовыми пароходами из Порт-Саида. Через два часа после отъезда

из Бриндизи я был в Бари. Как я уже говорил, эта зима была исключительно холодной. В Бари стоял необычайный для Италии мороз, а вместе с тем на море свирепствовала буря. Остановившись в «лучшей» гостинице Бари — «Кавур», я узнал, что пароход задерживается в ожидании окончания шторма. Таким образом, я застрял в захолустном тогда итальянском городе. В гостинице не было отопления, плохо притворяющиеся стеклянные двери моей комнаты выходили на открытый балкон, и я никогда в жизни не страдал так от холода. На просьбу как-нибудь согреть комнату мне принесли единственный, имеющийся в гостинице аппарат отопления — небольшую жаровню. Я стал угорать. Пришлось от жаровни отказаться.

В ожидании парохода я пробыл в Бари около трех дней. За это время осмотрел все городские достопримечательности, вплоть до мощей Николая-«чудотворца», которые католический патер показывал несколько странным способом. Посетитель должен был ложиться на пол и смотреть под алтарем в небольшое отверстие, освещенное предварительно опущенной туда лампадкой. Видны были лишь какие-то неопределенные суставы. Эти мощи — место поклонения как для католиков, так и для православных. Впоследствии, при моем втором посещении Бари в 1915 г., я видел там почти законченную постройкой русскую церковь и странноприимный дом для русских паломников¹. В 1905 г. всего этого еще не было даже в проекте, не было и русского консула, назначенного в Бари значительно позднее. Наконец, пришел день, когда мне сообщили, что пароход уходит, но из-за плохой погоды неизвестно, в котором часу. Мне советовали отправиться на пароход с вечера. Мола тогда в порту не было, и при приближении к пароходу нашу маленькую гостиничную каретку неоднократно окатывали волны. На судне я оказался единственным пассажиром. Долго не мог забыть опасного переезда, который я совершил, чтобы попасть в Каттаро. Туда мы прибыли поздно вечером. Как только наш пароход пришвартовался, в каюту ко мне явился необыкновенно рослый кавас (так назывались курьеры, отчасти тело-



¹ Церковь и дом принадлежали нашему Палестинскому обществу.— *Прим. авт.*

хранители, иностранных представительств и казенных учреждений на Ближнем Востоке) в живописном черногорском костюме, высланный мне навстречу нашим посланником из Цетинье. Он сообщил мне, что ввиду снежных заносов выехать в Цетинье на следующий день нельзя. Черногорская армия выслана для расчистки пути, и через несколько дней можно ожидать, что путь будет свободен.

Каттаро — великолепный естественный порт в глубине залива того же имени — представляет собой маленький городок. Гостиницу заменяла небольшая харчевня. Я снова застрял на два дня, развлекаясь одинокими прогулками по живописным берегам Каттарского залива и разглядывая снизу горную дорогу в Цетинье. Она подымалась на Черную гору тридцатью семью изгибами — это был путь к месту моего «изгнания». Наконец, мое «предварительное одиночное заключение» кончилось. Кавас Йово сказал мне, что можно ехать. Я отправился с ним в путь в наемной старой, дребезжащей коляске, запряженной тремя лошадьми; моим испытаниям еще не наступил конец. Почти на самой вершине горы, у черногорской границы, отмеченной двумя столбами с черногорским и австрийским гербами, лежала с австрийской стороны на шоссе глубокая полоса снега, делающая невозможным наше дальнейшее продвижение. Австрийцы еще не успели очистить путь. Кругом не было видно никаких признаков жилья. Предусмотрительный Йово, однако, захватил с собой три лопаты, и мы в течение двух часов втроем с кучером усердно работали и отрыли себе в снегу траншею, через которую кое-как и проехала наша коляска.

Первой черногорской деревушкой был Негош — родина черногорской княжеской семьи, имя которого она носит. В нетопленной комнате крошечной гостиницы я кое-как пообедал, спрятавшись от холода почти в самый камин. В нем тлел скудный огонь.



Наконец, вечером я попал в Цетинье, где остановился в единственной «лучшей столичной» гостинице, называемой по-сербски локандой, а к 10 часам вечера уже входил в довольно уютный кабинет посланника А. Н. Щеглова в здании нашей миссии. От него я услышал, что он уволен в отставку и поэтому-то меня вызвали по телефону принять управление миссией. Впоследствии я также узнал, что причиной отставки Щеглова была его ссора с моим предшественником фон Мекком. Мекк был спирит. Впоследствии, выйдя в отставку, он разъезжал по Европе, читая лекции о спиритизме. В свое время в его сеансах принимали участие великие княгини-черногорки. Как известно они рекомендовали Николаю II французца Филиппа, ставшего затем первым чародеем при русском дворе.

Так же как и Щеглов, Мекк был уволен. Он освободил для меня место, назначение на которое обрушилось на меня, как снег на голову. Ссора между Щегловым и Мекком возникла по совсем пустячному поводу. Все это даже трудно понять без знания условий жизни в таком захолустье, каким было Цетинье. Посланник и секретарь жили в одном и том же казенном доме. Миссия была только что отстроена и снабжена, по-видимому, к несчастью ее членов, довольно первобытным водопроводом. В результате холодной зимы или, вернее, как оказалось потом, из-за тряпки, брошенной в бак детьми слуги, игравшими на чердаке, водопровод перестал действовать. Мекк был



лишен возможности брать ванну и стал требовать, чтобы для исправления водопровода был взломан пол в кабинете посланника. Щеглов запротестовал. Мекк в свою очередь обиделся и послал незашифрованную телеграмму в министерство, где просил об увольнении в отставку, указывая, что служить со Щегловым невозможно. Черногорцы, склонные ко всяким мелким интригам и падкие на скандалы среди дипломатов, показали эту телеграмму посланнику, а тот «для восстановления своего престижа» послал тоже клерную телеграмму¹ в Петербург с просьбой об увольнении секретаря. В результате министерство, уволив Мекка, сделало внушение Щеглову о неуместности выносить сор из избы. Разобиженный посланник тоже запросился в отставку. Она была принята. При таких обстоятельствах я и попал в Цетинье, где впервые мне пришлось самостоятельно управлять одним из наших заграничных дипломатических представительств. Дней через десять посланник уехал, передав мне дела миссии и оставив в моем распоряжении ее дом, двух кавасов и своего лакея, который перешел ко мне на службу. Единственным моим сотрудником был престарелый драгоман миссии. Это был долгое время проживший в эмиграции народоволец известный славист Ровинский. Его труды печатались в то время Академией наук. Ровинский был глубокий старик, совсем не от мира сего, а потому практически для дипломатической службы малопригоден.

Миссия занимала вычурное здание, напоминающее театр в провинциальном городе. Оно было построено итальянцем — хорошим художником, но весьма плохим архитектором. Им были удачно расписаны стены комнат, но устроена такая крыша, что во время таяния снегов (а это периодически происходило в Цетинье в течение всей зимы) сквозь крышу лились потоки воды на паркет приемных комнат. Для предохранения пола был расставлен целый ряд ведер. Все-таки в нижнем этаже жить было можно, и я из гостиницы перебрался туда. Кстати о гостинице: это был самый обыкновенный весьма к тому же обветшалый черногорский дом, в нем, конечно, тоже протекала крыша, что было, по-видимому, одной из особенностей жизни в Цетинье.

¹ Клерная телеграмма — незашифрованная телеграмма.— *Прим. ред.*

На следующий же день после приезда я познакомился со своим французским коллегой, поверенным в делах Прево. Он только что попал в Цетинье прямо из Парижа и был еще гораздо несчастнее меня в своей черногорской ссылке. У него в комнате в гостинице развалилась железная печь, и он чуть не угорел. Затем его кровать была залита потоком грязной воды, просочившейся через потолок; наконец, у него украли несколько серебряных вещей, несмотря на отмеченную в «Бедекере»¹ черногорскую честность. Первое время Прево был моим единственным сотоварищем по изгнанию. Мы ежедневно совершали прогулки, а вечером играли в пикет. В конце концов он не выдержал и сбежал в Рагузу. Вторым коллегой, находившимся в это время в Цетинье, был болгарский поверенный в делах Ризов, будущий посланник в Берлине. Он вскоре женился на дочери Вулетича, хозяина гостиницы. Последний был доверенным лицом князя Николая Черногорского. Гостиница в действительности принадлежала князю, а Вулетич был лишь его управляющим. К концу моего пребывания в Черногории я был вместе с французским посланником дружкой на свадьбе Ризова. Эта свадьба была сыграна согласно черногорским обычаям, и мы с французским посланником графом Серсэ были уполномочены, явившись в дом невесты, вручить «вено» — эмблематическую плату за невесту. Оно и было перед началом ожидавшего нас угощения передано в виде нескольких золотых монет, опущенных моим коллегой в стоящий перед ним стакан.

Ризов был весьма интересным человеком, большим русофилом. Он окончил университет в России, впоследствии в Болгарии участвовал в заговоре капитана Паницы², а после раскрытия заговора был приговорен к смерти. Ризов рассказывал, как будучи уже болгарским поверенным в делах в Константинополе, он выхлопотал турецкий орден для прибывшего туда болгарского сановника, в прошлом прокурора, который требовал его смертной казни. С Ризовым у меня связано следующее воспо-

¹ «Бедекер» — распространенные справочники-путеводители для путешественников, называемые так по фамилии издателя. — *Прим. ред.*

² Заговор капитана Паницы, раскрытый в феврале 1890 г., был направлен против диктатуры, установленной в Болгарии премьер-министром Стамбуловым. — *Прим. ред.*

минание. Через несколько дней после моего приезда в Цетинье пришло известие о смерти великого князя Сергея Александровича. Будучи революционером, Ризов за завтраком в гостинице воскликнул в присутствии кого-то из чинов черногорского министерства иностранных дел, двух иностранных дипломатов и меня: «Какой ловкий удар!» Признаться, я был поставлен в несколько затруднительное положение: ведь я был не только представителем России, но и царского правительства. Я нашел выход, спокойно ответив Ризову: «Вы так любите Россию и так с нею сроднились, что я вполне понимаю, что у вас о каждом событии в России может быть свое особое мнение». Разговор на этом кончился, и я с Ризовым сохранил наилучшие отношения, причем он, будучи весьма хорошо осведомлен, доставлял мне постоянно весьма интересные сведения. Во время войны Ризов был болгарским посланником в Берлине и известен, по воспоминаниям посланника в Стокгольме Неклюдова, как лицо, посетившее его с мирными предложениями от имени не то болгарского правительства, не то германского командования. Неклюдов отнесся к Ризову с недоверием, между тем я уверен, что Ризов, будучи убежденным русофилом, действовал в этом случае вполне искренне. После Черногории я Ризова не встречал, но с его женой — в то время уже вдовой — встретился в Берлине. Будучи очень красивой и умной женщиной, она сумела создать себе там весьма хорошее положение. В ней никто не мог бы узнать дочку цетиньского трактирщика.

Через несколько дней после моего приезда я был представлен Щегловым князю Николаю. Николай Черногорский, как и король Георг Греческий, к этому времени правил своей страной уже четвертый десяток лет. Это была необыкновенно живописная фигура. Николай был прирожденным актером. Он всячески старался произвести впечатление на окружающих, поражая их деланной простотой и добродушием. В действительности он был весьма хитрым и прошедшим через многие трудности политическим интриганом. К тому же он был корыстолюбив и старался всячески эксплуатировать своих «высоких покровителей» и прежде всего, конечно, Россию. Он прекрасно говорил по-французски, так как учился во Франции, но преднамеренно уснащал свою речь сербскими выражениями, подделываясь под тон и облик типичного

черногорца. Князь постоянно носил черногорский национальный костюм, причем по-восточному обычно не снимал и в комнатах своей небольшой шапочки — по-сербски капицы. Любимым занятием Николая была политика. Он ссорил дипломатов друг с другом, чтобы поочередно получать сведения об их коллегах. Для него было крайне неприятно, если дипломатический корпус был между собой дружен. Политика князя Николая вертелась в то время между тремя полюсами: Россией, Австро-Венгрией и Италией. В действительности реальные интересы имели в Черногории лишь Австро-Венгрия и Италия. Они боролись за свое влияние на Адриатическом море как в Черногории, так и в соседней с ней Албании. Конечно, сама по себе Черногория с ее 250 тысячами жителей и в значительной части бесплодной почвой ни для кого не могла быть особо лакомым куском. Но географическое положение Черногории между Далмацией и Албанией при наличии восточной границы с крайне в то время важным для Австро-Венгрии оккупированным ею Новобазарским санджаком делало из княжества для двух соседних государств — в одно и то же время и союзников и врагов — значительный политический центр.



Что касается России, то к началу нынешнего столетия Черногория имела скорее символическое значение «верного вассала» на самом отдаленном от нас побережье Балканского полуострова. Тем не менее петербургский двор и министерство продолжали вести традиционную политику покровительства Черногории, предоставляя ей двухмиллионную ежегодную субсидию, большая часть которой должна была идти на содержание черногорской армии. Князь Николай поддерживал в Петербурге убеждение, что его армия, численный состав которой, по его словам, мог в случае войны быть доведен до 50 тысяч человек, будет для России полезной в случае войны с Турцией и в случае столкновения с Австро-Венгрией. Эта иллюзия, которую он внушил в Петербурге, была для князя Николая весьма удобной; он ежечасно хлопотал об увеличении русской субсидии, которой, кстати сказать, долгое время почти бесконтрольно распоряжался. Влияние князя Николая в Петербурге было закреплено замужеством двух его дочерей — Милицы и Анастасии Николаевны. Из них первая была замужем за великим князем Петром Николае-

вичем, а вторая — сначала за герцогом Лейхтенбергским, а затем за великим князем Николаем Николаевичем, будущим главнокомандующим русской армией. С обеими своими дочерьми, вышедшими замуж в России и внешне в достаточной мере обрусевшими (они кончили петербургский Смольный институт), но оставшимися черногорскими патриотками и большими интриганками, Николай поддерживал постоянную переписку, обмениваясь даже шифрованными телеграммами. Третья дочь князя Николая была замужем за итальянским королем Виктором-Эммануилом III, а старшая, Зорка, в бытность мою в Цетинье была женой будущего сербского короля Петра Карагеоргиевича. Все это родство, конечно, делало из Цетинье немаловажный центр придворных и политических интриг. Несколько лет спустя это сыграло большую роль при возникновении первой Балканской войны¹. Как известно, она была начата черногорцами. Нечего говорить, что роль России в Черногории при всей ее внешней значительности была в действительности не только дutoй, но и чреватой весьма неприятными для нас осложнениями². Сам по себе князь Николай не внушал никакого доверия, и от него можно было в каждый момент ожидать всяких сюрпризов. Вскоре после первого моего свидания с Николаем он уехал на зимнее пребывание в Реку на Скутарийском озере. Приняв управление миссией, я зажил хотя и в полном почти одиночестве, но сравнительно спокойно. В это время года почти все дипломаты разъезжались. Мои обязанности, однако, не позволяли последовать их примеру, хотя они и ограничивались свиданиями с министром иностранных дел, которым был тогда воевода Гавро Вукотич, и передачей военному министру за отсутствием нашего военного агента, поступавших из Петербурга субсидий. Для этого военный министр являлся в миссию, и ему передавалось одновременно по несколько сот тысяч австрийских

¹ Первая Балканская война длилась с 9 октября 1912 г. по 30 мая 1913 г. между Турцией, с одной стороны, и членами Балканского союза — Сербией, Болгарией, Грецией и Черногорией — с другой. Со стороны последних она носила национально-освободительный характер. Война закончилась поражением Турции и освобождением балканских народов от турецкого гнета. — *Прим. ред.*

² К тому же политический вес России на Балканах в 1905 г. сильно уменьшился из-за военных неудач на Дальнем Востоке. — *Прим. авт.*

крон, которые пересылались из Австрии, так как в Черногории банка не было. Помнится, что эти передачи для меня были неприятны, так как я не мог отрешиться от мысли, что деньги эти тратятся нами совершенно понапрасну.

При нашем первом свидании Николай по обыкновению разыграл роль человека, преданного России и ее царю. В разговоре он заметил: «Для меня существуют лишь приказания русского императора; мой ответ всегда одинаков: «Слушаюсь»». Между прочим, князь Николай всегда старался кстати и некстати, говоря о своей дружбе с Россией, ссылаться на тост Александра III. В нем царь называл Николая Черногорского своим «единственным искренним другом». Будучи достаточно умным, чтобы понять, что этот тост был направлен в сущности не по его адресу, Николай добавил: «Я, конечно, понимаю ту политическую обстановку, при которой тост был провозглашен, но все же эти слова я не могу забыть».

Через несколько недель после моего приезда в Цетинье эта столица была снова занесена снегом. В течение почти целой недели всякое сообщение с внешним миром было прервано, и, как в осажденном городе, цены на продукты стали быстро расти. Только такие горные жители, как наши два каваса, могли спускаться с Черной горы в Каттаро с почтой (они ее доставляли затем через Триест в наше венское посольство). По обыкновению вся черногорская армия была послана на работу, и через несколько дней сообщение было восстановлено. Но пребывание в Цетинье становилось для меня невозможным. Пользуясь единственным оставшимся все время открытым путем, я на три дня вырвался оттуда под предлогом посещения своего «соседа», нашего вице-консула в Скутари. Путь туда лежал через Скутарийское озеро, куда вело живописное шоссе среди скал темно-серого, почти черного цвета. Эта страна вполне заслуживает свое название. Озеро я переплыл на маленьком пароходишке, на котором в мою честь был поднят русский флаг. В Скутари меня встретили с обычными турецкими почестями в виде караула на пристани и т. д. Наш консул настоял на том, чтобы я посетил местного генерал-губернатора — толстого турецкого пашу, с которым мы вели обычный в таких случаях ни к чему не обязывающий официальный разговор. Скутари, как город, необыкновенно привлекателен не только по

своему живописному местоположению на берегу озера и мягкому климату, но и по красоте своего населения, отличающегося к тому же необыкновенно ярким нарядом. При этом все албанцы вооружены до зубов и носят кожаные пояса с патронами. Казалось, что среди населения в каждый данный момент может начаться перестрелка. Наш консул, как и все наши консулы в Турции, ходил постоянно в форме — это было, однако, не всегда удобно: ношение формы придавало нашим представителям характер местного начальства и как бы обуславливало знаки почтения со стороны населения. Я обратил внимание на то, что консул на улице сплошь и рядом прикладывал руку к козырьку фуражки, чтобы вызвать поклоны местных жителей. Эти неестественные взаимоотношения между нашими консулами в Турции и местным населением, находившие объяснение в расширенном толковании царским правительством консульских прерогатив на Востоке, вызвали в Турции последовательное убийство двух русских консулов.

К счастью, мое одиночество в Цетинье скоро прекратилось. Приближалась весна. Ко мне приехала из Афин семья, а также постепенно съехались и почти все мои коллеги-дипломаты. Из них я с особою радостью встретил графа Серсэ, французского посланника, и его жену, с которыми расстался около восьми лет назад в Пекине, где Серсэ был первым секретарем. Легко понять, как сближает пребывание на таких постах, как бывлой Пекин или Цетинье, где среди дипломатов устанавливаются действительно дружеские отношения. Вскоре вернулся и двор, т. е. князь Николай и его два сына княжики Данило и Мирко. Первый из них, проживающий ныне во Франции, женат на немке герцогине Мекленбург-Стрелицкой; второй был женат на очень красивой сербке, урожденной Константинович. Началась, насколько это было возможно в Цетинье, обычная дипломатическая жизнь, хотя и в миниатюрных размерах. Нашим деканом был очень симпатичный турок Февзи-паша, проживший уже одиннадцать лет в Цетинье. Он любил рассказывать об этом испытании. Оно было особенно для него тяжело, так как «блистательная Порта»¹ с трудом давала своим дипломатам

¹ Блистательная Порта — одно из официальных названий правительства Османской империи, употреблявшееся в европейских дипломатических документах и литературе.— *Прим. ред.*



отпуска. Февзи исчезал из Цетинье втихомолку, сговорившись предварительно с министром иностранных дел, что он его не выдаст. Секретарем турецкой миссии был мой коллега по Афинам Джевад-бей (будущий недолговечный посол ангорского правительства в Париже). Австро-венгерским посланником был барон Кун фон Куненфельд — с ним я встретился потом в Лиссабоне, — а секретарями — последовательно венгерец Кания фон Кания (будущий управляющий отделом печати венского министерства иностранных дел) и поляк Юристовский (состоявший позднее при польском посольстве в Париже). Итальянским посланником был граф Кузани (впоследствии посол в Вашингтоне). Его увлечением, между прочим, была верховая езда, и он расположил к себе князя Николая, объезжая его лошадей. Английского представительства в Цетинье не было. Туда лишь изредка наезжал советник английского посольства в Риме. Наконец, были и греческий и болгарский поверенные в делах: Антонопуло и упомянутый выше Ризов. Весь этот немногочисленный дипломатический корпус с большим трудом размещался в Цетинье. За исключением австро-венгерской и нашей миссий, занимавших два самых больших здания в городе, остальные представительства ютились в обыкновенных тесных черногорских домах, необычайно низких: зимой их так заносило снегом, что тротуары поднимались до уровня второго этажа. Канак (дворец князя), хотя и был несколько выше других зданий, но значительно уступал зданиям австро-венгерской и нашей миссий. Комнаты были так низки, что когда итальянский король прислал большие портреты, свой и королевы, то пришлось подпилить рамы, так как они не входили ни в одну комнату. Кстати сказать, Виктор-Эммануил III никогда не бывал до женитьбы в Цетинье. Черногорию он посетил значительно позже, при праздновании пятидесятилетия царствования князя, затем короля Николая, а со своей женой он познакомился в Москве, на коронации Николая II, будучи еще наследным принцем. Об обстоятельствах этого брака мне впоследствии рассказывал бывший на коронации румынский король Фердинанд. По-видимому, со стороны князя Николая и его русских родственников было затрачено много усилий, чтобы наладить этот брак.

Что касается обоих старших сыновей князя Николая, то, по-видимому, по заданию отца они поделили между

собой роли: княжич Данило выдавал себя за австрофила, а потому посещал главным образом австро-венгерскую миссию, а княжич Мирко был присяжным «сторонником» России и постоянно бывал у нас в миссии. Впоследствии, во время мировой войны, роли обоих принцев изменились, и, в то время как князь Николай, задумав мириться с центральными державами, открыл свой почти неприступный фронт на горе Ловчене, княжич Мирко был послан со специальной миссией в Вену, где и жил до своей смерти. Данило же обратился в антантофила и последовал со своим отцом во Францию. Во время войны можно было читать во французских газетах появлявшиеся время от времени сообщения о «переменах в черногорском правительстве». Оно продолжало существовать под Парижем в Нейи до Сен-Жерменского мира¹. Там я встречал во время войны и Иславина, последнего из наших посланников при черногорском короле.

Когда наступила весна, и в Цетинье съехался дипломатический корпус, начались обычные приемы. Мы бывали друг у друга запросто. Как-то случилось, что все оказались между собой в очень хороших отношениях. Это было для Черногории редким явлением, и оно, конечно, князю Николаю не нравилось. Сплошь и рядом то, что он говорил конфиденциально итальянскому посланнику, последний передавал австрийскому, и наоборот. Неудивительно, что при этих обстоятельствах поле политической деятельности Николая необыкновенно суживалось. Это выводило князя из себя. Одним из способов помешать «спайке» дипломатического корпуса были неожиданные приглашения нас во дворец, как только князю доносили, что дипломаты собрались у кого-либо из коллег. От этих приглашений не принято было отказываться. Они носили крайне домашний характер и передавались нам одним из перядников (телохранителей) князя. Мы отправлялись все вместе во дворец, не закончив иногда роббера бриджа. Князь тоже играл с нами в карты, причем обыкновенно кто-нибудь из нас ему помогал, так как он играл довольно плохо.

¹ Сен-Жерменский мир — один из договоров так называемой Версальской системы. Подписан 10 сентября 1919 г. в Сен-Жермене (под Парижем) между странами-победительницами в первой мировой войне и Австрией. — *Прим. ред.*

В присутствии остальных дипломатов князь Николай обыкновенно считал нужным несколько изменять обычный при свидании с русскими дипломатами тон своих заверений о преданности России. Так, играя однажды в карты с французским и австрийским посланниками и со мной, князь шутя заметил: «Если я проиграю, то за меня платит Соловьев — Россия так часто за меня платила». По-видимому, это шутливое лишь на первый взгляд замечание имело целью доказать другим иностранцам, что «благодетения» России мало связывают князя, так как он считает их чем-то обязательным. Во всяком случае это был один из примеров цинизма князя и признаком стремления князя после неудач России на Дальнем Востоке найти себе новых покровителей. Наоборот, с глазу на глаз князь Николай продолжал заверять меня в своей преданности России и ее царю. Он, между прочим, сказал мне однажды: «Ведь я настолько стал русским, что чувствую себя им больше, чем вы все, русские, взятые вместе». Мне оставалось лишь ответить, что я прошу его высочество считать меня немножко черногорцем. Действительно, разыгрываемый князем русский патриотизм позволял ему делать много такого, что шло совершенно вразрез с нашими политическими интересами. Например, на одном дипломатическом обеде князь предоставил первое место католическому епископу в Антивари. Последний произнес тост от имени дипломатического корпуса, изобразив из себя некоего несуществующего в Цетинье папского нунция¹. Князь придумал это в угоду своим католическим соседям.

Раза два за время моего пребывания князь устроил для нас небольшие приемы с танцами. При этом он сам танцевал сербский национальный танец «коло» (вроде русского хоровода), где первый танцор ведет за собой остальных участников танца. Первым танцором был обыкновенно князь.

Из русских начинаний в Цетинье был довольно прочно поставлен институт для черногорских девиц. Во главе его стояла очень энергичная русская женщина Софья Петровна Мертваго. Она уже более пятнадцати лет заве-

¹ Нунций — постоянный дипломатический представитель римского папы в государствах, с которыми Ватикан поддерживает дипломатические отношения. В ряде стран нунций является старейшиной дипломатического корпуса. — *Прим. ред.*

довала этим институтом, который, впрочем, был единственным в то время поставленным на широкую ногу учебным заведением в Цетинье. Кроме него была военная школа, тоже содержавшаяся на русские деньги¹. С. П. Мертваго поддерживала с миссией весьма близкие отношения. Я часто у нее бывал, причем убедился, насколько было сильно ее влияние на воспитанниц даже после окончания ими института. Не могу не вспомнить весьма характерный, но довольно комический эпизод.

Как-то раз ко мне в кабинет явился товарищ министра иностранных дел Мартинович. Он был очень взволнован и сообщил мне, что пришел жаловаться на одну из русских подданных. Оказалось, что он был влюблен в дочь министра иностранных дел Гавро Вукотича, бывшую институтку, и что, по его сведениям, С. П. Мертваго будто бы не позволяет его невесте выйти за него замуж. К этому Мартинович прибавил, что, возмущенный этим, он при первой же встрече с Софьей Петровной плюнет ей в лицо. Я постарался успокоить Мартиновича, сказав, что, очевидно, он не владеет в данный момент собой, но что он, я уверен, никогда не исполнит подобной угрозы, в особенности по отношению к женщине. На это Мартинович возразил весьма неожиданно: «Госпожа Мертваго носит титул превосходительства, а потому я не могу ее считать за даму». Что касается сербского, а равно и черногорского обычая плевать врагу в лицо, то, как мне пришлось потом слышать от самих черногорцев, это довольно распространенное у них явление. Этим способом, например, они выражают свое недовольство рабочему, лениво выполняющему, по их мнению, свою работу. О применении ими таких способов воздействия рассказал мне один из чиновников министерства иностранных дел — Грегевич. Говоря об отношении черногорцев к женщинам, надо отметить, что последние выполняют обычно самую тяжелую работу и часто используются вместо выючных животных. Мне как-то рассказывал наш военный агент полковник Н. М. Потапов,

¹ Она не находилась в мое время под непосредственным русским руководством. Общее наблюдение за ней осуществлял наш военный агент. После моего отъезда, однако, был вскоре назначен для черногорской армии особый русский инструктор. Вероятно, под его руководство и была поставлена военная школа. — *Прим. авт.*



что на маневрах, когда требуется перенести какую-либо кладь, между черногорцами сплошь и рядом возникает спор, надо ли нанять «жено» или «осла». По большому дорогам и тропинкам в окрестностях Цетинье можно было часто встретить черногорца, легко выступающего с одним лишь ружьем, а за ним его жену, гнушущуюся под тяжестью непосильной ноши. В результате тяжелой работы черногорки очень скоро стареют и среди женщин редко можно видеть красивые лица, хотя в общем их черногорский тип красив.

Из поездок по окрестностям Цетинье мне запомнились две. Как-то удалось выбраться на два-три дня на Далматинское побережье, именно в Рагузу (по-сербски — Дубровник). Это необыкновенно живописный город, построенный почти целиком в XVI веке и сохранивший в значительной части первоначальный облик. Ратуша, собор, все дома главной площади, а также и городские стены сохранились почти в полной неприкосновенности. Поездки зимой на Далматинское побережье из Цетинье представляли тем большую прелесть что из зоны снега (Цетинье расположено на высоте 800 с лишним метров) вы попадаете на лазурное побережье Адриатического моря с окаймляющими его апельсиновыми и лимонными рощами. Не удивительно поэтому, что Рагуза с ее комфортабельной гостиницей, часто посещаемой туристами, являлась для цетиньских дипломатов «землей обетованной», и обычно туда сбегали мои коллеги, не загруженные делами в Цетинье. К сожалению, я не мог последовать их примеру, так как в русской миссии дел было достаточно много, и к тому же я был вынужден, будучи один, и редактировать свои донесения или телеграммы, и переписывать их, и зашифровывать.

Вторая поездка была совершена уже непосредственно по самой Черногории. Не довольствуясь знакомством с маленькой горной черногорской деревушкой — столицей (с 3 тысячами человек населения) расположенной в котловине среди бесплодных Черных гор, заслоняющих ее даже от солнца (захода его или восхода в Цетинье никогда не видишь), я решил посетить два других черногорских города в довольно плодородной долине, а именно Подгорицу и Никшич. Со мной отправился наш милый старик драгоман Ровинский, пробывший десятки лет в Черногории и знавший ее как свой карман. Было инте-

ресно присутствовать при его разговорах с местными жителями. Они с изумлением смотрели на него, когда он называл им все горные вершины, ручейки и т. д. Неподалеку от Подгорицы мы повстречались с князем Николаем, также совершавшим поездку по своей стране в удивительно не шедшем к нему тропическом шлеме, в коляске, окруженной конными перядниками. Он остановился и вступил с нами в разговор наполовину по-французски, наполовину по-сербски (с Ровинским он говорил, конечно, по-сербски, причем называл его Павло, обращаясь к нему на ты). Разговор не был лишен известной живости. В это время пришло известие, что в Петербурге сделаны первые шаги в сторону конституции, вернее ее эмбриона. То был известный булыгинский проект ¹. У меня остались в памяти слова, сказанные князем Ровинскому: «Не думаешь ли ты, Павло, что и мне пора дать своей стране конституцию?» Эти слова были сказаны тоном самодержавного властителя. Строй Черногории того времени был не столько патриархальный, сколько деспотический ². Действительно, некоторое время спустя, уже после моего отъезда, князь «даровал» Черногории конституцию. Это, однако, ему не помешало без суда заключить своего гофмаршала Радочича в тюрьму, продержать его годы в цепях, а затем назначить первым министром. Со своими министрами, впрочем, князь Николай обращался, как с прислугой. Они ему подавали платок, сметали пыль с сапог и т. п.

Из поездки я вернулся с более благоприятным впечатлением о Черногории. В долинах видел хорошо возделанные поля, трудолюбивое население и два хорошо обстроенных города — Подгорицу и Никшич. Каждый из них был раза в четыре больше, чем Цетинье.

¹ Так назывался проект созыва Государственной думы, составленный в августе 1905 г. комиссией под председательством министра внутренних дел Булыгина. По этому проекту Дума должна была носить совещательный характер. Попытка царизма остановить революцию созывом булыгинской думы провалилась — Октябрьская всероссийская стачка 1905 г. смела булыгинскую думу.— *Прим. ред.*

² В Цетинье господарь был в миниатюре тем, чем был султан в Константинополе.— *Прим. авт.*



В начале мая князь Николай выехал из Черногории лечиться в Карлсбад, передав регентство старшему сыну, княжичу Данило, который исполнял в то время роль отъявленного австрофила. Не помню уже вследствие ли этого или по другим причинам (его, впрочем, почти всю зиму не было в Цетинье) у меня с ним не только не установилось близких отношений, но даже произошел небольшой, но довольно неприятный случай. Среди многочисленных субсидий, поступавших черногорскому правительству и княжеской семье, значились 10 тысяч рублей, отпускавшихся русским царем княжичу Данило. Эти деньги пересылались по особой ведомости. В ней значилось, что чек на эту сумму пересылается «на известное его императорскому величеству назначение». Лишь в препроводительном отношении отмечалось, что эта сумма предназначена для княжича Данило. Получив перевод, я уведомил об этом адъютанта княжича. Однако ко мне в миссию явился не адъютант, а камердинер и передал на словах желание княжича получить деньги через него без всякой расписки. Я нашел этот образ действия со стороны Данило совершенно неприличным. Деньги лакею-немцу не отдал, а, вызвав к себе нашего драгомана Ровинского, попросил его отправиться немедленно к княжичу и передать ему деньги под расписку, что и было выполнено. Я не мог проверить, как передавали членам черногорского правящего дома царскую субсидию мои предшественники в Цетинье, но, по-видимому, у черногорцев была тенденция



смотреть на материальную помощь из Петербурга, как на своего рода дань. Это было нестерпимо фальшивой нотой в отношениях между Петербургом и маленькой балканской столицей.

Между тем с фронта русско-японской войны начали поступать все более и более тревожные сведения. Наконец, 28(15) мая 1905 г. пришло потрясающее известие о гибели всей нашей эскадры при Цусиме. Очень расстроенный этими сведениями, я ожидал, что как от княжича-регента, так и от черногорского правительства последуют знаки сочувствия и соболезнования, но лишь княжич Мирко и черногорский митрополит Никифор посетили меня. Последний, между прочим, предложил отслужить панихиду по нашим погибшим морякам.

Что касается княжича-регента, то он занял совершенно неожиданную позицию. Панихида была им запрещена, и, более того, княжич позволил себе в кругу многих лиц высказывать свое восхищение храбростью и искусством японского адмирала Того, командовавшего флотом под Цусимой, а через два-три дня после Цусимского боя все дипломаты получили приглашение на торжественное открытие здания табачной фабрики в Подгорице. Она была построена итальянским обществом, получившим незадолго перед тем табачную монополию в Черногории. Ввиду вызывающего характера всех последних выступлений княжича Данило я в вежливой, но довольно сухой форме отклонил это приглашение. Помимо того в частном письме к министру иностранных дел я выразил воеводе Гавро Вукотичу надежду на то, что в дни русского национального траура братская черногорская армия не будет участвовать в торжестве, ничего общего с ее задачами не имеющем. Как я узнал впоследствии, взбешенный княжич Данило протелеграфировал тогда же своему отцу, требуя от него, чтобы он настоял на моем отзыве из Цетинье. Действительно, князь Николай, приехав в Вену, посетил нашего посла графа Капниста и предъявил ему нечто вроде ультиматума: «Или Соловьев должен быть отозван из Цетинье, или же он, Николай, не вернется в свою страну». Несмотря на странность такого выступления князя, это согласовывалось как с его характером политика-поэта (в Цетинье я видел его пьесу в стихах «Балканская царица»), так и с его приемами осуществления политических интриг. В ре-

зультате я вскоре получил из Петербурга телеграмму, в которой мне предлагалось выехать по делам службы в Петербург, передав дела вице-консулу в Скутари Лобачеву как временно управляющему миссией.

Чувствуя себя совершенно правым и не сомневаясь, что так или иначе министерство не может не признать этого, я не спеша начал сдавать дела Лобачеву и умышленно пробыл еще несколько дней, чтобы дожидаться возвращения князя. Будучи тонким дипломатом и, вероятно, несколько опасаясь за последствия своего выступления, князь Николай, вернувшись в Цетинье, принял меня в прощальной аудиенции сдержанно, но любезно. Княжич же Мирко явился ко мне с критикой поведения своего брата, на что я, конечно, не реагировал. В то же время он пригласил меня с женой к себе на прощальный обед, причем к Мирко точно невзначай явился и сам князь Николай, долго рассказывавший о своем путешествии по Европе. Не лишенный чувства юмора, князь между прочим живо описал случай, когда он вместе со своим адъютантом — оба были в штатском платье — перепугали чуть не до смерти своим видом француза, случайно разделявшего с ними железнодорожное купе. Этому было легко поверить, глядя на грузную фигуру князя, весьма живописную в черногорском одеянии, но совершенно не подходящую для европейского штатского костюма.

Это было мое последнее свидание с князем Николаем. Первый раз я его встретил, будучи еще вторым секретарем в Афинах, когда временно управлял нашей афинской миссией. Вместе с командовавшим нашей эскадрой адмиралом Скрыдловым я приветствовал его по случаю приезда. Князь находился проездом в Пирее на турецкой яхте «Иззеддин», которая отвозила его в Антивари из Константинополя, где он гостил у султана. Впервые я тогда встретился и с сопровождавшим его известным турецким дипломатом Турхан-пашой, будущим послом в Петербурге. В связи с этим характерна небольшая подробность. По случаю поездки князя я получил от него черногорский орден. Как мне после моего отъезда из Цетинье сообщил французский посланник, князь Николай как-то выразил сожаление по этому поводу. Ему не пришлось выказать мне своего неблаговоления непожалованием при моем отъезде своего ордена. Отнимать же раз данный орден не в дипломатических обычаях: князь на это не решился.

Мне пришлось перед отъездом свидеться с княжичем Данило. С. П. Мертваго, которая за два дня до моего отъезда принимала в институте княжича по случаю годовичного акта, советовала мне уклониться от встречи с ним. Несмотря на этот совет, я согласно обычаю вместе с начальницей встретил княжича. Все прошло благополучно, и мы с ним мирно обменялись несколькими ничего незначащими фразами. Через несколько лет в Париже я случайно столкнулся с Данило в одной парикмахерской. Мы сидели рядом. Я узнал его, и, по-видимому, он меня также. Несмотря на это, мы не раскланялись.

Вообще я был рад, что мое пребывание в Цетинье не затянулось и что мне пришлось лишь на короткий срок познакомиться с живописной, но чересчур своеобразной цетиньской обстановкой. Прожил я там немногим более четырех месяцев. Во всяком случае я был уверен, что в Цетинье больше не вернусь и с представителями черногорской династии больше не увижусь. Сам же по себе мой инцидент был известным уроком для наших зарвавшихся балканских «протеже». К сожалению, хотя и более осторожно и под бóльшим контролем, но русские субсидии продолжали им аккуратно выплачиваться вплоть до мировой войны. Эпилог известен. И покровительствуемые и покровители были сметены войной и революцией.



Из Цетинье я выехал в конце мая через Фиуме и Будапешт. Хотелось познакомиться попутно с Венгрией, которую я совершенно не знал. Из Афин приходилось обычно ездить через Вену, где я провел немало недель.

В Будапеште пришлось задержаться из-за неправильно засланного туда сундука, но я об этом не пожалел. Благодаря любезному приему управлявшего нашим генеральным консульством Штральборна я не только познакомился со второй дунайской столицей, но и со всем местным консульским корпусом, состоявшим почти сплошь из дипломатов. Летом вся жизнь будапештских дипломатов протекала в двух роскошных клубах, в которых они ежедневно собирались почти в полном составе.

Один из этих клубов был расположен в большом парке, и летом там неизменно обедали консулы-дипломаты вместе со своими женами. В это время германским генеральным консулом был граф Ведель, один из выдающихся германских дипломатов, женатый на англичанке. В Будапеште мне пришлось убедиться, что мой инцидент в Цетинье обошел всю европейскую печать и сделал мне некоторую дипломатическую известность. Это, впрочем, имело как хорошие, так и дурные стороны, накладывая на меня печать молчания, пока по существу инцидента не выскажется Петербург. Каждый дипломатический представитель по характеру своей деятельности является прежде всего орудием в руках пославших его.

Несмотря на незнание венгерского языка я довольно легко передвигался по Будапешту, любясь его красотою, и невольно отдавал предпочтение Вене, которая в то время все же была по сравнению со второй дунайской столицей, бесспорно, и политическим и культурным центром бывшей двуединой монархии. Венгры (среди них я имел много коллег — австро-венгерских дипломатов), еще тогда поражали меня необыкновенно сильно развитым национальным чувством. Мне помнится, как мой коллега по Бухаресту граф Кун-Хедервари (впоследствии он стал министром иностранных дел Венгрии) увлек меня из Синаи в Брашау (в Трансильвании) на паломничество к памятнику Арпаду¹. Этот памятник был воздвигнут по случаю тысячелетия Венгрии почти на самой румынской границе.

Как я и ожидал, в министерстве в Петербурге меня встретили кисло-сладко, заявив, что временно я не должен возвращаться в Черногорию. Вместе с тем стало ясно, что моя дипломатическая карьера не кончена и что рано или поздно меня ждет новое назначение. В ожидании этого я продолжал числиться секретарем в Цетинье и смог поселиться на все лето в своем майорате под Варшавой, куда вскоре из Цетинье приехала и моя семья. Жена рассказала мне, что до самого ее отъезда черногорский двор и в особенности дипломатический корпус продолжали к ней быть очень внимательны. Между прочим, я вскоре получил от княжича Мирко толстый пакет с несколькими дюжинами вырезок из газет по поводу моего инцидента. Большинство этих вырезок было для меня благоприятно. Мне даже пришло в голову, что в этой кампании в печати принял некоторое участие и сам княжич Мирко, крайне недолюбливавший своего старшего брата и всячески желавший ему насолить. Подобное поведение княжича, впрочем, находило объяснение и в его роли присяжного русофила, которую он весьма добросовестно выполнял.



¹ Арпад — основоположник династии Арпадов, объединивший венгерские племена. С периода его правления (890—907) исчисляется начало существования Венгрии как государства. 8 июня 1896 г. в Венгрии торжественно было отпраздновано тысячелетие Венгрии. По этому поводу в стране было воздвигнуто несколько памятников Арпаду. — *Прим. ред.*

Пробыв в своем имении до октября 1905 г. и не получая никаких вестей из министерства, я стал несколько беспокоиться. К этому времени по всей России стали ощущаться раскаты первой революции, и выполнение моего намерения — выехать в Петербург — было задержано вспыхнувшей железнодорожной забастовкой. В течение десяти дней мы оказались отрезанными от внешнего мира. В Польше революция сказалась сильнейшим сепаратистским движением, которое отразилось и в самом Вышкове. Там три дня просуществовало польское революционное правительство, и, между прочим, все русские вывески были сорваны, но меня и моих домашних никто не тронул и, мне помнится, даже по просьбе временного городского управления посада Вышков (в нем было 10 тысяч жителей — в три раза больше, чем в Цетинье) я обратился к пултусскому уездному начальнику с просьбой не высылать в Вышков войск, что и было им выполнено. Действительно, дело обошлось без кровопролития. У меня в памяти остался сбор на церковную католическую хоругвь, на которую я дал десять рублей. В действительности хоругвь оказалась малиновым флагом с белым польским одноглавым орлом, но когда мой управляющий пришел мне об этом сообщить, то я просил передать, что раз эти деньги пожертвованы, я их обратно не возьму. На следующий день вокруг посада состоялся крестный ход по случаю провозглашенных 17 октября свобод¹. Вслед за католическим духовенством рядом с красным флагом еврейского Бунда² несли упомянутый польский флаг. Затем шла местная пожар-

¹ 17 октября 1905 г. (30 октября по новому стилю) царское правительство, перепуганное Октябрьской всероссийской стачкой, охватившей всю страну, издало манифест, в котором народу были обещаны «незыблемые основы гражданской свободы: действительная неприкосновенность личности, свобода совести, слова, собраний и союзов». Обещано было созвать законодательную думу, привлечь к выборам все классы населения. На деле манифест был лишь уловкой царской власти, попыткой обмануть народ, получить своего рода передышку.— *Прим. ред.*

² Бунд — Всеобщий еврейский социал-демократический союз — образовался в 1897 г. в западных губерниях России. Бунд представлял собой мелкобуржуазную, оппортунистическую, националистическую партию, являвшуюся агентурой буржуазии в рабочем классе. В ходе борьбы против партии большевиков и Советской власти Бунд превратился в контрреволюционную организацию.— *Прим. ред.*

ная команда с польскими малиновыми перевязями под предводительством знакомых мне с детства доктора, аптекаря и нотариуса в широких малиновых перевязях через плечо. Интересно отметить, что и мой сосед, польский помещик, не участвовал в процессии. Одной из причин такого его поведения было заявление, сделанное на собрании, на котором я присутствовал, что польский флаг должны нести не паны, которые не сумели его удержать в своих руках, а холопы, т. е. крестьяне.

Наконец, мне удалось выехать в Петербург, хотя и не сразу, потому что первая попытка не увенчалась успехом: из Гатчины пришлось возвратиться из-за забастовки на этот раз петербургского железнодорожного узла.

В министерстве меня не ожидало ничего утешительного. Мне предложили принять назначение дипломатическим чиновником при главнокомандующем нашей армии на Дальнем Востоке генерале Линевице. В это время армия уже расформировывалась, и мне не хотелось ехать на Дальний Восток, так сказать, после шапочного разбора. Одновременно я постарался убедить министерство, что мое увольнение дало бы повод князю черногорскому праздновать незаслуженную победу. Для меня, объяснил я, это в общем безразлично, раз я больше не еду в Цетинье, но для нашего правительства, по-моему, едва ли подобный оборот был бы удобен, так как мой инцидент носил исключительно политический характер и ничего личного не имел. Все эти разговоры мне пришлось вести главным образом с директором Азиатского департамента Гартвигом и отчасти с товарищем министра князем Оболенским. Министр же, граф Ламздорф, меня не принял.

Как я узнал впоследствии, наше министерство, которое вообще совершенно пасовало перед придворными интригами, было не склонно открыто выступать в мою защиту и, по-видимому, по своему обыкновению желало выйти из неловкого положения, пожертвовав мной. По всем признакам, против меня, т. е. скорей в защиту князя Николая и в особенности княжича Данило, в Петербурге действовали обе великие княгини-черногорки, с которыми графу Ламздорфу не хотелось ссориться.

Оказалось, что еще в июле наше министерство после назначения в Цетинье нового посланника — Максимова (являвшегося в течение многих лет первым драгоманом в Константинополе, а впоследствии посланником в Бра-

зилии) воспользовалось его приездом туда, чтобы по своему постараться урегулировать мой инцидент с черногорским двором. В своем донесении по этому поводу в министерство Максимов сообщил, что при первом свидании с князем Николаем он заговорил с ним о желании министерства, чтобы я вернулся в Цетинье. Само собой разумеется, князь протестовал против этого самым резким образом, утверждая, что я проявлял в течение моего управления миссией «диктаторские» замашки и что, несмотря на желание министерства, он никогда не согласится на мое возвращение в Черногорию. В крайнем случае он обратится с письмом к Николаю II. Он подчеркивал, что моя размолвка с его старшим сыном стала достоянием европейской печати и что я являюсь «черногорским ненавистником». В том же приблизительно смысле говорили про меня и княжич Данило и министр иностранных дел Гавро Вукотич (донесение Максимова от 6 июля 1905 г. за № 40). В действительности, как для меня с самого начала было ясно, но чего не могли или не хотели понять в петербургских канцеляриях, вызывающее не по отношению ко мне, а по отношению к российскому правительству поведение черногорского двора было следствием общей политической обстановки. Наши неудачи на Дальнем Востоке заставили князя Николая усомниться в правильности его ориентации на Россию и в возможности России и впредь оказывать Черногории поддержку. Как раз (интересное совпадение) в день Цусимского боя князь Николай находился в качестве официального гостя в Берлине, где был принят Вильгельмом II совместно с японским принцем Арисага, путешествовавшим в то время с женой по европейским столицам. Тонкая лиса, князь Николай нашел, впрочем, нужным сделать визит нашему послу в Берлине графу Остен-Сакену. Он заявил, что очень доволен оказанным ему в Берлине приемом, но не может не отметить одной бестактности по отношению к нему: на всех торжественных приемах его сажали рядом с японской принцессой Арисага. В связи с этим не могу не привести подробностей возобновления дипломатических отношений между Германией и Черногорией. В 1882 г. был впервые назначен германский представитель в Цетинье, а именно генеральный консул Теста. Князь Николай, обиженный, по-видимому, тем, что германский представитель в Цетинье не имел дипломатического звания,

а также недовольный германским правительством, лишившим, по его мнению, Черногорию на Берлинском конгрессе возможности расширения границ в сторону Албании, стал весьма грубо обращаться с германским агентом. В результате последний был отозван, заместитель ему назначен не был, а князь Бисмарк дал, кроме того, всем своим представителям приказание повсюду игнорировать Черногорию и ее представителей. Так продолжалось до 1905 г., когда князю черногорскому удалось через своего зятя — итальянского короля уговорить Вильгельма II принять его в Берлине. Перед тем Вильгельм II при частых поездках на остров Корфу каждый раз отклонял предложение князя встретиться где-либо на Адриатическом море. Наконец, после посещения князем Николаем Берлина германский посланник был назначен и в Цетинье.

Было ясно, что вызывающее поведение княжича Данило в отношении меня как представителя России отражало общую черногорскую политику в поисках новых покровителей. Их она думала найти в Тройственном союзе¹. Сближение с Берлином, как с главным членом Тройственного союза, регулировало и облегчало для Черногории вечное балансирование между Веной и Римом, ведшими в то время борьбу за преобладание в бассейне Адриатики, именно в Албании и в соседней с ней Черногории. В настоящее время на Балканах снова происходит наступление Италии, но против нее стоит вместо Австро-Венгрии более слабая Югославия.

Одно, чего черногорские политики не учли, — это чересчур явное совпадение поворота их политики с нашим поражением под Цусимой. Это придавало их выступлению особенно одиозный характер. Иначе могли отнестись к цетиньскому инциденту лишь в затхлых стенах петербургских канцелярий и придворных передних. В европейской печати цетиньскому инциденту было придано сразу политическое значение, но в нашей о нем до ноября 1905 г. молчали.

¹ Тройственный союз — военно-политический блок Германии, Австро-Венгрии и Италии, существовавший с 1882 по 1914 г. С началом первой мировой войны Тройственный союз распался, Италия в августе 1914 г. объявила о своем нейтралитете, а в 1915 г. перешла на сторону Антанты и вступила в войну против своих бывших союзников. — *Прим. ред.*

К этому времени, после октябрьского манифеста и последовавшего за ним взрыва революционного движения, положение графа Ламздорфа, на которого — правильно или нет — пала ответственность за неудачную русско-японскую войну, пошатнулось. В петербургских газетах стали искать повода для открытия кампании против министра иностранных дел. К немалому моему удивлению, этим поводом послужил инцидент в Цетинье, осложненный в ноябре довольно неожиданным увольнением меня в распоряжение министерства. Если у министерства и был расчет, что после шести месяцев можно окончательно замолчать этот инцидент и обратить меня в козла отпущения, то это не удалось. «Новое время» в ряде передовых статей обрушилось на министерство по поводу его стремления свалить на меня собственные недочеты по внешней политике. Между прочим, 5 декабря 1905 г. «Новое время» писало в передовой статье: «Недавно опубликованный нами инцидент с Ю. Я. Соловьевым, б. нашим дипломатическим представителем в Цетинье, усугубляет наши опасения относительно того, что министерство иностранных дел ничему не научилось и ничего не забыло». 11 декабря та же газета писала: «Налицо неоспоримый факт, что через несколько дней после цусимского разгрома содержащиеся на русские средства черногорские батальоны принимали участие в празднествах: неопровержимо то, что княжич Данило, сын владельца, находящегося наполовину, если не совсем, на иждивении русской казны, сиречь русского народа, счел приличным пить за здоровье адмирала Того как раз в тот момент, когда вся Россия обливалась слезами и краснела от стыда, читая известие о неслыханном поражении. Всякое правительство, всякое министерство, сколько-нибудь уважающее если не честь родины, то по крайней мере самого себя, не могло бы стерпеть ничего подобного независимо от того, сделал ли г. Соловьев свое представление по приказанию из Петербурга или по личной инициативе». Министерство пыталось отстреливаться в газете «Русь»¹, издаваемой сыном Суворина Алексеем, находившемся на ножах со своим отцом, но это лишь подлило масла в огонь.

¹ «Русь» — ежедневная газета, орган либеральной буржуазии — издавалась в Петербурге с декабря 1903 г.; выходила до апреля 1906 г. (с рядом перерывов и заменой ее газетой «Молва»). — *Прим. ред.*



Мне памятно в связи с этим следующее обстоятельство. Не желая оставить без отчета инсинуацию «Руси», что весь черногорский инцидент — мое личное дело, я отправился к товарищу министра князю Оболенскому и показал ему проект моего письма в редакцию «Нового времени». Я заявил, что никакого личного столкновения у меня в Цетинье никогда не было. Оболенский согласился на помещение этого письма. Вернувшись весьма поздно, в третьем часу ночи, в Европейскую гостиницу, где я жил, я нашел там записку товарища министра, в которой он меня просил не помещать письма. К сожалению или нет, но письмо мое уже было послано. Это я ему на следующий день и объяснил, после того как письмо появилось в «Новом времени».

Как бы то ни было, после газетной полемики многое выяснилось и уверенный, что князю Николаю с его присными даже при слабости нашего министерства не удастся затушевать характер того, что произошло в Цетинье, я вернулся в Вышков, предварительно получив по министерству иностранных дел место чиновника особых поручений для дипломатической переписки при варшавском генерал-губернаторе. Это позволяло мне жить у себя в майорате, где я начал перестройку моего дома и приступил к ряду хозяйственных начинаний.

Деятельность моя в Варшаве была весьма немногосложна. Я участвовал в парадных приемах. Это мне дало возможность несколько ознакомиться с официальной обстановкой в Варшаве. В мою обязанность также входило заверять документы для заграницы, выдаваемые нашими судебными учреждениями, а равно удостоверяять для представления в наши учреждения визы иностранных консулов на разных документах. Среди иностранных представителей в Варшаве я встретил одного или двух из моих бывших коллег. Кстати, о варшавских консулах. В 1905—1906 гг. положение русской власти в Польше было сильно поколеблено революцией. В Варшаве было неспокойно, несмотря на военное положение. В частности, для генерал-губернатора Скалона было небезопасно появляться на улице из-за возможного всегда покушения. В связи с военным положением, при котором движение по улицам было иногда до крайности ограничено, австро-венгерский генеральный консул Угрон (будущий посланник в Белграде) был остановлен и

оскорблен кем-то из военных чинов. По предписанию из Петербурга Скалон посетил его, чтобы принести ему официальные извинения. Действовавшие в то время в Варшаве организации учли факт, что если будет нанесено оскорбление иностранному представителю, то генерал-губернатор непременно поедет к нему с визитом. Через некоторое время неизвестный в военной форме подошел на улице к германскому вице-консулу барону фон Лерхенфельду и дал ему пощечину. Скалону пришлось ехать, и притом по определенной улице, так как другой доступ к германскому консульству был закрыт из-за ремонта мостовой. Расчет оказался верен: Скалон отправился с визитом, и из одной квартиры, выходящей на улицу, была брошена бомба, убившая двух казаков из конвоя генерал-губернатора и контузившая его самого в голову. Невольный виновник этого Лерхенфельд женился вскоре на племяннице генерал-губернатора баронессе Штакельберг (дочери печальной памяти «генерала с коровой», проигравшего сражение при Вафангоу¹). Вскоре Лерхенфельд был назначен германским консулом в Ковно, но после начала войны по подозрению в шпионаже он на долгое время подвергся одиночному заключению. За это в виде репрессии немцы заключили таким же образом моего старого знакомого консула в Кенигсберге З. П. Поляновского. Не знаю, как отразилось заключение на Лерхенфельде, но Поляновский, которого я встречал впоследствии в Швейцарии, от нервного потрясения остался на всю жизнь не вполне нормальным.

Я воспользовался своим пребыванием в Варшаве, чтобы порыться в обширных архивах генерал-губернаторства, и, между прочим, натолкнулся там на документы, объясняющие сохранение двух дипломатических чиновников при генерал-губернаторе. После восстания 1863 г., когда была окончательно ликвидирована польская автономия и намечена замена наместника генерал-губернатором, была упразднена и особая дипломатическая канцелярия при наместнике в Царстве Польском. Наместничество, однако, было сохранено на некоторое

¹ Во время русско-японской войны тридцатитысячный русский отряд под командованием барона Штакельберга 14—15 июня 1904 г. потерпел поражение в бою близ станции Вафангоу. В этом бою Штакельберг проявил всю свою бездарность и нераспорядительность.—
Прим. ред.

время. Во главе его стоял в 70-х годах прошлого века граф Берг, и обязанностью двух сохраненных чиновников бывшей дипломатической канцелярии являлось ведение переписки на французском языке между наместником и государственным канцлером. При этом чиновникам предписывалось по возможности воздерживаться от сношений с иностранными консулами, чтобы не давать повода считать, что в Варшаве сохранен хотя бы признак самостоятельного органа по иностранным делам. В Варшаве доживал век и мой престарелый коллега, брат известного скрипача и композитора Венявский. Как я выяснил, его обязанности ограничивались почти исключительно встречей иностранных гостей, проезжавших через Варшаву¹.

Во всяком случае подобная работа не могла удовлетворить меня даже ненадолго. К весне 1906 г. я снова выехал в Петербург, представился там новому министру иностранных дел А. П. Извольскому и сразу же был определен в ожидании нового заграничного назначения на работу при излюбленном детище нового министра — газетной экспедиции, которую предполагалось развернуть в бюро печати. Извольский, как он любил вспоминать, сам начал службу в газетной экспедиции и придавал ей большое значение.

Перемены в министерстве, сказавшиеся с назначением министром Извольского, были весьма значительны. Как видно из воспоминаний графа Ламздорфа, увидевших свет лишь в 1926 г., верхи министерства до созыва I Думы² отличались необычайной затхлостью и главным образом отрывом от активной дипломатической работы. Как Ламздорф, так и его товарищ Оболенский провели всю жизнь в стенах министерства, принадлежа к небольшому кругу лиц, близких к бывшему министру Н. К. Гирсу. Строго говоря, министерство до 1905 г., как с досадой замечали некоторые наиболее выдающиеся его представители, было своего рода «собственной его величества канцелярией по иностранным делам». Хотя царь и не был министром, но ежедневное представление ему

¹ На основании архивного материала я представил в министерство записку, где доказывал, что при подобных условиях должность чиновников особых поручений по дипломатической переписке в Варшаве следует упразднить. Это и было сделано после моего перевода в Бухарест. — *Прим. авт.*

² I Государственная дума была созвана 8 мая. — *Прим. ред.*

почти всех заграничных донесений лишало министерство инициативы. Последняя проявлялась лишь в устранении некоторых неприятных донесений с царских глаз или же в сообщении тому или иному лицу о «высочайших пометах». Я убедился в этом по собственному опыту. Различные замечания царя на полях донесений заграничных представителей порой сообщались соответствующему дипломату, порой же от него скрывались. Сообщались они лицам, приятным руководящей верхушке министерства, и скрывались от других. Лично я познакомился с рядом таких пометок на моих донесениях лишь позднее, только случайно, благодаря «нескромности» некоторых из моих министерских благожелателей или же гораздо позже из архива. В мемуарах Ламздорфа проскальзывает, что он был удовлетворен своей ролью закулисного наперсника министра, дававшей ему возможность быть вершителем судьбы коллег, находящихся на заграничных постах. К тому же, справедливо или нет, но в петербургском обществе Ламздорф и все его любимцы пользовались определенной репутацией по своим противостественным половым вкусам. Это накладывало еще более затхлый отпечаток отверженности на всю эту сметенную в начале 1906 г. министерскую верхушку.



Назначение Извольского вызвало много надежд на оживление деятельности министерства и на приспособление его к новым политическим условиям, созданным революцией и созывом Государственной думы¹. Действительно, Извольский на первых порах задался целью перевернуть все министерство, но это ему удалось в весьма малой степени. Вскоре ему пришлось сыграть роковую роль во внешней политике бывшей империи. Это вызывалось свойствами его тщеславного характера, поддававшегося влиянию придворных интриг, несмотря на желание вести личную политику. Как бы то ни было, первые шаги Извольского в министерстве вызвали большие надежды. Между прочим, он совершенно переформировал вторую, так называемую газетную экспедицию, отличавшуюся перед тем совершенно исключительной ведомственной затхлостью. Он устранил долголетнего управляющего этой экспедицией добрейшего, но совершенно

¹ Кроме того, Извольский сделал карьеру на заграничных постах в противоположность Ламздорфу, не покидавшему всю жизнь министерства.— *Прим. авт.*

бесцветного Нивэ и установил тесный контакт ее с Санкт-Петербургским телеграфным агентством, поставив во главе экспедиции и агентства А. А. Гирса. В политическом отношении выбор этот оказался впоследствии очень неудачным, но на первых порах газетная экспедиция заработала с усиленной энергией на новых началах общения с прессой. Кроме того, Извольский вместе с Гирсом задался мыслью сообщать Николаю II все то, что появлялось о русском правительстве и его политике в иностранных и русских газетах, будь оно приятно или неприятно. Извольский надеялся, что этим удастся привить Николаю конституционный образ мысли. Было время открытия I Государственной думы, и мне помнится, с каким лихорадочным усердием у нас изготавлялись для царя извлечения из речей думских ораторов, например Родичева. Ознакомление с ними, по мнению Извольского, должно было повлиять на Николая в желательном смысле. Во всех департаментах министерства работа стала начинаться гораздо раньше, и сплошь и рядом министр принимал доклады с восьми или девяти часов утра. В области нашей внутренней политики Извольский близко стоял к кругу лиц, которые стремились составить министерство с участием общественных деятелей. Как известно, попытка эта окончилась неудачей.

Живя в Петербурге один, без семьи, я часто бывал в клубах, в особенности в Английском и во вновь основанном клубе политических и общественных деятелей. В них со времени открытия Думы велись оживленные разговоры на политические темы, а в последнем делались и периодические доклады по вопросам внутренней и внешней политики. Там постоянно приходилось встречаться и с новыми «народными представителями». В моей памяти остались разговоры, которые я вел весной 1906 г. с графом Гейденом, М. А. Стаховичем и несколькими другими кандидатами в министры из представителей общественности.

Для меня было непонятно, как эти общественные деятели могли отказываться от министерских портфелей из-за узкопартийных, тактических соображений в момент, когда их появление у власти могло бы, по их по крайней мере мнению, быть полезным стране.

Благодаря тому что во главе министерства стоял Извольский, надо признать, что впервые в министерских

кабинетах и канцеляриях начали гораздо живее относиться к окружающим событиям. По мысли нового министра, был задуман целый ряд назначений и перемещений с целью разрушить то средостение, которое существовало издавна между нашей заграничной дипломатической службой и канцеляриями и департаментами самого министерства. К сожалению, медовый месяц министерства Извольского продолжался весьма недолго, и из его многочисленных проектов осуществились весьма немногие, и то значительно позже. Между прочим, по предложению министерской комиссии, в которой мне пришлось позже участвовать, вместо канцелярии и Первого департамента, бывшего Азиатского, были учреждены политические отделы: первый — западноевропейский и американский, второй — Ближнего Востока, третий — Среднего Востока и четвертый — Дальнего Востока. Одновременно все должности в этих политических отделах были приравнены к дипломатическим рангам. Таким образом, начальники отделов получили название советников, а бывшие делопроизводители Первого департамента стали называться старшими и младшими секретарями. Это, на первый взгляд формальное переименование должностей имело тот смысл, что давало возможность министру передвигать личный состав своего ведомства за границей и в центре по одной и той же шкале должностей. Таким образом, в каждом отделе мог набираться состав лиц, знакомых с условиями той или другой страны.

Вся реформа министерства иностранных дел затянулась, однако, на многие годы, вплоть до мировой войны. Она полностью никогда не была приведена в исполнение, именно в части, касающейся заграничной службы. Через Государственную думу была проведена лишь небольшая часть общего законопроекта. Повышены были оклады для министерских должностей, но оставлены без изменения заграничные штаты, долго, но безуспешно пересматриваемые. И на этот раз, несмотря на, по-видимому, искреннее желание Извольского, пробывшего долго на активной дипломатической службе, не удалось поставить заграничную службу в одинаковые условия с министерской. Возобладала группа лиц, руководившая иностранными сношениями и дипломатическим аппаратом большой империи из кабинетов министерства. Из курьезов заграничной службы нельзя не отметить, что

содержание советников и секретарей было в десять раз меньше окладов посланников и послов. В результате семейные секретари посольств и миссий не могли прожить на жалованье за границей, а потому министерство было вынуждено набирать этот состав исключительно из лиц, обладавших значительными личными средствами. На семейных членов посольств и миссий ложились значительные почти обязательные расходы по представительству; их, конечно, приходилось покрывать из своего кармана. Другой несообразностью было то, что должности первых секретарей в посольстве считались выше, чем должности первых секретарей миссий, а между тем последние в случае отъезда посланников исполняли обязанности поверенных в делах, а в посольствах эти обязанности падали на долю советников; первые же секретари оставались при всех обстоятельствах лишь заведующими канцеляриями посольств. В этом отношении только во время мировой войны произошла перемена, и в миссиях были созданы должности советников, назначаемых из первых секретарей посольств. Но весь законопроект, реформирующий заграничную службу, в дореволюционное время так и не увидел света.

Одновременно с реформой Первого департамента и канцелярий было намечено преобразование и двух весьма важных отделов министерства: именно отдела печати, преобразованного из второй экспедиции при канцелярии, и юридического отдела, зачатком которого являлась должность непрямого советника министерства в лице долголетнего эксперта по вопросам международной политики профессора Ф. Ф. Мартенса. Последние годы его заменил профессор барон М. А. Таубе. Он и стал во главе юридического отдела, а его помощником сделался профессор барон Б. Э. Нольде. Все эти перемены, однако, очень долго не были оформлены. В то время когда я временно работал во второй экспедиции при канцелярии (бюро печати), она длительно и иногда мучительно переживала эволюцию. В отношении ее Извольский сразу предпринял, как было указано, лишь следующую меру: он уволил в продолжительный отпуск престарелого управляющего экспедицией Нивэ, а управление поручил заведующему Санкт-Петербургским телеграфным агентством А. А. Гирсу. Извольскому при этих предварительных реформах пришлось встретить весьма сильную оппози-

цию со стороны чиновников министерства. Между прочим, ему во многом противодействовал один из бывших ставленников графа Ламздорфа и его любимцев — А. А. Савинский. Последнему, однако, удалось вскоре сделаться необходимым и для Извольского, желавшего занять в петербургском свете выдающееся положение. Савинский приобрел там за долгое пребывание в министерстве большие связи. Лишь значительно позже Савинский покинул свой кабинет в министерстве, предварительно, однако, добившись назначения посланником в Стокгольм; затем он был переведен на ту же должность в Софию, где и оставался до объявления Болгарией нам войны¹. Так весьма болезненно проходила борьба между иностранным составом нашего дипломатического ведомства и чиновниками петербургских канцелярий министерства иностранных дел. Что касается поста товарища министра (позднее, перед самой войной, после проведения через Думу первой части законопроекта о реформе министерства, были учреждены вместо одной две должности товарищей министра), то Извольский назначил своим товарищем Чарыкова, посланника в Гааге, вместе с которым он учился в лицее. Эта комбинация продолжалась, впрочем, недолго: Чарыков был переведен послом в Константинополь, а на его место снова попал один из чиновников министерства — А. А. Нератов, никогда за всю свою службу не занимавший ни одного иностранного поста.

¹ Болгария вступила в войну на стороне центральных держав 14 октября 1915 г.— *Прим. ред.*



В связи с перемещениями в министерстве очередь дошла и до меня. Первоначально Извольский думал назначить меня первым секретарем в Мадрид, но «министерские комбинации» не позволили этого сделать; туда был переведен первый секретарь в Бухаресте С. А. Лермонтов, а я был назначен на его место. Как бы то ни было, последнее назначение представляло для меня значительное повышение. Оно меня удовлетворяло с точки зрения моего инцидента в Черногории: тем самым я признавался правым. Я с удовольствием снова уезжал за границу. Год с лишним моего пребывания не на заграничной службе доказал мне, что я не только сроднился с ней, но и не могу себя чувствовать на месте на какой-либо другой работе. Это было тем более показательно, что к этому времени я располагал значительными личными средствами и несколько не нуждался в сравнительно небольшом содержании первого секретаря миссии и при необходимости мог нести дополнительные расходы по представительству.

В Бухарест приехал в сентябре 1906 г. Моим новым начальником был М. Н. Гирс, старший сын бывшего министра иностранных дел. Прежде я встречал его лишь однажды (в 1898 г.), после моего возвращения из Китая, куда Гирс был назначен посланником. Он пробыл там до 1901 г. и пережил осаду миссии во время боксерского восстания.

Гирс был дипломатом старой школы и притом с определенно канцелярским уклоном; имея (в последнее

время) звание советника министерства, он фактически в течение семи лет являлся личным секретарем своего отца. Он великолепно знал все закулисные тайны министерства, но за границей выделялся лишь своей необыкновенной осторожностью, даже в разговорах с глазу на глаз. Впрочем, участвовать в разговоре сразу со многими лицами было для него довольно затруднительно из-за глухоты. При всем этом в Бухаресте он завоевал для себя и для всего состава миссии весьма хорошую репутацию, тем более что его предшественником там был Фонтон, живший в окружении двух француенок, что даже для легкомысленного Бухареста было слишком.

Во всяком случае русская миссия в Бухаресте занимала едва ли не первое место по политическому значению России в истории возникновения Румынии и по пограничному с ней положению. Что касается влияния на Румынию, то конкурировать с русской миссией могла лишь австро-венгерская, во главе которой стоял хотя и весьма светский и симпатичный, но недалекий князь Шенбург. Он был сравнительно молод и еще недавно в том же Бухаресте занимал пост советника миссии.

Наряду с этим совершенно особое положение, и надо сказать весьма влиятельное, но главным образом в коммерческих кругах, занимал германский посланник, грубоватый, но очень умный дипломат бисмарковской школы фон Кидерлен-Вехтер, будущий германский министр иностранных дел. Он совершенно не церемонился с придворными и светскими кругами Бухареста. Кидерлен-Вехтер почти нигде не показывался, но был необычайно энергичен в развитии экономического внедрения Германии в Румынию. На него чуть не молились все германские и даже австрийские коммерсанты, имевшие дела в Румынии. Один из последних мне как-то очень наивно рассказывал: «Сегодня утром я представлялся князю Шенбергу, а затем завтракал с моим другом Кидерленом». Бесцеремонность Кидерлена в отношении румын достигала порой невероятных размеров. Корреспондент местной официозной газеты как-то жаловался мне на Кидерлена. «Почему,— спрашивал он,— Кидерлен назвал двух своих догов Стурдзой и Карпом, по фамилиям двух самых выдающихся наших государственных деятелей, и, выходя на улицу, громко зовет своих собак их именами?»



В 1906 г. в Бухаресте уже сороковой год царствовал Карл I, принц Гогенцоллерн-Зигмарингенский, ставший румынским князем в 1866 г.¹, почти одновременно с воцарением в Афинах короля Георга I. Таким образом, мне пришлось иметь дело с третьим из балканских властителей, процарствовавшим почти столетия. Подобно греческому Георгу I и черногорскому Николаю I, Карл I уже по одному этому не мог не быть весьма опытным и искусным правителем. Его роль была, пожалуй, еще труднее, чем двух его балканских коллег. Он попал в только что объединенное румынское княжество после отречения от престола его предшественника князя Кузы, в разгар борьбы за власть молдавских и валашских бояр. Из них каждый после свержения Кузы в течение долгого времени стремился занять место владетельного князя. В начале своего правления король (тогда князь) Карл проявил необыкновенную гибкость. Между прочим, один из его долголетних генерал-адъютантов был перед тем главарем офицерского заговора в Плоешти², едва не свергнувшего молодого в то время князя. При всем том Карл оставался в течение всего времени пребывания в Румынии по своим взглядам и убеждениям настоящим прусским офицером.

Когда я покидал Бухарест, король подарил мне свою книгу «Воспоминания о русско-турецкой войне». В ней он отзывался в общем довольно неодобрительно о русских — его покровителях и союзниках. Среди всех русских генералов он отдавал предпочтение графу Тотлебену, вероятно, потому, что тот был немецкого

¹ Карл I стал румынским князем в 1866 г. после отречения и выезда из Румынии князя Кузы. Куза вынужден был отречься от престола в результате организованного против него заговора бояр и военных, недовольных его диктатурой и рядом проведенных им буржуазных реформ. Избрание принца Карла Гогенцоллерна румынским князем было вызвано тем, что он являлся одновременно родственником Наполеона III и прусского короля и, следовательно, мог рассчитывать на поддержку Франции и Германии.— *Прим. ред.*

² Имеется в виду попытка совершить государственный переворот, предпринятая 20 августа 1870 г. в Плоешти группой заговорщиков. Участники заговора были преданы суду, но оправданы, а палата депутатов приняла в связи с этим оскорбительный для князя адрес. В результате Карл I вынужден был отречься от престола.— *Прим. ред.*

происхождения. Несмотря на то что после русско-турецкой войны прошло почти тридцать лет, недовольство русскими за исход войны и главным образом за потерю трех бессарабских уездов далеко еще не остыло как у короля, так и у румынских правящих кругов. Между прочим, необыкновенное самомнение последних заставляло их приписывать почти исключительно себе взятие Плевны. При осаде ее маленькая румынская армия под предводительством Карла вместе с нашими двумя полками взяла лишь один Гривицкий редут. Это не мешало румынским властям выбить медаль по случаю тридцатилетия падения Плевны. На ней значилось: «Взятие Гривицы — освобождение Болгарии». В Бухаресте к тому же времени было отпечатано много лубочных картин, напоминавших дни Плевны, под заголовком «Румыно-турецкая война». На них изображался князь Карл, отдающий приказания русскому главнокомандующему Николаю Николаевичу старшему. Мне неоднократно пришлось быть на продолжительных аудиенциях у короля Карла. Несмотря на преклонный возраст и болезненное состояние, он был необычайно интересным собеседником и отличался прекрасной памятью. Его разговоры сплошь и рядом носили характер экскурсий в глубь веков. Мне помнится его рассказ о первом посещении Франции. Он рассказывал о своей встрече с герцогом Омальским, младшим сыном короля Луи-Филиппа, так, как будто все это происходило накануне.

Румынская королева Елизавета (по происхождению тоже немка, урожденная принцесса Вид) была также незаурядной личностью. Писательница, известная под именем Кармен Сильва, она за свой век написала бесконечное количество забытых теперь стихов и новелл и всегда умела окружать себя представителями литературы и искусства. Почти каждую неделю, по пятницам, у нее устраивались литературные и музыкальные вечера. Ее разговор в области литературы и искусства был необыкновенно интересен. Притом она всегда проявляла «демократичность». Круг ее знакомых был гораздо шире, чем у остальных членов королевской семьи. Отличительной чертой королевы была чисто немецкая сентиментальность и порой своего рода «институтская» восторженность. Во время болезни короля она как-то поместила в газетах такие интимные подробности о своей семейной жизни,



что многие убежденные монархисты спрашивали себя, желательно ли это с точки зрения поддержания королевского престижа. Кармен Сильва владела немного русским языком. Она ему научилась, когда жила в России в качестве гостьи или, вернее, фрейлины великой княгини Елены Павловны. В свое время, когда принцесса Дагмара Датская, будущая императрица Мария Федоровна, была невестой старшего брата Александра III, Николая Александровича, будущая королева Елизавета предназначалась в невесты Александру III, но не понравилась ему. Из области литературных симпатий мне помнится, как Кармен Сильва преклонялась перед Генрихом Гейне. Она резко критиковала Вильгельма II за то, что он, приобретя принадлежавший австрийской императрице Елизавете замок на острове Корфу, приказал убрать воздвигнутый там ею памятник Гейне. Бывший император считал его изменником по отношению к Германии. В общем в русынской королевской семье относились весьма критически к личности Вильгельма II. Здесь, между прочим, сказывалось и известного рода соперничество между двумя линиями Гогенцоллернов. Этим отчасти объясняется, что король Карл, несмотря на тяжелую внутреннюю борьбу, не выполнил своих союзнических обязательств по отношению к центральным монархиям в начале мировой войны.

Обстановка двора наследной четы была совершенно иная. Насколько король и королева напоминали скромных немецких бюргеров, настолько же наследница, нынешняя королева-мать Мария, по происхождению наполовину русская, наполовину англичанка¹, державшая мужа короля Фердинанда (племянника Карла I) под своим влиянием, играла роль византийской принцессы, и притом со многими чертами упадочного строя Восточной Римской империи.

Дворец наследников Квадрочени был устроен на византийский, несколько декадентский лад. Залы были сплошь позолочены или высеребрены. Нельзя, однако, не признать, что они служили подходящей рамкой для красивой принцессы, старавшейся в своих нарядах под-

¹ Ее отец был герцог Саксен-Кобург-Готский, герцог Эдинбургский, брат английского короля Эдуарда VII, а мать — великая княгиня Мария Александровна (дочь Александра II). — *Прим. авт.*

ражать тому же византийскому стилю. Вокруг наследницы группировался кружок блестящей румынской молодежи. Образ жизни этого кружка часто вызывал не-удовольствие престарелого короля. Тем не менее в общественной жизни Бухареста наследная чета играла гораздо большую роль, чем король и королева. На приемах, постоянно устраиваемых наследницей, участвовала и дипломатическая молодежь, к которой принадлежали и мы с женой; я оказался одним из самых молодых первых секретарей бухарестского дипломатического корпуса.

Вообще Бухарест того времени вел весьма светский образ жизни: приемы сменялись приемами, и нам с женой случалось целыми неделями бывать на вечерах или же принимать гостей у себя.

Зато днем я вынужден был усиленно работать в канцелярии миссии, так как дел там было очень много. Помимо дипломатической работы, на двух секретарей миссии ложилась и работа консульская: особого консульства у нас тогда в Бухаресте не было, а штат миссии был весьма невелик. Кроме двух секретарей, не считая военного агента, в миссии был лишь один атташе и два канцелярских чиновника. Что касается двух наших курьеров, то они были очень своеобразны. Это были русские скопцы, не имевшие права проживать в России, но выказывавшие ей за рубежом необычайную преданность и верность. Особенностью членов этой секты была скупость. На бабьих лицах скопцов при всяких денежных расчетах выражалась ненормальная алчность. Это, однако, не мешало им быть очень честными. Скопческая колония, составленная по преимуществу из состоятельных лиц, пользовалась в Румынии известной автономией, и представитель ее, украшенный румынским орденом, приносил обыкновенно поздравления королю в торжественных случаях. В эту колонию входили также и лучшие извозчики Бухареста. Их элегантные коляски, запряженные орловскими рысаками, которые выписывались скопцами из России, стояли рядами на главной улице Бухареста Калле Виктория. Для всякого румынского франта было большим удовольствием проехаться в такой коляске по Киселевским аллеям.

Кроме скопцов, в Добрудже проживало немало русских сектантов других толков, которые сохраняли свой

язык и обычаи. Свои ряды скопцы пополняли путем первобытных операций — они производились профессиональными коновалами. Последние, конечно, преследовались за это румынскими властями. В таких случаях, как это ни странно, скопцы обращались к защите русской миссии, хотя скопчество преследовалось и в России.

Помимо дел дипломатических и консульских, по приезде в Бухарест мой предшественник С. А. Лермонтов передал мне целый ряд сложных финансовых дел, управление домом миссии с рядом сдаваемых, выходящих на улицу лавок, а также дела строившейся тогда русской церкви.

Финансовые дела заключались в том, что в распоряжении миссии находилось приблизительно на миллион рублей разных капиталов, пожертвованных частными лицами на то или другое благотворительное дело. Когда я впервые вошел в канцелярию, то был поражен тем, что двери кабинета первого секретаря были окованы железом, запирались большим железным болтом и громадным замком. Дело в том, что все капиталы держались в особом сейфе в том же кабинете. Первому секретарю приходилось постоянно пересчитывать деньги, по возможности не смешивая отдельных капиталов. К тому же, как оказалось, двое из моих предшественников должны были покинуть службу в связи с обвинением их в растрате¹. На мои расспросы, почему существует такой порядок и деньги не сданы попросту в банк, мне объяснили, что на часть этих капиталов заявляет претензии румынское правительство и что один из капиталов, а именно митрополита Нифонта, был когда-то секвестрован румынскими властями в одном из бухарестских банков. Я немедленно решил покончить с этими порядками, и мне удалось убедить посланника сдать все деньги в банк, переименовав все капиталы миссии рядом литер. Таким образом, с одной стороны, с первого секретаря снималась ответственность за финансовое управление этими капиталами, а с другой — румыны не имели никакого основания налагать руку на тот или другой анонимный капитал. Я был очень доволен проведением этой меры, но впоследствии, к моему большому удивле-

¹ Понятно, что первое время наши скопцы смотрели и на меня с некоторым подозрением. Репутация первых секретарей у них стояла, очевидно, невысоко. — *Прим. авт.*



нию, узнал, что мой преемник после моего отъезда вернул все дело в прежнее положение. С одним из капиталов, однако, дело было сложнее. Дело в том, что этот капитал, именно Кефалова, был израсходован с одобрения Петербурга на ремонт дома миссии, пострадавшего от пожара. Это произошло лет за десять до моего приезда. По первоначальному расчету капитал должен был быть восстановлен путем сдачи в наем восьми лавок, устроенных по фасаду дома. В мое время, однако, капитал еще далеко не был восстановлен, хотя мы и покупали постоянно новые процентные бумаги. В связи с управлением этим капиталом в мою обязанность входила сдача лавок в наем. Немало хлопот доставила мне и постройка русской церкви. Ее производил довольно бестолковый немецкий архитектор по плану одного из петербургских академиков. Этот архитектор обращался ко мне за всякой мелочью и отнимал у меня немало времени.

Что касается консульских дел, то они велись преимущественно вторым секретарем, но последний в случае затруднения при выдаче той или другой визы все же обращался ко мне. В 1906—1907 гг. почти каждый день к нам в миссию приходило по нескольку потемкинцев¹. Как известно, восставший броненосец ушел в Констанцу, где был разоружен румынами и затем передан царскому правительству. Экипаж его в составе почти семисот человек остался в Румынии. Потемкинцы работали на полевых работах, но многие из них потеряли работу, в особенности после крестьянских волнений, и стремились вернуться на родину. Не помню уже, сколько раз мне пришлось говорить с ними, предупреждая, что в случае

¹ Потемкинцы — матросы с броненосца «Потемкин», восставшего в июне 1905 г. во время стоянки недалеко от Одессы, где происходила всеобщая стачка рабочих. Восставшие матросы, расправившись с наиболее ненавистными им офицерами, подняли на корабле красный флаг революции. Матросы военных судов, посланных против «Потемкина», отказались стрелять в своих товарищей. Однако восставшие не имели твердого руководства, и в решительный момент часть матросов заколебалась. Другие суда Черноморского флота к восставшим не присоединились. Не имея угля и продовольствия, революционный броненосец был вынужден уйти к берегам Румынии и сдаться румынским властям. Попавшие впоследствии в руки царского правительства матросы были преданы суду. Часть из них была казнена, другие сосланы на каторгу.— *Прим. ред.*

возвращения в Россию им придется идти под суд. Большинство из них неизменно отвечало, что они готовы на все, лишь бы вернуться домой. В связи с тем что Румыния имела общую границу с Россией, работа миссии крайне увеличивалась. Случались подчас и настоящие курьезы. Как-то раз ко мне явился в русской полицейской форме становой пристав из Бессарабии, прибывший в Бухарест по приказанию исправника в погоне за одним убийцей, скрывшимся на румынской территории. Он очень настаивал на передаче ему преступника и был крайне удивлен, когда я ему сообщил, что выдача его русским властям может произойти лишь после дипломатических переговоров. Становой был так взвешан, убедившись в невозможности выполнить приказание своего начальника, что для его успокоения я вынужден был подтвердить это на первой странице приведенного им «дела». Немало обращалось к нам русских подданных и за пособиями. При выдаче этих пособий иногда случалось и ошибаться; так, например, помнится, я выдал пособие одному молодому человеку, одетому в форму Елизаветградского кавалерийского училища. Впоследствии оказалось, что это болгарский авантюрист, ничего общего с надетой на него формой не имеющий.

С посланником, в общем, мы жили в мире, и он понемногу стал мне предоставлять во многих делах полную самостоятельность. Я, впрочем, узнал, что мои министерские «друзья» постарались и тут восстановить моего нового начальника против меня, расписав по-своему мой черногорский инцидент и мой «невозможный характер».

Как я уже говорил выше, бухарестское общество старалось в своем образе жизни подражать французским образцам и притом эпохи Второй империи¹. Однако в одном оно их далеко превзошло, а именно — в разводах. Все представители бухарестского общества были почти поголовно разведенными, причем обыкновенно в каждой семье обе стороны снова пожени-

¹ Вторая империя во Франции была установлена 2 декабря 1852 г., когда Луи-Наполеон Бонапарт провозгласил себя императором под именем Наполеона III. Вторая империя просуществовала до 4 сентября 1870 г. В этот день в Париже, после того как армия Наполеона III была разгромлена при Седане, а сам он попал в плен, произошла революция, и во Франции снова была провозглашена республика.— *Прим. ред.*

лись и повыходили замуж. По приезде в Бухарест я нашел у себя на столе в канцелярии приглашение на свадьбу сына министра иностранных дел генерала Якова Лаговари. Это приглашение было от имени восьми лиц. Оказывается, что как родители жениха, так и родители невесты были разведены, и приглашение было подписано всеми четырьмя родственными супружествами. К счастью для дипломатов, в обязанность которых входило приглашать к себе представителей румынского общества, разведенные мужья и жены продолжали довольно легко встречаться в обществе. В противном случае в Бухаресте нельзя было бы устроить ни одного званого обеда. Несколько труднее было положение тех разведенных супругов, которые решались вновь сойтись между собой. Оказывается, в этом случае румынская церковь чинила гораздо больше препятствий, чем при разводах.



Впрочем, в Бухаресте бывали и неизжитые семейные распри; в таком положении была семья довольно известной румынской поэтессы Вакареско, бывшей фрейлины и протеже Кармен Сильвы. Королева прочила ее в невесты наследнику. После его брака с принцессой Марией вся семья Вакареско попала в немилость, и двор бойкотировал ее. Мне помнится оживленная и в достаточной мере комическая сцена, когда в один румынский дом, где в это время находилась наследная чета, явилась г-жа Вакареско со своей матерью, а хозяйка дома бросилась в переднюю, чтобы помешать проникновению этих дам в залу. Впрочем, Вакареско все же продолжала пользоваться известным положением среди некоторых кругов бухарестского общества. Мне помнится, что у них продолжал бывать вместе со всеми нами наш посланник, который по своей матери Кантакузен считался состоящим в родстве со многими из представителей румынского общества.

Во время моего пребывания в Бухаресте Румыния переживала весьма глубокий внутренний кризис. В начале 1907 г. там произошло крупное крестьянское восстание, центром которого была главным образом Молдавия. Молдавские крестьяне находились в особенно тяжелом положении. Их нещадно эксплуатировали арендаторы крупных землевладельцев, передавая им землю исполу и даже из одной трети. Крестьянское восстание

выразилось в движении громадных толп крестьян. Они направлялись к Бухаресту, часто во главе толпы шли сельские священники с крестом в руках. Там они искали управы против своих эксплуататоров. Восстание было подавлено самым жестоким образом. Во главе карательных экспедиций был поставлен генерал Авереску, недавний премьер Румынии. Его отряды не только расстреливали толпы крестьян, но и сжигали деревни, заставляя обитателей покидать свои жилища. Между прочим, румынские власти поставили это движение в связь с пребыванием в Румынии потемкинцев и воспользовались этим, чтобы поднять на них гонение. Этим отчасти объясняются упомянутые мной выше частые обращения потемкинцев в русскую миссию. Недовольство в стране жестокостью усмирения крестьянского восстания вызвало падение консервативного кабинета Карпа. К власти был призван глава либеральной партии Стурдза. Губернатором в Яссы был назначен эмигрант из Бессарабии Стере. Такими мерами король рассчитывал несколько успокоить умы в Молдавии, где большинства городского населения стояло на стороне крестьянства. Как бы то ни было, описанное крестьянское движение в Румынии являлось бесспорно отзвуком первой русской революции. По поводу смены министерства нельзя не отметить, что в Румынии того времени существовал лишь призрачный конституционный строй. Когда король решается расстаться со своим первым министром, то он одновременно распускает и палаты. Новому министерству поручается произвести новые выборы, и в члены палат попадают при усиленном воздействии на выборы правительства почти исключительно сторонники нового кабинета. Оппозиция бывает для вида представлена в парламенте лишь несколькими лицами.



Летом 1907 г. Гирс уехал в отпуск, и мне пришлось в течение двух с лишним месяцев управлять миссией в качестве поверенного в делах. Эта перемена мне пришлась по душе. Во время своего пребывания посланник ревниво держал в своих руках всю политическую работу, а теперь мне предстояло, хотя и временно, вести ее самостоятельно. Мое управление миссией совпало с переездом как королевской семьи, так и всего дипломатического корпуса в Синаю — летнюю резиденцию в Карпатах, у самой венгерской границы. Эта местность необычайно живописна. Там построено два сказочно оригинальных дворца румынского короля и наследника — Пелеш и Пелишор. Когда в Бухаресте стоит нестерпимая жара, в Синае держится прохлада. Я нанял там для себя небольшую дачку. Семья моя уехала на это время в Польшу. Поселился вместе с нашим атташе Иониным, который все это время был моим усердным помощником: второй секретарь был в отпуску. Что касается консульских дел, то их более или менее самостоятельно вершил в Бухаресте один из наших канцелярских чиновников, имевший звание нештатного вице-консула. Таким образом, на это время моя деятельность ограничивалась почти исключительно политическими вопросами. Я прилежно принялся писать донесения в министерство. Для них, несмотря на летнее время, было весьма много интересующих нас тем, в особенности ввиду усилившейся за последнее время румын-

ской пропаганды не только в Македонии, где Румыния покровительствовала куцо-влахам¹, но даже, хотя и с большой осторожностью, в Буковине и Трансильвании — на западе и в Бессарабии — на востоке. К тому же в Румынии после недавних крестьянских волнений было еще далеко не спокойно. Мои сношения с румынским правительством велись отчасти через товарища министра иностранных дел Замфиреско, который по средам принимал дипломатов в Бухаресте². Туда приходилось по этим дням ездить с утра. По более важным делам я говорил с министром иностранных дел Братиану³ и председателем совета министров Стурдзой, которые часто наезжали в Синаю для докладов королю. Вскоре мне пришлось вести весьма осложнившиеся переговоры в связи с официальным посещением румынского короля великим князем Владимиром Александровичем. Великий князь должен был приехать в Болгарию на открытие храма-памятника на Шипке⁴ в связи с исполнявшимся тридцатилетием русско-турецкой войны. Между тем Николай II никогда не отдавал визита королю Карлу, который считал себя одним из главных участников этой войны. Румынский посланник в Петербурге Розетти-Солеско (он был женат на сестре Гирса) сделал, по-видимому, по собственной инициативе некоторые шаги в Петербурге, чтобы вызвать посещение великим князем Бухареста. На основании этого Извольский дал мне по телеграфу инструкцию доверительно запросить румынское правительство по поводу возможного приезда в Ру-

¹ Куцо-влахи — родственная румынам народность в Македонии.— *Прим. ред.*

² Деловые приемы дипломатов обставлены в Бухаресте весьма комфортабельно. В одной из громадных раззолоченных зал дворца Стурдзы, где помещается министерство иностранных дел, накрывается стол и сервируется чай. Таким образом, прием обращается для дипломатов в своего рода раут.— *Прим. авт.*

³ Умерший недавно Ионель Братиану был перед смертью председателем совета регентства.— *Прим. авт.*

⁴ Шипка — горный перевал на Балканах. Во время русско-турецкой войны против сравнительно небольшого русского отряда, занявшего в июне 1877 г. Шипку, была направлена турецкая армия Сулейман-паши. Защитники Шипки, несмотря на то что они были брошены своим командованием на произвол судьбы, в течение продолжительного времени в суровые морозы героически отбивались от турецких атак. Отвага, проявленная русским отрядом на Шипке, значительно способствовала победе России над Турцией.— *Прим. ред.*

мынию великого князя, но здесь неожиданно возникли некоторые осложнения. По-видимому, король, не желая, чтобы подобное посещение произошло лишь мимоходом по дороге из Болгарии, воспользовался предполагаемым своим отъездом на лечение в Германию, чтобы высказать свое сожаление, что он в указанный Петербургский срок не сможет принять великого князя. Мне это было сообщено первым министром Стурдзой, которого я посетил по этому поводу. Он только что вернулся из-за границы и принял меня через полчаса после своего приезда. Стурдза был очень сконфужен подобным оборотом дела. Выходило, что сами румыны через своего посланника приглашали Владимира Александровича, а когда мы об этом с ними заговорили, то от короля получился уклончивый ответ. Чтобы доказать свою искренность в этом деле, Стурдза, раскрыв свой чемодан, показал мне письмо Розетти-Солеско, в котором тот сообщал о своих разговорах в Петербурге касательно приезда великого князя. Стурдза обратил мое внимание на свою надпись на письме; он отмечал необходимость предупредить Петербург, что короля в августе в Бухаресте не будет. Как бы то ни было, мне пришлось телеграфировать этот неприятный ответ, который, как я был уверен, не мог не вызвать в Петербурге большого неудовольствия. Это было тем неприятнее, что с Румынией у нас уже многие годы были несколько натянутые отношения, а тут упускался случай ответного визита королю если не самого царя, то по крайней мере одного из великих князей по его поручению.

Не имея более возможности оказать дальнейшее воздействие в этом вопросе и чувствуя при этом некоторое недовольство по отношению к румынам, я решил на короткий срок покинуть Синаю, предоставив дело своему течению и все же надеясь, что оно так или иначе будет улажено. Удобным предлогом для отъезда было выполнение моего плана посетить наши сопредельные с Румынией бессарабские города на Килийском рукаве Дуная. Возможность этого была облегчена тем, что в Галаце у нас стоял стационар миссии — эскадренный миноносец. Его командир недавно посетил меня и подал мысль совершить поездку по рукавам Дуная с заходом в русские порты. К тому же за последние месяцы на Килийском рукаве произошло несколько инцидентов.

Румынская пограничная стража стреляла в наших рыбаков, слишком близко подходивших к румынскому берегу. Мне хотелось убедиться своими глазами в создавшейся там обстановке. Впрочем, по последним нашим представлениям румынское правительство выплатило в трех или четырех случаях по 5—10 тысяч леев семьям убитых или же раненых русских рыбаков. Предупредив командира, я выехал в Галац, где остановился у секретаря нашего генерального консульства Петрова, управлявшего консульством в связи с отсутствием генерального консула Картамышева, который был делегатом России в Европейской дунайской комиссии¹.

В Галаце в то время проживало большинство членов этой комиссии, в которую входили делегаты великих держав, а также и Румынии. Петров вызвался меня сопровождать, и мы поплыли вдоль Килийского рукава на нашем небольшом стационаре. Предварительно через Петрова я предупредил наши власти в Рени и в Измаиле о моем посещении. В обоих портах нам был оказан необыкновенно предупредительный прием. В Измаиле местные власти в полном составе в парадной форме встретили меня на берегу и повезли по городу, не зная, как лучше выразить свое гостеприимство. В мою честь, между прочим, была устроена пожарная тревога, а вечером в местном клубе дан парадный обед с большим количеством тостов. Из разговоров с командиром отдела пограничной стражи, довольно пожилым полковником, я узнал много интересных подробностей о положении дел в нашей пограничной с Румынией зоне. Наш пограничный кордон был далеко оттянут от берега ввиду болотистой местности, а румынские посты «граничаров» (пограничников) стояли у самого берега. Мы наблюдали,

¹ Европейская дунайская комиссия, составленная из представителей Франции, Англии, Австрии, Пруссии, России, Сардинии и Турции, начала функционировать 4 ноября 1856 г. в Галаце. В полномочия комиссии входило наблюдение за свободой судоходства от устья Дуная до Галаца. В дальнейшем полномочия комиссии были распространены также на участок Дуная от Галаца до Браилова (в частности, права комиссии были расширены постановлением Берлинского конгресса 1878 г.). Хотя местопребыванием Европейской дунайской комиссии и была Румыния, но комиссия не зависела от румынского правительства (представитель Румынии был введен в состав комиссии в 1883 г.). Комиссия пользовалась полицейской властью, публиковала обязательные правила судоходства и т. д. — *Прим. ред.*

как при появлении нашего миноносца эти посты выходили к самому берегу Килийского рукава. Поговорив с председателем местной земской управы, я убедился в том, что, хотя прошло почти тридцать лет после возвращения нам трех уездов Бессарабской губернии, отторгнутых от нас по Парижскому миру¹, они во многих отношениях пользовались известной автономией, а земство продолжало действовать по румынскому образцу, объединяя притом все три уезда.

В Измаиле много памятников старины, напоминающих о русско-турецких войнах, и мы подробно осмотрели известную так называемую Суворовскую церковь и развалины крепости — главную местную достопримечательность. После Измаила мы прошли на миноносце и в Бессарабскую Венецию — большой рыбацкий посад Вилков. Он весь построен на сваях среди каналов, омывающих дома. Вилков являлся самым крупным центром нашей рыболовной промышленности на Дунае. Местные рыбаки встретили меня обычным подношением. При выходе на берег пожилой городской голова подал мне на блюде, крытом полотенцем, большую банку с икрой. В этой поездке меня сопровождала и часть измайльских властей, вызвавшаяся пройти с нами до Вилкова. Отсюда мы поднялись обратно до Измаила, где высадили наших измайльских приятелей, а затем через Галац спустились до Сулины по Сулинскому рукаву. По пути мы остановились на час в Тульче, где были встречены нашим долголетним консулом Вестманом.

В Сулине Европейская дунайская комиссия, пользующаяся полусуверенными правами, вплоть до особого полосатого флага, имеет резиденцию в виде маленького дворца. В нем живет по очереди один из делегатов. Комиссия обладает и своим небольшим флотом, составленным главным образом из землечерпалок. В ее обязанности входит поддержание судоходности главного дунайского рукава — Сулинского. В Сулине русским вице-консулом был Буткевич, которого мне пришлось затем встретить во время войны при многократных моих проездах через Англию, где он был консулом в Ньюкасле.

¹ Имеется в виду мирный договор, заключенный в 1856 г. в Париже между Россией, с одной стороны, и Англией, Францией, Сардинией и Турцией, с другой стороны, после поражения России в Восточной (Крымской) войне 1856 г.— *Прим. ред.*

«Дежурным» делегатом комиссии в Сулине в это время был турок. Он пригласил на обед меня вместе с нашими консулами: Буткевичем и Петровым и командиром миноносца. Разговор шел о различных сторонах деятельности дунайской комиссии, детища Парижского и Берлинского трактатов¹.

На следующий день утром мы вышли в открытое море и в 4 часа дня были в Констанце — бывшем турецком Кюстенджи. К 1907 г. румыны уже успели закончить там большие портовые сооружения и сделали из маленького турецкого прибрежного городка первоклассный порт, через который началось прямое сообщение с Константинополем румынскими пароходами, а с Берлином — экспрессом. Весь город в это время перестраивался, и рядом с маленькими, оставшимися после турок, домиками вырастали большие здания современного типа. Нас встретил престарелый консул, пробывший много десятков лет в Констанце и начавший там службу, когда это была еще турецкая деревушка Кюстенджи, служившая, прочем, уже тогда единственным портом Добруджи. По преданию, в Констанце некогда жил римский поэт Овидий, изгнанный из своей страны за сатиру, направленную против развратной дочери Августа. Это воспоминание было отмечено румынами довольно курьезным способом, а именно надписью на местных морских купальнях: «На этом месте жил некогда Овидий, а тогда-то сооружена была купальня».

Распрощавшись с моряками по установленному для дипломатических представителей церемониалу, я вернулся по железной дороге в Синаю, весьма довольный своей поездкой. Она дала мне возможность несколько подробней ознакомиться с граничащей с нами частью Румынии, с устьями Дуная и с прибрежными городами Бессарабии. Хотя как поверенный в делах я имел право заходить на русском стационаре в румынские порты без особого предупреждения, румынский министр иностранных дел все же направил мне ноту с просьбой заранее извещать об этом румынские власти. Оказывается, наше появление в Констанце вызвало некоторый переполох:

¹ Последний лишил Россию устьев Дуная, которые переходили к ней по Сан-Стефанскому договору. Плавание же и рыболовство наше по Килийскому рукаву было, как указано выше, обставлено румынами всяческими затруднениями.— *Прим. авт.*

последним русским судном, зашедшим в этот порт, был «Потемкин».

Как я и думал, во время моего отъезда в шекотливом вопросе о посещении Румынии великим князем произошли некоторые перемены. Между прочим, мой отъезд оказался вполне уместен и не мог не произвести известного впечатления. Дня через два после возвращения я получил приглашение на пикник, устроенный наследной принцессой. Пикник включал в себя поездку верхом на лошадях по весьма живописным окрестностям Синайи. Подъехав ко мне, наследница начала разговор, после того как мы несколько отстали от остальной кавалькады. Она сообщила мне, что инцидент с великокняжеским приездом улажен. Владимир Александрович и Мария Павловна согласились отложить свой приезд в Бухарест, приняв приглашение провести две-три недели в венгерском имении князя Фердинанда болгарского, а король к этому сроку вернется из-за границы. Как раз в это время состоялась помолвка князя болгарского с его будущей второй женой, принцессой Рейс, весьма близкой к Марии Павловне и работавшей в русском Красном Кресте во время японской войны.

Я с большим удовольствием телеграфировал сообщение принцессы Извольскому, будучи от души рад, что на этот раз мое управление миссией не совпало с каким-либо неприятным инцидентом. Одновременно направил телеграмму как в министерство, так и великому князю о желательности ввиду местной политической обстановки придать визиту вполне официальный характер. С этим в Петербурге согласились. Через три недели король вернулся и пригласил меня к завтраку. По окончании завтрака он отвел меня в сторону и сообщил, что приезд великого князя окончательно решен и что для этого сделаны все приготовления. Вообще король и королева старались подчеркнуть мне как русскому представителю свою любезность. Король надел орден Георгия, который он носил очень редко, а королева даже продекламировала русские стихи. Несколько дней спустя мне пришлось быть снова у короля на завтраке вместе с нашим военным агентом. Нам было поручено преподнести королю многотомное издание Главного штаба «Истории русско-турецкой войны». По этому случаю король продержал нас очень долго, делясь своими воен-

ными воспоминаниями. Признаться, я принялся за изучение истории войны 1877—1878 гг. только накануне вечером, чтобы иметь возможность подавать ему вовремя реплики. Кстати сказать, мне казалось весьма желательным с политической точки зрения рассеять неприятный осадок, оставшийся у короля Карла после войны, и мной была подана мысль министерству о пожаловании ему или Георгия I степени или же фельдмаршальского жезла. Последнее было выполнено, но лишь несколько лет спустя. Фельдмаршальский жезл получил к тому времени и ставший королем Николай Черногорский.

Поездка по Дунаю дала мне возможность написать в Петербург подробное донесение о моих впечатлениях. Я также написал о необходимости более тщательной охраны вод нашей половины Килийского рукава путем приближения пограничных постов к берегу, посылки второго миноносца для охраны рыбных промыслов и применения оружия по примеру румын, когда их рыбаки заходят в наши воды. Иначе выходило, что мы постоянно жаловались, а румыны все же продолжали стрельбу в наших рыбаков. Кроме того, я писал, что своевременно было бы учредить штатное консульство в Констанце — гораздо более важном пункте, чем Тульча и Сулин, в которых мы по старой памяти держали консулов. Как я потом узнал, Николай II на этом донесении написал: «Правильно», и тем самым министерство было поставлено перед необходимостью так или иначе выполнить все мои предложения, ибо оно не знало, к чему эта лаконическая пометка царя относится.

В экономической области за время управления миссией мне удалось провести довольно значительное дело. После русско-японской войны наши машиностроительные заводы старались разместить ряд важных заказов за границей. В Синае ко мне явился представитель Путиловских заводов инженер Рыдзевский, имевший мандаты и от некоторых других заводов, как например Гартмана, Днепровского, Коломенского и т. д. Эти заводы принимали участие в торгах на поставку двадцати шести паровозов и пятидесяти цистерн для румынских железных дорог. Главными конкурентами были германские заводы. Несмотря на более выгодные условия, предлагаемые нашими заводами, последние не допускались к торгам



на равных условиях с остальными конкурентами. Воспользовавшись некоторым изменением в политических отношениях Румынии и России, я обратился непосредственно к председателю совета министров Стурдзе с просьбой поставить наши заводы в одинаковые с другими конкурентами условия. Министр обещал сделать все возможное, и, действительно, вскоре ко мне пришел весьма радостный Рыдзевский и сообщил, что заказ нами получен.

Из других дел у меня остались в памяти мои переговоры по поводу появившейся в румынской официозной газете «Indépendance Roumaine» статьи по поводу еврейских погромов в Бессарабии. Газета обвиняла в них непосредственно Николая II. Я написал частное письмо министру иностранных дел Братиану и получил от него довольно кисло-сладкий ответ, на который снова отвечал. В результате в газете появилась заметка, объясняющая опубликование статьи недосмотром, ввиду того что летом в газету писали случайные сотрудники. Как статью, так и заметку я послал в министерство.

В начале сентября, за два дня до приезда великого князя, в Синайю приехал посланник, и я с удовольствием мог констатировать, что он ни в чем не мог упрекнуть меня за время моего управления миссией. Пребывание великого князя в Бухаресте, а затем в Синае прошло совершенно благополучно и, конечно, во многом способствовало улучшению русско-румынских отношений. Между прочим, на вокзале, когда посланник представил меня великому князю, которого я раньше не встречал, последний очень любезно сказал, что он меня уже знает как лицо, устроившее его приезд в Румынию.

Как бы то ни было, появление наших великих князей за границей было далеко не во всех отношениях приятно для нас, дипломатов. Так, например, довольно грубый великий князь на каком-то приеме, быть может и ненамеренно, в присутствии румын резко обошелся с весьма застенчивым М. Н. Гирсом. На следующий день посланник, призвав меня и поведав мне это, сказал, что собирается подавать в отставку или во всяком случае просить о своем отозвании из Бухареста. Вспомнив мой афинский опыт в этом отношении, я ему рассказал как пример инцидент с бароном Розеном, закончившийся «высочайшей» пометкой: «Успокойте Розена». Не знаю,

в силу ли этого или по каким-либо другим причинам, но Гирс своего намерения не исполнил и больше об этом со мной не говорил. Наступило время расстаться с Синайей. Я с грустью покидал эту чудную гористую местность. Жилось и работалось там особенно хорошо. Я занимался и спортом. Играя ежедневно в теннис, я стал в этой игре постоянным партнером наследного принца Фердинанда.

Ко времени приезда великого князя в Бухарест вернулась и моя семья, а через несколько дней мы с женой, оставив детей в Бухаресте, уехали в кратковременный отпуск в Париж. В это время там находился Извольский. Из его слов я убедился, что министерство осталось довольно моим управлением миссией. По-видимому, министр обратил особое внимание на одно из моих донесений. В нем я давал картину румынских стремлений к распространению границ на восток и на запад за счет нас и Австро-Венгрии. Это объяснялось тем, что румынское продвижение к югу и, в частности, деятельность в Македонии в защиту фантастических куцо-влахов имели под собой весьма непрочную почву. Но я, конечно, все же не думал, что подобные румынские устремления получат в хаосе, наступившем после мировой войны, так скоро свое осуществление. В Париже я долго беседовал и с нашим послом А. И. Нелидовым. Он только что вернулся со второй Гаагской конференции¹, председателем которой был. Нелидов, между прочим, рассказывал о хорошем впечатлении, произведенном на конференции южноамериканскими представителями, с которыми ему пришлось впервые иметь дело; в разговоре он коснулся и своих воспоминаний о Сан-Стефанском договоре, причем поразил меня своей необыкновенной памятью, цитируя наизусть целые статьи договора, касавшиеся Румынии.

Вернувшись из Парижа в Бухарест, я снова принялся за обычную зимнюю дипломатическо-канцелярскую работу, стал вести светскую жизнь, которая для нас с женой стала еще более оживленной и отчасти утомительной, так как круг знакомых расширился. Однако Бухарест меня уже мало прельщал: тянуло в Петербург, где

¹ Вторая Гаагская конференция состоялась в 1907 г. На этой конференции была принята конвенция о законах и обычаях сухопутной войны.— *Прим. ред.*

со времени открытия Государственной думы жизнь начала входить в новое русло, а наше министерство как будто стало просыпаться и изменять свой прежний канцелярский характер. В Петербург меня звал А. А. Гирс, с которым я работал в бюро печати. Он предполагал сохранить за собой лишь управление Санкт-Петербургским телеграфным агентством и сделал мне по поручению Извольского предложение занять его место управляющего второй экспедицией при канцелярии, иначе говоря, бюро, или, вернее, отдела печати. Мне скоро пришлось раскаяться в моем решении, но, как бы то ни было, в декабре 1907 г., получив предложение министерства перейти на службу в Петербург, я был рад этому и стал понемногу готовиться к отъезду.

С Бухарестом, впрочем, как в свое время и с Афинами, расстаться мне было все же нелегко, так как у меня образовался там значительный круг друзей и знакомых. По обычаю я был приглашен на ряд прощальных обедов и принят в прощальных аудиенциях всеми членами королевской семьи, получив на прощание несколько фотографических карточек с подписями и румынский орден. Иностранные коллеги, кроме того, подарили мне золотой портсигар, на котором были обозначены годы моего пребывания в Бухаресте. По этому поводу не могу не вспомнить полушутливое изречение одного из видных дипломатов прошлого века князя Бисмарка. Он утверждал, что вся дипломатическая служба состоит из трех элементов: сношений с иностранными коллегами, с местными министерством иностранных дел и обществом и со своим собственным министерством. Первые, по мнению Бисмарка, всегда приятны, вторые несколько тяжелее, а самыми трудными являются сношения дипломатов со своим собственным министерством. Для меня, как показал собственный опыт, слова Бисмарка являются непреложной истиной.

В начале февраля 1908 г. я выехал из Бухареста и решил проехать через Софию и Белград. Покидая Балканский полуостров, я хотел после десятилетнего там пребывания посмотреть на две балканские столицы, в которых еще не бывал.

(1908 г.)



Переезд из Бухареста в Софию весьма непродолжителен. Путь лежит на Журжево и Рушук, два города, ставшие столь известными в России после русско-турецкой войны. В этом месте моста нет, и приходится переезжать через Дунай на маленьких, довольно неудобных паромовиках. В Рушук попадаешь на болгарский скорый поезд и в Софию приезжаешь в тот же день вечером. Остановился я там в нашей миссии, у моего старого начальника и приятеля по Азиатскому департаменту Д. К. Сементовского-Курило. Это был один из наших самых способных дипломатов, к сожалению, рано умерший. Ко времени моего приезда в Софию он около года был посланником в Болгарии, сменив там моего кратковременного начальника в Цетинье А. Н. Щеглова. Последний, несмотря на свое столкновение с Мекком, после чего был временно уволен со службы, получил еще раз назначение посланником в Болгарию, но вскоре был окончательно уволен в отставку после нового инцидента, уже на романтической почве, окончившегося дуэлью.

София уже тогда производила очень хорошее впечатление. Этот небольшой город в центральной его части был застроен новыми постройками германского стиля и прекрасно замощен. Но, за исключением главных улиц, остальная часть города еще напоминала болгарскую деревню или какой-либо из наших юных провинциальных городков. Как по языку, так и по внешнему облику болгары из всех балканских народов больше всего

похожи на русских. К тому же и вся в то время немногочисленная болгарская интеллигенция училась в России и усвоила русские привычки. Русская миссия имела в Софии свой собственный дом. Однако в отличие от бухарестской миссии, помещавшейся в подаренном русскому правительству красивом здании, бывшем дворце сербского князя Милоша, софийское представительство помещалось в скромном угловом доме, напоминавшем дом в каком-либо из поволжских городов.

Сементовский принял меня очень любезно и перезнакомил со всем местным дипломатическим корпусом. Из дипломатов я, впрочем, уже многих встречал раньше. Спортивной особенностью софийского дипломатического корпуса была игра всех дипломатов в хоккей. В этой подвижной игре принимали участие почти поголовно все посланники. На следующий день посланник повез меня в министерство иностранных дел, а затем на благотворительный бал в пользу местного Красного Креста. Этот бал донельзя напоминал мне наше южнорусское провинциальное общество, знакомое со времени пребывания в Киевской гимназии.

В Софии гораздо больше, чем в Бухаресте, чувствовалось и наше политическое влияние. Весь болгарский строй в то время был как бы сколком с русского образца. Это особенно ощущалось там до несчастной для Болгарии второй Балканской войны¹, которая, как известно, отбросила ее во враждебный нам лагерь. В последнем я убедился при моем вторичном посещении Софии в 1915 г.

В 1908 г. болгары ухаживали за нами еще потому, что в Софии готовились к провозглашению Болгарского царства, на что необходима была санкция России. Летом 1907 г., как я уже говорил выше, в Болгарии было торжественно отпраздновано тридцатилетие русско-турецкой войны. В этих торжествах принимало участие много

¹ По мирному договору с Турцией, заключенному после первой Балканской войны, Сербия не получила полного удовлетворения своих территориальных притязаний. Считая себя обиженной, она, заключив союз с Грецией, потребовала, чтобы болгары увеличили ее долю при дележе Македонии. Не дожидаясь нападения со стороны своих бывших союзников, болгарские войска 29 июня 1913 г. напали на Сербию. Началась вторая Балканская война. Против Болгарии, кроме Сербии, выступили Греция и Румыния. Болгария потерпела поражение, и 10 августа 1913 г. в Бухаресте был подписан мирный договор.— *Прим. ред.*

русских гостей, в том числе великий князь Владимир Александрович, который побывал после того у нас, в Бухаресте.

Из Софии в Белград я приехал весьма удобным восточным экспрессом, связывающим Константинополь с Парижем и проходящим через две балканские столицы — Софию и Белград. В поезде познакомился с очень интересной по своей осведомленности собеседницей, француженкой Станчевой, женой гофмаршала князя Фердинанда. Она принадлежала к самому близкому придворному кругу князя и была посвящена во все интриги этого весьма умного и ловкого балканского монарха, с таким трудом удержавшегося на болгарском престоле, несмотря на семилетнюю оппозицию Петербурга. Мне вспоминались бесконечные статьи «Нового времени», всячески критиковавшие Фердинанда и неизменно называвшие его «лжекнязем». Вскоре мне пришлось увидеть этого бывшего «лжекнязя» в Петербурге, которого наш двор принял в качестве болгарского царя.

В Белград я приехал к вечеру и был встречен на вокзале курьером нашей миссии, передавшим мне приглашение на вечер в тот же день к посланнику Сергееву. В противоположность Софии Белград того времени произвел на меня самое мрачное впечатление. Жалкий вокзал, скверные мостовые и отчаянные извозчики. Общий характер города напомнил мне, хотя и в больших размерах, единоплеменное Белграду Цетинье. Белград 1908 г., находившийся под жерлами пушек австрийской крепости Землина, был таким же центром политических интриг; как и Цетинье. К тому же тогда нельзя было отрешиться от воспоминаний, связанных с недавно произведенным в пользу Карагеоргиевичей дворцовым переворотом, в котором был убит последний из Обреновичей, король Александр, вместе с его женой, королевой Драгой¹.

Бал у русского посланника не рассеял у меня этого впечатления. Глядя на присутствовавших в большом количестве сербских офицеров, я невольно спрашивал себя, кто именно из них принимал участие в экзекуции над

¹ Дворцовый переворот в Белграде, в результате которого были убиты король Александр Обренович и его жена Драга, произошел в 1903 г. Вместо Обреновичей на сербский престол была возведена династия Карагеоргиевичей в лице Петра Карагеоргиевича. Перемена династии знаменовала собой смену австрийской ориентации Сербии на русскую.— *Прим. ред.*

своим бывшим королем. На балу присутствовал, конечно, весь дипломатический корпус, а также принц Павел, сын брата короля Петра, Арсения Карагеоргиевича, находившегося на русской службе, и принцесса Елена Петровна, дочь короля. Она вскоре затем вышла замуж за одного из сыновей великого князя Константина Константиновича. Меня поразила какая-то взаимная подозрительность и отчужденность среди дипломатов, в особенности между австрийцами и русскими. Австрийским посланником в то время был еще очень молодой граф Форгач. Про его интриги мои русские коллеги рассказывали невероятные вещи. Эта дипломатическая напряженность производила впечатление чего-то весьма нездорового. Не могу также не упомянуть, как о курьезе, о неодобрительном удивлении моих белградских коллег по поводу пересланной на мое имя из Бухареста в белградскую миссию немецкой книги, подаренной мне румынским королем. По-видимому, это не вязалось с профессиональным германофобством секретарей нашей белградской миссии. Среди иностранных дипломатов я встретил германского посланника князя Ратибора, знакомого мне по Афинам (с ним я затем снова встретился в Мадриде), а также французского секретаря графа Дашэ, секундантом которого я был когда-то в Пекине.

Я намеревался пробыть в Белграде три дня, но эта балканская столица мне настолько не понравилась, что я решил покинуть ее на следующий же день, сказав себе, что для меня из сербских столиц вполне достаточно Цетинье и что оставаться дольше в Белграде не для службы, а для личного интереса нет оснований.

В Вене я побывал у нашего посла графа Петра Капниста и от него узнал подробности несколько мелодраматического появления в посольстве весной 1905 г. князя Николая Черногорского с требованием об отозвании меня из Цетинье.

Я покидал Балканы с особенно неприятным чувством. Мне отнюдь не хочется выставлять себя пророком, но с тех пор меня постоянно преследовала мысль, что на Балканах завязывается крайне опасный для России политический узел. Невольно мне вспоминались слова трех моих бывших начальников — барона Розена, Ону и Гирса, относившихся крайне отрицательно к балканской политике Петербурга.

Когда думаешь о достижениях Советского правительства в области внешней политики, нельзя не отметить основного — его решимости положить конец былым империалистическим устремлениям царской России на Балканах.

Царская Россия поочередно покровительствовала всем балканским странам и проводила там своеобразную систему «политических качелей». Иногда царская дипломатия заходила и дальше. Мне помнится строгая телеграмма графа Ламздорфа, которую я должен был сообщить цетиньскому правительству по поводу его намерения заключить договор с белградским. В телеграмме говорилось: «Лишь одна мощная покровительница славян Россия знает, какого рода договоры должны быть заключаемы между славянскими странами». Это уже было прямое вмешательство в дела этих стран, и подобное вмешательство не могло не задевать самолюбия балканских правителей. Плачевные результаты такой политики царской России всем хорошо известны.

Между тем в Петербурге этого не хотели понять. Так, заключенный в августе 1907 г. русско-английский договор, до известной степени урегулировавший наши взаимоотношения с Великобританией в Азии, снова развязывал Петербургу руки на Балканах, и можно было ожидать возобновления наших экспериментов на Ближнем Востоке. С одной стороны, в 1907 г. произошло упомянутое подписание русско-английского договора, а в 1908 г. — свидание Николая II с Эдуардом VII в Ревеле¹. С другой же стороны, началось наше вмешательство вместе с другими державами в македонские дела. Все это происходило на фоне вновь ожившего перед глазами петербургских политиков и в том числе Извольского исконного босфорского миража. Мы снова шли на эту приманку, столь опасную для нас в руках наших врагов, в особенности Англии, начавшей разыгрывать новую для нее роль — друга России. Такова была политическая обстановка и таковы были мои личные настроения, когда я приехал в середине февраля 1908 г. в Петербург.

¹ Свидание Николая II с английским королем Эдуардом VII в Ревеле (ныне Таллин) состоялось в июне 1908 г. Они договорились о совместном вмешательстве Англии и России в дела Македонии, где под влиянием русской революции 1905—1907 гг. происходило сильное революционное движение. — *Прим. ред.*



Как я уже говорил выше, мое решение принять назначение в Петербург было в высшей степени опрометчиво. Я не учел того, что при несогласии с общей линией министерства иностранных дел гораздо удобнее вести дипломатическую работу за границей, чем работать в непосредственной близости к министру. В мое оправдание я могу лишь сказать, что в Бухаресте я не мог себе отдать отчета, насколько Извольский успел уже потерять чувство меры, стремясь вести личную политику и во что бы то ни стало ознаменовать свое пребывание у власти блестящими успехами в международных делах. Если графа Ламздорфа как министра иностранных дел стесняла в его деятельности придворно-канцелярская рутина, то Извольский, мнивший себя великим европейским дипломатом, совершенно игнорировал внутреннее положение России, еще так недавно проигравшей русско-японскую войну. Если в 1906 г. в области внешней политики я застал в Петербурге настроения, клонившиеся к соблюдению возможной осторожности (политика «человека на заборе») по отношению к борьбе двух больших европейских группировок, имевших свои центры в Париже и в Берлине, то в 1908 г. позиция Петербурга была уже совсем иной. В силу искушенной политической игры Эдуарда VII влияние Парижа и Лондона окончательно сменило былую роль Берлина в столице на Неве, а потому мои взгляды и убеждения, подкрепленные балканским опытом, не подходили больше Извольскому

и его окружению. Мне после приезда пришлось в этом убедиться, и притом весьма неприятным образом.

В мои новые обязанности как управляющего бюро печати, помимо редакторской работы по ежедневному выпуску «Обзора печати», входил прием главным образом иностранных корреспондентов. С ними, конечно, приходилось соблюдать весьма большую осторожность, чтобы не разойтись в чем-либо с министром, но я попался на одном из первых же посещений не иностранного, а своего, русского журналиста А. А. Пиленко. Я его знал уже несколько лет. Между прочим, в свое время он всячески защищал меня на столбцах «Нового времени» в связи с моим цетиньским инцидентом. Принял я его как своего хорошего знакомого, с которым можно было говорить откровенно. Я был уверен, что он зашел ко мне отнюдь не для того, чтобы получить интервью, а тем более не с целью поместить это интервью в печати без моего ведома. Но оказалось, что дело обстояло именно так. Пиленко успел сделаться одним из самых ярких застрельщиков германофобской политики, и в этом его поддерживал бывший управляющий второй экспедицией А. А. Гирс. По-видимому, он с неудовольствием уступил мне свое место в министерстве и постоянно в силу своих близких отношений с Извольским продолжал вмешиваться в дела бюро печати. В разговоре с Пиленко я не скрыл от него своего глубокого убеждения в опасности принятого нами курса, в особенности подчеркнул ему всю нежелательность наших выступлений в Македонии, которые совершенно не согласуются с общими настроениями в России, крайне утомленной японской войной и к тому же переживавшей в то время, после первой революции, глубокий внутренний кризис.

Результаты посещения Пиленко не замедлили сказаться. Через два дня ко мне в неурочное время явился курьер Извольского с предложением явиться к министру. Между мной и Извольским разыгралась весьма тяжелая сцена. Он держал в руках гранки «интервью» Пиленко со мной, которые, по словам министра, Гирс успел в последний момент перехватить в редакции. Оказывалось, что я шел в изложении своих взглядов «совершенно вразрез с политикой министра» и что я «компрометирую эту политику». Крайне пораженный предательством Пиленко и Гирса, я воспользовался докладом вошедшего курьера

о прибытии английского посла, чтобы подняться и откланяться. Я вышел из кабинета Извольского с намерением уйти на заграничную службу, а во-вторых, серьезно объяснить с нововременцами и, в частности, с Пиленко по поводу выпада последнего.

В тот же вечер я заехал в редакцию «Нового времени». Прежде всего зашел к старику Суворину, которого пытался заинтересовать общим международным положением, указывая на то, что его газета в области внешней политики стоит на опасном пути, что она не столько ведет травлю против министерства, сколько изо дня в день науськивает общественное мнение против Германии. Это неизбежно должно привести к войне. По моему мнению, это едва ли входит в намерения маститого издателя «Нового времени», каковы бы ни были его отношения к министерству иностранных дел. Затем я его посвятил в мой инцидент с Пиленко, указав на совершенно недопустимый прием, примененный им в отношении ко мне,— прием, близкий к доносу. Думаю, добавил я, что представленные за моей спиной министру гранки не предназначались для помещения в газету, а служили лишь видам самого Пиленко. Суворин мне ответил, что он не вмешивается в дела иностранного отдела своей газеты, что этот отдел лежит на ответственности двух сотрудников газеты — Егорова и Пиленко — и что я должен переговорить по этому поводу с ними, «там внизу, в нижнем этаже», добавил он, показывая на пол своего громадного кабинета. Затем Суворин заговорил со мной вообще об иностранной политике. Я был поражен тем, что он не придавал значения моим опасениям о возникновении европейского конфликта. Наоборот, он долго и с большим подъемом говорил о надвигающейся «желтой» опасности, придавая ей актуальное значение. По-видимому, в этом отношении он находился под влиянием одного из видных сотрудников газеты — Меньшикова, который поместил о Китае ряд блестяще написанных, но несерьезных статей. Во всяком случае я убедился, что преднамеренно или нет Суворин отгородился от иностранной политики, проводимой в его газете, и не хотел вмешиваться в конфликты иностранного отдела с министерством иностранных дел, а также, в частности, в мой инцидент с Пиленко.

Я спустился в нижний этаж, где нашел Егорова и Пиленко. Последний вышел ко мне весьма сконфужен-

ным, говоря, что у него болят зубы. Во время всего нашего разговора он держался рукой за щеку. Сознывая характер своего поступка, он, по-видимому, ожидал, что я применю к нему методы личного воздействия. Об этом я, однако, не думал. Мой личный, весьма, конечно, для меня неприятный, инцидент отступал на задний план перед мыслью о том, что петербургское общественное мнение, находившееся в то время под сильным влиянием «Нового времени», настраивается группой лиц в весьма опасном направлении и что на моей обязанности лежит сделать все возможное, чтобы переубедить тех, которые вершат это нехорошее дело. К сожалению, я видел перед собой или людей, далеко не доросших до роли руководителей общественного мнения, или же совершенно беспринципных журналистов, ведущих свою кампанию из-за каких-то личных расчетов. Мне потом неоднократно приходилось говорить со многими из тех, которые так или иначе соприкасались с внешней политикой царского правительства в 1908 и 1909 гг., но обычно я натывался на полное нежелание понять серьезность положения. Как это ни странно, в области внешней политики большее понимание проявляли черносотенные элементы и их органы печати вроде «Земщины», «Колокола» или «Гражданина», но, во-первых, я им не сочувствовал и поэтому не мог поддерживать с ними близкие отношения, а во-вторых, этих газет почти никто не читал. Во всяком случае помещаемые в них статьи не переводились изо дня в день в иностранных представительствах, как это было с передовыми статьями «Нового времени». В посольствах полагали, что эти статьи — официальное выражение взглядов петербургского правительства. В международной обстановке отдавали себе отчет как крайние правые, так и крайние левые круги, но у последних в то время не было легальных органов печати.

Таким образом, я убедился, что мне с «Новым временем» не сговориться, а к тому же я прекрасно сознавал, что возле меня неизменно действует ставший моим врагом после приезда в Петербург А. А. Гирс, имевший влияние на Извольского. Нас с Гирсом резко разделяли не столько какие-либо личные счеты, сколько противоположность в политических взглядах и в оценке внешней обстановки. Мне уже как-то приходилось упоминать

об образовавшемся после созыва I Государственной думы Клубе политических и общественных деятелей. В нем и вокруг него образовалась группа лиц, в которую, между прочим, входил и Гирс. Члены этой группы по их партийной окраске были по преимуществу кадетами, октябристами и мирнообновленцами¹. В области же внешней политики они были так называемыми «неославистами». Ориентировались они главным образом на поляков и сербов. В частности, со времени открытия Думы в Петербурге и Москве довольно видную роль стали играть поляки, давшие в Думу ряд весьма способных представителей польского кола². Среди них были Дмовский, Добецкий, Скирмунт (будущий польский министр иностранных дел), князь Святополк-Четвертинский, члены Государственного совета³ граф Велепольский и Шебеко и некоторые другие. Подобная ориентация не могла не казаться мне чрезвычайно опасной, так как я знал и Польшу и Балканы. Что касается последних, то для меня было ясно, что из двух враждующих между собой славянских племен к нам были

¹ *Кадеты* — сокращенное название членов «конституционно-демократической» партии, образованной в октябре 1905 г.; Кадеты — главная буржуазная партия в царской России. *Октябристы* — члены «Союза 17 октября», контрреволюционной партии крупной торгово-промышленной буржуазии и крупных помещиков. Партия возникла после опубликования манифеста от 17 октября 1905 г. *Мирнообновленцы* — члены партии мирного обновления, организованной в 1906 г. Будучи составлена из элементов, отколовшихся от кадетов и партии октябристов, партия мирного обновления по существу ничем не отличалась от двух главных партий контрреволюционной буржуазии, она расходилась с ними лишь по второстепенным вопросам, занимая в ряде случаев только внешне более «левую» позицию. — *Прим. ред.*

² Польское коло — объединение польских депутатов в Государственной думе, в своем большинстве являвшихся представителями буржуазной партии Польши «Народовая демократия». Польское коло находилось в сдержанной оппозиции к царскому правительству и избегало резких политических выступлений против него. — *Прим. ред.*

³ Государственный совет возник в России в 1810 г. как совещательный орган при царе для обсуждения законодательных вопросов. Члены Государственного совета назначались царем. В феврале 1906 г. под влиянием революционных событий Государственный совет был преобразован. К участию в нем, помимо членов, назначаемых царем, решено было привлечь также выборных членов от духовенства, дворянства, купечества и крупной буржуазии. Однако большинство членов Государственного совета и после этого состояло из представителей феодально-помещичьей знати. — *Прим. ред.*

гораздо ближе болгары, а не сербы и что польско-сербская ориентация неизбежно должна привести нас к кризису.

Как бы то ни было, я не считал нужным даже после столкновения с Извольским добровольно покидать свой пост управляющего бюро печати. Я был уверен, что Извольский не решится меня сместить, а в Петербурге все же можно было перед новым отъездом за границу разобраться в господствовавших у нас настроениях. Во всяком случае мое положение в министерстве стало весьма затруднительным, и мне пришлось проявлять большую осторожность и уклончивость в отношениях с коллегами. Довольно сильную поддержку я нашел в лице моего старого знакомого товарища министра иностранных дел Н. В. Чарыкова. Как государственный деятель он, впрочем, стоял не очень высоко, но был вполне порядочным и разумным человеком. К тому же положение самого Извольского не было в то время прочно, а вскоре после его неудачных переговоров в Бухлау¹ стало еще более шатким. В Бухлау его обошли не столько австрийцы, сколько англичане, на которых он при своем самомнении наивно возлагал надежды, что они дадут ему возможность осуществить давно взлелеянный в Петербурге план захвата проливов.

Известно, как плачевно для нас кончилась сделка Извольского в Бухлау, после которой австрийцы окончательно присоединили Боснию и Герцеговину, а мы остались у разбитого корыта на берегах Босфора.

Всем известно, что после присоединения к Австро-Венгрии Боснии и Герцеговины нам не пришлось даже открыто протестовать против этого, уступив перед ультиматумом Германии. Вместе с тем вынужденная нашей военной неподготовленностью пассивность, сменившая агрессивный тон петербургской печати, весьма сильно поколебала наш престиж на Балканах. Это в

¹ Имеется в виду состоявшееся осенью 1908 г. в Бухлау свидание Извольского с австро-венгерским министром иностранных дел Эренталем. Извольский дал согласие на аннексию Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины, что вскоре и было приведено в исполнение. Эренталь в свою очередь обещал не возражать против предоставления России права свободного прохода военных судов через проливы. Однако это обещание ничего России не дало вследствие возражений Англии и сопротивления Турции. В результате пользы от сговора в Бухлау извлекла только Австро-Венгрия.— *Прим. ред.*

свою очередь способствовало возникновению первой Балканской войны. Она разразилась главным образом благодаря выступлению моего старого «приятеля» короля Николая Черногорского, имевшего за собой воинствующих дочерей — великих княгинь, а в силу этого и великого князя Николая Николаевича, мужа Анастасии Николаевны. Петербург в это время вел обычную для слабых правительств двойственную политику: с одной стороны, подталкивая балканские страны выступать против Турции, а с другой — давая им открыто советы соблюдать осторожность.

У меня осталась в памяти немая сцена в апреле 1909 г. Я ожидал в приемной министра для очередного доклада, когда вошедший курьер сообщил, что министр прекратил доклады, так как у него находится германский посол граф Пурталес. Через минуту вышел Извольский и лично задернул зеленую занавеску, висевшую над дверью его кабинета. Она никогда не задерживалась. Этот почти бессознательный жест министра доказывал важность предстоящего разговора. Разговор окончился предъявлением послом вышеупомянутого ультимативного требования не возражать против присоединения к Австро-Венгрии Боснии и Герцеговины и нашим отступлением по всей дипломатической линии.

В тот же день вечером мне пришлось слышать в одном обществе, что Извольский уже уволен в отставку. Это было неверно, но в Петербурге после понесенного им жестокого политического поражения в этом были уверены. Непостоянство Петербурга, чтобы не сказать более, проявилось немедленно и в том, что от Извольских, как от зачумленных, сразу отшатнулось так называемое петербургское общество. На одном из ближайших дневных приемов у жены нашего министра я застал почти пустую гостиную: в ней сидели лишь два скромных секретаря каких-то южноамериканских миссий.

Вопреки всему Извольский продолжал оставаться во главе министерства, причем занял позицию личной обиды в отношении австро-венгерского посла графа Берхтольда (будущего министра иностранных дел). Министерство наше стало сноситься с австро-венгерским посольством вербальными нотами, и Извольский старался уличить Берхтольда в его «неблагородном поступке». Все это происходило еще за пять лет до начала

мировой войны, но все предпосылки для нее были уже налицо.

Жизнь Петербурга шла между тем обычным чередом; лишь постоянные роспуски Государственной думы являли признаки глубокого кризиса. С другой стороны, выступления Извольского в Думе по вопросу иностранной политики доказывали отсутствие у нас объединенной общей программы. Как известно, иностранные и военные дела оставались прерогативой короны. Это давало возможность Извольскому вести свою самостоятельную, не согласованную со Столыпиным линию и делало наше международное положение еще напряженнее. Рознь между Столыпиным и Извольским сказывалась и в отношениях между нашим вновь зародившимся отделом печати и Главным управлением по делам печати, во главе которого стоял А. А. Белгард. Последнее, занимаясь лишь внутренней политикой, не без злорадства отдавало иностранное ведомство на съедение печати.

По долголетней привычке я продолжал и в бытность в Петербурге часто бывать среди иностранных дипломатов, причем убедился, насколько они стояли в общем далеко от петербургских политических кругов. Они старались ограничиться приемами друг у друга. Мне случалось, например, бывать раз или два на «дипломатических приемах» в мае. На них, кроме меня, из русских была лишь одна дама, что мы вместе вскоре со смехом и отметили. Зимой было иначе. Наше министерство и все посольства обыкновенно давали по несколько больших приемов; особенной торжественностью отличались первые приемы вновь аккредитованных послов, на которые все общество являлось в мундирах для представления послу через специально командированных церемониймейстеров. За время моего пребывания в Петербурге я был два раза на таких приемах: по случаю приезда итальянского посла маркиза Карлотти и французского посла адмирала Тушара. Из больших придворных приемов у меня осталось в памяти «бракосочетание» великой княгини Марии Павловны со шведским принцем. Оно было обставлено необыкновенно торжественно, с выполнением традиционного церемониала и происходило в Царскосельском дворце. Кроме шведской королевской четы, присутствовали королева Ольга Константиновна, наследный принц и принцесса румынские и многие дру-

гие иностранные принцы и принцессы. Впрочем, брак оказался неудачным и вскоре окончился разводом. Не могу не отметить небольшой исторической подробности церемониала. Во время куртага (торжественного полонеза, под звуки которого двор проходил перед собравшимися гостями) в конце зала сиротливо стоял карточный столик с нераспечатанными колодами карт и незажженными серебряными шандалами: это была память о Екатерине II, игравшей обыкновенно во время куртага в карты.

Из дипломатических приемов мне помнится обед у турецкого посла, долголетнего декана петербургского дипломатического корпуса, в честь Столыпина, но без Извольского. Это было незадолго до падения в Турции старого режима¹. Посол Хусни-паша один из всего состава посольства был в феске и «стамбулине» (длинно-полом сюртуке особого покроя). Все его секретари были во фраках. Через несколько дней советник посольства Фахреддин-бей (будущий уполномоченный по ведению в Лозанне мирных переговоров с Италией), гуляя со мной по набережной и разговаривая о царствовавшем еще султанине Абдул-Гамиде, называл его «se ciuel viellard» (этот жестокий старик).

За время моего пребывания в Петербурге состоялся приезд Фердинанда болгарского в качестве «царя болгар»². Он приехал несколько неожиданно на похороны Владимира Александровича. Его новый титул был только что признан Австро-Венгрией, но у нас долго не решались его признать. Даже генерал-адъютант, отправленный на границу встречать Фердинанда, говорил мне, что, уезжая в командировку, он не был снабжен указаниями, как его титуловать. Инструкции были даны на границу позднее по телеграфу.

Моя служба в министерстве сводилась, как я уже говорил выше, к ежедневному выпуску обзора русской и иностранной печати, причем мне удалось при поддержке министра привлечь много временных работников. Это достигалось тем, что многие из наших загра-

¹ Имеется в виду младотурецкая революция 1908 г.— *Прим. ред.*

² Болгарский князь Фердинанд, используя национально-освободительное движение внутри Турецкой империи, провозгласил 5 октября 1908 г. полную независимость Болгарии и принял титул царя болгар.— *Прим. ред.*

ничных служащих, находившихся в отпуску, стремились по той или другой причине оставаться на более продолжительное время в Петербурге. В таком случае их прикомандировывали к отделу печати. Таким образом я довел штат отдела до двенадцати человек вместо полагавшихся двух делопроизводителей и двух-трех причисленных. Применительно к этому переходному заграничному составу была распределена и обработка газет. Обыкновенно обзор прессы той или другой страны поручался заграничному чиновнику, имевшему там свое местопребывание и знакомому с местными условиями политической и экономической жизни. Этим достигалось то, что наши обзоры постепенно становились более полными и интересными. Обработка русской печати тоже имела свое значение, в особенности потому, что в это время как петербургская, так и московская печать изошрялись в своих нападках на министерство, а Извольский ставил себе задачу не скрывать этой критики от Николая II, который мог бы случайно узнать о той или другой статье из другого источника. Мне помнится, как иногда впопыхах приходилось делать специальные выдержки или посылать вырезки из русских газет перед отъездом министра с докладом к царю.

Ровно в четыре часа ежедневный обзор печати вместе с распределенными по заранее установленной системе наклейками газетных статей, с подчеркнутыми наиболее значительными местами передавался мной Извольскому, который, надо ему отдать справедливость, изучал их весьма основательно. Иногда нужные сведения таким образом доходили до министра раньше, чем ему успевали о них доложить начальники политических отделов. В таком случае они обращались ко мне как бы с упреком, что я не поставил их о том или другом факте в известность ранее, чем узнавал о нем министр. Но исполнить их желание было для меня невозможно, так как газеты мы получали лишь в одном экземпляре, вырезки из которого шли к министру. Для точного установления направления каждой из иностранных газет я завел картотеку, в которую заносились сведения из доставляемых нам посольствами и миссиями характеристик наиболее важных иностранных органов печати. Помимо того, мне удалось добиться получения копий большинства политических донесений из отделов министерства. Этим

очень облегчалась обработка газетного материала. За время моего пребывания в Петербурге мне пришлось принять участие и в междуведомственной комиссии по преобразованию нашего министерства. Между прочим, согласно поданному мной проекту были установлены новые кадры бюро печати, преобразованного из второй экспедиции при канцелярии. Параллельно бюро печати был образован и юридический отдел—оба эти отдела были подчинены непосредственно министру, приобретая тем самым большое значение. Что касается бывшей второй экспедиции, то ее прежнее подчинение канцелярии, проявлявшей большую рутину, лишало ее всякой самостоятельности. Новые штаты, впрочем, были окончательно утверждены лишь после моего отъезда за границу.

Мне удалось, несмотря на продолжавшие оставаться натянутыми отношения с «Новым временем», наладить с представителями остальных русских и иностранных органов печати весьма хорошие отношения. Между прочим, иностранные корреспонденты обыкновенно приглашали меня на свои ежемесячные обеды во Французской гостинице, где я со многими из них не только познакомился, но даже сдружился.

Летом 1909 г. в министерстве произошли значительные перемены. Во время отпуска Извольского товарищ министра Н. В. Чарыков был назначен послом в Константинополь вместо А. И. Зиновьева, ставшего членом Государственного совета. Извольский был недоволен этим назначением, и мне помнится его довольно кислое замечание Чарыкову при встрече на вокзале. Он ему сказал: «Поздравляю вас, вы назначили себя послом», намекая на то, что это назначение было решено во время отпуска Извольского при очередном докладе управляющего министерством Чарыкова Николаю II¹. Вместо Чарыкова товарищем министра был назначен будущий министр иностранных дел С. Д. Сазонов, министр-резидент при Ватикане. В Петербурге это назначение объяснялось главным образом тем, что Столыпин, не имея возможности влиять на иностранные дела благодаря особенностям основных законов, про-

¹ Назначение Чарыкова отозвалось на судьбе моего бывшего начальника Ю. Н. Щербачева. Он считал себя после почти восьмилетнего пребывания в Афинах первым кандидатом в Константинополь. Раздасадованный на министерство, Щербачев подал в отставку.— *Прим. авт.*

водил в министры своего зятя Сазонова. Столыпин и Сазонов были женаты на сестрах. Со времени назначения Сазонова начало чувствоваться в министерстве приближение ухода Извольского. Он часто уезжал в отпуска. Сазонову приходилось подолгу управлять министерством. Что касается бюро печати, то Сазонов проявлял к нему меньший интерес, чем его предшественник, и мне приходилось бывать у него с докладами гораздо реже. Несмотря на эти перемены, раз взятый курс в сторону Англии уже более не изменялся. Петербургская печать во главе с «Новым временем» продолжала с тем же усердием нападать при всяком удобном и неудобном случае на Германию, но в то же время не прекращалась и газетная травля Извольского. Получилась явная несообразность: с одной стороны, печать как бы подчеркивала солидарность общественного мнения с антигерманской политикой министра иностранных дел, а с другой — всячески критиковала его в методах проведения этой политики. Результатом этого ненормального положения и выходом из своего рода министерского кризиса в области внешней политики (этот кризис, впрочем, не охватил всего кабинета ввиду особого по основным законам положения иностранного ведомства) явилось состоявшееся уже после моего отъезда за границу назначение Извольского в Париж. В соответствии с желанием Столыпина иметь в министерстве иностранных дел близкого себе человека министром был назначен Сазонов.

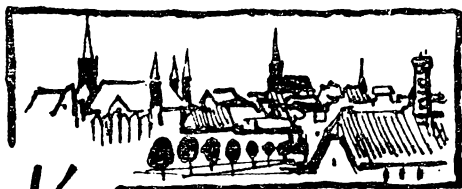
Подобное разрешение вопроса оказалось после смерти Столыпина большой ошибкой. Вскоре все нити русской внешней политики попали снова в руки Извольского. При этом в Париже он имел возможность легче, чем в Петербурге, вести личную политику, направленную на этот раз непосредственно к войне. В ней он легкомысленно видел единственный путь к осуществлению поставленной перед собой задачи — унижить австрийцев и отомстить им за неудачу в Бухлау, а к тому же открыты пути к Босфору.

В подобной политической обстановке и ввиду невозможности работать в качестве управляющего бюро печати министерства иностранных дел, не отступая от своих убеждений, я решился настаивать на моем новом назначении за границу. Оно состоялось осенью 1909 г. Я хотел получить место в Западной Европе, по возмож-

ности в Германии, желая наместе убедиться в правильности моего мнения о германских настроениях в отношении России. В Петербурге они представлялись в совершенно извращенном виде.

Министерство не сразу пошло мне навстречу. По очереди были предложены места первого секретаря миссии в Пекине и посольства в Токио, но ни то, ни другое назначение не входило в мои планы. Они совершенно отдаляли меня от Польши, а с ней меня связывали предпринятые мной хозяйственные меры в майорате. Наконец, в Германии открылась приемлемая для меня вакансия, а именно должность первого секретаря миссии в Штутгарте. При царском режиме, помимо посольства в Берлине, у нас существовали дипломатические представительства при многих дворах германских союзных государств: в Мюнхене, Штутгарте, Дрездене, Карлсруэ, Дармштадте и Веймаре. Равным образом в Гамбурге пребывал русский министр-резидент, аккредитованный при сенатах трех вольных ганзейских городов — Гамбурга, Бремена и Любека¹. На эти дипломатические представительства было возложено в местах их пребывания выполнение и консульских функций. Назначение мое в Штутгарт давало мне полную возможность частых наездов в Вышков, где и осталась моя семья, пробывшая со мной в Штутгарте лишь первую зиму. Во всяком случае я смотрел на свое новое назначение как на переходное в ожидании — увы, тщетном, как оказалось потом — перемены направления нашей общей внешней политики. В этом отношении Штутгарт был для меня очень удобен, так как это был пост исключительно наблюдательный. Принимая назначение в Штутгарт, я отстранял себя на время от участия в нашей иностранной политике, но не покидал дипломатической службы.

¹ Ганза (на старонемецком языке означает «союз») — в средние века объединение германских купцов в целях защиты и борьбы за внешние рынки. В частности, Ганзой назывался заключенный в 1241 г. союз городов Любека и Гамбурга, к которым в дальнейшем присоединились Бремен и еще 90 городов. Этот ганзейский союз существовал вплоть до XVII в. После распада Ганзы это название перешло к союзу трех «вольных ганзейских городов» — Гамбургу, Бремену и Любеку. Некоторые prerogative сохранились за этими городами даже после вступления их в 1871 г. в состав единой Германской империи. — *Прим. ред.*



Как бы то ни было, в ноябре 1909 г. я выехал к месту своего нового назначения, где, не желая «пускать корней», остановился в отеле «Маркварт», лучшей гостинице этой небольшой южногерманской столицы. Он примыкал непосредственно к вокзалу, что очень облегчало частые отлучки из города. Этой возможностью я твердо был намерен широко воспользоваться.

В качестве посланника в Штутгарте я застал К. М. Нарышкина, перед тем долголетнего советника посольства в Париже. Нарышкин за время своего более чем двадцатилетнего пребывания в Париже, где он прошел всю свою карьеру, сделался если не настоящим французом, то во всяком случае парижанином и смотрел на все остальные посты в Европе и, несомненно, на Штутгарт, как на своего рода печальное недоразумение. Этого он, к сожалению, не считал нужным скрывать от местных правительственных и общественных кругов, что, конечно, их очень коробило. В результате получалось необыкновенное положение. Русский посланник как бы существовал для того, чтобы оскорблять национальное самолюбие немцев¹. Вскоре после моего приезда

¹ Я помню, как Нарышкин представлял меня вюртембергскому первому министру и министру иностранных дел умному и тонкому старику фон Вейдзекеру. Войдя в кабинет министра и говоря с ним по-французски с парижским акцентом, он заметил: «Однако и жарко же у вас, г-н министр. Неужели вы занимаетесь здесь разведением

Нарышкин уехал в продолжительный отпуск, и я остался поверенным в делах. Вообще новое назначение представляло для меня то удобство, что я оставался в Штутгарте лишь во время отсутствия посланника, а остальное время проводил у себя в Вышкове, куда мог попадать за одни сутки.

В политическом отношении Штутгарт, как, впрочем, и все другие «провинциальные» германские столицы, в чем я потом убедился, не представлял интереса, но мое новое местопребывание давало большие возможности для изучения Германии с точки зрения ее необычайного экономического роста в начале XX столетия. Вюртемберг, королевство с населением менее чем 2 миллиона человек, высоко стоял по развитию промышленности. В то время как власть вюртембергского короля после образования Германской империи была почти сведена на нет, значение его страны в экономическом и социальном отношениях для Германии было весьма велико. К тому же Вюртемберг по развитию своего рабочего законодательства был в то время наиболее передовой частью Германии. Весь аппарат королевской власти являлся как бы простым придатком в стране, строй которой приближался к республиканскому. Недаром в Штутгарте любили повторять слова, сказанные как-то Вильгельмом II вюртембергскому королю Вильгельму II: «Как поживает твоя республика?» Эти республиканские начала в Вюртемберге сказывались во всем: в неизмеримо более широком, чем в Пруссии, избирательном праве, в развитии рабочего законодательства, в либеральном законе о печати и т. д. В то же время сепаратизм Южной Германии в отношении Берлина сказывался в Штутгарте с особой силой. Его жители всячески это подчеркивали, умышленно говоря между собой на малопонятном даже для других немцев швабском наречии. В разговоре же о своем быте и обычаях швабы часто в присутствии пруссаков говаривали: «Этого не понимают иностранцы и северные германцы»¹. Особо либе-

кофе?» А затем, не дожидаясь ответа министра, подошел к окну и открыл его. Пользуясь этим моментом, Вейдзекер успел мне шепнуть: «Как видите, у нас здесь не стесняются». — *Прим. авт.*

¹ Это немало возмущало моего прусского коллегу, секретаря прусской миссии, накрахмаленного лейтенанта графа фон Эйленбурга. — *Прим. авт.*

ральными законами о печати в Вюртемберге объясняется и то, что все оппозиционные органы печати в Германии выходили по преимуществу в Штутгарте. Так, например, хотя редакция сатирического журнала «Симплициссимус», самым злым образом осмеивавшего самодержавные замашки Вильгельма II, и находилась в Мюнхене, но журнал печатался в Штутгарте. Равным образом этим объясняется и пребывание там редакции русского зарубежного журнала «Освобождение»¹. Впрочем, ко времени моего приезда в Штутгарт выход в свет этого издания уже прекратился.

Король вюртембергский Вильгельм II вел жизнь частного человека. Он имел все навыки богатого, но либерального буржуа, всячески старавшегося не обидеть своих «подданных» и не задеть их демократических наклонностей. Он часто появлялся на улицах в штатском, занимался коммерческими операциями, открывал гостиницы и рестораны и лишь по необходимости выполнял тот ритуал королевского обихода, который на него был возложен его званием. Мне помнится не лишенный известного своеобразия разговор короля в моем присутствии с прусским посланником. Это было на придворном балу в день открытия местного ландтага. Вюртембергские социалисты — новые члены ландтага — отказались присягать королю и поэтому были приведены к присяге старейшим членом ландтага. Эта церемония включала рукопожатие короля, торжественно открывавшего ландтаг. Король с добродушной улыбкой заметил фон Бюлову (прусскому посланнику): «Я знаю, они не хотят пожимать моей руки, но это не мешает им быть такими же мелкими буржуа (шпицбюргер), как и другие». Эти слова короля звучали как оправдание своих вюртембержцев перед Берлином в возможном обвинении их в избытке социализма. Вообще чувства вюртембержцев по отношению к Берлину проявлялись довольно часто. Например, когда в Берлине началась кампания за изменение избирательных законов, то в Штутгарте перед прусской миссией состоялась много-

¹ «Освобождение» — двухнедельный журнал; орган русской либеральной буржуазии; он подготовил создание партии кадетов. Издавался под редакцией Струве в Штутгарте (1902—1904 гг.), а затем в Париже (по октябрь 1905 г.). — *Прим. ред.*

численная манифестация. Манифестантов удалось рас-
сеять лишь после довольно оригинального заявления
полицейского офицера, командовавшего отрядом, кото-
рый охранял миссию. Он спросил манифестантов: «По-
чему вы так волнуетесь? Если в Берлине нехорошо,
зато у нас в Штутгарте все обстоит благополучно».
Аргумент подействовал, и толпа разошлась.

Во время объявления войны, как я узнал впослед-
ствии, в Штутгарте состоялась антимилитаристская де-
монстрация, хотя и тщательно затушеванная герман-
скими военными властями. Эта демонстрация произошла
перед отелем «Маркварт», где веселились чины военного
командования. Что касается либерализма Вюртемберга
того времени по сравнению с Пруссией, то я не могу не
вспомнить выступления в здании местного цирка Розы
Люксембург, на которое я отправился вместе со своим
австро-венгерским коллегой. Это выступление прошло
спокойно и не встретило никакого противодействия со
стороны местной полицейской власти. Представители ее
в большом количестве присутствовали на митинге, но
отнюдь не препятствовали его мирному течению, не-
смотря на резкие слова Розы Люксембург по адресу
германского императора. Состоявшееся накануне вы-
ступление лидера прусского юнкерства Гейдебрандта
привлекло очень мало слушателей.

В отношении политических настроений в Вюртем-
берге весьма характерным является ответ, данный Вейд-
зекером русскому товарищу министра народного просве-
щения Шевякову, которого я представил первому
министру в связи с размещением русских студентов,
оставленных при университетах, в германские универси-
теты для подготовки к профессуре. В том числе наме-
чался и Тюбингенский университет (это было вызвано
нашей студенческой забастовкой). Вейдзекер выразил
готовность удовлетворить просьбу русского правитель-
ства, но с тонкой улыбкой добавил: «За благотворное,
однако, влияние нашей университетской атмосферы на
ваших студентов я не ручаюсь. Я сам тюбингенский
студент, а моим товарищем был Вальян, убитый в Па-
риже на баррикадах во время Парижской коммуны».
Командировка наших студентов, однако, состоялась, и
я вскоре по поручению министерства вручил Вейдзекеру
знаки пожалованного ему ордена Белого орла.

Рядом с бытом новой Германии и широкой индустриализацией страны в мое время в Штутгарте доживала век старая, романтическая Германия со всеми ее живописными особенностями. К этой романтической Германии нельзя не причислить старинных королевских замков со штатом престарелых придворных, брезгливо чуждавшихся в противоположность королю торжествующей демократизации Вюртемберга. В Вюртемберге рядом с двором существовало и многочисленное поместное дворянство, обладавшее весьма интересными с исторической точки зрения замками, но часто ведущее там из-за недостатка средств необыкновенно скромный образ жизни. Представителям дворянства случалось самым иронизировать над этими контрастами. Мне памятен рассказ обер-камергера королевы барона фон Расслера. Он обладал весьма живописным и обширным замком, в котором я бывал у него в гостях. Он рассказал, что в вагоне третьего класса местной железной дороги, проходившей мимо его замка, к нему обратилась старушка-крестьянка с вопросом: «Чей это замок, возвышающийся там, на вершине горы?» «Мой»,— отвечал он. Старушка, глядя на камергера, имевшего весьма скромный вид, и возмущенная, по ее мнению, неуместной шуткой, заметила: «Что за бесстыдство!» — и прекратила разговор. В общем обладатели подобных исторических замков, обозначенных в «Бедекере», обратились в их хранителей. Это свойство еще более подчеркивалось в тех случаях, когда за осмотр замка взималась определенная плата. Имея автомобиль, я часто принимал приглашения штутгартских знакомых посетить их поместья, и могу сознаться, что никогда в жизни не видал столь живописных феодальных резиденций. В этих иногда больших и порой весьма скромных замках обыкновенно сохранялись в неприкосновенности все признаки средневекового феодального уклада, вплоть до подвальных тюремных помещений и орудий пыток, относившихся ко временам суверенного права владетелей замков судить местное население. Первое место среди дворянства занимали медиатизированные германские князья. Эта медиатизация (вынужденный отказ от суверенных прав) произошла при Наполеоне I, в 1806 г. Медиатизированные князья, однако, продолжали теоретически пользоваться правом «равного рождения» (Ebenbürtigkeit) с царство-

вавшими в то время в Германии домами. Некоторые из них сохранили право иметь фамильный статут, фамильный орден и ряд других формальных привилегий утраченного суверенитета. Среди медиатизированных князей в Штутгарте было несколько человек, космополитически образованных, говоривших на иностранных языках и вращавшихся в нашем маленьком дипломатическом кружке. Таким был, например, граф Нейперг, внук известного Нейперга, женившегося на второй жене Наполеона I. У современного носителя этой фамилии я видел самую полную коллекцию миниатюр Марии-Луизы. В замке Нейпергов Швайгерн жила почти сто лет перед тем бабушка нынешнего хозяина замка, покинутая мужем, бывшим в то время послом в Париже и сблизившимся там с императрицей. Большой замок Швайгерн был переполнен старинной мебелью, картинами и статуями, но нынешний его хозяин, располагая небольшими доходами, не мог содержать необходимого штата для охраны замка, а потому должен был сам часто обходить комнаты, чтобы убедиться, все ли на месте. Надо было видеть его ужас, когда мы, проходя по одному коридору, наткнулись на пустое место на стене, где висела раньше картина. К счастью, на этот раз картина оказалась завалившейся за резной деревянный ларь, стоявший под ней. Нельзя не отметить, что в Вюртемберге, как и в остальной Германии, обилие феодальных князей, князьков и поместного дворянства поражает, как своеобразный пережиток феодальных времен, не подходящий под общий строй нынешней, промышленной Германии.

В самом Штутгарте бросалось в глаза, как постепенно деловая часть города продвигалась на место обширных парков, окружавших два замка короля, расположенных в центре города. Гофмаршал короля граф Штауфенберг любил рассказывать о том, как «он и король» спекулируют на продаже земельных участков, составлявших собственность королевского дома. Спекулировали на покупке и продаже земельных участков и представители германской аристократии. Незадолго перед войной в Германии даже образовался особый фюрстентрест (княжеский трест). В него вошли князь Фюрстенберг, принц Гогенлоэ, граф Доннерсмарк и несколько других крупных земельных магнатов. Трест

стал обладателем многих лучших гостиниц и ряда других предприятий. В Штутгарте трест имел намерение приобрести два центральных квартала города, снести все находившиеся в них дома и построить громадные новые здания гостиниц, магазинов, доходных домов и т. д. Осуществлению большей части этого широкого плана помешала, однако, мировая война и еще раньше принудительный военный заем. Он особенно тяжело отозвался на земельных собственниках, не располагавших достаточными свободными капиталами. Что касается центральной части Штутгарта, то, конечно, цена на земельные участки достигала там необычайных размеров, так как город расположен в узкой долине и застраивается по склонам окружающих ее холмов, но на их вершине гораздо удобнее, конечно, строить виллы и частные дома, чем помещать банки, конторы, магазины и другие деловые предприятия.

Как бы то ни было, несмотря на присущий ему известный провинциализм, Штутгарт является одним из наиболее интересных южногерманских городов по необыкновенно высокой интенсивности его культуры. Количество музеев и всякого рода достопримечательностей, а также построек, относящихся к германскому средневековью, ставит его в ряд с такими городами-памятниками, как Нюрнберг, Ротенбург и др. Не менее интересны и окрестности Штутгарта. Строго говоря, эти окрестности обнимают и сопредельные Вюртембергу германские страны. Из Штутгарта за два часа можно попасть в Карлсруэ, за четыре — во Франкфурт-на-Майне или в Мюнхен. Я этим широко пользовался и, надо сказать, хорошо ознакомился со всей Южной Германией. Эти поездки для меня облегчились приобретением автомобиля и сдачей соответствующего экзамена на право вождения машины (последнего экзамена в моей жизни) при штутгартской шоферской школе. В общем мне очень посчастливилось, и за все время моей езды в Германии я не раздавил даже собаки. Но точная до мелочности швабская полиция составила на меня все же восемь протоколов за разного рода нарушения полицейских правил. Эти протоколы аккуратно передавались в министерство иностранных дел, и, когда приехал посланник, они были ему вручены целой кипой. В общем же оказалось, что причиненный мной

материальный ущерб исчислялся в три марки «за повреждение вагона трамвая», судя по сумме, почти невидимое. Деньги я отдал посланнику, утешив его, что в отношении остальных «правонарушений» мы с ним экстерриториальны. Помимо поездок по Южной Германии, я за время пребывания в Штутгарте дважды ездил на автомобиле из этого города в Варшаву, причем, конечно, при таком способе передвижения гораздо ближе познакомился с Германией и ее бытом, чем из окна вагона. Обратной стороной путешествия на автомобиле между Варшавой и Штутгартом было невероятно плохое состояние приграничных шоссе в Польше. Тем не менее они были занесены как автомобильные пути на карты германского автомобильного клуба, членом которого я состоял. Как-то раз я обратил на это внимание одного из представителей наших военных властей в Варшаве. Мне был дан доверительно следующий ответ. Оказывается, что подобное состояние шоссе в Калишской губернии входило в план военной обороны на случай войны с Германией.

Кроме этих путешествий, мне пришлось в течение одного дня проехать из Штутгарта в Париж. Эту поездку я сделал на автомобиле одного из моих румынских знакомых — князя Бибеско, который как-то приехал в Штутгарт, где на фабрике Мерседес ремонтировался его автомобиль. Эта поездка дала мне возможность убедиться, насколько культура Южной Германии, именно Вюртемберга и Бадена, стояла выше французской. Даже Эльзас и Лотарингия после названных двух южно-германских стран производили впечатление стран с более низкой культурой. Это сказывалось во всем: и в постройках, и в обработке земли, и в целом ряде порой неуловимых подробностей жизни, к которым привыкаешь как к чему-то неизбежному в Германии, но замечаешь их отсутствие вне ее. Во Франции это понижение культуры еще разительнее. Если дороги ни в чем не уступают германским, то города и деревни поражают по сравнению с германскими своими жалкими постройками, возведенными без какого-либо архитектурного плана, грязью на улицах и нечистоплотностью населения. Мне перед этим и впоследствии много раз приходилось бывать во Франции, но обыкновенно лишь в Париже или на французских курортах. Но именно эта поездка

на автомобиле по Франции дала мне возможность ближе присмотреться к французскому провинциальному строю и прийти к заключению об общей отсталости Франции по сравнению с ее средневропейской соседкой. То же можно сказать и о заботе во Франции о памятниках старины. Например, необыкновенной красоты замок Станислава Лещинского (польского короля, а затем герцога Лотарингского, тестя Людовика XV) содержался французами в таком виде, в каком невозможно встретить памятник подобного значения в Германии. По интенсивности культуры лишь окрестности Лондона, куда я попал непосредственно после Парижа, могут сравниться с культурой Южной Германии. Я не говорю о Париже и Лондоне: они, будучи мировыми центрами, не могут, конечно, являться показателями общего культурного уровня страны.

Служебно-канцелярские обязанности в Штутгарте отнимали у меня, надо признаться, немного времени. Но я об этом не очень сожалел, так как это дало мне возможность ознакомиться в течение почти трех лет пребывания в этой маленькой столице гораздо ближе с германской жизнью, чем я мог это сделать в Берлине, где, как и вообще в больших дипломатических центрах, многочисленные по составу посольства как бы отгорожены от непосредственного контакта с местными кругами, кроме официальных. В Штутгарте, наоборот, дипломатический корпус был настолько мал, состоя лишь из прусской, австро-венгерской, русской и баварской миссий, что дипломаты были вынуждены гораздо ближе сходить с местным обществом, а при демократичности южногерманских условий — и вообще с населением. Помимо придворных кругов, застывших в своем провинциальном обиходе маленького двора, в Штутгарте было и большое общество коммерсантов, космополитичное вследствие своих международных деловых связей. Через год или два моего пребывания в Штутгарте у меня составилась большой круг знакомых из самых разнообразных кругов общества. Владея немецким языком, я свободно вращался среди них. При этом меня стали более или менее считать за своего, было очень интересно прислушиваться к откровенным разговорам немцев, порой на темы внешней политики. В общем, меня поразило неоднократно подчеркиваемое

в вюртембергских коммерческих кругах опасение возможности войны. Многие знакомые откровенно сознавались, что больше всего они боятся воинственных замыслов Берлина, так как вся на первый взгляд цветущая германская промышленность развивается исключительно в кредит и всякого рода военные потрясения могут в корне подорвать ее благосостояние. Об этом я написал два или три донесения в Петербург. К тому же население Южной Германии было в общем настроено анти-милитаристически. Офицеры местного драгунского полка, в котором у меня было много приятелей, говорили, что они предпочитают по всякому поводу одеваться в штатское. Появление их в мундире всегда могло быть сопряжено с какими-нибудь неприятными инцидентами и, в общем, их стесняло. Помнится, я видел как-то одного знакомого офицера, объезжавшего молодую, горячую лошадь. Он был едва не сброшен ею. Присутствовавшая при этом гуляющая толпа не только не выказывала ему никакого сочувствия, но весьма обидно для всадника хохотала. Этот маленький эпизод указывал на настроенные южногерманского населения в отношении военных.

Возвращаясь к дипломатическому корпусу, должен еще раз отметить его крайне немногочисленный состав. В Штутгарте было лишь два иностранных представительства — русское и австро-венгерское, так как прусская и баварская миссии были столь тесно связаны своим положением представителей в стране, входящей в состав Германской империи, что их скорее можно было причислить к представителям администрации, чем к дипломатам. В результате наша миссия, естественно, стояла по своему положению ближе всего к австро-венгерской. И действительно, за время моего трехлетнего пребывания в Штутгарте, где я часто бывал один, без семьи, я почти не расставался с моим австро-венгерским коллегой. За мое время сменилось пять австро-венгерских секретарей, и я со всеми был неизменно в самых приятельских отношениях, встречаясь по нескольку раз в день. Обыкновенно я и завтракал и обедал вместе с ними. Не могу еще раз не остановиться на близких отношениях между дипломатами различных национальностей. Против них можно было бы многое возразить при создавшейся после войны взаимной подозрительности между представителями различных стран. Можно было

бы сказать, что при приятельских отношениях одна из сторон может злоупотребить доверием другой, и из этого могут возникнуть какие-либо нежелательные осложнения, неприятные, конечно, не только для их правительств, но и для самих дипломатов. Могу заверить, что за все время моей службы мне ни разу не пришлось пожалеть о своих дружеских отношениях с иностранцами. Весь обиход дипломатической службы исключал обыкновенно возможность серьезных нескромностей между дипломатами, тем более когда они не добивались делать карьеру путем мелких интриг, что, впрочем, редко приводило к хорошим для такого дипломата результатам. Конечно, бывают исключительные случаи, когда дипломату приходится раскаиваться за невольную или вольную нескромность. В таком положении оказался переведенный из Петербурга в Штутгарт баварский посланник граф Мой¹. Будучи умным и деятельным человеком, он, по-видимому, тяготился неопределенным положением баварского представителя, в общем, не призванного заниматься политикой там, где было германское посольство. Будучи в Петербурге, Мой в связи с англо-германскими трениями в Белграде передал слова, сказанные английским поверенным в делах О'Берном германскому графу Люксбургу. Последний протелеграфировал об этом в Берлин, и Мой попал в очень неудобное положение, повлекшее его перевод из Петербурга в Штутгарт. Это, пожалуй, единственный известный мне случай неприятных последствий частных дипломатических разговоров между коллегами. Впрочем, этот случай объясняется главным образом упомянутым положением баварского представителя в столице, где Германия была представлена своим посольством. В подобном же положении, хотя и не вполне одинаковом, находились и наши «провинциальные» дипломатические представительства в Германии по отношению к нашему посольству в Берлине. Сознавая это, я за время моих многократных управлений миссией в Штутгарте всегда избегал писать донесения на общеполитические темы, касающиеся Германии в целом. Со своей стороны, наше посольство в Берлине, надо отдать ему справедливость,

¹ Он был женат на княгине Радолин, дочери известного германского дипломата, долголетнего посла в Петербурге и Париже. — *Прим. авт.*

никогда не ставило себя в положение наших руководителей в каких бы то ни было служебных вопросах. Мы сносились всегда непосредственно с нашим министерством иностранных дел. Я помню лишь один случай, когда посольство обратилось ко мне с поручением, но оно носило чисто церемониальный характер. В Штутгарте умер мой старый знакомый по Бухаресту, затем германский министр иностранных дел, фон Кидерлен-Вехтер. Он приехал в Штутгарт навестить свою сестру и внезапно умер от разрыва сердца во время игры в карты у графа Моя. Поручение состояло в возложении от имени посольства венка на гроб Кидерлена. Такой же венок я возложил и от себя. На похороны прибыл и долголетний германский государственный канцлер фон Бетман-Гольвег, с которым я тогда же впервые познакомился. Встретился я с ним в прусской миссии. Разговор, впрочем, не имел политического характера: мы говорили об археологии, в которой Гольвег оказался большим знатком. Возвращаясь к моим взаимоотношениям как поверенного в делах в Штутгарте с нашим посольством в Берлине, необходимо отметить, что я, в общем, при проезде через Берлин посещал его весьма редко. Раза два был приглашен завтракать к нашему послу графу Остен-Сакену. При этом он меня поразил своим почти преувеличенным желанием подчеркнуть то, что он не является для меня начальством. Прощаясь со мной, он очень любезно просил его не забывать. Со своими соседними коллегами в Карлсруэ, Дармштадте и Мюнхене я поддерживал довольно частые сношения. Как-то гостил у наших посланников в Мюнхене и Дармштадте, у Булацеля и ван дер Флита, а также бывал в Карлсруэ или, вернее, в соседнем Баден-Бадене, у графа Бреверн де ла Гарди. В Дармштадте я был как-то раз приглашен вместе с ван дер Флитом на придворный бал у великого герцога Гессенского. Бал был дан в прелестном миниатюрном дворце и являл все особенности жизни и быта маленького германского двора прошлого века, что усугублялось освещением исключительно свечами.

Во время пребывания в Дармштадте Николая II с бароном Фредериксом, министром двора, была сделана попытка собрать всех соседних с Дармштадтом дипломатов для представления царю, но из этого ничего не вышло; Николай II не приехал в назначенное время на

церковную службу, на которую мы были собраны. После нее у министра-резидента в Дармштадте фон Кнорринга состоялся завтрак, но без дая. Посланник был очень смущен этим недоразумением, а главным образом невниманием к нему Николая II. После этого он вскоре по собственному желанию ушел в отставку.

Вюртембергский двор в течение зимы давал обыкновенно несколько больших приемов, два бала, дипломатический обед и два или три концерта. Оригинальной особенностью двора были карусели, в которых принимали участие король и королева. Фигурная верховая езда под музыку происходила в придворном манеже. Король и королева предварительно беседовали с участниками верховой езды. Езду возглавляли два шталмейстера в парадной форме. Мы с женой два раза принимали участие в этих каруселях. Остальной двор и дипломаты сидели в ложах. Нарышкин уверял, что все это совершенно в стиле Людовика XIV. Кроме того, довольно многочисленные вюртембергские принцы, носившие титул герцогов, давали также по одному приему. Герцогиня вюртембергская, русская великая княгиня Вера Константиновна, сестра королевы греческой, тоже довольно часто принимала дипломатов, в особенности, конечно, русскую миссию. Вскоре, однако, она умерла, и, таким образом, прекратилась последняя связь русского двора с вюртембергским. С этим событием у меня связано следующее воспоминание. На похороны была выслана депутация русского шефского полка великой княгини. Король пригласил русских офицеров обедать. Сидя рядом с королем, я долго косился на надетый им по этому случаю георгиевский крест. Наконец, я не выдержал и спросил, по какому случаю он его получил. Оказалось, «за взятие Парижа». В 1870—1871 гг. симпатии петербургского двора были на стороне пруссаков, и их начальствующему составу, а в том числе молодому в то время вюртембергскому наследному принцу, были даны русские боевые отличия. В 1911 г. это отличие казалось парадоксом. Связь петербургского двора с прусским была очень сильна при королеве Ольге Николаевне, тоже русской великой княгине, а еще раньше — при ее тетке, королеве Екатерине Павловне. Королевский дворец в Штутгарте вмещал ряд произведений искусства и мебели, доставленных сюда из России.

Это я мог наблюдать и в других германских столицах начиная с Берлина и кончая Веймаром, Карлсруэ, Дармштадтом и т. д. Как я мог убедиться из рассказов местных старожилов, в Вюртемберге, как и в Греции, порой тяготились преобладанием всего русского при местных дворах; между прочим, старые придворные дамы вспоминали о том, как королева Ольга Николаевна требовала от всех представлявшихся ей знания французского языка.

При всякого рода крупных событиях при местном дворе в Штутгарт обыкновенно съезжалось очень много принцев соседних владетельных домов, и мне пришлось пройти целый ряд представлений, впрочем, с чувством того, что это вполне излишне.

Как я говорил выше, мои служебные обязанности были весьма нетрудны, за редкими исключениями. Наша миссия исправляла для Вюртемберга консульские обязанности. В этом отношении, несмотря на то что при миссии состоял опытный по консульским делам чиновник, я вынужден был вести с местными властями переговоры иногда по трудно разрешимым вопросам. Таковы были наследственные дела¹ и защита русских сельскохозяйственных работников, нанимавшихся в количестве до шестисот тысяч по всей Германии на летние работы. С ними хозяева, в том числе вюртембержцы, обращались порой очень грубо, платили мало, задерживая, помимо того, их документы. Мне помнится, как-то раз пришла ко мне одна женщина, говорившая, как мне показалось, по-украински, и стала тут же снимать свою кофту, чтобы показать на спине шрамы от полученных побоев. Разговаривая с ней, я убедился, что она словачка и австро-венгерская подданная. Я не мог, к сожалению, оказать ей никакого содействия и отослал ее к австро-венгерскому коллеге. Большим затруднением для этих сезонных рабочих было их полное незнание немецкого языка, что облегчало их эксплуатацию работодателями. По поводу такого положения наших рабочих я написал несколько нот в вюртембергское министерство иностранных дел и получил заверение, что местными властями

¹ Они осложнялись претензией германских судебных установлений исчислять пошлины со всей наследственной массы, включая и имущество, оставленное наследодателем в пределах России. — *Прим. авт.*

приняты меры к охране интересов русских рабочих. В связи с тем же я написал подробное донесение в министерство с проектом разного рода мер по систематизации защиты нашими консульскими учреждениями русских рабочих в Германии. На этом донесении Николай II написал: «Надо об этом подумать». Оно было затем напечатано в «Вестнике министерства иностранных дел». Еще больше рабочих приходило в то время на сезонные работы в Германию из Италии. Итальянские рабочие были в большинстве землекопы и нанимались главным образом на постройки железных дорог.

В мое время штатного итальянского консула в Штутгарте не было. Его обязанности выполнял один из местных жителей — банкир Федерер. Он был в то же время и нештатным турецким консулом. Во время итало-турецкой войны¹ он попал в несколько неудобное положение, представляя обе воюющие стороны, но провинциализм Штутгарта вполне при этом сказался. В течение первых месяцев итало-турецкой войны здание банка Федерера украшали одновременно щиты итальянского и турецкого консульств. Наконец, Федерер решил отказаться от подобного представительства обеих воюющих держав, и турецкий щит с его дома исчез.

За время моего пребывания в Штутгарте, пользуясь близким соседством, я часто проводил целые недели у себя в Вышкове, имея возможность в случае вызова по телеграфу быть уже через сутки в Штутгарте. Но я редко заглядывал в Петербург, так как с министерством после моего ухода на службу за границу у меня создались несколько натянутые отношения. В Петербург я приехал лишь в феврале 1911 г., приглашенный земским отделом министерства внутренних дел на пятидесятилетний юбилей крестьянской реформы². Мой отец был первым управляющим земского отдела и одним из главных деятелей этой реформы как в России, так затем в Царстве Польском. В день 19 февраля состоялся ряд торжеств, на которые я был приглашен вместе

¹ Имеется в виду колониальная война, которую вела Италия в 1911—1912 гг. с целью захвата новых территорий в Африке и укрепления своего стратегического положения в Средиземном море.— *Прим. ред.*

² Имеется в виду отмена крепостного права в России в 1861 г.— *Прим. ред.*

с несколькими другими потомками деятелей реформы. Вместе с ними, именно с графом Ростовцевым, Милютиным и тремя внуками графа Ланского, я был представлен Столыпиным Николаю II. Как и при первом моем представлении, Николай II поразил меня своею ненаходчивостью. В особенности у меня остался в памяти его разговор со стоявшим рядом со мной Милутиным. Царь его спросил, почему он в штатском платье, а затем говорил с ним об его бывшей службе в уланском полку. Между тем Ю. Н. Милютин, сын главного деятеля крестьянской реформы Н. А. Милютина, был довольно известным журналистом и писателем, но эта его деятельность была совершенно неизвестна Николаю II. Конечно, многое могло быть неизвестно Николаю II, но удивительно то, что, очевидно, возле него не было никого, кто мог бы его своевременно осведомлять о главных обстоятельствах жизни и деятельности тех лиц, которые ему представлялись. Николаю я представлялся и в третий раз, в 1911 г., по случаю пожалования в камергеры. Прием был массовый, на двести — триста человек. Он произвел на меня очень тяжелое впечатление. Царское Село все больше теряло связь с внешним миром. В числе торжеств, связанных с юбилеем, состоялся и обед, который был дан земским отделом Столыпину и некоторым другим министрам, а также и нам, потомкам деятелей реформы. Как бы ни относиться к личности Столыпина, закончившего свой жизненный путь в сентябре того же, 1911, г., нельзя не отметить, что он был выдающимся оратором и действительно мог производить впечатление на слушателей, вынося даже в среде бюрократов любой вопрос из области сухого, канцелярского обсуждения в сферу исторического освещения. Говоривший вслед за ним В. Н. Коковцев при всем его департаментском красноречии мог лишь снова завести тот же вопрос обратно в ведомственные перепутья.

В Штутгарте жизнь для меня протекала если и не очень разнообразно, то довольно интересно. Я все более и более входил в жизнь этого германского города и начинал интересоваться целым рядом вопросов германской жизни, которые остаются неизвестными для случайных туристов, не подозревающих всей бесконечной сложности и культурной насыщенности германского общественного строя. Меня стало интересовать и немец-

кое искусство, в частности театр, от которого я по месту своей службы на Дальнем Востоке и на Балканах в течение многих лет должен был совершенно отказаться. Два штутгартских театра — оперный и драматический — были во всех отношениях выдающимися в Германии. Большим наслаждением для меня было бывать почти ежедневно в театре, а также познакомиться и сойтись с рядом театральных деятелей. Удобным поводом для этого было торжество открытия нового здания штутгартского театра, на который прибыли «интенданты» всех германских театров, в том числе Поссарт, которого я впервые видел на гастролях в России еще гимназистом.

В Штутгарте давался полный цикл вагнеровских опер, однако их исполнение уступало мюнхенскому и байрёйтскому. Поэтому я решил посетить Байрёйт, где и прослушал цикл «Нибелунгов», а также «Мейстерзингеров» и «Парсифаля». Последнюю оперу-мистерию в то время еще не давали нигде, кроме Байрёйта, согласно завещанию Вагнера. Байрёйт — маленький баварский городок, как известно, является своего рода Меккой для паломников-меломанов, и там можно встретить из года в год ряд различных европейских знаменитостей. Они садятся на неудобные стулья небольшого театра и слушают вагнеровские оперы в той обстановке, в которой они давались еще при жизни Вагнера. Между прочим, старомодность и малая порой эстетичность байрёйтских постановок, а также несоответствие наружности певцов исполняемым ими ролям дали повод одному английскому журналу поиронизировать и поместить рядом портреты Нижинского и Павловой и байрёйтских певцов — 70-летнего толстяка Ван-Дейка в роли юноши Парсифаля и столь же престарелой и полной актрисы в роли Кундри, волшебницы, его очаровавшей. Лондонский журнал отдал предпочтение русскому балету перед немецкой оперой, говоря, что первый чарует не один слух, но и зрение.

Что касается музеев, то Штутгарт во многом уступает Берлину и Мюнхену, но во всяком случае он может легко конкурировать с другими германскими центрами. В числе музеев нельзя не упомянуть единственного в своем роде «музея дурного вкуса». Он является отделом большого промышленно-художественного музея. Это

собрание весьма большого количества предметов, выполненных с нарушением эстетики. При этом всякий предмет снабжен объяснением, почему он антихудожественен. Нельзя не сознаться, что германская промышленность последних десятилетий дала громадное количество экспонатов для этого музея. Там, например, можно видеть железные печи, имеющие форму рыцарских доспехов, или же разную мебель со столь сложными украшениями, что она представляется скорее орудием пытки, чем предметом домашнего обихода. В мое время особенно большое количество экспонатов, выставленных в этом музее, представляли собой предметы, имевшие так или иначе отношение к графу Цеппелину. Как известно, он по происхождению вюртембержец и является для своей родины предметом общего культа.

Цеппелин — по происхождению вюртембергский дворянин. В свое время служил в уланском полку, который был раньше расквартирован в Штутгарте, а затем в Ульме. На всех приемах он появлялся в форме кавалерийского генерала. Когда я жил в Штутгарте, он уже был стариком, но еще весьма бодрым. Он был в зените славы. Его верфь, построенная на суммы, собранные путем подписки по всей Германии, работала весьма успешно в Фридрихсгафене, на Боденском озере. Мне пришлось летать на одном из первых пассажирских цеппелинов, именно на «Швабене». Он совершал в это время полеты в окрестностях Баден-Бадена.

До того времени как Цеппелин сделался предметом германской национальной гордости и общего культа, в маленьком штутгартском аристократическом кругу его считали сумасшедшим и притом довольно опасным. Он разорился сам и разорил всех своих родных на производстве опытов, которые ему очень долго не удавались. К нам, русским, Цеппелин, женатый на остзейке, относился всегда необыкновенно любезно, и мне несколько раз пришлось подолгу беседовать с весьма симпатичным старым генералом, в котором было трудно признать великого изобретателя. Мне помнится, что как-то за одним обедом, разговаривая о воздухоплавании, я спросил его, летал ли он когда-нибудь на аэроплане. Убегденный сторонник принципа «легче воздуха», Цеппелин очень быстро ответил: «Нет, и это меня даже не интересует».

Приблизительно через год после моего назначения в Штутгарт К. М. Нарышкин был переведен посланником в Стокгольм. По-видимому, он и там считал себя в изгнании, так как по-прежнему из всех европейских столиц продолжал признавать лишь один Париж. Пример Нарышкина доказывает, как нецелесообразно с точки зрения образования дипломатических кадров слишком долго держать дипломатов на одном и том же посту. Если они и могут явиться полезными в этом месте назначения, то зато при дальнейших передвижениях они с трудом приспособляются к новым условиям жизни и работы. Через год-полтора пребывания в Стокгольме Нарышкин совсем вышел в отставку. Он поселился в Париже, а затем, при объявлении войны, вернулся в Москву, где и умер в 1921 г.

После отставки Нарышкина на его место в Стокгольм был назначен один из первых секретарей стокгольмской миссии — барон Стааль фон Гольштейн. Это был настоящий остзеец, уже служивший перед тем в Штутгарте и в противоположность Нарышкину настолько приспособившийся к жизни и особенностям этого города, что мало чем отличался от местных баронов, занимавших какие-либо придворные и административные должности. Как и раньше, при Нарышкине, мне вполне удалось сохранить прежний порядок службы и я бывал в Штутгарте обыкновенно лишь в то время, когда Стааль уезжал в отпуск. Стааль пробыл в Штутгарте около года и умер приблизительно так же, как и Кидерлен-Вехтер, играя в карты у того же графа Моя. После его смерти я снова долгое время был поверенным в делах, вплоть до весны 1912 г. На этот раз, сдавая миссию вновь назначенному посланнику С. А. Лермонтову, я выехал из Штутгарта, чтобы более туда по обязанностям службы не возвращаться. В качестве туриста я еще неоднократно бывал в Штутгарте, во-первых, потому, что очень полюбил этот город и многих его обитателей, а во-вторых, потому, что он занимает центральное положение в Европе и через него лежит путь при европейских переездах во всех направлениях.

Сергей Александрович Лермонтов был переведен в Штутгарт из Мадрида, где он был первым секретарем, а на его место был назначен я. Мне пришлось, таким образом, в третий раз быть его преемником. В Цетинье

я занимал место секретаря, которое он занимал до моего предшественника фон Мекка, а в Бухаресте я непосредственно от него принимал, как я говорил выше, дела по канцелярии миссии. Перед отъездом в Мадрид я заехал в Петербург, где вынужден был поселить на зиму мою семью; дети подросли, и им нужно было учиться. Одно из затруднений для семейных дипломатов — вопрос о воспитании детей. В особенности в Испании или на Балканах это представляет много затруднений для родителей, не желающих, чтобы их дети теряли свою национальность.

Во время пребывания в Петербурге я узнал в министерстве, что мое назначение в Мадрид не прошло совершенно гладко. Министерские «благожелатели» и на этот раз пытались помешать моему назначению, выдвинув вместе со мной двух других кандидатов. Но, к их удивлению, посол в Мадриде барон Будберг выбрал именно меня. Он знал меня по Штутгарту, где гостил у Стааля.



В апреле 1912 г. я покинул Петербург и по дороге в Испанию остановился на несколько дней в Париже. Со времени назначения в Мадрид мне в течение нескольких лет часто приходилось бывать проездом в Париже. Это было во всех отношениях интересно, в особенности с точки зрения осведомления о нашей общей политике; с момента назначения туда А. П. Извольского центр этой политики как бы перешел в Париж. Это объяснялось главным образом тем, что С. Д. Сазонов после назначения его министром вскоре опасно заболел. Он очень долго лечился за границей, а министерством в это время управлял товарищ министра А. А. Нератов, типичный бюрократ. Не имея собственных взглядов на нашу внешнюю политику, он по большей части соглашался с мнением Извольского. Последний, будучи уже послом в Париже, продолжал как бы по инерции руководить министерством из-за границы. Это было опасно, потому что он наивно надеялся путем войны достичь больших успехов в нашей внешней политике, именно занять Босфор. Тем самым он сводил старые счеты с Австро-Венгрией, а вернее, с графом Берхтольдом (бывшим послом в Петербурге, а затем министром иностранных дел Австро-Венгрии). При моих наездах в Париж я, впрочем, с Извольским виделся мало. Между нами не были изжиты еще те неприязнкости, которые вызвали мой уход с места управляющего бюро печати. Однако в посольстве у меня было много приятелей, и, таким образом, я был

более или менее в курсе всего происходившего в наших парижских дипломатических кругах. Что касается Мадрида, то я не создавал себе иллюзий, что это большой политический центр. Но назначение туда меня устраивало, так как таким образом я все же продвинулся по дипломатической лестнице, не будучи вынужденным непосредственно участвовать в политике Извольского, Сазонова и Нератова. Сочувствовать этой политике я не мог, а продолжать служить своей стране считал своим долгом.

В Мадрид я попал в очень глухое время. Это было начало мая, там уже наступила большая жара, и жизнь, как это всегда бывает летом в Испании, замерла. Через несколько дней после моего приезда посол уехал в отпуск, его примеру последовал секретарь барон Мейендорф, а также и военный агент Скуратов, мой бывший товарищ по военной службе в уланском полку в Варшаве. Поселился я в одной из двух больших мадридских гостиниц, только что отстроенных. Очень скоро я убедился, что Мадрид почти во всех отношениях уступает Штутгарту и что в Испании чувствуешь себя вдали не только от европейских столиц, но даже и от Европы. Становилось все жарче. Между дипломатами, среди которых я встретил двух-трех знакомых, не было постоянного общения, что обыкновенно так облегчало жизнь на восточных постах. Там иностранцы откровенно сознавались в том, что они находятся в своего рода изгнании, будучи неудовлетворенными местной средой, а потому старались восполнить друг для друга потребность в обществе. В Мадриде же испанское общество, относящееся весьма отрицательно к иностранцам, обычно старается оградить себя от дипломатов. Оно думает, что Испания и до сего времени является мировым центром и что каждый иностранец, попадающий в Мадрид, должен считать для себя большой честью, если его через несколько лет жизни в Мадриде признают за испанца. Это обыкновенно и удается тем из дипломатов, которые играют в испанцев, или же тем, к которым испанцы понемногу привыкают. Последнее ожидало и меня. Но первое время я думал, что в Испании долго не останусь, а потому все необходимые для ускоренной акклиматизации усилия меня тяготили. Что касается моей службы в Мадриде, то до начала войны 1914—1918 гг. она была весьма неслож-

ной: между Россией и Испанией дипломатические сношения были развиты весьма слабо, а потому и деловая переписка посольства была крайне ограниченной. Помимо того, в отличие от большинства европейских столиц в Мадриде в то время вообще не было русских. Последнее обстоятельство было для меня весьма неприятно. Почти сейчас же после моего приезда в Испанию оказалось, что мне буквально не с кем перемолвиться словом на родном языке. Этого не случалось со мной с самого начала моей дипломатической службы, исключая время, проведенное в путешествиях. Я еще раз убедился в том, как велика разница между дипломатической службой за границей и продолжительным пребыванием там не по служебным обязанностям. Каждое заграничное представительство является как бы частью родины, и вы не чувствуете себя от нее отрезанным. Через недели две после моего вступления в управление посольством из Парижа приехал первый дипломатический курьер с почтой; это был псаломщик нашей церкви в Веймаре, которому один из наших кружных курьеров уступил свою поездку из Парижа в Мадрид. Я так был рад представившейся возможности поговорить с русским человеком, что все три дня пребывания курьера в Мадриде неизменно приглашал его к завтраку. Другого соотечественника, в виде русского медведя (*oso ruso*), я открыл в Зоологическом саду. Я сочувствовал ему, потому что в большую жару он страдал больше меня, не имея возможности снять свою шубу.

После канцелярских часов я обыкновенно отправлялся завтракать со своими иностранными коллегами в местный клуб, но и это оказалось весьма относительным утешением. Настроение у моих коллег было самое подавленное. Они страдали острой ненавистью к месту своего пребывания, бесконечно жаловались на неприятности жизни в Мадриде и этим самым еще больше отравляли существование себе и другим. Это был период моей службы, когда я все больше склонялся к мысли ее бросить. Меньше всего я думал о том, что мне придется остаться в Мадриде еще шесть лет и что я к нему привыкну, как в свое время к Афинам, и даже найду много хороших сторон в испанской жизни.

Рассчитывая скоро покинуть Испанию, я решил еще до возвращения посла (в его отсутствие я не мог

выехать из страны) посмотреть по крайней мере на наиболее известные испанские достопримечательности и тем самым проверить свое первое столь отрицательное впечатление об Испании. Я уехал на несколько дней в Севилью с остановкой по пути в Кордове и Гранаде. Действительно, эти три города с их памятниками архитектуры, напоминавшими времена господства мавров¹, произвели на меня сильное впечатление. К сожалению, это мое первое путешествие по Испании совпало с необыкновенной жарой, доходившей до 54 градусов. В небольшом вагоне между Кордовой и Севильей меня чуть не сразил солнечный удар, и я еле добрался до Андалузии. К счастью, в Севилье лучшие комнаты в гостинице расположены в подвале, и там можно дышать. На вокзале меня встретил наш местный нештатный консул, англичанин. Это был первый случай, когда среди наших нештатных консулов я встретил подданного Великобритании. Кстати, о нештатных консулах. В настоящее время Советское правительство совершенно отказалось от назначения подобного рода агентов. Действительно, за немногими исключениями, это — довольно рискованное предприятие. Нештатные консулы иногда находятся в отдаленных от столиц городах, а потому их деятельность может быть лишь отчасти контролируема соответствующим посольством или миссией. Между тем многие коммерсанты считают для себя почетным быть каким бы то ни было иностранным консулом: это дает, по их мнению, положение в обществе. Не связанный ничем с государством, которое его назначило, нештатный консул обыкновенно по-своему толкует свои полномочия и может иногда, даже не желая того, совершенно разойтись в своих действиях с правительством страны, которой он обязался оказывать услуги. К тому же за эти услуги ему обыкновенно не платят, а потому он и не чувствует себя связанным принятыми на себя обязанностями. Как курьез я не могу не вспомнить один из эпизодов моего путешествия с нашим посланником Ону по Греции. Когда мы прибыли на русском стационаре на остров Милос, то, к нашему большому удивлению, к нам навстречу выехал под русским флагом местный русский

¹ Мавры завоевали Испанию в VIII веке. Только с XI века началось, а в XV веке кончилось обратное завоевание Испании у мавров (так называемая реконкиста). — *Прим. авт.*

вице-консул. Об его существовании мы даже и не подозревали. Оказалось, что он был назначен много лет назад и ничего не писал в миссию. О нем совершенно забыли, и его имя даже не значилось в ежегоднике министерства иностранных дел. Другой раз мне пришлось во время войны попасть в довольно оригинальное положение во второстепенном испанском порту Аликанте. Местный русский нештатный консул, по национальности испанец, пригласил меня вечером в театр, в клубную ложу. Там были собраны все местные нотабли, в том числе нештатные консулы. Тут были и германский и австро-венгерский консулы. В то время как в Мадриде члены посольства воюющих держав тщательно избегали встречи друг с другом и не всегда даже между собой раскланивались, в Аликанте весь консульский корпус сохранил между собой самые дружеские отношения. Это, впрочем, было естественно: все консулы были испанцы. Я уже выше упоминал о возможности, как это было в Штутгарте, для одного и того же лица быть даже нештатным представителем одновременно двух и притом воюющих между собой держав.

Несмотря на жару, я добросовестно осмотрел все, что можно было видеть в Севилье, и решил в случае продолжительного моего пребывания в Испании побывать там вторично. Во время этой первой поездки по Испании я был вынужден обстоятельствами применить на практике те несколько уроков испанского языка, которые взял после приезда в Мадрид. Я убедился, что в общем этот язык не представляет особых трудностей при знании французского и латинского или итальянского языков. В Испании для иностранца совершенно необходимо говорить по-испански, иначе пребывание там может стать невыносимым. Не только во время путешествия по Испании, но даже в самом Мадриде на светских приемах или клубах незнание местного языка ставит иностранца в очень неудобное положение. Из-за своей прирожденной лени многие испанцы совсем не говорят на иностранных языках, а те, кто даже и говорит, норовят, несмотря на присутствие иностранца, говорить со своими соотечественниками по-испански. При этом испанцы, думая, что иностранец не владеет испанским языком, говорят в его присутствии о нем самом. Уже одна эта возможность представляла нас, дипломатов, в присутствии малознакомых

испанцев сразу показывать, хотя бы несколькими испанскими фразами, что мы их понимаем.

Вернувшись в Мадрид, я провел там еще несколько недель при нестерпимой жаре, от которой совершенно отвык в Германии. Наконец, посол вернулся, и посольство переехало на летнее время в Сан-Себастьян, расположенный на берегу Бискайского залива, у подножия Пиренейских гор. Туда переезжают из Мадрида на август и сентябрь все посольства, а также королевская семья. Впоследствии, во время войны, туда стал на два месяца переезжать и министр иностранных дел с частью своей канцелярии. Для нее министерство купило даже особое здание. Это очень облегчило положение послов и поверенных в делах, так как при возникновении каких-либо серьезных вопросов им не надо было ездить в Мадрид, находящийся в двенадцати часах пути от Сан-Себастьяна. Зато король переменял вскоре свою летнюю резиденцию и с 1913 г. стал ездить на лето в Сантандер, где местный муниципалитет преподнес ему специально выстроенный летний дворец. Для дипломатов это явилось новым затруднением. Сантандер находится в четырех часах пути от Сан-Себастьяна.

Летнее пребывание в Сан-Себастьяне полностью вознаграждает иностранца за начало лета, проведенное в Мадриде. Испанцы, к сожалению, сравнительно легко переносят жару, а потому официальный переезд посольств в Сан-Себастьян происходит лишь в конце июля, после приблизительно трех жарких месяцев в Мадриде. На берегу Атлантического океана всегда царит сравнительная прохлада. Сан-Себастьян расположен почти на французской границе, и мадридские дипломаты проводят значительное время в Биаррице, где вы себя чувствуете уже в Европе. Один из моих английских коллег говорил не без основания, сравнивая Сан-Себастьян с Мадридом, что можно обогнуть Пиренеи, у подножия которых расположен Сан-Себастьян, но необходимо перевалить через Гвадарраму. Это цепь гор, расположенная к северу от Мадрида, с рядом ущелий, через которые зимой дуют холодные ветры. Испанцы говорят про свою столицу, что там обыкновенно девять месяцев ад (инферно) и три месяца зима (иверно). Действительно, трудно себе представить более тяжелые климатические условия в Европе, чем мадридские. Испанская столица расположена на

высоком Кастильском плоскогорье, что летом нисколько не спасает его от жары, зато зимой там стоят холода, сопровождаемые сильными ветрами. Мадридский климат является во многом причиной особенностей характера кастильцев: обитатели Мадрида не могут не быть ленивыми и раздражительными. Этим объясняется часто та легкость, с которой кастильцы прибегают к ножевой расправе. Наваха (нож) пускается ими в ход при малейшем разногласии. Когда долго живешь в Испании, то легко отдаешь себе отчет в большом различии, которое существует между населением ее отдельных частей. Характер кастильца так же далек от облика каталонца, как, например, андалузца — от баска. Впрочем, баски, населяющие испанские провинции, прилегающие к Пиренеям, а также и французские склоны этих гор, представляют собой совершенно особую национальность, со своим языком и древней кельтской культурой. Провинции, населенные басками, пользуются, как отчасти и Каталония, большой автономией. Население очень трудолюбиво, а названные провинции после Кастилии, не имеющей ни одной фабрики, поражают развитием своей сельскохозяйственной и фабричной промышленности. В частности, порт Бильбао поражает своим сходством с английскими портами не только по оживленности портового движения и большому количеству магазинов, банков и торговых домов, но даже и по внешнему облику. То же можно сказать и о Каталонии, но она, с ее большим портом Барселоной, напоминает больше всего близлежащее французское и итальянское побережье Средиземного моря. Особенностью Испании является то, что ее политический и административный центр Мадрид гораздо менее развит в культурном отношении, чем испанские окраины. Как столица Мадрид был так же умышленно создан Филиппом II, как Петербург Петром I. Разница лишь в том, что Петербург был выбран как морской порт на самой окраине обширной империи, а место для Мадрида было выбрано в географическом центре Иберийского полуострова, когда империя Филиппа II включала не только Португалию, но и громадные заморские владения, а также Нидерланды и часть Италии.

В политическом отношении Испания стала для нас интересной лишь во время войны 1914 г., о чем я буду

говорить позднее, но вообще она заслуживает гораздо большего внимания, чем то, которое уделялось ей в России за последние годы, а потому я и сделал это отступление от моих личных воспоминаний. В 1915 г. мне пришлось совершить вторую, более продолжительную поездку по Испании, и я вернусь к ее описанию. Незадолго до отъезда в Сан-Себастьян я вместе со всем дипломатическим корпусом впервые присутствовал на большой придворной церемонии по случаю дня рождения короля Альфонса XIII. Насколько помнится, ему минуло тогда тридцать два года. Альфонс XIII был королем еще за три месяца до своего рождения, когда умер его отец Альфонс XII, а его мать, королева Мария-Христина, урожденная эрцгерцогиня австрийская, была назначена регентшей. Королева дала своему сыну весьма разностороннее широкое образование, но в действительности оно не было закончено, так как, сделавшись в шестнадцать лет монархом, Альфонс XIII не имел возможности продолжать свои занятия и остался на всю жизнь способным дилетантом, схватывающим все налету, но ничего полностью не изучившим. По своим наклонностям король был большим спортсменом и, надо отдать ему справедливость, привил любовь к спорту и кое-кому из своих подданных. Главным образом по инициативе короля вблизи Мадрида возник спортивный клуб, где играли в излюбленное королем поло и гольф. Последним видом спорта увлекались и мы, дипломаты. Альфонс XIII — прекрасный стрелок, шофер и наездник. Всеми этими видами спорта он занимался с большим увлечением, проводил жизнь главным образом среди своих приятелей-спортсменов. Этим самым он до известной степени стал идеальным конституционным королем: он царствовал, но не управлял. До последнего времени все трудные вопросы правления за короля решала его умная и серьезная мать. За последние же годы Альфонс XIII, вероятно, не без известного удовлетворения, а быть может, и по совету своей матери вручил бразды правления диктатору генералу Primo de Rivera. В частной жизни король очень приятен, причем он умеет очень легко отрешаться от сложного этикета испанского двора. Большим удовольствием для короля являются его поездки в Биарриц и в другие города Южной Франции, где он держится как частное лицо.

С другой стороны, когда он бывает в Мадриде, то добросовестно выполняет весь ритуал испанского двора, являющийся пережитком столетних традиций испанской монархии.

Церемония принесения поздравления королю по поводу его рождения очень своеобразна. Она происходит в большом зале мадридского дворца. В течение двух часов перед королем, сидящим на троне и окруженным с одной стороны испанскими грандами, а с другой — членами министерства, проходят длинной вереницей представители армии, флота, чины министерств, администрации и т. д. Всякий проходящий, повернувшись спиной к дипломатам, отвешивает королю глубокий поклон и затем направляется к противоположным дверям залы. Король при этом сидит совершенно неподвижно, не отвечая на поклоны. Лишь когда к проходящим представителям определенной военной части присоединяется один из инфантов (принцев королевского дома), числящийся в этой части, король отвечает на его поклон легким наклоном головы. Остальное время инфанты сидят на табуретках возле трона. Равным образом на табуретках же, расставленных вдоль стены, сидят и жены грандов, имеющих по церемониалу право сидеть в присутствии короля. Против трона длинной шеренгой (по рангам и по времени вручения верительных грамот) стоят послы, посланники и поверенные в делах, а за ними остальные члены дипломатического корпуса. В соседней комнате во время церемонии играет оркестр. Нельзя не сказать, что для дипломатов, иногда далеко не молодых, это продолжительное более или менее неподвижное стояние в мундирах является очень сомнительным удовольствием при мадридской жаре. По окончании прохождения поздравляющих король обходит иностранных представителей и каждому из них говорит несколько слов. В другой зале дворца после этой церемонии королева, а иногда и обе королевы обходят в том же порядке жен дипломатов.

Особенной торжественностью при испанском дворе обставлено вручение королю верительных грамот вновь аккредитованными иностранными послами. В Испании очень строго проводится различие в рангах между двумя категориями полномочных представителей: послами и посланниками. Как известно, послы являются предста-

вителями великих держав в великих же державах. Характер этого вида представителей был впервые точно установлен на Венском конгрессе¹. Этот конгресс вначале признал активное и пассивное право посольств лишь за Россией, Австрией, Англией и Францией, затем в течение XIX и начала XX века это право было постепенно распространено на Турцию, Германию, Италию, Испанию, Соединенные Штаты Америки, Японию, до известной степени Аргентину, Бразилию, Мексику и Чили и, наконец, после мировой войны на Бельгию и Португалию. Великие державы возвели своих представителей в Испании в ранг послов лишь в 1900 г., после Парижского мира между Соединенными Штатами Америки и Испанией². Обе эти державы приобрели право посылать и принимать послов, и, таким образом, в церемониальном отношении Испания, несмотря на свое поражение в испано-американской войне, была приравнена к великим державам. Как бы то ни было Испания от этого права никогда сама не отказывалась и сохраняла весь старинный ритуал приема послов с того времени, когда никто до Венского конгресса этого права у нее не оспаривал.

В настоящее время церемониал приема послов оставлен во всех подробностях так, как он совершался в XVII и XVIII веках. Мне пришлось два раза сопровождать наших послов при этих церемониях.

За послом высылаются золоченые придворные кареты, запряженные шестью белыми лошадьми цугом. Конюхи, ведущие лошадей под уздцы, одеты в ливрен XVII века, в треугольных шляпах-париках и кружевных жабо. Карету окружает отряд королевского эскорта, у дверей кареты едет обер-шталмейстер, а перед каретой — двое шталмейстеров. Совершенно такая же историческая карета, расписанная Веласкесом, но пустая, предшествует карете посла. Эта вторая карета, называемая коче-де-респето (карета уважения), предназначена для того, чтобы в случае поломки деревянных осей кареты посол мог бы пересест в нее. Этот обычай ведет

¹ Венский конгресс — конгресс европейских государств, происходивший в Вене в октябре 1814 г. — июне 1815 г. после разгрома наполеоновской Франции. — *Прим. ред.*

² Парижский мир — мирный договор между США и Испанией, заключенный по окончании испано-американской войны 1898 г. — *Прим. ред.*

свое начало с того времени, когда мадридские мостовые были в таком состоянии, что поломка карет случалась довольно часто. Впрочем, сравнительно недавно, во время свадьбы Альфонса XIII, королю после произведенного на него покушения действительно пришлось пересечь в коче-де-респето. В самом начале процессии едет еще одна пустая карета, запряженная лишь парой лошадей. Это карета начальника протокольной части. Он сам, впрочем, садится на переднее сиденье в карету посла, а последний сидит в «великолепном одиночестве» в глубине кареты. Советник и секретари посольства занимают места в четвертой карете, запряженной четырьмя лошадьми цугом, с конюхами и эскортом. Когда процессия подъезжает ко дворцу, то лишь одна карета посла въезжает через средние ворота, которые открываются для глав государств и для чрезвычайных послов. При этом два шталмейстера, которые предшествуют процессии, скачут по диагонали через весь двор с предупреждением, что карета посла появилась у входа ¹.

На первых ступенях лестницы посла встречают церемониймейстеры, его окружает почетный караул из алебардистов с алебардами в руках, и процессия под звуки соответствующего национального гимна поднимается по лестнице. После двух-трех минут ожидания посла и членов посольства вводят в тронный зал, где король уже сидит на троне, окруженный министрами и грандами. Посол, стоя перед ним, произносит приветственную речь, а затем вручает свою верительную грамоту, которую король передает стоящему вблизи министру иностранных дел. Король, не вставая с трона, читает в ответ свою речь по тексту, передаваемому ему министром. Лишь после окончания этого церемониала король спускается с трона, подходит к послу и вступает с ним в разговор. Затем посол представляет королю состав посольства. По окончании этого церемониала посла и сопровождающих его лиц принимают в других залах по очереди обе королевы ².

¹ Эта церемония напоминает несколько начало боя быков.— *Прим. авт.*

² Прием посланников происходит при весьма упрощенном церемониале; между прочим, за посланником выезжает парадная карета, запряженная лишь парой лошадей, и во дворец она въезжает через боковые ворота.— *Прим. авт.*

В общем, во всех подробностях обиход испанского двора остался в течение последнего столетия неприкосновенным, и все это крайне мало подходит к современной обстановке мадридской городской жизни. Процессию в золоченых каретах на людных улицах Мадрида весьма странно видеть. Это совершенно не вяжется с обычной картиной этого города.

Как бы то ни было, вся испанская жизнь, помимо этих подробностей придворного обихода, необыкновенно своеобразна. Лишь после нескольких лет жизни в Испании начинаешь разбираться в характере и мировоззрении испанцев. Первое же время иностранец ничего не понимает, относится ко всему критически и при этом часто чувствует себя как бы оскорбленным прирожденной замкнутостью и высокомерием испанцев, смотрящих сверху вниз на каждого иностранца. В общем, за редкими исключениями, испанцы поражают своим узким кругозором и полным отсутствием космополитизма. В этом они являются противоположностью итальянцам. Последние, наоборот, крайне легко приспосабливаются к жизни среди иностранцев. Почти то же можно сказать о греках и румынах. Только при более тесном контакте с испанцами в них находишь много положительных свойств характера, но все затруднение для иностранца заключается в том, что ему приходится брать на себя весь труд приспособления к местной среде. Испанцы при своем прирожденном самомнении не сделают ни шага ему навстречу. Подойти поближе к иностранцу и постигнуть жизнь и интересы представителей других национальностей совсем не в духе испанца. В этом отношении испанцы представляют полную противоположность не только итальянцам, но и нам, русским. Мне помнится случайный разговор с соседом-испанцем в вагоне-ресторане. Узнав, какой я национальности, он заметил: «Россия меня совсем не интересует». Разговор оборвался. Если бы не мое пребывание в Испании, то я мог бы, конечно, ответить тем же о родине моего собеседника.

Я не буду здесь дольше останавливаться на подробном описании Испании и ее жителей, так как это не входит в содержание моих воспоминаний. Не буду останавливаться и на подробностях народного быта, обычаях и нравах, на описании, например, боя быков и других картин испанской жизни, уже много раз описанных запад-

ноевропейскими и нашими путешественниками. Надо отметить, что, быть может, самые верные описания Испании были даны русскими, например Боткиным, графом Салиасом, Немировичем-Данченко. Что касается французов, то, несмотря на их близкое соседство с Испанией, они меньше всего ее понимают, а с другой стороны, и испанцы относятся к французам далеко не с большой симпатией, что ярко сказалось во время последней войны. Многие из испанцев утверждали, объясняя свои симпатии к Германии: «Мы не столько германофилы, сколько франкофобы». Интересно отметить одну из характерных черт испанца: он очень злопамятен. Как это ни странно, франко-испанские войны не забыты до сих пор, и можно встретить испанцев, которые говорят о разорениях, произведенных в Испании наполеоновскими войсками, как будто это происходило только вчера.

В Сан-Себастьяне иностранцу обыкновенно приходится почти забыть, что он в Испании. Близость Биаррица и других южнофранцузских курортов дает возможность мадридским дипломатам два месяца в год тешить себя иллюзией, что они находятся в Европе. Здесь можно встретиться со многими друзьями и знакомыми, которые обыкновенно никогда не заглядывают в Мадрид больше, чем на два-три дня. В Сан-Себастьяне с мадридскими дипломатами происходит полное превращение. Переехав в здоровую приморскую местность, они снова обретают хорошее настроение и профессиональную общительность. Этому содействует и общая жизнь в большой сан-себастьянской гостинице «Мария-Христина», где обычно живет большинство дипломатов. В большой столовой гостиницы каждое посольство имеет свой стол, а после завтрака и обеда дипломатический корпус собирается вместе. Так было вплоть до 1914 г.

Наш престарелый посол барон Будберг, назначенный в Мадрид приблизительно за пять лет до моего приезда, весьма тяготился пребыванием в Мадриде, где он совсем не акклиматизировался, чуждаясь испанцев и поддерживая близкие отношения почти исключительно со своими коллегами-послами. С ними он был очень дружен. К тому же некоторых из них, как, например, германского посла князя Ратибора и двух сменивших друг друга австро-венгерских послов — графа Виденбрука и князя Фюрстенберга, он знал гораздо раньше, подружившись с

ними еще в Вене, где он долгие годы был секретарем, а затем — советником посольства ¹. Большими его друзьями были и французский посол г-н Жоффре и итальянский граф Бонин-Лонгаре. Я поселился в той же гостинице, завтракал и обедал со своим послом и вскоре вполне вошел в этот дипломатический круг Мадрида. Надо, однако, признаться, хотя это и было приятно и удобно, но с точки зрения знакомства с Испанией и испанцами это давало весьма мало. Как я уже отмечал, отчужденность между испанцами и дипломатами была весьма велика. Мы сближались обыкновенно лишь с небольшой частью испанского общества, которая чувствовала себя дома в Биаррице и в Сан-Себастьяне и предпочитала пребывание здесь мадридской жизни. В Биаррице круглый год проживало много испанских семей, с которыми я постепенно перезнакомился, а отчасти и подружился. Эти знакомства и связи сохранились потом и в Мадриде, где для иностранца так трудно сойтись с местным обществом. В Биаррице была и довольно многочисленная русская колония. Между прочим, я впервые встретился там с графом С. Ю. Витте. Он часто наезжал туда к своей дочери Нарышкиной. Это было в 1913 г. Нас познакомила княгиня Фюрстенберг. Витте выглядел бодро. Он был весел и разговорчив. Нельзя было думать, что через полтора года его не станет ².

Как я уже говорил выше, в Испании в это время было очень мало русских, и мы имели лишь два консульства — в Барселоне и в Кадисе. Наши торговые интересы в Испании были развиты очень слабо. В Барселону, однако, заходили суда Добровольного флота, перевозившие из Одессы зерно, а Барселона в свою очередь до войны посылала в Россию апельсины и лимоны, а также в небольшом количестве испанские вина. Кроме этого, в северные испанские порты шел лес из Финляндии. Таким образом, наш товарообмен с Испанией был весьма незначителен. В связи с этим незадолго до войны было

¹ Со всеми тремя я был тоже знаком ранее. Виденбрука я знал по Дальнему Востоку, Ратибора — по Афинам, а Фюрстенберга — по Петербургу. — *Прим. авт.*

² Как известно, Витте не предвидел войны с Германией, и притом продолжительной, и держал свои деньги в германских банках. После объявления войны Нарышкины оказались в стесненном материальном положении. — *Прим. авт.*

закрыто наше консульство в Кадисе и взамен его учреждено консульство в Антверпене. Последним царским консулом в Испании, остававшимся там при Временном правительстве и умершим в 1918 г., был князь Гагарин — генеральный консул в Барселоне, с которым я когда-то начал свою службу в Азиатском департаменте. В течение моего пребывания в Испании я довольно часто навещал его в Барселоне, а он бывал у меня в Мадриде. Ему были подчинены и все наши нештатные консульства в Испании, и, таким образом, он освобождал посольство от значительной доли консульской работы.

Осенью 1912 г. я побывал в отпуску в России, а затем вернулся с женой в Мадрид, где все же не решался занимать квартиру, продолжая надеяться, что долго там не засижусь. Зимой жене пришлось вернуться к детям, оставшимся в Петербурге. Я снова оказался в Мадриде один, но, надо сказать, в лучших условиях, так как начал свыкаться с мадридской жизнью. Зимой я лишь на несколько дней уезжал в Лиссабон, где гостил у моего старого знакомого П. С. Боткина, нашего посланника в этом городе. По сравнению с Мадридом Лиссабон поражает своими хорошими климатическими условиями, оживленной жизнью приморского города и совершенно исключительной живописностью. Так же хороши и окрестности Лиссабона, в особенности загородный замок Синтра. Мы их объездили вместе с Боткиным, весьма обрадовавшимся моему приезду, так как в Лиссабоне, как и в Мадриде, добровольных изгнанников-дипломатов редко посещают соотечественники. Одной из слабостей Боткина было уличать всех в масонстве. По его мнению, Извольский был масоном высокой степени. Когда я спросил его, масон ли, по его мнению, Сазонов, Боткин быстро ответил: «Если масон, то самой низшей категории, из несознательных».

В 1913 г. я снова побывал в России, а осенью поехал лечиться в Виши, так как климат Мадрида пагубно влиял на мое здоровье и я вторично в жизни, как и после Пекина, почувствовал необходимость серьезного лечения.

Пребывание мое в Виши оказалось не только полезным, но и интересным. Я встретился там с нашим министром С. Д. Сазоновым. Хотя его здоровье и значительно поправилось, но он еще нуждался в серьезном лечении,

а потому и находился в Виши. Приехал я туда в сентябре и пробыл до середины октября, когда уже большинство больных разъехалось. Это обстоятельство имело своим последствием то, что, живя в одной гостинице с Сазоновым, мы встречались с ним каждый день и, наконец, стали завтракать и обедать вместе. Я был далек от мысли разыгрывать при своем министре роль случайного чиновника особых поручений, но, так как С. Д. Сазонов оказался очень приятным и общительным человеком, я с большим интересом приглядывался и прислушивался к нему, стараясь поближе узнать того, который, быть может и формально, но держал в своих руках нити нашей внешней политики. К сожалению, я скоро убедился, что влияние А. П. Извольского в этой области, в частности и на самого Сазонова, было весьма велико, хотя министр и не скрывал, что недолгобливает своего предшественника, ныне посла в Париже. С другой стороны, было нетрудно заметить, что курс, взятый еще при Извольском в сторону наиболее тесного сближения с Францией и Англией, остается неизменным и что наше отчуждение с Германией все более увеличивается. Между прочим, в этом отношении характерны были некоторые факты. Так, например, Сазонов однажды оказался обеспокоенным появившейся в венской «Нейе фрейе прессе» заметкой о данном им проездом в Варшаве интервью. В нем он якобы заявил, что, по его мнению, война в течение двух ближайших лет невозможна. Министр поспешил опровергнуть это интервью через наше посольство в Вене. Равным образом на меня весьма тяжелое впечатление произвело и следующее обстоятельство. На переданное ему из министерства предложение германского министра иностранных дел фон Ягова встретиться с ним на итальянских озерах Сазонов ответил отказом под предлогом необходимости выехать немедленно из Виши в Париж. На это я не мог не высказать министру своего сомнения в правильности подобного решения, стараясь доказать, что с немцами можно сговориться. Я не буду приводить других признаков того, что курс нашей политики был уже твердо установлен, и притом в весьма опасном для нас направлении.

С Сазоновым мы доехали вместе до Парижа, где и расстались. В посольство я на этот раз почти не заходил, так как не хотел встречаться с А. П. Извольским.

С ним, насколько мне помнится, мы не видались после моего перехода в 1909 г. из министерства награничную службу. Как известно, при этом свидании с Извольским состоялось окончательное «обращение» Сазонова. Он был взят на буксир принятого русским послом в Париже политического курса. Еще в начале 1913 г. у Сазонова были другие настроения. Мне помнится его рассказ о том, как он расчувствовался, когда на выставке в Ярославле перед ним бросился на колени один известный русский купец, чтобы благодарить его за то, что во время Балканской войны он спас Россию от войны.

Во всяком случае, признаюсь откровенно, осенью 1913 г. я не думал, что мы уже почти накануне войны и в преддверии ряда столь тяжелых лет.

Зима 1913/14 г. прошла в Мадриде обычным порядком. После лечения я чувствовал себя гораздо лучше. Оставшись весной на два месяца поверенным в делах, я готовился в конце июня уехать в Россию, как только посол вернется из отпуска. К тому же я получил сообщение о болезни моей дочери, и меня по телеграфу вызывали домой. При этих обстоятельствах я особенно тяжело почувствовал связывающий меня порядок заграничной дипломатической службы. Почти ни при каких условиях поверенный в делах не может покинуть своего поста во время отсутствия посла. Мне помнится в связи с этим любезное предложение французского посла принять на себя в случае необходимости моего отъезда управление русским посольством, так как нашего секретаря барона Мейендорфа в Мадриде не было. Тем не менее я не решился телеграфировать в Петербург о предложении Жоффре. Это слишком далеко выходило бы за рамки общего служебного порядка.

2

За несколько дней до приезда Будберга произошло то событие, которое явилось формальным поводом мировой войны,—убийство в Сараеве наследного эрцгерцога австрийского Франца-Фердинанда. Узнал я об этом в тот же день от австро-венгерского посла князя Фюрстенберга. Он жил со мной по соседству в той же гостинице. Известие было ему передано из Парижа по телефону. Кстати о Фюрстенберге. Мы все в русском

посольстве были с ним в очень дружеских отношениях, а потому друг с другом откровенны. Ни Фюрстенберг, ни я, да и вообще никто из нашего дипломатического корпуса не придавал этому известию всего его рокового значения. Испанское правительство отслужило по покойном эрцгерцоге торжественную панихиду в присутствии короля и всего дипломатического корпуса, а через два дня я уехал в отпуск в Вышков, воспользовавшись на этот раз только что введенным ускоренным железнодорожным сообщением. Выехав, как мне помнится, в воскресенье в восемь часов утра из Мадрида, я был на следующий день в семь утра в Париже, где побывал в нашем посольстве. Мои коллеги так же мало предвидели наступающие события, как и мы в Мадриде. В Париже я попал на дальневосточный экспресс, отправлявшийся в то время раз в неделю, по понедельникам, из Парижа на Варшаву и Москву. Во вторник в семь часов вечера я был уже в Варшаве. К счастью, моя дочь успела к этому времени поправиться, и я спокойно зажил в Вышкове, надеясь провести там свой отпуск. Однако этому не было суждено осуществиться. Уже через две недели после моего приезда в Вышков начали приходить известия о надвигающейся опасности войны; через день большинство моих служащих было вызвано в Пултуск на мобилизацию, а еще через три дня мне телефонировали ночью из Варшавы, что германская армия заняла Калиш и наступает на севере Царства Польского, у Млавы. Мне советовали увезти семью из Вышкова. Как мне было известно из варшавских военных кругов, в то время предполагалось очищение всего Царства Польского вплоть до Брест-Литовска. Делать было нечего, пришлось выехать через Варшаву в Петербург. Я решил к тому же немедленно предоставить себя в распоряжение министерства на тот случай, если бы я в этот критический момент мог быть ему полезен.

В Варшаве, оказавшейся в самом начале войны вблизи фронта, настроение было весьма тревожное. Улицы переполнены мобилизованными; их с плачем провожали матери и жены. Вокзалы буквально осаждались желавшими выехать из города и охранялись войсками. Последних в городе к тому же оказалось весьма мало; весь варшавский гарнизон был двинут на австрийский фронт. Как бы то ни было, несмотря на все

затруднения, мне удалось попасть с семьей в поезд, эвакуирующий судебные учреждения, и мы оказались через два дня в своей петербургской квартире.

На следующий день после приезда я направился в министерство иностранных дел. Мне было передано от имени министра, что в Мадрид я пока возвращаться не должен и что мне поручается образовать при испанском посольстве в Петербурге справочный стол о русских, оставшихся на территории вражеских стран. В одной Германии их было более 40 тысяч: курортный сезон был в полном разгаре, а дней за десять перед тем о столь близкой опасности войны еще никто не думал. Между тем испанское посольство в Петербурге, правительство которого приняло на себя покровительство нашим гражданам в Германии и Австро-Венгрии, было малочисленно (посол и два секретаря). С внезапно порученным ему делом оно, очевидно, справиться не могло. Мне были даны сравнительно большие полномочия, вплоть до самостоятельных ответов за подписью министра или его товарища на бесконечное число получавшихся в министерстве телеграмм и писем, связанных с делом защиты интересов оставшихся в Германии и Австро-Венгрии русских. Мне удалось набрать довольно большой состав сотрудников — их было через несколько дней около двенадцати человек, — и я целые дни проводил в испанском посольстве, в двух больших полупустых комнатах, предоставленных в наше распоряжение.

Число посетителей и телефонных разговоров с каждым днем росло. Бывали дни, когда в посольство приходило по несколько сот человек, и мне пришлось отказаться от возможности принимать каждого из посетителей поодиночке. Я завел систему коллективных приемов. Это облегчалось тем, что в общем приходилось говорить каждому почти одно и то же, к сожалению, мало утешительное. В течение двух недель, несмотря на наши многочисленные телеграфные запросы, испанское посольство в Берлине не отзывалось. Между тем петербургское посольство Соединенных Штатов Америки, принявшее на себя охрану в России германских и австро-венгерских интересов, исправно получало телеграммы из Берлина. Положение становилось ненормальным. Переговорив с испанским послом, я поехал в министерство иностранных дел, чтобы настоять на прекращении пере-

дачи в Германию телеграмм американского посольства, до тех пор пока из Берлина не начнут поступать испанские телеграммы. На подобный решительный шаг наше министерство, однако, не пошло. Мне помнится, как, к моей большой досаде, в одном из отделов министерства стала подготавливаться нота американскому посольству и подвергаться бесконечным изменениям и поправкам. В связи с этим меня несколько раз приглашали на особое совещание при министерстве, где я отстаивал свою точку зрения о необходимости решительных мер. Наконец, из Берлина от испанского посла Поло де Барнабе пришла первая телеграмма со справками о некоторых застрявших в Германии русских; я помню, с какой гордостью сообщил мне ее содержание испанский посол в Петербурге граф Картагена.

С этих пор дело защиты русских в Германии и Австро-Венгрии испанскими представителями начало понемногу налаживаться, и в ближайшие дни в нашем распоряжении уже было довольно большое количество сведений о русских, оставшихся во вражеских странах. За время моей работы в испанском посольстве там перебивал почти весь знакомый и незнакомый мне Петербург. Он назывался, впрочем, уже Петроградом. Переименование это состоялось через несколько дней после объявления войны. Вскоре наш отдел при испанском посольстве получил и новую работу, именно по переводам денег русским, оставшимся в неприятельских странах. Дело было налажено так: каждый из родственников лиц, которые застряли в Германии или Австро-Венгрии, мог ежемесячно им переводить до 300 рублей. В исключительных случаях я получил право разрешать пересылать до 500 рублей. В первый же день, когда мы открыли эти операции, у нас оказалась сумма, превышавшая 45 тысяч. Для удобства в мое распоряжение был откомандирован артельщик министерства, который и нес ответственность за собранные суммы. В связи с ростом отдела справок было решено перевести этот отдел в министерство, где его кое-как приютили ¹.

¹ Толпа родственников устремилась после этого в министерство. Там слышались их тревожные вопросы: «Где здесь испанское посольство?» Они наивно полагали, что посольство перевели целиком в помещении министерства. — *Прим. авт.*

Одну из комнат министерской библиотеки мне отвели под кабинет. К этому времени удалось наладить довольно обширную картотеку. На каждой карточке записывались имя и фамилия разыскиваемого лица, а также все сведения о нем, полученные от родственников или от испанцев из Германии или Австро-Венгрии. В связи с тем что испанские представительства взяли на себя перевод денег русским гражданам во вражеских странах, наше министерство финансов ассигновало на это несколько миллионов рублей. Эти деньги предназначались для оказания помощи вообще всем нашим гражданам, застрявшим за границей и попавшим в тяжелые материальные условия. Помощь можно было оказать через наши представительства в тех союзных и нейтральных странах, где оказались большие скопления русских, не знавших, каким путем выехать на родину или же получить оттуда деньги¹.

Во время моей работы в Петербурге я стал думать о том, чтобы больше не возвращаться в Мадрид, а получить назначение на должность дипломатического чиновника при штабе главного командования, но этого плана не пришлось выполнить. Уже в сентябре 1914 г. я был вызван к товарищу министра. Он сообщил, что министерство приняло решение направить меня в Мадрид в связи с вопросами защиты Испанией русских интересов во вражеских странах. По словам товарища министра, это было тем более необходимо, что в министерстве подумывают об увольнении в отставку барона Будберга, который в последнее время стал сильно прихварывать.

Подчиняясь желанию министерства, я стал готовиться к отъезду. Это было для меня тем тяжелее, что из-за военной обстановки надо было оставить семью в России. Между тем в связи с войной расстояние между Петроградом и Мадридом возросло во много раз.

Я быстро собрался и в начале сентября выехал в Мадрид через Финляндию, Швецию и Англию. Путь этот только налаживался. К тому же маршрут пришлось изменить в связи с появлением германских военных судов в Балтийском море. Они задержали несколько пароходов и сняли с них ряд подданных воюющих с Германией стран.

¹ В связи с моей работой по справочному бюро я следующей весной был произведен в действительные статские советники.—
Прим. авт.

В день отъезда, уже после того как мне была вручена дипломатическая почта в Лондон и Париж, мне позвонили из министерства. Я должен был ехать не так, как предполагал, т. е. не через Рауму и Стокгольм, а через Торнио, Хапаранду и тот же Стокгольм в объезд Ботнического залива. Так как я уже совсем собрался к отъезду и на вокзал должны были приехать несколько друзей и знакомых, в том числе испанский посол, я решил не откладывать отъезда, а переждать где-либо в пути, чтобы попасть на поезд, отправляющийся в Торнио. Мне запомнились ходившие в то время в Петрограде разные слухи о трудности пути через Финляндию и Швецию, о возможности потопления пароходов и т. д. Между прочим, мне посоветовали завести кожаный пояс, изготавливаемый для золотых денег, которые в начале войны выдавались нашим заграничным чиновникам. Мне было выдано 5 тысяч рублей золотом, и пояс оказался таким тяжелым, что я носить его не мог. В случае потопления корабля он, конечно, потянул бы меня ко дну. На Финляндский вокзал приехал меня проводить и мой бывший начальник барон Розен. Он обратился ко мне с просьбой заехать по пути в Аркашон (в окрестностях Бордо), где, по его сведениям, находились его жена и дочь, и помочь им вернуться на родину.

Россию я покинул в довольно подавленном настроении, беспокоясь за своих близких, оставленных в Петрограде. По полученным на вокзале сведениям, я должен был остановиться на двенадцать часов в финляндском городе Таммерфорсе, откуда мог попасть прямым поездом в Торнио. Целый день провел я в этом отдаленном от Петрограда городе, где по-русски вовсе не говорят. Приходилось, как это ни странно, объясняться исключительно на немецком языке — его кое-как понимали.

Чем дальше продвигаешься по Финляндии к северу, тем скалистее становится местность, растительность — более низкорослой, а железнодорожные станции, как и деревья, — все меньше и реже. Стоят они одиноко и в почти незаселенной местности.

Навстречу нам изредка попадались поезда, переполненные русскими, возвращающимися из Германии. Я раза два встречался с ними на станциях и видел, в каком жалком виде они возвращались; почти у всех у них был потерян багаж.

Северный путь — единственная связь между Россией и Западной Европой в течение всей войны — еще не был налажен. От конечной железнодорожной станции Торнио до пограничного шведского города Хапаранды надо было ехать на финских тележках и притом по крайне неудобной окольной дороге. В Хапаранде в гостинице у меня была забавная встреча. Привезший мой багаж финн не говорил ни слова по-русски, а также не понимал и по-шведски. Я не мог столковаться с ним. Из затруднения нас вывел оказавшийся тут же немец, говоривший и по-фински и по-шведски. Этот немец сообщил мне, что он едет из России в Германию, чтобы поступить на военную службу. Между прочим, он спросил, не нахожусь ли я в том же положении, что и он. Во всяком случае я не могу ручаться, что мой собеседник не был одним из агентов германской разведки, несшим пограничную службу в Хапаранде. При знании двух местных языков он мог быть весьма полезен для Германии в этом пункте, контролируя выезд из России и въезд туда.

Из Хапаранды до конечной шведской станции было около двадцати семи километров пути (на втором году войны там была построена железнодорожная ветка). Мне удалось получить место в автомашине — маленьком форде, в котором, кроме меня, ехали три офицера саперных войск, командированные в Лондон для закупки автомобилей. Они ни слова не говорили на иностранных языках и, по-видимому, вообще в первый раз выезжали за границу. Свой багаж они везли в не приспособленных для дальних переездов картонках, которые постоянно рассыпались. Неутомимым спасителем их был приставленный к ним провожатый-англичанин. Он при всех затруднениях оказывался на высоте положения. Не получив места в автомобиле, англичанин нанял велосипед и с полным хладнокровием появился за одну минуту до отхода шведского поезда, чем несказанно обрадовал моих спутников-офицеров, сиротливо выглядывавших из вагона и крайне встревоженных его отсутствием.

В начале войны путешествие через Финляндию и Швецию, при полной неорганизованности этого пути для массового передвижения русских за границу и обратно было своего рода скачкой с препятствиями, но являло богатое поле для наблюдений. Интересны были и причины, побуждавшие того или другого путешественника

предпринять такого рода тяжелый переезд. Между прочим, моим спутником в купе оказался весьма симпатичный поляк, только что посватавшийся и оставивший невесту в Биаррице в связи с отъездом накануне войны по делам в Могилевскую губернию. Он так стремился возвратиться к своей невесте и проявлял в этом стремлении такое упорство, что оказал мне немало услуг. Мы поделили с ним все хлопоты, связанные с совместным путешествием.

В Стокгольме я застал посланником А. В. Неклюдова. Мы встречались с ним раньше в Париже, где он был советником посольства. В Стокгольме Неклюдов оказался на высоте положения. Он принимал и провожал бесконечное число русских, проезжавших в обоих направлениях, и оказывал многим из них весьма нужную поддержку. Кстати, к этому времени во все наши посольства и миссии были переведены необходимые суммы для поддержки нуждающихся соотечественников. Вероятно, никогда перед войной Стокгольм не был столь оживленным пунктом, каким он стал в 1914 г. «Гранд-отель» — весьма роскошная гостиница — был всегда переполнен проезжающими русскими. Среди них можно было видеть и наблюдающую за ними фигуру германского посланника в Стокгольме фон Люциуса, бывшего советника в Петербурге. Его многие упрекали в шпионстве. Это слово слишком легко и неправильно применялось во время войны. Конечно, как дипломат, он был, вероятно, хорошим осведомителем своего правительства. Он владел русским языком и знал в лицо многих представителей петроградского мира, а также и нашу внутреннюю жизнь. В Христиании¹ я побывал у нашего посланника Арсеньева, незадолго до того переведенного туда из Черногории. За обедом мы обменялись впечатлениями о князе, а затем короле Николае Черногорском, в отношении которого наши мнения совпали.

Переезд через Северное море не доставил ничего приятного: пароход был мал, погода весьма бурная. Приблизительно на полпути мы были остановлены английским крейсером. Прибывший офицер проверил документы пассажиров и груз парохода. Это происходило

¹ Так до 1924 г. называлась столица Норвегии город Осло.—
Прим. ред.

при столь бурной погоде, что подошедшие к нам в шлюпке моряки были в спасательных поясах. Лишь с большим трудом ее команде удалось не сломать нашего трапа, о который нещадно билась военная шлюпка. В Ньюкасле мне впервые пришлось присутствовать при сложных процедурах переезда границы воюющей державы, а отчасти и невольно участвовать в них. Пассажирам было разрешено покинуть пароход лишь на следующее утро. В течение многих часов на пароходе заседала смешанная комиссия из полицейских и таможенных чиновников, которым были вручены наши паспорта. Впрочем, наш местный консул (это был мой старый знакомый по Румынии Буткевич) был на высоте положения и сделал все возможное, чтобы облегчить для нас пограничные церемонии. Мне было разрешено покинуть пароход немедленно.

В Лондоне я побывал у нашего посла графа Бенкендорфа. В течение многих лет он с большим авторитетом занимал в Лондоне этот пост, а перед тем, как и Извольский, был довольно продолжительное время посланником в Копенгагене. Во всяком случае, надо отдать ему справедливость, Бенкендорф гораздо беспристрастнее своего парижского коллеги относился к политической обстановке, вызвавшей войну. На него ни в коем случае нельзя возвести того обвинения, которое по справедливости возводится на Извольского. К сожалению, к его голосу в Петербурге меньше прислушивались, чем к словам Извольского. К тому же он был гораздо скромнее последнего и не пытался вести за собой министерство. Как курьез могу привести слова Сазонова. Последний мне как-то говорил, что ему всегда трудно читать частные письма Бенкендорфа: он писал их от руки, весьма неразборчивым почерком, к тому же его стиль, хотя и литературный (писал он по-французски), был чересчур витиеват. Смерть Бенкендорфа во время войны вызвала вопрос о его замещении, но это оказалось так трудно сделать, по-видимому, из-за петроградских соревнований, что новый посол в Лондон не был назначен ни царским, ни Временным правительством.

Конечно, граф Бенкендорф, как и другие остзейцы, например мои начальники барон Будберг, барон Стааль фон Гольштейн и многие другие, выполнял свои обязанности под особым углом зрения. Остзейцы считали себя

не столько на русской службе, сколько на личной службе у династии Романовых, которую порой они называли полным русско-немецким именем: Романовы — Гольштейн — Готторпские. В мирное время это очень облегчало им службу по министерству иностранных дел. Они лояльно служили династии, не задаваясь никакими вопросами, от которых русские не могли отрешиться. В то время как для остзейцев центром была, конечно, династия, для русских на первом месте стояла Россия. Мне пришлось слышать от одного из своих начальников-остзейцев весьма удобное толкование обязанностей дипломата. По его словам, каждое дипломатическое представительство за границей было попросту «почтовым ящиком». То, что нам предписывал Петербург, мы должны были добросовестно передавать местному правительству. Конечно, при всех достоинствах остзейских дипломатов это лишало их, за редкими исключениями, как например барон Розен, инициативы в дипломатической деятельности. Нечего говорить, что такое отношение к делу не может быть идеалом для дипломата. Бесспорно, от центра зависит тщательный выбор дипломатического аппарата, но, раз этот выбор сделан, необходимо предоставлять заграничным представителям возможно более широкую инициативу и иметь к ним доверие. Только таким образом аппарат иностранного ведомства может быть на высоте положения и создавать вокруг государства необходимую для него атмосферу, предохраняющую его от резких толчков и перебоев извне.

Во время пребывания в Лондоне мое внимание привлекло необыкновенно большое количество плакатов, призывавших население добровольно вступать в армию. В начале войны в Англии не было обязательной воинской повинности, и армия пополнялась за счет вербовки добровольцев. По-видимому, это было нелегким делом; повсюду на улицах пестрели ярко разрисованные и подчас остроумно составленные призывы под знамена. Один плакат с изображением военной фуражки гласил, например: «Как вы думаете, пойдет ли вам эта фуражка?» Другой изображал отца, разговаривающего с сыном; последний спрашивал: «Папа, что ты делал во время великой войны?» Вербовка добровольцев проходила и так: в больших мюзик-холлах самые красивые актрисы

после исполнения патриотической песни обращались к публике с предложением поцеловать того из присутствующих, кто в этот день записался в армию. Это обыкновенно и происходило, для чего на сцену под громкие аплодисменты поднимался сконфуженный молодой человек.

На второй или на третий день после моего приезда в Лондон на всех зданиях газетных редакций появились большие светящиеся телеграммы с извещением о потоплении германскими подводными лодками двух больших английских крейсеров. Из них второй был потоплен в тот момент, когда он подошел к своему тонущему собрату. Это был один из тех моментов начала войны, когда англичане стали понимать всю серьезность положения и необходимость необычайных усилий, чтобы справиться с врагом. Дело в том, что первое время английское общественное мнение не могло привыкнуть к мысли об этом, надеясь, что Франция и Россия окажутся достаточно сильными, чтобы противостоять германским армиям. Во всяком случае в момент моего пребывания в Лондоне настроение там было весьма озабоченное. В Лондоне только что оправались от страха падения Парижа и полного уничтожения небольшой английской армии, переброшенной в первые дни войны через Ламанш во Францию. Английское население, между прочим, все еще надеялось на то, что не придется вводить всеобщей воинской повинности, и даже рассчитывало на прибытие в Англию русской армии. Мой лондонский портной наивно спрашивал меня, не видал ли я в Ньюкасле высаживающихся там русских войск.

Сообщение с Парижем в сентябре 1914 г. было очень расстроено, а багаж туда вовсе не принимался. Я был вынужден отправить его морем прямо в Бордо, куда и без того собирался заехать, чтобы передать почту и выполнить просьбу барона Розена относительно его семьи. С ручным багажом я выехал через Дьепп в Париж, куда прибыл поздно вечером. Париж, наполовину оставленный населением, был мрачен и пустынен. На вокзале мне едва удалось найти извозчика; таксомоторов не было. Они, как известно, были мобилизованы военным губернатором Парижа генералом Галинени («завоевателем» Мадагаскара) для переброски сорокатысячной армии в тыл генерала фон Клука. В одной из лучших гостиниц я

занял большой номер с ванной за восемь франков. Гости-ница была почти пуста. На следующий день пошел бродить по пустынным улицам Парижа. Больше половины магазинов было закрыто, на улицах встречалось мало прохожих. Скверы были заброшены, и весь город был как бы подернут трагическим налетом только что пережитой опасности вражеского нашествия. Пустота улиц, однако, еще более выделяла красоту линий Парижа. Внимание не отвлекалось движением экипажей и обычной толпой на тротуарах.

На следующий день я выехал в Бордо, где застал наше посольство, поместившееся в доме маркизы де Жискур, предоставившей его нам безвозмездно. В следующий проезд через Лондон и Париж мне пришлось везти вместе с дипломатической почтой брошку для маркизы, подарок Николая II в благодарность за эту услугу.

Бордо представлял в это время необыкновенное зрелище. Там находилось все французское правительство и все иностранные посольства и миссии. Город был переполнен. Не могу не отметить интересной подробности. Наше посольство выехало из Парижа в полном составе, несмотря на то что там скопилось много русских, находившихся к тому же в весьма затруднительном материальном положении. Перед опустевшим зданием посольства стояла обыкновенно громадная толпа русских, пришедших туда за помощью. Был образован местный благотворительный комитет, и лишь через несколько дней после выезда посольства в Бордо оттуда в Париж был послан один из консульских чиновников, чтобы позаботиться о русских, оставшихся во французской столице. Испанский посол Вальтерра, готовый принять на себя защиту интересов союзных держав в случае оккупации города германской армией, также остался в Париже. Довольно характерно, что после французской победы при Марне парижский кабинет потребовал отозвания Вальтерра как германофила.

Передав дипломатическую почту, я несколько дней пробыл в Бордо в ожидании багажа, который еще не прибыл из Лондона. Завтракал и обедал обычно в лучшем ресторане города. В зале ресторана собирались все посольства, причем каждое имело свой стол. Обедая за столом нашего посольства, я мог убедиться, насколько

его состав не любил Извольского. Последний обедал обыкновенно в полном одиночестве, не обмениваясь ни словом со своими подчиненными.

Я выполнил поручение Розена и съездил на один день в Аркашон, чтобы узнать о судьбе его семьи. Оказалось, что она благополучно выехала через Испанию в Грецию, и мне в этом отношении уже нечего было делать. Не могу не упомянуть об эпизоде, случившемся со мной в Аркашоне и доказывающем, насколько французское население страдало во время войны шпиономанией и к каким провокаторским приемам оно прибегало в связи с этим. Зайдя в книжный магазин, чтобы купить какую-то книгу, я остался один в комнате в ожидании хозяина, ушедшего за книгой, и от нечего делать стал рассматривать висевшую на стене карту. В это время я услышал в соседней комнате разговор двух личностей неопределенного вида. Один говорил другому: «А вот немец (бош). Он изучает нашу карту». Я, конечно, сделал вид, что не принимаю этого разговора на свой счет, но он невольно остался у меня в памяти. Вообще во время войны, а в особенности в ее начале, я был свидетелем или же слышал о многих почти невероятных проявлениях французской шпиономании и шовинизма. Характерен эпизод с советником французского посольства в Мадриде. Он как-то ехал в своем автомобиле из Биаррица в Байонну. В пути автомобиль был поврежден, и советнику пришлось покинуть машину и отправиться вместе с шофером на поиски лошадей. Собравшаяся толпа, видя брошенный автомобиль, немедленно решила, что его хозяева — немецкие шпионы. Она бросилась на автомобиль и привела его в полную негодность, разбив почти в куски. Об этом случае в Мадриде много говорили особенно потому, что указанный французский дипломат проявлял постоянно необычайный патриотизм и сделался для других союзников, и в особенности для испанцев, почти нетерпим. И именно ему пришлось пострадать от своих же, принявших его за немецкого шпиона.

В Мадриде я застал посла и членов посольства в очень подавленном настроении. Особенно тяжело переживал события барон Будберг. К тому же ему было крайне неприятно внезапно порвать все отношения со своими лучшими друзьями — германским и австро-венгерским послами. Но это было необходимо ввиду необык-

новенной ретивости, проявляемой главным образом его французским коллегой.

С самого начала войны представители обеих неприятельских коалиций сочли своим долгом давать от имени соответствующих посольств официальные сообщения в местные органы печати. Конечно, эти сообщения по своему содержанию были почти диаметрально противоположны. Поэтому за ними следовали резкие опровержения и уличения друг друга в искажении истины. Однажды подобное опровержение было настолько резко, что вызвало со стороны испанского правительства напоминание иностранным послам о необходимости несколько умерить тон газетных сообщений из уважения к испанскому правительству, при котором они все аккредитованы. В связи с этим испанский двор и правительство оказались в весьма затруднительном положении и в отношении официальных приемов дипломатического корпуса. После моего возвращения в Мадрид мне еще раз пришлось принять участие в церемонии крещения одного из сыновей короля, на котором присутствовали все дипломаты. Действительно, было странно видеть послов, рассаженных по времени вручения верительных грамот. Рядом с германским послом оказался русский, рядом с австрийским — французский, и это в то время, когда они не разговаривали друг с другом. Наконец, на одном торжестве, надо тоже сказать довольно несвоевременном, — открытии памятника в Сан-Себастьяне в память столетия освобождения этого города англичанами от французов произошел уже совсем неприятный инцидент. Очень рассеянный английский посол протянул руку германскому, а тот не подал своей. После этого испанский двор решил до окончания войны не приглашать больше дипломатический корпус на свои приемы. Вопрос был разрешен, но, надо сознаться, в ущерб дипломатам.

После вступления в войну Италии, а затем Португалии, Румынии и Греции Испания, если не считать скандинавских стран, Нидерландов и Швейцарии, оказалась единственной в Европе страной, в которой продолжали оставаться представительства всех великих держав. Это, конечно, сделало Мадрид весьма важным пунктом для деятельности всякого рода разведок и контрразведок, и надо сказать, что в этом отношении атмосфера с каждым

годом войны там все более сгущалась, а почти неизбежные встречи представителей враждебных держав становились все щекотливее. Тем не менее мы продолжали друг другу кланяться, но в разговор не вступали. Последнее было иногда весьма затруднительно. Мне помнится, как-то раз я обедал за отдельным маленьким столом в клубе. За соседний стол, стоявший почти вплотную с моим, сел австро-венгерский посол князь Фюрстенберг и завел со мной разговор. Я решил отвечать ему односложно, но не покидать своего стола. При этом, надо сознаться, я думал лишь об одном, как бы не пришел кто-либо из французов, особенно рьяно следивших за своими союзниками. Кто-то из коллег довольно остроумно заметил, что в нейтральных странах союзники так усердно следят друг за другом, что им не остается времени наблюдать за немцами. Что касается последних, то после вступления в войну Италии, а затем и Португалии они постепенно оказались совершенно отрезанными от родины. В последние годы войны инструкции им доставлялись исключительно подводными лодками, за которыми союзники вели постоянную слежку, но ввиду большой протяженности местами пустынной береговой полосы Испании осуществлять такую слежку было довольно трудно. К тому же испанское прибрежное население оказывало немецким подводным лодкам, конечно за большие деньги, содействие, снабжая их продовольствием, горючим и т. д.

С самого начала войны Испания была поставлена между двух огней, и чтобы вывести ее из состояния нейтралитета, на нее с двух сторон оказывали сильнейшее давление. Германия, например, за выступление против Англии обещала ей Гибралтар, значительную часть Марокко и даже исправление в ее пользу Франко-испанской границы. В Испании особенно убежденными германофилами были консерваторы, возглавляемые маститым государственным деятелем Маурой, но за все время войны ему не пришлось стать во главе правительства. Либералы, в особенности граф Романонес, были на стороне союзников. Что касается побывавших у власти консервативных премьеров, то это были исключительно деятели без определенного политического лица вроде Дато. Они не в состоянии были занять в испанской иностранной политике то самостоятельное положение, которое

было по плечу Мауре, пользовавшемуся в стране большой популярностью.

При дворе тоже почти одинаково сильно сказывалось влияние как союзников, так и центральных держав. Королева-мать, по происхождению эрцгерцогиня австрийская, брат которой был командующим австрийской армией на итальянском фронте, не могла, конечно, не сочувствовать центральным державам. Зато жена Альфонса XIII, королева Виктория, была по взглядам и воспитанию англичанкой. Ее отец был английским адмиралом, а оба брата, принцы Баттенбергские, переименовавшиеся во время войны в Маунт-Баттен, находились в рядах английской армии. Один из них был убит на фронте. Альфонсу XIII приходилось лавировать между двумя течениями. Его выступления в международном масштабе сводились к предложению посреднических услуг. Однако после того как союзники почувствовали себя более уверенными в своей окончательной победе, они всячески препятствовали таким попыткам испанского короля и неоднократно давали понять его правительству и ему самому, что всякого рода предложения о посредничестве с его стороны будут рассматриваться как враждебный акт.

3

В конце января 1915 г. я уехал из Мадрида на три недели, чтобы посетить наши нештатные консульства в Испании и ознакомиться с их деятельностью. Предварительно заехал в Барселону, чтобы сговориться по этому поводу с генеральным консулом князем Гагариным. Барселона во всех отношениях представляет собой противоположность Мадриду. Как я раньше говорил, Мадрид с населением приблизительно в 300—400 тысяч человек являлся исключительно административным центром, и в мое время там не было ни одного завода, за исключением мыловаренного. Барселона же с населением почти в миллион человек являлась не только главным портом Испании, но и большим промышленным центром. В самом городе и в его окрестностях сосредоточено много фабрик. Город прекрасно застроен и очень оживлен. Как на интересную подробность, можно указать на никогда не прекращающуюся жизнь в портовой части города. Боль-

шинство магазинов открыто там круглые сутки. Я наблюдал сцену, как моряк в три часа ночи заказывал себе штатское платье. Город прекрасно распланирован, имеет множество бульваров. Существует и особый род каталонской архитектуры. В Барселоне можно видеть построенные за последнее десятилетие дома в необыкновенно вычурном стиле. В них нет ни одной прямой линии. Например, на одном из бульваров стоит дом под названием Гибралтар. Издали он представляет собою скалу, напоминающую ту, на которой построена названная английская крепость.

Каталонцы имеют свой язык, во многом расходящийся с кастильским. Этот язык весьма близок к провансальскому и итальянскому. Таким образом, все прибрежное население северо-западной части Средиземного моря может свободно понимать друг друга, что облегчает весьма развитые морские сношения между Испанией, Францией и Италией.

Помимо того что Каталония до сих пор не отказалась от своих стремлений к возможно более широкой автономии, Барселона является центром революционного движения в Испании. Она служит политическим барометром для всего Испанского королевства. Там зарождались революции, там же образовывались, в особенности среди офицерства, и контрреволюционные группировки. Диктатор Испании генерал Примо де Ривера перед своим появлением в Мадриде командовал барселонским гарнизоном. Среди офицерства этого гарнизона уже во время войны образовались те офицерские хунты — союзы, на которых почти целиком был основан позднее реакционный строй Испании. Перед войной и во время ее революционное движение в Барселоне было настолько сильно, выражаясь главным образом в рабочем синдикализме, что король многие годы не решался посетить «красную» Барселону. Как известно, несмотря на все принятые меры, в одно из посещений королем этого города на него было совершено покушение.

Окрестности Барселоны необыкновенно живописны. В скалистой горной местности расположен весьма чтимый испанцами монастырь Монсеррат, или Монсальват. Этим именем воспользовался Рихард Вагнер в своих операх «Лознгрин» и «Парсифаль».

Во время войны близость Барселоны к французской границе сделала из этого города центр деятельности контрразведки всех национальностей. В особенности свирепствовала там французская контрразведка. Со мной случился курьезный случай. Я как-то зашел в агентство спальных вагонов, чтобы заказать себе место в уходящем на юг поезде, причем назвал себя и указал свое дипломатическое звание. Почему-то французу-агенту показалось это необыкновенно странным, и в результате французское консульство телеграфировало в наше, прося справки о моей, показавшейся подозрительной, личности. Подобные случаи, впрочем, происходили в Испании во время войны весьма часто. Помнится, что мне пришлось как-то убеждать англичан в том, что находившийся в Севилье русский советник посольства в Париже Севастопуло действительно русский дипломат, несмотря на свою греческую фамилию.

После Барселоны я посетил главные города испанского средиземноморского побережья: Валенсию, Аликанте, Малагу и Картахену. В этих портах существовали наши нештатные консульства. Некоторые из консулов не говорили на иностранных языках, и мне пришлось впервые применить в продолжительных разговорах неполное знание испанского языка. Одним из главных сетований со стороны испанских коммерсантов было, по словам консулов, указание на полную приостановку торговли апельсинами и лимонами с Россией. Все побережье представляет собой рощу апельсиновых и лимонных деревьев. До войны торговля фруктами с Россией была весьма значительной.

Из Малаги я проехал в Альхесирас, прославившийся конференцией¹, названной этим именем, и в Херес, известный одноименным вином, которое расходуется оттуда по всему свету. Погребов, вмещающие в себя ряды гигантских бочек, тянутся на многие километры и представ-

¹ Конференция в Альхесирасе была созвана в январе 1906 г. в связи с территориальными претензиями Германии в Марокко. На конференции, в которой участвовало 14 держав, вершителями судеб оказались Англия и Франция. Германия и Австро-Венгрия остались изолированными. Формально Марокко было признано независимым. Однако его финансы были поставлены под международный контроль, а организация марокканской полиции поручена Франции и Испании. Франция, таким образом, имела возможность усилить свое влияние в Марокко. — *Прим. ред.*

ляют собой одно из богатств Испании. Некоторые бочки, наполненные столетними винами, носят особые названия: «Наполеон», «Виктория» и т. д. Из них посетителям обычно дают попробовать только несколько капель. Старый херес имеет совершенно особый кремнистый вкус. Он, очевидно, может нравиться лишь немногим знатокам.

В Гибралтаре, к губернатору которого я имел рекомендательное письмо от английского посла в Мадриде, я пробыл около суток, осмотрел высеченные в скале многоэтажные батареи и познакомился, насколько успел, с этой крепостью, являющейся в то же время и складочным пунктом для английской торговли с Востоком. На базарах Гибралтара можно встретить гораздо больше изделий восточных, чем европейских.

Из Гибралтара на маленьком пароходике я переехал в Танжер. Этот порт долгое время был яблоком раздора между Испанией, Францией, Англией, а в последнее время и Италией. Танжер, за исключением нескольких его улиц, в 1915 г. являлся типичным восточным городом, переполненным живописным арабским населением, вид которого переносит вас сразу далеко на Восток. Когда я жил в Танжере, в нем уже господствовал тот сложный режим, который до сих пор причиняет столько хлопот западноевропейским дипломатическим канцеляриям. В то время как северная часть Марокко представляет испанскую зону, сам город и его непосредственные окрестности находятся под управлением ряда европейских держав, подписавших Альхесирасскую конвенцию. В их числе была и Россия. Нашим генеральным консулом был Воеводский, мой старый знакомый по Южной Германии; у него я и остановился. Мне вновь после Китая пришлось встретиться в Танжере с группой европейских дипломатов, поставленных в чуждые им условия и действовавших совместно, как дипломаты в Пекине, в деле «насаждения культуры» в восточном государстве. Между Пекином и Танжером много общего. Европейцам присуща та же черта — недоверие к местному населению. Во время моего посещения Танжера там было настолько неспокойно, что европейцы не решались при прогулках верхом удаляться более чем на пять километров от города — бывали случаи нападений на одиноких европейцев со стороны местного населения. Вообще европейской администрации и полиции весьма трудно разби-

ратся между различными элементами арабского населения. Например, на базаре, который посещают в большом количестве окрестные жители, я невольно задавался вопросом: кто среди этих статных одетых в белые бурнусы арабов, столь похожих друг на друга, выступал или намерен выступить с оружием в руках против иностранных порабощителей?

Испанцам, совершенно нетерпимым в религиозном отношении, конечно, особенно трудно справляться с задачей умиротворения Марокко. Мне пришлось слышать разговор между капитаном пароходика, поддерживающего сообщение между Гибралтаром и Танжером, и пассажиром-арабом. Капитан старался доказать арабу, что испанцы являются весьма благожелательными правителями Марокко и терпимо относятся к магометанской религии. На это араб задал лишь один вопрос: почему же во всей Испании нет ни одной мечети? Действительно, после изгнания мавров в Испании нет не только ни одной мечети, но даже синагоги или вообще храма не католического культа. На католическом кладбище не может быть похоронен ни один иноверец. Правда, в Мадриде существуют две капеллы — лютеранская и английская при германском и английском посольствах, но первая из них, хотя и выходит на улицу, но не украшена крестом, а вторая запрятана в глубине двора посольства. Как мне рассказал английский посол, она была перестроена из здания бывшей конюшни.

Из Танжера я проехал через Гибралтар в Кадис. Наше штатное консульство там было уже закрыто, и обязанности консула исполнял нештатный вице-консул. За последние годы после потери Испанией ее американских колоний движение судов в Кадисском порту крайне уменьшилось. Для Северной и Средней Европы имеют значение такие североиспанские порты, как Виго и Бильбао (туда шел вместе с норвежским и наш финляндский лес), а для средиземноморских стран — Барселона. Как и многие другие испанские города, Кадис представляет собой живописную декорацию в стиле былого испанского величия. Особенно живописна размываемая Атлантическим океаном крепость, построенная на морском берегу из желтого камня.

В Мадриде я застал мало перемен. Если таковые и были, то лишь в смысле постоянного сгущения военной

атмосферы и усиления пропаганды, поддерживаемой двумя воюющими коалициями. Союзные дипломаты совершенно отгородились не только от представителей центральных держав, но и от значительной части испанского общества, проявлявшего германофильские тенденции. В этом отношении весьма характерным является замечание короля, сказанное одному из союзных журналистов: «В Испании за союзников лишь я да «сволочь»» (под последним понятием Альфонс XIII, по-видимому, подразумевал настроенное социалистически и нелюбимое им рабочее население Барселоны и других портовых городов). Как бы то ни было, в остававшейся нейтральной Испании все более чувствовалось воздействие ближайших соседей — союзников: французов, агличан, а вскоре затем итальянцев и даже португальцев, вступивших в ряды союзников последними. К тому же население Испании, плохо знающее иностранцев, которых в общем недолюбливает, питает особую ненависть к французам и англичанам. В Северной Испании всякий иностранец называется «француз», а на юге — «инглез».

Весной 1915 г. я решил уехать в отпуск в Россию, куда меня вызывала семья. При этом я надеялся, что в Испанию больше не вернусь, если только министерство найдет для меня другое назначение. Кроме того, германо-австрийский фронт проходил уже близко от Варшавы, и мне необходимо было побывать в своем майорате. Пользуясь тем, что Болгария еще не вступила в войну, я решил проехать южным путем, через Италию и Балканский полуостров. В нашем посольстве в Риме я застал осложнения — результат войны. Первый секретарь посольства был внезапно уволен в отставку за поддержание знакомства с германским морским агентом. Посол А. Н. Крупенский был отозван и замещен моим бывшим начальником в Бухаресте М. Н. Гирсом. Советник же посольства, вскоре затем душевно заболевший, был уже тогда не совсем нормален. Например, он сбрил бакенбарды, которые носил всю жизнь; мне он объяснил, что бакенбарды придают ему большое сходство с Францем-Иосифом, и поэтому появиться в таком виде в Петрограде неудобно. Из Рима до Петрограда я ехал вместе с послом Крупенским.

Мы покинули Италию через Бари, хорошо знакомый мне по моему пребыванию там по пути в Цетинье. Между

прочим, я не мог не зайти в отель «Кавур», где так страдал когда-то от холода. Теперь в нем было устроено центральное отопление. Пароход из Бари доставил нас в Салоники. После десятилетнего отсутствия мне снова пришлось увидеть Грецию и снова заговорить по-гречески. Я убедился, что еще не забыл этого красивого языка.

В Салоники я попал в первый раз в жизни. Этот город был уже третий год греческим. Он был очень интересен по своим контрастам между недавним турецким и новым греческим режимом. Это сказывалось на каждом шагу. Между прочим, большой православный храм Спиридона, являвшийся в течение почти пятисот лет мечетью, снова был обращен в церковь. Греки успели поставить лишь временный иконостас, но над ним были написаны крупными буквами две даты: 1430 г. и 1912 г.¹ За время обращения храма в мечеть почти вся его живопись осталась нетронутой; поражала красота расписных сводов византийской эпохи. По-видимому, однако, этот храм впоследствии, уже при греках, сильно пострадал от пожара, уничтожившего значительную часть города. На набережной обращал на себя внимание небольшой крест, возле которого ходил часовой в критской форме; это было место убийства короля Георга. Как известно, он был убит при первом своем посещении вновь завоеванного города.

Переезд через Сербию оставил у меня тяжелое впечатление. Повсюду виднелись разрушения — следы войны. Страна вступила в новую войну, не оправившись от разорения после двух предшествовавших. Вид несчастной страны заставил меня во многом примириться с сербами.

После семилетнего перерыва я снова побывал в нашей миссии в Софии. Посланником там являлся бывший директор канцелярии министерства при графе Ламздорфе его любимец А. А. Савинский. Настроение в миссии было весьма тревожным, чувствовалось приближение разрыва с Болгарией. Против русских там уже были враждебно настроены, и я мог в этом убедиться при переезде из Рушука в Журжево через Дунай, когда с группой соотечественников возвращался в Россию. Болгар-

¹ В 1430 г. Салоники (тогда Фессалоники) были заняты турками, в 1912 г. Салоники были отвоеваны греками. — *Прим. ред.*

ские власти отнесли к нам крайне невнимательно. У меня возникли затруднения с багажом, в котором находилась дипломатическая почта. К счастью, все удалось уладить благополучно. В Бухаресте нашим посланником был мой старый знакомый по Дальнему Востоку и Петербургу С. А. Поклевский-Козелло. По принятому во время войны повсеместно обычаю союзные посланники собирались ежедневно на совещание. Французский и английский посланники каждый день завтракали у Поклевского, после чего говорили о делах. На завтраке присутствовал и весь состав миссии. Пробыв в Бухаресте лишь два дня, я выехал затем прямым путем в Петроград¹. В 1915 г. еще действовало прямое сообщение между Одессой и Петроградом; сесть на прямой поезд можно было в Кишиневе.

После недолгого пребывания в Петрограде я поехал в Варшаву, чтобы посетить, как оказалось потом, в последний раз мой майорат Вышков, конфискованный поляками немедленно после войны². В Варшаве было тревожно. Попал я туда приблизительно за месяц до ее эвакуации. По городу уже ходили смутные слухи о свертывании военных госпиталей; были и другие предвестники грядущего отступления, но большинство населения не отдавало себе еще отчета в этом. И как-то странно было слышать в одной знакомой семье споры между мужем и женой о качестве вновь наклеенных обоев. На виднеющемся через окно противоположном берегу Вислы мне уже рисовались наступающие германские полки.

В общем на родине я пробыл недолго и обратно в Испанию выехал северным путем. Последний стал гораздо удобнее. Между Хапарандой и Торнио была построена железнодорожная ветка. Этим путем ехало много иностранцев-союзников из Китая, Персии и других стран. Мне пришлось встретиться с французской семьей, знакомой по Пекину, которую я не видел около двадцати лет.

¹ За время моего кратковременного пребывания в Румынии случайно встретился с несколькими знакомыми румынами. Из разговоров с ними узнал, что, торгуя с Германией во время войны, они нажили большое состояние. Помещики вывозили в большом количестве хлеб. — *Прим. авт.*

² В 1920 г. при советском наступлении на Варшаву Вышков стал известен как место временного пребывания польского Советского правительства. — *Прим. авт.*

В Мадриде застал своего посла больным. Он все больше и больше поддавался мрачным предчувствиям, часто в интимных разговорах повторяя слова: «Все рушится». Но тем не менее он продолжал весьма добросовестно выполнять свои обязанности, поддерживая близкий контакт с союзными коллегами, которых становилось все больше по мере вступления в войну новых держав. Для обсуждения какого-то «совместного шага» у нас как-то собралось одиннадцать представителей.

В начале февраля 1916 г. из Петрограда пришла телеграмма об увольнении барона Будберга с должности посла в связи с назначением его сенатором. Вместе с тем предписывалось запросить согласие испанского правительства на назначение послом нашего посланника в Брюсселе князя Кудашева. Будберг, уже больной, весьма тяжело переживал свою отставку, в особенности потому, что был назначен не членом Государственного совета, а сенатором. Это почему-то казалось ему необыкновенно обидным. В течение нескольких дней он почти не выходил из комнаты, скрывая от коллег свою отставку, как какой-то позор. Наконец, окончательно занемог, случайно где-то простудившись; при этом он не хотел обращаться к медицинской помощи. Мне с трудом удалось привести к нему лучшего испанского профессора, а также нашего португальского коллегу-посланника, который был по профессии врачом, и притом весьма известным. По их заключению, положение посла было безнадежно. Он действительно вскоре впал в бессознательное состояние и едва мог узнавать посетителей. Своими последними словами, сказанными мне, он меня весьма тронул. Будберг озабоченно справился, почему я не получил назначения посланником в Норвегию. По его мнению, я был первым кандидатом на открывшуюся вакансию, как один из старших среди советников посольства¹.

Через два дня посла не стало, и я телеграфировал в министерство о принятии мной (кажется, в пятый раз) управления посольством.

В связи со смертью посла испанцы отнеслись к нам с большим вниманием. Через час ко мне приехали с выра-

¹ В действительности я был назначен советником лишь в 1913 г., но имел в общем большой дипломатический стаж. — *Прим. авт.*

жением соболезнования генерал-адъютант короля и первый министр граф Романонес. Меня также посетило большинство послов и в том числе папский нунций монсеньор Рагонези. Характерно, что в похоронах он все же не участвовал, потому что Будберг не был католиком.

В связи с похоронами посла мне пришлось заняться целым рядом церемониальных вопросов, которые в таких случаях играют в Испании большую роль. Все это было к тому же осложнено военной обстановкой. Помнится мое затруднительное положение, когда, провожая Романонеса, я встретил неожиданных для русского посольства гостей в лице австро-венгерского посла князя Фюрстенберга и его жены. Они обратились ко мне с просьбой позволить им проститься с телом их друга барона Будберга. Я, конечно, не считал возможным им в этом отказать, надеясь главным образом на то, что Романонес не предаст меня нашим друзьям-французам, которые, конечно, мне бы этого не простили. Другим осложнением был вопрос о том, кто будет отпевать покойного. По этому поводу ко мне зашел мой большой приятель, бельгийский поверенный в делах, с советом отнюдь не обращаться к пастору германского посольства, так как это может вызвать недовольство французов. В конце концов я с ним согласился, и Будберга отпевал английский капеллан.

По приказу короля, несмотря на то что Будберг перед смертью был уволен в отставку, русскому послу были отданы все почести, полагавшиеся при похоронах иностранного посла в Мадриде. Эти почести приравниваются к тем, которые воздаются в Испании генерал-капитану, иначе говоря, генерал-фельдмаршалу. В похоронах принимал участие весь мадридский гарнизон. В двенадцать часов дня был произведен пушечный салют. Тело посла везли на лафете, за которым шли представитель короля инфант дон Карлос, все придворные, все министерство и союзный и нейтральный дипломатический корпус. Мне помнится одно затруднение по протокольной части, возникшее из-за того, что, по словам главного испанского церемониймейстера, инфант при похоронах должен идти непосредственно за гробом, между поверенным в делах и представителем семьи покойного. Последнего в Мадриде не было. Я вышел из затруднения, попросив своего старого приятеля князя Гагарина, нашего генерального

консула в Барселоне, изобразить из себя родственника Будберга, благо среди ближайшей родни покойного была одна княгиня Гагарина.

Похороны прошли благополучно. В церемонию было включено прохождение всего мадридского гарнизона перед гробом покойного, возле которого стояли мы и инфант. На этом кончилась официальная часть; за исключением небольшого отряда войск, салютовавшего в последний раз, когда гроб опускали в могилу, никто из официального мадридского мира на кладбище не был. Это кладбище было предназначено исключительно для иноверцев, и католики его не посещали. Не могу не упомянуть в связи со смертью Будберга о трогательном эпизоде, рисующем, насколько далеко отстоят друг от друга, и не только географически, Испания и Россия и насколько трудно бывает русским, попавшим волею судеб на всю жизнь в Испанию. Я получил письмо, написанное по-русски, но подписанное испанским именем, от одной русской женщины, мне совершенно незнакомой. Оказалось, это была дочь писателя Данилевского, вышедшая замуж за испанского офицера, служившего на острове Ивиса, одном из Балеарских островов. В письме было вложено пять пезет. Она просила купить на эти деньги фиалок и положить на гроб посла. В своем письме она рассказывала о своей жизни на чужбине и о том, как она каждую неделю носит цветы на могилу двух русских матросов, случайно похороненных на этом острове.

Я запросил разрешения нашего правительства благодарить короля от имени Николая II за отданные им чрезвычайные почести умершему послу, на что получил разрешение. Попросив аудиенцию у Альфонса XIII, я был принят очень любезно, причем он показал, что может держать себя совершенно запросто, раз принимает иностранца в частной аудиенции. Мы сидели с ним в небольшом кабинете; держался он непринужденно, угощал меня папиросами и сам зажигал их. Вероятно, потому, что этот кабинет предназначался специально для аудиенций, в нем пепельниц не было, и, когда я выкурил папиросу, король убеждал меня бросить ее на пол. Я положил окурок на пьедестал стоявшей рядом статуи. Во время разговора, вспомнив о том, что несколько месяцев назад я просил его секретаря навести справки о моем майорате, оказавшемся в руках у немцев, король

предложил мне снестись через испанское генеральное консульство в Варшаве, защищавшее там русские интересы, с германскими властями о пересылке мне доходов с имения. Поблагодарив короля, я отказался от этого предложения, так как находил некорректным пользоваться своим официальным положением, чтобы устраивать частные дела при содействии властей неприятельской державы.

Незадолго перед тем мне пришлось быть принятым, также в частной аудиенции, королевой-матерью Марией-Христиной. Принимая меня в гостиной, она много говорила о своей тетке великой княгине Александре Павловне, эрцгерцогине австрийской. Она хотела показать мне столик, расписанный Александрой Павловной; он стоял неподалеку, заваленный книгами, королева стала снимать их, в чем я ей помогал, но, по-видимому, этот русский столик так давно не тревожили, что он от прикосновения развалился. Из соседней комнаты к нам на помощь пришла дежурная статс-дама. По испанскому придворному этикету королева частные аудиенции дает при открытых дверях, за которыми сидит кто-нибудь из ее придворных.

Возвращаясь к королю, я не могу не отметить, что его секретариат много работал в пользу военнопленных и раненых и вел обширную переписку о доставке сведений о них их родственникам. Король неоднократно выступал также по вопросу соблюдения воюющими державами Женевской конвенции¹, в особенности в деле помощи раненым, оставшимся на полях сражений. Значительно позже, уже в период Временного правительства, мне пришлось по указанию Петрограда обратиться лично к королю по следующему делу. Министерство часто поручало нашему посольству вести переговоры по вопросам обмена пленными. Обычно этот обмен происходил по установлению эквивалентов в лице двух обмениваемых. Через посольство прошло много десятков дел такого рода. Как известно, у нас в течение нескольких лет был интернирован униатский митрополит Шепетиц-

¹ Женевская конвенция от 22 августа 1864 г. и последующее соглашение от 6 июля 1906 г. устанавливали правила об обращении с ранеными и с медицинско-санитарным персоналом во время войны. На основе Женевской конвенции была создана организация Красного Креста. — *Прим. ред.*

кий. Во время какого-то торжественного богослужения во Львове в присутствии генерал-губернатора оккупированной нами Галиции митрополит стал молиться за Франца-Иосифа. После Февральской революции наше правительство освободило Шепетицкого в обмен на настоятеля православной церкви в Праге Рыжкова, причем русские власти разрешили митрополиту выехать за границу, не дождавшись, как это полагалось, известия о приезде нашего подлежащего обмену пленного в пределы нейтральной страны. В то время как Шепетицкий был уже в Швеции, в Петрограде стало известно, что Рыжков не только не освобожден, но предан суду и приговорен к смерти. Я обратился по этому поводу к королю, и он немедленно отправил личную телеграмму императору Карлу австрийскому. В результате Рыжков был не только помилован, но и отпущен в Россию. Подобного рода дел о военнопленных, в разрешении которых принимал участие король или его личная канцелярия, не говоря уже об испанских посольствах, было очень много. Иногда, впрочем, помощь короля выражалась несколько своеобразно. Например, сообщив как-то в посольство через свою канцелярию о том, что военнопленные его русской шефской части — Ольвиопольского уланского полка — пользуются в Австрии привилегированным положением, он просил, чтобы такие же условия были обеспечены для военнопленных его австрийских и германских шефских частей. Эта просьба носила, конечно, чересчур узкий, династический характер.

Третий год войны оказался особенно тяжелым для Испании. Давление на нее со стороны союзников все увеличивалось. С объявлением Германией усиленной подводной войны союзники начали делать настойчивые представления мадридскому правительству о недопущении к испанским берегам германских подводных лодок. В силу этого испанским прибрежным властям приходилось быть все время начеку. Иногда их подозрительность переходила всякие границы. В числе немногих десятков русских подданных, застрявших в Испании и получавших пособие от посольства, было несколько поляков, проживавших в Сан-Себастьяне. Один из них имел привычку гулять в окрестностях города, делая при этом гимнастику. Его заподозрили в том, что он подает сигналы германским подводным лодкам, и он был аресто-

ван. Посольству пришлось за него заступиться. Мне помнится, что за время управления посольством после смерти Будберга я постоянно должен был выступать со своими союзными коллегами с совместными представлениями по ряду случаев нарушения нейтралитета, в чем — правильно или нет — союзники обвиняли испанцев.

В июне 1916 г. приехал новый посол — князь Кудашев и вручил королю свои верительные грамоты. Вручение грамот несколько задержалось из-за отсутствия короля, который был в Севилье. За это время Кудашев, находившийся уже в Мадриде, успел перезнакомиться со многими испанцами. При жизни Будберга я обратил внимание на то, что наш посол стоит в стороне от испанского общества и как бы его чуждается. Оказалось, что немалой причиной этому было то, что испанские гранды, будучи весьма высокого мнения о своем положении и правах, по большей части не хотели представляться первыми иностранным послам. Послы же в свою очередь не делали этого. По моему совету Кудашев стал посещать клуб, и там я познакомил его со многими испанцами. Вопрос о представлениях отпал, так как до вручения своих грамот он мог смотреть на себя не как на посла, а как на частного путешественника. Подобный шаг оказался правильным, и у Кудашева завязались нормальные отношения с испанским обществом. После аудиенции Кудашева у короля я уехал в отпуск в Россию.

Там я застал совершенно иное положение: германское наступление повсеместно создало необычайно тяжелые условия. Все города незанятой территории империи были переполнены беженцами. Движение по железным дорогам совершенно расстроилось. Поезда шли переполненные солдатами. Население Западной России перемешалось с населением Восточной. Я побывал на Волге, где в это время с трудом была мобилизована новая десятиmillionная армия. Мне пришлось видеть много такого, о чем мы и не думали на Западе. В особенности поразили результаты принудительной эвакуации всех учреждений, фабрик, больниц и т. п. из Западной России. Так, например, в Славянске, куда я заехал к семье, которая там лечилась, находился эвакуированный из Вильно дом психических больных, оглашавших своими

криками улицы небольшого украинского курорта. Петроград с бесконечными хвостами возле лавок тоже производил тяжелое впечатление.

Вызванный телеграммой Кудашева обратно в Испанию, я выехал туда в конце июля. Мне помнится, что перед отъездом ко мне многие обращались с просьбой оказать по пути в Лондон помощь тем или другим лицам, направляющимся в Западную Европу. Это были главным образом иностранки, числившиеся в нашем Красном Кресте. Тяга из России уже началась. Меня поразило также известие о предполагаемом приезде в Россию английского фельдмаршала Китченера. По-видимому, секрет его путешествия плохо охранялся. Результат этого — гибель Китченера — всем хорошо известен. С ним потонул и мой хороший знакомый советник английского посольства в Петрограде О'Берн.

В Стокгольме я снова повидался с Неклюдовым. Во время войны наша миссия сделалась там весьма важным центром. Через Стокгольм проезжал ряд лиц, направлявшихся с западного на восточный фронт и обратно; при этом меня поразило большое количество разных польских и финляндских представителей, ведущих, по-видимому, переговоры с той, так и с другой воюющей коалицией. В то же время со всех сторон слышались разговоры о возможностях сепаратного мира. В Стокгольме же велись в это время переговоры между русскими и германскими представителями Красного Креста об обмене тяжелоранеными. Мне пришлось ехать с нашей краснокрестной делегацией, состоявшей сплошь из моих знакомых, а также присутствовать в Хапаранде, а затем в Торнио при прибытии первых поездов с нашими тяжелоранеными. В связи с этим на границу прибыл и председатель шведского Красного Креста принц Карл шведский со своей женой, принцессой Ингеборг, по происхождению датчанкой.

В Христиании у нашего посланника Гулькевича я видел группы наших военнопленных, бежавших из германского плена и возвращавшихся в Россию. Наш посланник принимал их особенно предупредительно.

В Лондоне я пробыл недолго. Там в это время, по-видимому, уже мало рассчитывали на русскую помощь, постепенно привыкая к мысли о возможном нашем выходе из рядов союзников. Приведу маленькую, но

характерную подробность. Во всех больших лондонских кинематографах в это время показывались военно-патриотические фильмы. После них на экране появлялись портреты глав союзных государств. Это сопровождалось исполнением соответствующих национальных гимнов. Портрета Николая II при этом уже не было, и русский флаг среди союзных флагов, украшавших сцену, в большинстве случаев отсутствовал. Создавалось впечатление, что англичане примирились с нашим выходом из рядов союзников. Это, вероятно, при создавшихся в России условиях считалось в Англии естественным.

Из Дувра в Кале меня доставил английский военный транспорт, на котором переправляли войска. Все военные, а также и мы, казенные пассажиры, были снабжены спасательными поясами. Это было время частых потоплений судов, поддерживавших рейсы между Англией и Францией. Рейсы стали совершенно нерегулярными, и, мне помнится, я прождал несколько дней в Лондоне, пока не попал на военный транспорт, доставивший меня во Францию.

В Париже я был принят Извольским необыкновенно любезно. Он был, кажется, весьма доволен, что его зять Кудашев попал в Мадрид. Оба посла были женаты на родных сестрах.

В Сан-Себастьяне я сразу вступил в управление посольством: князь Кудашев уезжал лечиться в Виши. В это время в Сан-Себастьяне шли спектакли русского балета Дягилева. Несмотря на военное время, балет пользовался громадным успехом, и вся королевская семья не пропускала ни одного спектакля. Мне удалось получить противоположную королевской аванложу, и я обычно приглашал туда всех союзных послов, подчеркивая этим лишний раз нашу солидарность, чему в нейтральной Испании союзники придавали особое значение. Вокруг Дягилева в Сан-Себастьяне образовался интересный артистический кружок. Успехи нашего балета очень радовали меня. Дягилева окружали и почитатели-иностранцы, как например бывший кандидат в президенты Французской республики Памс, впоследствии министр внутренних дел, американка-миллионерша мисс Эдвардс и др.

Осенью после переезда посольства в Мадрид ко мне приехали из Петрограда жена и дочь, только что окон-

чившая гимназию. Я поселился, хотя и ненадолго, в отдельной квартире. К этому времени у нас в посольстве установились весьма хорошие отношения с испанцами, и мы провели довольно нормально первые месяцы зимы вплоть до февраля 1917 г.

4

Известия о Февральской революции произвели в Мадриде очень сильное впечатление. Испанцы отнеслись к ней иначе, чем союзные державы. У последних преобладали военные расчеты, и факт смены режима в России растворялся в них. Иначе обстояло дело в Испании. Как двор, так и большинство правительственных и общественных кругов видели в революции исключительно факт падения монархического режима. В обществе слышались упреки главным образом по адресу англичан и в первую голову по адресу английского посла в Петрограде сэра Джорджа Бьюкенена. К тому же испанцы были плохо осведомлены о положении дел в Петрограде.

Для нас, представителей царского дипломатического корпуса, вопрос, оставаться ли на службе нового правительства, был разрешен довольно скоро. Быстрое признание российского Временного правительства всеми союзными державами, а затем и центральными вменяло нам в обязанность оставаться на своих постах по крайней мере до окончания войны. Присягать новому правительству нам в Мадриде, впрочем, не пришлось за неимением там православной церкви (ближайшая церковь была в Биаррице). Из царских дипломатов по своей воле ушел лишь один, именно посол в Соединенных штатах Америки Ю. П. Бахметев. Между прочим, он был женат на очень богатой американке, а потому материально был совершенно независим. С другой стороны, Временное правительство, в частности новый министр иностранных дел Милюков, вскоре приступило к постепенному обновлению состава русских представителей. Мы стали узнавать об увольнении и отставку многих наших посланников. Первыми не по своей воле ушли посланники в Лиссабоне и в Копенгагене П. С. Боткин и К. К. Буксгевден, а также поверенный в делах в Берне М. М. Бибииков. Вскоре очередь дошла и до князя Кудашева. Он получил телеграмму от Милюкова с предложе-

нием подать в отставку. Посол сообщил мне об этом на приеме во французском посольстве, сказав весьма кратко: «А знаете, мне крышка». Потом мы поехали в посольство составлять ответную телеграмму. Учитывая тон предложения министерства, мы написали, что, идя навстречу задуманному министром проекту дипломатических передвижений, посол просит о своем увольнении в отставку. Через несколько дней из Петрограда пришла вторая телеграмма с предложением Кудашеву сдать посольство мне и одновременно испросить согласие испанского правительства на назначение нового посла в лице А. А. Половцева. Мне пришлось снова вступить в управление посольством в еще более сложных условиях, к тому же жена вынуждена была уехать в Россию к оставленному там сыну. Дочь осталась со мной в Мадриде. В первые же дни моего управления в посольство из Петрограда стали поступать циркулярные телеграммы о новых порядках: посольский флаг должен был быть изменен удалением с него двуглавого орла, царские портреты должны быть вынесены, а на дипломатических паспортах и бланках посольства удалялись слова «императорское», изображение орла и т. д. Равным образом мы получили и ряд циркуляров касательно возвращения в Россию политических эмигрантов. Их было очень много в Лондоне и в Париже, но в Мадриде никого не осталось.

Испанское правительство, надо отдать ему справедливость, по мере возможности облегчило довольно сложную для меня задачу представлять новое, уже республиканское российское правительство, и сношение с ним продолжалось у меня без перебоев. Через две или три недели я получил телеграмму из Петрограда с предложением испросить согласие испанского правительства на назначение нового посла. Это был мой стокгольмский знакомый А. В. Неклюдов. Подобная перемена была лишним осложнением; в данном случае следовало учесть недавнее образование Временного правительства и осторожное к нему отношение со стороны испанцев. Я счел нужным предварительно поместить в газетах заметку о том, что вновь назначенный посол в Испании А. А. Половцев заболел и поэтому не выезжает к месту своего назначения. По этому поводу меня несколько утешил итальянский посол граф Бонин де Лонгаре. Он расска-

зал, что одному итальянскому поверенному в делах в Токио пришлось просить о согласии японского правительства последовательно на назначение послом трех кандидатов. При посещении поверенным в делах японского министра иностранных дел по поводу третьей кандидатуры последний ему заметил: «Мы согласны, но вы нам, не правда ли, скажете, когда ваш кандидат будет окончательным». Действительно, испанцы дали согласие и на назначение А. В. Неклюдова.

Надо сказать, что главные затруднения при перемене режима в Петрограде испытывали наши представители со стороны французского правительства. Оно очень нервничало и начало относиться к русским представителям за границей с некоторым недоверием.

К концу мая 1917 г. в Мадрид приехал новый посол — А. В. Неклюдов и вскоре был принят королем для вручения верительных грамот. Аудиенция состоялась по описанному выше церемониалу, но лично для меня и для секретаря посольства эта церемония была осложнена тем, что мы должны были появиться на ней не в мундирах, а во фраках. Дело в том, что в одном из циркуляров министерства было предписано всем дипломатам не надевать больше придворных мундиров. Мундиры ведомства иностранных дел можно было носить по-прежнему. У меня и у Майендорфа других мундиров, кроме придворных, не было, а заказать себе министерских не было ни времени, ни возможности. Мне помнится в связи с этим совет, данный мне республиканским французским послом, все же ехать в придворном мундире. Конечно, я не считал возможным последовать этому совету, хотя и союзническому.

Король, видя нас с Майендорфом во фраках, не упустил случая спросить о причине этого, тем более что Неклюдов был в своем посольском мундире. Кстати сказать, Альфонс XIII очень не любил видеть при дворе кого-либо в штатском. Даже американский посол, не носивший, как и все дипломаты Соединенных Штатов Америки, мундира, появлялся при дворе в несколько фантастической военной форме. Он участвовал как доброволец в испано-американской войне 1898 г. и сохранил с того времени свой добровольческий мундир. Он как-то раз надел его на придворный прием, и король просил его делать это постоянно, несмотря на то что само по себе

воспоминание о неудачной для Испании войне не могло быть приятно для Альфонса XIII.

Что касается необыкновенных мундиров, то таковых было при дворе много. В Испании существуют четыре рыцарских ордена, кавалеры которых имеют право на ношение очень ярких мундиров. В них обыкновенно появляются гранды, не имеющие военной или придворной формы.

В числе оригинальных особенностей испанского строя, быть может, первое место принадлежит средневековым пережиткам, нашедшим выражение в особых привилегиях, принадлежащих грандам. Они занимают в Испании особое место и имеют право по своему рождению на первые придворные должности. При испанском дворе сохранилась церемония, так называемая «ковертура»: гранд, который получил это звание или же достиг совершеннолетия, представляется королю и произносит речь, в которой восхваляет заслуги своего рода. Предварительно король предлагает ему надеть свой головной убор, и он говорит с королем с покрытой головой. Впрочем, этим правом он затем уже больше не пользуется. Бывают случаи, что некоторые из грандов, ввиду того что института майората в Испании не существует, впадают в бедность или же начинают вести чересчур предосудительный образ жизни. В таком случае король имеет право не допускать их ко двору. Среди самых древних родов, пользующихся правом на грандесу, на первом месте стоят роды герцогов Альба и Медина-Селия. Носитель первого имеет четырнадцать титулов, из которых каждый связан с грандесой, а второго — десять. Второму роду принадлежит весьма своеобразная привилегия, заключающаяся в следующем: при объявлении в верхней палате о восшествии на престол нового короля носитель титула герцога Медина-Селия, который всегда является членом верхней палаты, протестует против этого объявления, ссылаясь на то, что он имеет большие права на престол, чем признанный наследник. Конечно, это лишь одна формальность, но она в каждом таком случае добросовестно выполняется. Титулы гранда переходят и по женской линии. Таким образом, грандом может стать и муж наследницы-грандесы. После смерти жены такой гранд продолжает носить ее титул с добавлением слова «вдовец». Среди иностранцев имеется несколько лиц, носящих

титул испанского гранда. Между прочим, не могу не упомянуть о курьезном случае появления в Мадриде одного русского — Дурасова. Затратив много денег, он добился того, что получил от какого-то генеалога родословное дерево, дающее ему право на титул принца Анжуйского — герцога Дураццкого (по албанскому городу Дураццо). Заплатив затем тридцать с половиной тысяч песет испанскому министерству юстиции, ведающему вопросом восстановления в правах на титулы, он получил необходимое для него признание его двух титулов с правом называться кузеном короля. Приехав в Мадрид, Дурасов обратился ко мне с просьбой испросить для него аудиенцию у короля. Я не имел основания ему в этом отказать и исполнил в принятом порядке его просьбу, но король так его и не принял. Когда я как-то случайно спросил гофмаршала, чем это объясняется, он дал несколько неожиданный ответ: «Мы за Дурасовым его титулы признали, но никогда не думали, что он приедет в Мадрид». Этот эпизод может служить некоторой иллюстрацией своеобразной спекуляции титулами, которая происходит в Испании. Между прочим, и сами испанцы постоянно заняты выскиванием для себя новых фамилий и титулов. Очень часто из-за постоянной перемены имен испанцев трудно разобраться в том, кто именно носит в данное время какой-либо титул. Это вызывает порой весьма забавные недоразумения.

Довольно характерно, что во время войны французское правительство, чтобы поднять удельный вес своего посольства при мадридском дворе, назначило в качестве атташе посольства трех молодых людей из мобилизованных офицеров, носителей громких титулов, дающих право на грандесу и находящихся в родстве с испанской знатью. Это были князь де Бово, герцог Леви Мирпуа и маркиз де Ламберти. Результат получился неожиданный. Молодые люди заняли особо привилегированное положение при дворе и в обществе, но французское посольство от этого ничего не выиграло. Я как-то в шутку заметил одному из этих молодых людей: «У вас настолько хорошие связи в Мадриде, что вам прощают даже ваше положение дипломата».

Неклюдов остался весьма доволен приемом короля и протелеграфировал Милюкову, что он был принят при испанском дворе в качестве «первого представителя рус-

ского народа». Действительно как посол Временного правительства он был первый. Насколько помнится, вторым был посол в Вашингтоне Бахметев, носивший ту же фамилию, что и последний там царский посол — Ю. П. Бахметев.

Через несколько дней после вручения Неклюдовым верительных грамот я уехал надолго лечиться в Виши. По дороге остановился на несколько дней в Париже. Как раз в это время пришли известия с Восточного фронта о нашем последнем наступлении в Галиции. Как по волшебству, в Париже изменилось отношение к русским, и наши многочисленные военные, прикомандированные к союзному главному командованию, стали снова появляться в общественных местах в мундирах и снова пользоваться некоторой популярностью. В общем отношение большинства французов к происходившему в России весьма ярко характеризовалось слышанным мной как-то в трамвае замечанием мелкого французского буржуа, говорившего о русской революции: «Не беда, если эти свиньи, русские, друг друга истребляют, лишь бы при этом они убивали хотя бы по несколько бошей». В это время в Париже все было подчинено военным требованиям, и на все смотрели исключительно с этой точки зрения. В 1917 г. главным вопросом, волновавшим французов, было вступление в войну Соединенных Штатов Америки и прибытие в Бордо первых эшелонов американских войск. Вместе с тем появление американцев в истощенной войной Франции повлекло за собой ряд затруднений и недоразумений. Американское командование из них порой выходило совершенно самостоятельно, не считаясь с местной военной или гражданской администрацией. Например, американскому экспедиционному корпусу в Бордо надо было наладить связь со своим штабом в Париже, а для этого провести особый провод между этими двумя городами. Французская администрация, проявлявшая, как всегда, присущий ей бюрократизм и волокиту, долго не давала на это разрешения. Не дождавшись его, американцы самовольно, к ужасу французов, стали проводить по чужой территории свой провод. Подобных конфликтов между американцами и французами было немало.

Несмотря на военное время, Виши продолжал действовать как курорт; впрочем, большинство гостиниц

было отведено для военных, раненых и больных. Военная обстановка сказывалась на каждом шагу; так, все, даже мелкие, частные мастерские были заняты изготовлением снарядов. Мне каждый день приходилось видеть в небольшой мастерской (по-видимому, в мирное время чинившей велосипеда) двух германских военнопленных, изготовлявших снаряды. Это ясно доказывало, как во время мировой войны выполнялись положения Женевской конвенции о применении труда военнопленных. Мне пришлось также быть как-то в окрестностях По во французском авиационном парке. Там тоже широко применялся труд германских военнопленных, и, по словам французских офицеров, они работой пленных были очень довольны.

В Париже среди русских много говорилось о трагическом конце нашей дивизии, сражавшейся на Западном фронте. Как известно, после Февральской революции наши солдаты отказались участвовать в войне. Их лагерь был окружен французскими войсками и подвергнут орудийному обстрелу. Затем русские полки были разоружены, их состав раскассирован, и многие из солдат отправлены в африканские дисциплинарные батальоны. Война достигала своего апогея. Среди иностранцев во Франции производились непрерывные аресты, началась эпоха настоящего террора: процессы заподозренных в измене министров и расстрелы шпионов или просто подозрительных лиц не прекращались. Был расстрелян известный авантюрист Боло, носивший титул египетского паши и одно время пользовавшийся у некоторых французских министров большим доверием. Он был как-то даже представлен Альфонсу XIII в Сан-Себастьяне.

Через три недели я вернулся из Виши в Сан-Себастьян, где находилось наше посольство, и с разрешения Неклюдова поселился поблизости, в Биаррице, наезжая в канцелярию посольства раза два или три в неделю.

5

Из России стали приходить все более и более тревожные известия. Наконец, было получено телеграфное сообщение о конфликте между Корниловым и Керенским. В Биаррице было много русских, и эти сведения

комментировались на разные лады. К этому времени в Биарриц приехали Извольские и сняли там небольшую виллу. Мне помнится, как Извольский, к тому времени уволенный в отставку, с его безграничным тщеславием, недовольный уходом с политической сцены ранее других и, по-видимому, намекая на то, что я еще нахожусь на службе, повторял: «Мы все там будем». В Биаррице я часто встречался также с моим бывшим начальником князем Кудашевым. Он поселился у своего брата художника в небольшом домике в Пиренеях и, кажется, был сравнительно счастлив. Перед тем он перенес операцию в связи с долголетней болезнью кишечника. Его знакомые говорили, что обе операции удались вполне; второй операцией было увольнение с должности посла.

В конце августа после ликвидации переворота, задуманного Корниловым, я получил от своего коллеги Мейендорфа записку. Он звал меня приехать немедленно в Сан-Себастьян. По его словам, Неклюдов сошел с ума. В то же время моя дочь, встретившая перед тем графиню Романес, узнала, что Неклюдов подал в отставку. На следующий день утром я выехал в Сан-Себастьян и застал там в сборе весь состав посольства, а также и генерального консула в Барселоне князя Гагарина, только что прибывшего в Сан-Себастьян. Оказалось, что Неклюдов под впечатлением событий в России послал незашифрованную телеграмму Керенскому. В ней он упрекал «президента республики» в том, что тот губит Россию, и заканчивал ее сообщением о своем уходе в отставку. Не довольствуясь этим, посол разослал копии своей телеграммы союзным послам, испанскому министру иностранных дел и даже одному английскому корреспонденту для помещения в печати. Создалось действительно необыкновенное положение. Представитель российского правительства, пользуясь своим положением, начал агитацию против своего правительства, стремясь тем самым подорвать его авторитет за границей. Сговорившись со своими коллегами, я решил, согласно желанию самого посла, принять дела посольства и вступить в его управление в качестве поверенного в делах. Но здесь произошло новое осложнение. В этот день утром Неклюдов был принят королем. Последний, вероятно, из любезности, выразил желание, чтобы он не покидал своего поста. Под впечатлением этого разговора Неклю-

дов переменил свое намерение. При этом Неклюдов проявлял необычайную нервозность и даже некоторую ненормальность. Незадолго перед тем он получил известие о смерти любимого сына. Задача для меня оказалась весьма трудной. Во всяком случае дела посольства были им уже сданы, телеграмма об этом послана в Петроград. Дело ограничилось лишь неприятным объяснением с Неклюдовым. В конце концов Неклюдов все же решил уехать, и я, помнится, его провожал вместе с французским и итальянским послами. Через несколько дней, пользуясь пребыванием в Сан-Себастьяне министра иностранных дел маркиза Алусемаса, я посетил его в качестве поверенного в делах. Инцидент с Неклюдовым оказался исчерпанным. Одновременно испанским правительством было дано согласие на назначение нового посла — М. А. Стаховича, генерал-губернатора в Финляндии.

Испанское министерство иностранных дел и дипломатический корпус по обыкновению оставались до начала октября в Сан-Себастьяне. Это было очень удобно. Состав посольства был налицо. Канцелярия работала в Сан-Себастьяне, и я мог свободно наезжать туда из Биаррица. Мне не хотелось покидать его, так как это был весьма удобный наблюдательный пункт. К тому же моя дочь поступила там на курсы сестер милосердия, и я не хотел расставаться с ней.

В середине октября мне пришлось все же вернуться в Мадрид, где я нашел в канцелярии (ее состав вернулся на несколько дней раньше меня) ряд телеграмм из Петрограда и, между прочим, одобрение министерства в связи с моим вступлением в управление посольством. Временно я переехал в дом посольства (который нам сдавала внаймы одна испанская маркиза), рассчитывая на то, что новый посол примет затем контракт по найму на себя. Впрочем, мне удалось договориться с хозяйкой дома, что в случае необходимости мы будем иметь возможность отказаться от контракта до срока. Несмотря на неопределенность положения в Петрограде, отношения мои с испанским министерством иностранных дел продолжали оставаться вполне нормальными. Мы с дочерью видели многих испанцев и в то же время поддерживали прежние отношения с союзными представителями. Наступило 7 ноября. В Мадриде лишь через

несколько дней, с большим опозданием были получены официальные сведения об Октябрьской революции, и почти одновременно с этим я получил телеграмму из Парижа о том, что в Мадрид выезжает новый посол — М. А. Стахович. Еще через несколько дней пришла и циркулярная телеграмма с предложением всем русским представителям за границей оставаться на своих постах. Я имел определенные намерения отвечать, насколько это касалось меня, утвердительно, но дело осложнилось тем, что одновременно с известием об Октябрьской революции союзники начали ожесточенную кампанию против Советского правительства, и все телеграммы, посылаемые кем-либо из русских дипломатов в Петроград, не доходили по назначению, а перехватывались в пути. Первой жертвой ответа на циркулярную телеграмму оказался мой сосед по Иберийскому полуострову поверенный в делах в Лиссабоне барон Унгерн-Штернберг. Его ответная телеграмма оказалась перехваченной, а он сам подвергся полному бойкоту со стороны союзных посланников, а затем и португальского правительства, находившегося уже тогда в рядах союзников.

В нейтральной Испании мое положение было несколько легче, но все же вступать в телеграфные сношения с Петроградом было невозможно, в чем я скоро убедился и на собственном опыте.

Приблизительно через десять дней после Октябрьской революции в Мадриде появился М. А. Стахович. Он приехал из России вместе с Маклаковым, который стремился занять место русского посла в Париже. Встретив Стаховича и предоставив ему помещение в посольстве, я решил убедить его, что выданные Керенским верительные грамоты не имеют больше силы и что ему всего удобнее занять выжидательную позицию, во всяком случае не настаивать на вручении верительных грамот королю. Последний, по моему мнению, их не примет. Я старался убедить его как не профессионального дипломата простыми примерами, сравнивая его положение с посетителем театра, который предъявляет при входе билет на вчерашнее представление. Подобный билет, конечно, недействителен. Что касается меня, то до выяснения отношения испанского правительства к Советскому я считал необходимым не прерывать пока моих отношений с испанцами, раз эти отношения продолжают

существовать, так сказать, по инерции. Действительно, я каждую среду бывал на приеме у министра иностранных дел маркиза Алусемаса. Я знал его многие годы, и он ко мне привык. Стахович не хотел слушать моих доводов. По его словам, «большевистский переворот» в Петрограде — явление преходящее, и он непременно должен быть принят королем для вручения ему верительных грамот за подписью Керенского. В связи с этим он рассказал о своем пари с Маклаковым. Последний утверждал, что большевики уйдут через неделю, а Стахович был убежден, что это случится через месяц. «Как видите,— закончил Стахович,— я оказался прав» (!). Между прочим, Стахович привез мне от Терещенко предложение занять первую свободную посланническую вакансию. По-видимому, я предназначался в Гаагу. Конечно, я не мог скрыть от Стаховича своей скептической улыбки. Я был твердо убежден, что Временное правительство и, в частности, Терещенко окончательно сошли с русской сцены. Стахович продолжал настаивать на своем. Из его намеков я мог заключить, что он подозревает меня в нежелании допустить его к исполнению им дипломатических обязанностей. Я решился действовать показательно и предложил ему поехать со мной к министру иностранных дел, чтобы передать последнему перевод его верительной грамоты. Эта грамота, подписанная Керенским, начиналась обращением, принятым при сношениях президентов республик с коронованными главами правительств. Обращение было таково: «Мой дорогой и высокий друг».

Маркиз Алусемас принял Стаховича довольно сухо и сказал, что вопрос о вручении грамот зависит не от него, а от Совета министров. Он был его председателем. Я сразу понял, что подобный ответ равносителен отказу. Стахович, однако, отнесся к этим словам иначе. После свидания с министром Стахович изо дня в день стал ожидать ответа министра, нервничал и становился все более неприятным. Наконец, в ближайшую среду я обещал переговорить с маркизом Алусемасом и действительно сделал это во время дипломатического приема. Министр с улыбкой мне ответил: «Ведь грамота подписана господином Керенским, а где теперь господин Керенский?» Конечно, я ничего на этот вопрос ответить не мог. После этого «результата» положение Стаховича

в Мадриде стало еще более затруднительным. У него были всяческие планы «настоять» на вручении своих верительных грамот, прибегнуть к помощи союзных послов и т. д. Конечно, в нейтральной Испании подобные меры были напрасны. К тому же нельзя не признать, что во всех отношениях, в частности с формальной стороны, испанцы были вполне правы. Тем не менее Стахович все же не решался покинуть Мадрид или оставаться там в качестве частного лица.

Что касается меня, то после Октябрьской революции я считал, что оставаться дальше в роли представителя «покойного» правительства невозможно. Я был шесть лет советником русского посольства в Мадриде и мог поставить свой авторитет, приобретенный за это время, на службу лишь правомочного и дееспособного русского правительства, что бы ни думали об этом правительстве союзники. Поэтому я решил выяснить возможность признания испанским правительством Советского, а в случае отказа — покинуть Мадрид, где мне больше нечего было делать. Вместе с тем мне думалось, что, быть может, в Испании, как самой большой из нейтральных стран в Европе, можно будет постепенно выявить позицию Советского правительства в международном отношении. С момента заключения перемирия на Восточном фронте¹ Россия автоматически, по моему мнению, выходила из рядов союзников и становилась нейтральной. Я должен сознаться, что тот психоз, который овладел союзниками к концу 1917 г., был для меня непонятным. Трудно было предположить, что под его влиянием союзники будут действовать еще в течение нескольких лет, строго говоря, вплоть до Генуэзской конференции². Меж-

¹ Перемирие между Советской республикой и Германией было подписано 5 декабря 1917 г.

² Генуэзская конференция — конференция в Генуе (Италия), созванная по предложению Англии и заседавшая с 10 апреля по 19 мая 1922 г. Официальной целью конференции было изыскание средств «к экономическому восстановлению центральной и восточной Европы». На деле же это была попытка удушить Советскую республику «мирными» средствами. Присутствовали на конференции представители 28 государств (Советской России, Англии, Франции, Италии, Бельгии, Японии, Германии и др.). Под угрозой создания единого антисоветского фронта капиталистические страны хотели заставить Советское правительство признать долги царской России и вернуть иностранным капиталистам национализированные Советской властью фабрики, заводы и другие пред-

ду тем в Париже образовалось некое совещание бывших русских дипломатических представителей за границей. Все посольства и миссии связались с ним и обменивались шифрованными телеграммами. Все это делалось как бы «с благословения» союзников. Несмотря на то что французское правительство никогда официально не признало Маклакова послом (как и испанское — Стаховича), он все же укрепился в Париже среди русской колонии и состава посольства в качестве самозванного представителя метафизического понятия «России», а тем самым был постепенно признан если не в качестве представителя России, как страны и государства, то как представитель всех проживавших за границей русских, верных Антанте, «les bons russes» («хороших русских»), как говорили французы. По-видимому, ту же операцию задумал проделать в Мадриде и Стахович, но там почва оказалась менее благоприятной. В испанской столице никакой русской колонии не было, к тому же Испания была страной нейтральной и имела возможность оставаться на почве соблюдения международных норм, иначе говоря, не играть в прятки и не видеть в любом русском агенте представителя страны, с которой этот агент потерял всякую связь.

Как бы то ни было, в Мадриде мне пришлось считаться с тем, что возле меня находился Стахович, не попавший в послы и поэтому сделавшийся еще более рьяным агентом Антанты. Ненормальность наших взаимоотношений скоро сказалась и в том, что, когда банком была получена переведенная туда автоматически по ордеру Временного правительства сумма, причитающаяся за последнюю треть 1917 г., банк потребовал подписей от нас обоих — от меня и Стаховича, и мы кое-как

принятия. По указанию В. И. Ленина советская делегация решительно отвергла эти притязания и выдвинула свою программу восстановления Европы на основе дружественных и равноправных отношений между странами. В результате конференция ограничилась решением об образовании двух комиссий экспертов (одна — со стороны Советского правительства, другая — со стороны остальных держав) для рассмотрения неразрешенных вопросов о долгах, частной собственности и кредите. Обе комиссии должны были собраться в июне 1922 г. на конференцию в Гааге. До этого времени союзники решили не вступать в сепаратные отношения с Советской Россией. Последнее решение уже не относилось к Германии, так как она 16 апреля того же года заключила с Советской Россией Рапалльский договор. — *Прим. ред.*

поделили между собой эту сумму. Дело в том, что в сущности все расходы по посольству нес я, вплоть до оплаты его помещения за последние месяцы моего пребывания. С первого января 1918 г. хозяйка дома согласилась на прекращение контракта. Канцелярия же посольства была переведена в маленькое наемное помещение по соседству.

Будучи условно представителем России, хотя официально и не Советского правительства, я не хотел сидеть сложа руки и решил сделать все от меня зависящее, чтобы сообразовать линию посольства с проводимой Петроградом политикой и прежде всего в деле закрепления нейтрального положения России. Это, конечно, имело значение в Мадриде, где еще Временное правительство, как мне сообщил Стахович, собиралось в случае заключения общего мира начать соответствующие переговоры. Задача была нелегка, так как союзники очень зорко следили за тем, чтобы еще оставшиеся на местах представители бывшего Временного правительства подчеркивали свои союзные отношения с Антантой. Как мне помнится, моим первым шагом в деле выяснения положения посольства был ответ английскому послу на его приглашение принять участие в очередном совещании союзников по вопросу посещения Испании германскими подводными лодками. На подобных совещаниях я перед тем много раз присутствовал, но после заключения перемирия на Восточном фронте ответил сэру Артуру Гардингу, что, ввиду того что моя страна вышла из войны, я не считаю уместным принимать участие в таких совещаниях. Следующий мой шаг имел целью подчеркнуть перемену, происшедшую в отношениях между Советским правительством и правительствами центральных держав после заключения перемирия.

Как-то я встретился в гостинице «Риц», где по понедельникам обыкновенно обедали все дипломаты, с германским послом. Он первый ко мне подошел, и я счел нужным поговорить с ним несколько минут на глазах у возмущенных этим бывших наших союзников. Третьим моим шагом было по возможности поддержать в Мадриде предложение, с которым обратился ко всем воюющим державам II съезд Советов,—приступить к общим мирным переговорам. По этому поводу я одновременно обратился к председателю испанского Совета

министров (он же был министром иностранных дел), маркизу Алусемасу и к союзным послам, которых посетил по этому делу лично. Мне помнится, на приеме в английском посольстве Алусемас заговорил со мной по этому поводу. Мое обращение к нему заключалось в просьбе снова предложить посредничество Испании воюющим державам. Испанский министр обещал мне всяческое содействие, но я заранее знал, что вряд ли из этого что-либо выйдет: уж слишком часто союзники относились крайне отрицательно к подобного рода примирительным попыткам со стороны Испании. Английский и французский послы, которых я горячо убеждал в необходимости заключения общего мира, выслушали меня с интересом. Сэр Артур Гардинг обещал написать в Лондон, а Августин Тьерри (бывший французский министр финансов) обещал передать мое сообщение через одного из уезжавших в Париж чиновников посольства, но подчеркнул, что он в общем не призван поднимать там принципиальных вопросов. Мое посещение посла Соединенных Штатов Америки кончилось ничем. Хотя я и сговорился с Вилларом по телефону о часе моего посещения, но он заставил меня ждать некоторое время вместе с неофициальным представителем геджасского шейха Лутфалла. Я с этим примириться не захотел и не стал дожидаться «аудиенции» у американского посла, за что последний, по-видимому, на меня обиделся.

Что касается итальянского посла маркиза Карлотти, то мои переговоры с ним о возможной общей мирной конференции приняли другой оборот. Он первым пришел ко мне в посольство и просил передать в Петроград, если только я найду возможность это сделать, о готовности Италии пойти на мирные переговоры. Я ему обещал это сделать и, действительно, пользуясь содействием военного агента, который имел шифр для сношения с нашим главным командованием, отправил зашифрованную телеграмму в Россию, но она, как я узнал позднее, была перехвачена союзниками в Лондоне.

Конечно, Стахович со своей стороны сделал все от него зависящее, чтобы помешать мне оказать возможное содействие в установлении сношений между новым петроградским правительством и заграницей. Как я скоро узнал, он пожаловался на меня через Маклакова французскому министру иностранных дел Пишону. Этим

самым он крайне уменьшал для меня шансы на возможность сохранения нейтральных отношений с представителями обеих воюющих коалиций, но вместе с тем ставил и себя и Маклакова в положение простых французских агентов, выполняющих обязанности контрразведчиков среди русских за границей и, в частности, среди тех русских дипломатов, которые не соглашались с утопией бессмертия Временного правительства.

Как бы то ни было, работа Маклакова и Стаховича на союзников не пропала даром, и я предвидел, что мне могут даже в нейтральной Испании устроить союзнический бойкот, подобный тому, жертвой которого оказался мой лиссабонский коллега Унгерн-Штернберг. Со своей стороны Стахович мало успел в закреплении своего положения даже среди союзных представителей в Испании. Надо признать, что его попытки занять в Мадриде официальное положение, как и Ефремова в Берне, ввиду нейтралитета Испании и Швейцарии были труднее, чем задача Маклакова в Париже.

Помнится, что несколько раньше, когда я еще пытался убедить Стаховича в неправомерности занятой им позиции, в период нашего совместного с ним управления посольством, он пригласил на завтрак всех союзных представителей, за исключением английского посла, который его избегал. Во время завтрака Стахович всячески распинаялся перед союзными коллегами, говоря, что ему стыдно за русский народ. Я не мог молчанием поддерживать странные для русского представителя слова и заметил, что, вероятно, Стахович не так выразился, так как всякий народ, что бы он ни сделал, прав, как независимый суверенный участник международного общения.

Незадолго перед тем мне пришлось обратить внимание испанского правительства на неуместность передовой статьи в испанском полуофициозе «Корреспонденция д'Эспанья», поддерживаемом союзниками. В этой статье восхвалялись румыны, а русские назывались «изменниками».

Между тем во Франции после свершения Октябрьской революции и появления у власти министерства Клемансо в отношении русских начался настоящий террор. Даже до гроба преданный Франции Стахович долго дождался выдачи ему визы в Париж, а нашего секретаря

Мейендорфа, возвращавшегося в Мадрид из Швейцарии через Париж, долго задерживали во Франции, не давая визы. Мне пришлось несколько раз напоминать французам непосредственно или через испанцев об этой визе.

В трудном положении оказалась и вся балетная труппа Дягилева. В труппе оказался поляк с австрийским паспортом. Уволив его, Дягилев считал почему-то нужным сообщить об этом французам. С этого момента вся русская балетная труппа была взята под подозрение. Несмотря на то, что французский министр внутренних дел Памс был старый приятель Дягилева, французы отказали всей труппе в визе для въезда во Францию. И это несмотря на то, что труппа неоднократно во время войны давала в Париже бесплатно представления в пользу французского Красного Креста. Во всем этом, конечно, нельзя было упрекать только французских дипломатов или министра. Во Франции к этому времени все уже было в руках военного командования, а в действительности — второго отдела главного штаба, иначе говоря, французской контрразведки. Даже такой опытный дипломат, каким был французский посол в Мадриде Жоффри, предшественник Тьерри, и тот со страхом озирался на молодого офицера, прикомандированного к посольству главным штабом. Это, впрочем, не помогло, и Жоффри был вскоре уволен в отставку. Кстати о визах. Незадолго перед отставкой Жоффри ко мне обратился русский гражданин с просьбой выхлопотать ему визу во Францию. Я написал во французское посольство и вскоре получил ответ за подписью посла, что сделать это невозможно. Тем не менее через два дня ко мне пришел тот же русский и показал выданную ему визу; оказывается, она была дана ему непосредственно по приказанию из Парижа. У него там оказался какой-то знакомый депутат.

Принимая во внимание создавшуюся под давлением союзников обстановку в Мадриде, я решил при первой возможности сложить с себя звание поверенного в делах, несмотря на то, что, например, английский посол меня сильно убеждал этого не делать, а со стороны испанцев я встречал постоянно полную поддержку. Случай скоро представлялся.

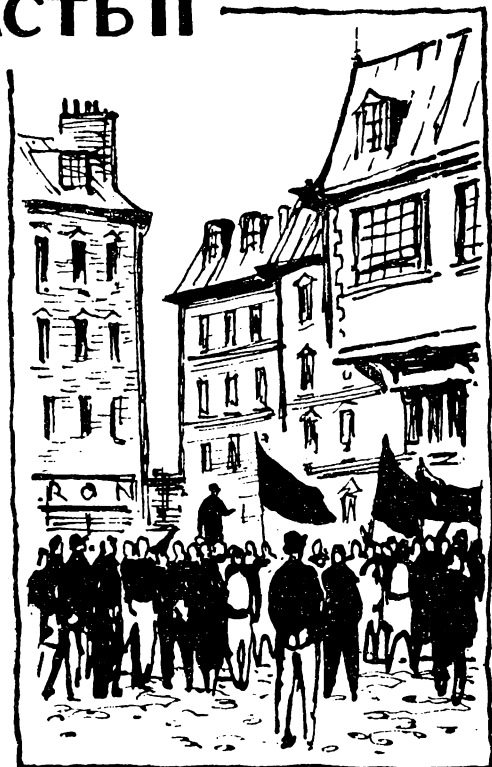
Как я говорил выше, испанский двор в течение нескольких лет войны перестал приглашать на свои приемы дипломатический корпус. Наконец, в начале января

1918 г. им было решено дать два обеда, поделив дипломатов на две группы: союзную и центральных держав. Представители нейтральных правительств были распределены между этими группами. Дня за два до первого из этих обедов я узнал от заведовавшего церемониальной частью моего старого приятеля графа де Велье, что русское посольство не предполагается приглашать ни на один из этих двух обедов. Воспользовавшись этим и приноровив свою ноту к моменту, когда приглашения еще не были разосланы, я написал министру иностранных дел приблизительно следующее: «Ввиду того что испанское правительство не признает существующего в России правительства, я считаю свою миссию оконченной, передаю дела миссии хранителю архивов, которого назову впоследствии, и прошу выдать мне и моей дочери испанские паспорта для выезда из Испании». Одновременно я просил английское и французское правительства о выдаче мне и моей дочери транзитных виз. Надо отдать справедливость, англичане поступили весьма любезно и скоро снабдили меня рекомендательными письмами и т. п., а французы — крайне неохотно и с большой проволочкой. О своем отъезде я уведомил циркулярной телеграммой также все наши заграничные представительства, считая себя к этому обязанным своими прежними коллегиальными с ними отношениями. Перед отъездом я нанес прощальные визиты всем иностранным представителям как союзных, так и центральных держав, а равно был принят в прощальной аудиенции Альфонсом XIII и королевой-матерью. Король меня принял любезно и справился в шутливой форме, как поживает «совет русских послов в Париже». Он, по-видимому, трунил над подобной новоявленной организацией. Между прочим, Альфонс XIII встретил меня фразой: «Я сожалею, что принимаю вас *«en monsieur et non en diplomate»*». Король не очень хорошо говорил по-французски: *«monsieur»* в этом смысле всего вернее переводится словом «порядочный человек», а не «частное лицо», что хотел сказать король. Это дало мне возможность ответить: «Я прежде всего порядочный человек, а лишь затем дипломат». Это был мой последний дипломатический разговор. В Мадриде я оставил в качестве хранителя архивов барона Мейендорфа, о чем и сообщил испанскому министру особой нотой.

В общем с испанцами я расстался весьма дружелюбно. Со многими из них я успел подружиться. При нашем с дочерью отъезде на вокзал, помимо знакомых испанцев, из русских присутствовала почти вся труппа нашего балета во главе с Дягилевым. Она еще не получила возможности покинуть Испанию. Но вскоре и ей это удалось благодаря содействию англичан. Балет выехал через Португалию в Англию. Французы же остались непреклонны.

Первого февраля 1918 г. я пересек испанскую границу, но успел, переночевав в Биаррице, прочитать мадридскую газету от вчерашнего дня, где моему отъезду после шестилетнего пребывания в Испании было посвящено несколько любезных строк. При этом отмечалось, что я возвращаюсь на родину (*en su país*). То же говорилось и в выданном мне испанском дипломатическом паспорте. Действительно, для меня не могло быть другой родины, кроме той, где я родился и откуда выехал около двадцати пяти лет назад, чтобы занять свой первый заграничный пост.

ЧАСТЬ II



*Мадрид —
Москва
(1918-1922)*



Телеграфные известия об Октябрьской революции доходили до Испании с опозданием и освещали события в искаженном виде. Сообщения проходили через цензуру командования, прочно державшего в то время в своих руках контроль над международными телеграфными сообщениями. Разобраться во всем, что произошло в Петрограде, не было возможности. Тем не менее для меня было ясно, что петроградские события в корне меняют положение России в отношении империалистической войны, что у нас установлен новый строй и что во всяком случае нам, русским представителям за границей, с союзниками больше не по пути. На русско-германо-австрийском фронте фактически наступило перемирие, а тем самым менялись и задачи нашей работы за границей, так как Россия становилась нейтральной.

Почти в то же время пришло известие о предложении Советского правительства всем воюющим странам начать мирные переговоры, причем мир предполагалось заключить «без аннексий и контрибуций». Таково было решение II съезда Советов от 8 ноября (26 октября) 1917 г. Вскоре это предложение было подтверждено и циркулярной нотой Наркоминдела. Новые задачи, поставленные перед представителями России за границей, по моему мнению, заключались в том, чтобы, во-первых, добиться признания нейтралитета России, а во-вторых, содействовать присоединению союзников к общим мирным переговорам, предложенным II съездом Советов.

Теперь, через пятнадцать лет, когда я нахожусь в Москве и работаю в Советском Союзе, я могу хладнокровно отнести к затруднениям, встреченным мной при попытках выполнить свой долг в рамках дипломатической деятельности в Испании. Полное освещение того, как Октябрьская революция отразилась за границей, дело будущего историка. Тем не менее бесполезно уже теперь опубликовать некоторые зарубежные подробности, связанные с этим знаменательным, и не только для России, историческим моментом. Среди материалов такого рода не последнее место занимают мемуары свидетелей того, что произошло. Пусть судят другие, правильно или нет я действовал в Мадриде в конце 1917 г., но не могу не сказать, что в момент Великой Октябрьской социалистической революции страсти в раздираемой империалистической войной Европе настолько разгорелись, что к концу 1917 г. создалась совершенно ненормальная обстановка для дипломатической работы.

В этом большую роль сыграли два обстоятельства. *Во-первых*, на четвертый год империалистической войны в союзническом центре — Париже — политика велась уже не гражданскими учреждениями, а главным штабом объединенного военного командования союзных армий, в сущности вторым отделом этого штаба, его контрразведкой, стремившейся обратить дипломатические представительства в свои подручные органы. *Во-вторых*, почти одновременно с Октябрьской революцией за границей при помощи союзников была поднята «русская» контрреволюция. В этом направлении действовали появившиеся там различные деятели отжившего Временного правительства в лице бывшего члена Государственной думы Маклакова В. А., бывшего финляндского генерал-губернатора Стаховича М. А. и других представителей свергнутого режима. Маклаков предназначался для занятия места посла в Париже, а Стахович — в Мадриде. Они вместе с их присными занялись неблагодарной задачей доказать союзникам, что петроградские события являются «случайной вылазкой» большевиков и что в России могут наступить лишь непродолжительные дни Коммуны, как это было в Париже в 1871 г.

Стахович появился в Мадриде в середине ноября. Тогда же пришла телеграмма из Петрограда, единственная, которую пропустили союзники в Мадрид. То был

циркуляр Наркоминдела, предлагавший всем находящимся на своих постах представителям российского правительства продолжать работать при Советской власти.

После шестилетнего пребывания в Мадриде мне было крайне неприятно устраивать для испанцев, так сказать, даровое представление стычки между только что прибывшим представителем переставшего существовать русского правительства и мной, уже признанным местной властью.

Не зная еще вновь прибывшего «посла», я решил соблюдать с ним полную корректность, рассчитывая, что он сам поймет ненормальность своего положения и вернется в Париж, не задерживаясь в Мадриде.

Именно поэтому я предпринял те шаги, о которых рассказал в первой части своих воспоминаний, пытаясь выяснить отношение правительства Испании к «полномочиям» Стаховича.

Что касается моего личного положения, то я считал, что находиться в Испании далее в качестве представителя России, если я не буду признан представителем Советского правительства, не имеет смысла. Но перед этим я постарался выяснить, насколько вероятно признание Советского правительства испанским хотя бы де-факто. Это имело бы значение на случай начала мирных переговоров в Мадриде.

В Испании правительственные круги, к сожалению, уже успели поддаться союзническому влиянию, и, после того как испанский поверенный в делах в Петрограде Гаррида официально признал Советское правительство, он был немедленно переведен в Константинополь.

При таких условиях для меня становилось все сомнительнее, удастся ли добиться в Мадриде признания меня, хотя бы де-факто, как советского представителя. Но, пока еще мог, я старался сделать все возможное, чтобы выполнить задачу, которую так определенно ставило перед собой наше новое правительство. Она заключалась в том, чтобы положить начало общим мирным переговорам между воюющими странами.

После ряда подготовительных шагов я решил переговорить с испанским правительством и представителями союзных и центральных держав о мирных предложениях, идущих из Петрограда, и о возможности созыва мирной конференции.

Председатель испанского Совета министров и министр иностранных дел маркиз Алусемас в разговоре с ним на эту тему отнесся к моим словам сочувственно и обещал дать ответ в кратчайший срок. Дело шло о новом посредничестве Испании между воюющими державами. Ответ, к сожалению малоутешительный, он мне дал во время приема в английском посольстве и долго на глазах у весьма заинтригованных союзных коллег разговаривал со мной на тему о предпринятых Испанией шагах.

Как бы то ни было, даже при малых шансах на успех я был удовлетворен предпринятыми мной шагами. Я был убежден, что при создавшейся в конце 1917 г. крайне напряженной и нездоровой военной обстановке мирные переговоры были единственным средством спасти Европу от губительного для всех участников войны, безразлично победителей или побежденных, страшного разорения. Однако на мирные предложения Советского правительства союзники ответили бойкотом новой России.

Совершенно особое положение в переговорах со мной занял итальянский посол маркиз Карлотти, бывший перед тем продолжительное время итальянским послом в Петербурге. Мне пришлось быть на приеме по случаю вручения им верительных грамот в 1909 г. Петроград он покинул лишь в 1916 г. Несомненно, он лучше всех своих мадридских коллег понимал смысл происшедших в России событий и их мировое значение. В ответ на мое посещение Карлотти, после того как он снесся с Римом, пришел ко мне и просил передать в Петроград согласие Италии на начало мирных переговоров. При помощи нашего помощника военного агента Кедрова я послал телеграмму военным шифром в Могилев нашему главному командованию, но, как оказалось впоследствии, телеграмма была перехвачена военными властями в Лондоне.

В связи с описанным мной весьма ответственным и трудным положением, в котором я оказался в Мадриде вследствие занятой союзниками непримиримой позиции в отношении Октябрьской революции, мне вспоминается последний официальный прием, данный мной в нашем посольстве незадолго до отъезда. В посольстве выступал русский балет Дягилева под аккомпанемент Артура Рубинштейна, который потом дал концерт. Присутство-

вало много испанцев, весь дипломатический корпус, за исключением, впрочем, французского посла. Что касается английского, то он появился с цилиндром в руках, своего рода громоотводом против возможных упреков в слишком близких отношениях ко мне, «едва ли не большевику».

Несмотря на то что испанское правительство в лице маркиза Алусемаса высказывало готовность содействовать мирным переговорам, а следовательно, и установлению каких-либо непосредственных отношений между Мадридом и Петроградом, в моем распоряжении имелся ряд фактов, доказывавших, что союзники не допустят его к такого рода мирному посредничеству. Характерно, что испанскому поверенному в делах в России не позволили официально признать Советское правительство. Это с одной стороны, а с другой — прежние попытки посредничества со стороны испанцев были резко отклонены союзниками, заявившими, что любой шаг со стороны Испании в этом смысле будет рассматриваться как враждебный воюющей коалиции акт.

Что касается Стаховича, то он, съездив за инструкциями в Париж, вернулся в Мадрид в еще более воинственном настроении и, по-видимому, как и его парижские коллеги, готов был на все, чтобы помешать установлению сношений между новым петроградским правительством и границей. Зная, что я добиваюсь непосредственных сношений с Петроградом, он сделал все зависящее от него, чтобы помешать этому. О подробностях его образа действий я коротко скажу ниже.

Что же происходило в это время в Париже? Уже 23 ноября объединенное главное командование отправило в Могилев «верховному главнокомандующему» российской армии следующее заявление: «Начальники миссий, аккредитованные при русском верховном командовании, действуя на основе определенных инструкций, полученных от их правительств через полномочных представителей в Петрограде, имеют честь предъявить самый энергичный протест русскому верховному командованию против нарушения условий договора от 5 сентября 1914 года, заключенного союзными державами, по которому союзники, включая Россию, торжественно согласились не заключать сепаратного перемирия и не прекращать военных действий.

Нижеподписавшиеся, начальники военных миссий, считают своим долгом уведомить ваше правительство, что всякое нарушение этого договора Россией повлечет за собой самые серьезные последствия»¹.

Таким образом, эта телеграмма явно подготовляла путь к разрыву отношений с Советской Россией, так как II Всероссийский съезд Советов уже обнародовал постановление о созыве мирной конференции для заключения мира «без аннексий и контрибуций». К тому же им было хорошо известно, что на Восточном фронте ведутся мирные переговоры с центральными державами и что требования стран Антанты могут лишь поставить новое правительство в затруднительное положение в отношении своих вчерашних врагов. Именно этого, по-видимому, и добивались союзники.

Как известно, внешняя политика каждого самостоятельного государства есть проявление его верховной воли, отражение его государственной, вернее, социальной сущности. Тот факт, что эта ультимативная телеграмма была послана не в Петроград, а в Могилев и не через дипломатические представительства, а через военных агентов при русском верховном командовании, свидетельствовал о том, что союзные державы не хотели официально признать Советское правительство, хотя и ставили ему косвенно ультимативные требования. Таким образом, нельзя было не убедиться, что уже в ноябре 1917 г. в Париже подготовлялась вооруженная интервенция, которая и началась весной 1918 г. Тем не менее союзные дипломаты в России оставались на своих местах, не будучи ни официально аккредитованы при Советском правительстве, ни признаны им. По-видимому, для военной дипломатии, которая являлась лишь пособницей главного командования, все приемы были хороши, вплоть до устройства заговоров. Так было во время войны в Греции², то же подготовляли военные союзные державы и в России. Но в последнем случае союзники потерпели неудачу. Они вынуждены были понемногу от-

¹ «Международная политика новейшего времени в договорах, нотах и декларациях», сост. Ю. В. Ключников и А. Сабанин, ч. II, М. 1926, стр. 92.

² Летом 1917 г. Греция вынуждена была вступить в первую империалистическую войну, так как «союзники» высадили десант на ее территории и организовали бойкот страны.— *Прим. ред.*

ступить, несмотря на все попытки «раздавить» Советское правительство. Во всяком случае нельзя не признать, что все военно-дипломатические планы Парижа в течение 1918 г. носили фантастический характер. Они были рассчитаны лишь на ближайшее время и подчинялись стратегическим требованиям данной минуты. Дипломатический корпус в Петрограде, по-видимому, вспомнив, что в обязанности дипломатов не входит играть роль заговорщиков против правительства страны, в которой он пребывает, явился в полном составе к В. И. Ленину для переговоров. Я забегаю вперед, но мне хотелось привести этот пример в доказательство того, что союзная военная дипломатия уже с конца 1917 г. готовилась ко всякого рода выступлениям, не стесняясь прибегать и к таким средствам, которые до того никогда не применялись в дипломатических сношениях.

Комическим примером военной дипломатии было появление в Мадриде самозванного посла Стаховича. Он к этому времени основательно опустил и полностью сохранял приемы, применявшиеся им, вероятно, в прежние времена на дворянских выборах в захолустных уездах. Признаться, за 25 лет моей дипломатической службы я подобного рода приемов не знал: прежний дипломатический обиход, рассчитанный на долголетнее применение, их исключал. Зная о моем желании вступить в сношения с Советским правительством, мои парижские коллеги считали меня врагом. Вернувшись из поездки в Париж, Стахович пустил в ход против меня всю свою «уездную» артиллерию. Правда, это несколько запоздало, так как к тому времени я уже подготовил все к своему отъезду из Испании.

Несогласный с политикой, которую я проводил в Мадриде как поверенный в делах России, Стахович послал на меня жалобу французскому министру иностранных дел Пишону (кстати сказать, я хорошо знал Пишона еще по Китаю и могу себе представить удивление последнего при получении телеграммы с обвинениями против русского дипломата от лица, не попавшего в дипломаты). Кроме того, Стахович доставил маркизу Алусемасу окольным путем экземпляр «Сборника секретных документов» (издание НКВД), содержащего и несколько моих секретных телеграмм, где я, между прочим, давая отчет о революционном движении в Испании летом

1917 г., говорил, что репутация Альфонса XIII идет на убыль. Наконец, произошло то, чего я хотел избежать: мы со Стаховичем перестали кланяться. Мне донельзя все это претило и было стыдно за Стаховича перед иностранцами.

Впрочем, как я уже говорил, все эти интриги лично для меня имели значение лишь своеобразного курьеза, доказывавшего, однако, что политические назначения Временного правительства были столь неудачны.

Итак, я готовился к отъезду и хотел его обставить после шести лет пребывания в Мадриде возможно корректнее в отношении местного правительства и двора, с которыми все время был в хороших отношениях.

Перед отъездом я нанес прощальные визиты иностранным представителям обеих воюющих коалиций, нейтральных стран и был принят в прощальной аудиенции Альфонсом XIII и королевой-матерью.

Во время прощальной беседы Альфонс XIII заметил, как бы между прочим: «А с вами произошел случай, еще не отмеченный в летописях дипломатии: мне стали известны ваши секретные телеграммы». С улыбкой я ответил, что за последний год так много посылал телеграмм, что не помню, было ли в них что-нибудь заслуживающего внимания моего собеседника. Как бы то ни было, расстались мы с королем вполне дружески, и я искренне поблагодарил его за все то, что было сделано им и его правительством для русских военнопленных и вообще для граждан России, находившихся в неприятельских странах.

И действительно, испанские послы в Берлине и в Вене Полоде-Барнабе и Кастро-Казалес, а также посланник в Брюсселе маркиз де Виллобар отнесли весьма ревностно к возложенным на них, порой очень сложным и не всегда приятным для нейтрального представителя, обязанностям; самому же королю удалось даже спасти жизнь одному из русских, приговоренному к смерти в Австро-Венгрии, путем непосредственного обращения по телеграфу к императору. Подобных дел по защите русских во вражеских странах прошло через наше посольство значительное количество.

После аудиенции у короля ко мне подошел один из придворных и пригласил к вдовствующей королеве Марии-Христине. Она очень любезно поговорила на проща-

ние о моем долголетнем пребывании в Мадриде, пожелала доброго пути и успешного возвращения на родину. Престарелая королева была весьма умной правительницей в трудные минуты, во время малолетства короля, когда разгорелась война с Соединенными Штатами Америки¹. Испания лишилась тогда своих последних американских колоний. После восшествия на престол Альфонса XIII королева Мария-Христина продолжала оказывать большое влияние на сына в политических делах, тем более что король, будучи способным молодым человеком, серьезно государственными делами не занимался, и править государством фактически продолжала его мать.

Королевская семья с начала войны разделилась на две группы в соответствии со своими симпатиями к той или другой воюющим сторонам. В то время, как молодая королева принцесса Баттенбергская (во время войны Баттенберги под влиянием военной пропаганды переменили свою фамилию на Маунт-Батен, т. е. перевели дословно свою фамилию на английский язык), дочь английского адмирала, была приверженцей союзников, королева-мать, как бывшая эрцгерцогиня австрийская, естественно, симпатизировала центральным державам.

Империалистическая война ввиду ее продолжительности и военной пропаганды, не гнушавшейся никакими средствами, таким же образом поделила симпатии в большинстве нейтральных стран. Там водворилась нездоровая атмосфера взаимной вражды, причем при постоянном общении разномыслящих, но близких друг к другу лиц это явление приняло еще более уродливые формы, чем между представителями воюющих государств, которые или были разделены фронтом, или же избегали друг друга, встречаясь на нейтральной территории.

Вскоре после прощальной аудиенции у Альфонса XIII я с дочерью выехал из Мадрида.

Английский посол Артур Гардинг охотно дал мне дипломатическую визу, снабдил рекомендательным письмом, в котором называл меня российским поверенным в делах в Испании, хотя официально я им уже не являлся. Мне думается, что любезность посла была далеко не личным проявлением его симпатий ко мне, а была

¹ Речь идет об испано-американской войне 1898 г.— *Прим. ред.*

скорее навеяна общеполитическими настроениями, господствовавшими в то время в Англии. К этому времени союзники испытывали на фронте большие трудности, в связи с тем что в Европу еще не прибыл американский экспедиционный корпус, о присылке которого в ноябре 1917 г. настойчиво хлопотал английский премьер Ллойд Джордж. Последний, по-видимому, не хотел закрывать для себя возможности вести мирные переговоры, предполагавшиеся по всем признакам, в случае если бы они состоялись, в Мадриде, и к ним, конечно, должна была бы быть привлечена Советская Россия — инициатор мирных предложений. В таком случае мое посредничество в Мадриде отнюдь не могло быть поставлено мне в вину. Мне даже представляется, хотя, к сожалению, я не располагаю точными данными об этом, что задержка моей телеграммы о желании Италии принять участие в мирных переговорах не прошла без каких-либо трений между двумя главными союзниками, постоянно расходившимися в своей политике во время войны. Следует, однако, заметить, что Ллойд Джордж именно в 1917 г. настоял на создании французского общего главного командования, которое затем в ряде случаев играло главенствующую роль. Вообще даже в мирное время, а еще более с начала войны несогласованность в политике по отношению к Испании двух самых влиятельных соседних с ней держав — Англии и Франции сказывалась на каждом шагу, и, как только Франция слишком сильно натягивала вожжи в своей военной политике, Англия старалась занять в отношении испанцев более примирительную позицию. Останавливаясь на этих подробностях, чтобы объяснить, почему впоследствии я очень сожалел, что не поехал через Лондон, так как в этом случае (конечно, этого нельзя было предвидеть) я попал бы в Москву почти на пять лет раньше.

Как бы то ни было, предложение Советского правительства об общем участии воюющих держав в мирных переговорах было во многих отношениях своевременно. С одной стороны, уже тогда чувствовалось, что Германия вот-вот предпримет последнее наступление на Париж, перебросив для этого освободившуюся на Восточном фронте двухмиллионную армию. А с другой стороны, Италия терпела поражение за поражением на австрийском фронте, и на помощь ей должен был прийти вспо-

могательный англо-французский корпус. Большая часть американских сил еще не была достаточно обучена для отправки в Европу. Очень возможно, что в ноябре 1917 г. Италия и Англия были близки к тому, чтобы пойти на обсуждение советских мирных предложений, но затем уступили перед настояниями Франции продолжать войну. Франция в этом случае действовала из чувства традиционной ненависти к Германии. К тому же в последний период войны парижские правящие круги находились под влиянием русской контрреволюционной эмиграции, убеждавшей их, что новое петроградское правительство весьма непрочное и просуществует лишь несколько недель.

Для отъезда все было готово. У меня на руках дипломатический паспорт, в котором значится, что я, советник российского посольства в Мадриде, возвращаюсь со своей дочерью на родину. Но рядом с английской и швейцарской визами (я на всякий случай взял и ту и другую) не хватало еще визы французской. Париж ее задержал, а когда она была получена, то я, к большому моему удивлению, увидел, что вместо всех льгот, любезно предоставленных мне английским посольством как дипломату, французская виза была дана с ограничением пребывания на территории Франции 24 часами. Признаюсь, это меня взорвало. Наши так называемые союзники после моей 25-летней работы в рядах русских дипломатов в непосредственном, самом близком сотрудничестве с французскими признавали меня «нежелательным» элементом и сократили до минимума время моего пребывания во Франции. При таких условиях я решил окончательно, что через Париж, а следовательно, и Лондон не поеду и направляюсь на родину, как это значилось в паспорте, через Швейцарию и Германию. Французы меня преследовали как русского за то, что я таковым и остался, заняв после перемирия на Восточном фронте нейтральную позицию, и, естественно, пожелал облегчить мирные задачи нового, Советского правительства. Положение было ясно: нормальная дипломатия была заменена дипломатией военной. Иначе не могло бы случиться, чтобы на дипломатическом паспорте нейтральной страны, каковой была Испания, поставили ограничительную транзитную визу.

•

(1918 г.)



Первого февраля 1918 г. мы с дочерью выехали из Мадрида. На вокзале нас провожали несколько испанских приятелей, помощник нашего военного агента и участники русского балета во главе с Дягилевым.

Кстати о балете. Успех труппы Дягилева в Мадриде и Сан-Себастьяне был колоссальным. Кроме того, Дягилев объединил вокруг себя многих представителей художественного мира и почитателей его таланта самых разнообразных национальностей. Будучи в течение долгого времени в испанской столице лишенным всякого русского общества, я был вполне вознагражден появлением в Испании на второй год войны дягилевского балета. Благодаря ему я познакомился с целым рядом музыкальных и других знаменитостей, как например с Игорем Стравинским, Н. Н. Кузнецовой, художником Пикассо, Нежинским, пианистом Рубинштейном, художником Ларионовым и др. Как я указывал ранее, пребывание труппы Дягилева в Мадриде затянулось вследствие той же политики самоуправства второго отдела французского главного штаба. Несмотря на мои настойчивые советы этого не делать, Дягилев как-то сам на себя донес французам. Он сообщил, что в его труппе находится в качестве секретаря австрийский подданный поляк Друбецкий, муж балерины Пфлянци. В результате весь балет подвергся бойкоту, несмотря на то что большим другом Дягилева был Памс, министр внутренних дел Франции и бывший кандидат в президенты республики. Не помогло

и то, что в Париже труппа Дягилева была хорошо известна и танцевала там в пользу французского Красного Креста. По-видимому, покровительство не только посла или министра иностранных дел, но даже и министра внутренних дел никакого значения во Франции больше не имело.

Примерно через месяц после моего отъезда труппе Дягилева удалось покинуть Мадрид, где 70 ее участников уже начали бедствовать вследствие окончания ангажементов. Благодаря содействию того же Артура Гардинга балет, наконец, выехал в Лондон через Лиссабон. Вообще лиц, пострадавших от французского террора, было в то время очень много: таковы были плоды замены дипломатии ее незаконной сестрой — дипломатией военной. Процветала политика виз и других проявлений полного произвола в отношении собственного населения и населения соседних стран, сколь бы нейтральны они ни были. Последние, по мнению французов, должны были как бы войти в пределы их все расширявшейся гегемонии.

На швейцарскую границу мы прибыли поздним вечером, так как поезд в течение дня довольно долго стоял в Лионе. В пограничном пункте Бельгарде нас ожидал весьма неприятный сюрприз. Оказалось, что швейцарскую границу с французской стороны внезапно закрыли на неопределенное время. Это, впрочем, происходило довольно часто, и потому я не имею основания думать, что подобная мера была предпринята «в мою честь».

Французский пограничный пункт Бельгард представлял собой небольшой, расположенный в горах городок с крошечной гостиницей, где мы почти в час ночи кое-как разместились.

Было начало февраля. На улице оттепель и такая слякоть, что невозможно выйти погулять. Мы не знали, куда себя девать. Невольно мы стали относиться к любому французу с той же подозрительностью, с какой местные жители, по-видимому, относились к каждому приезжему в этом затерянном в горах городке, где обыкновенно пассажирам никогда не приходится останавливаться. Чтобы убить время, мы после обеда, который нам приносили в комнату, спускались в кафе, типичное для маленького французского городка, и пили кофе. За соседними столиками сидели неопределенного вида мест-

ные жители или агенты охранки и играли кто в шахматы, кто в домино. В первый же вечер ко мне подсел весьма почтенного вида господин с седой бородой и предложил сыграть с ним в шахматы. Было понятно, что это представленный ко мне агент рангом повыше остальных, но я, конечно, ничем не показал недоверия к моему новоявленному собеседнику и тотчас согласился сыграть с ним партию, которую он любезно мне проиграл. В последующие дни нашего невольного пребывания в Бельгарде я неизменно играл со стариком две-три партии, и он мне их обычно проигрывал.

Когда отправится первый поезд, было неизвестно. Дни тянулись томительно и долго. Времени для размышлений было много. Естественно, больше всего меня занимала мысль о том, как сложатся франко-русские отношения после Октябрьской революции и острого кризиса, явившегося результатом затянувшейся империалистической войны. Показателен был факт того поднадзорного положения, в которое попали все русские, включая и нас, дипломатов, оказавшиеся в пределах досягаемости французов. Иллюстрацией могло служить и мое пребывание в Бельгарде, и все из-за того, что я пытался оставаться русским и следовать русской, а не французской политике.

Мне вспомнилась вся моя многолетняя дипломатическая служба и даже детство. Как известно, еще с конца XVII века русское дворянство воспитывало своих детей на французский лад и само устанавливало французский уклад жизни. То же было и со мной; я стал говорить по-французски раньше, чем по-русски. Мы с раннего детства близки были ко всему французскому, потому что росли в двойственной, франко-русской обстановке, которая облегчила потом заключение франко-русского союза, явившегося более чем обыкновенным политическим союзом. Он крайне сближал правящие круги бывшей империи и Франции.

За год до начала моей дипломатической службы еще в лицее мне пришлось быть свидетелем того искусственного подъема, который ознаменовал заключение франко-русского союза. Яркое впечатление у меня осталось от гастролей Сарры Бернар в 1892 г. в Михайловском театре в Петербурге. Помнится, как во время исполнения знаменитой актрисой роли Жанны д'Арк в ответ на ска-

занные ею с обычным мастерством слова «Et la France renaîtra dans la dernier Français» («И Франция возродится в последнем французе») театр огласили несмолкаемые аплодисменты. Конечно, уже впоследствии, как навязчивая мысль, меня преследовало представление, что это было время закабаления России французским капиталом и что неприступная на первый взгляд крепость российского псевдонационализма, возведенная Александром III, имела потайную дверь, легко открываемую золотым ключом, находившимся в руках мага и волшебника по финансовым делам графа Витте.

Не лишены известного интереса были и «народные» чествования прибывшей в Кронштадт в 1891 г. эскадры адмирала Жерве. Толпа требовала исполнения запрещенного до того в России французского гимна — «Марсельезы», часто произнося это слово по-своему, а именно «Митральеза», что по-французски значит пулемет. Вероятно, этой ошибке тогда никто в толпе не придавал значения как предзнаменованию грозных военных переживаний, ожидавших Россию и Францию в связи с военным союзом.

История конца XIX века, несомненно, добавит многие еще мало известные подробности этого союза, остававшегося долгое время секретным. Соглашение было подписано генералами Буадефвром и Обручевым. Характерно, что престарелый в то время министр иностранных дел Гирс, сознавая опасность этого документа и желая уменьшить свою личную ответственность перед историей, прибег к канцелярской уловке и отказался принять в архив министерства копию этого соглашения. Престарелый бюрократ чувствовал себя не в силах протестовать против решения самодержца, действовавшего как бы под впечатлением личных антипатий к Вильгельму II, а также под влиянием императрицы Марии Федоровны, датской принцессы и патриотки. Она не могла простить Пруссии участия датского Шлезвиг-Гольштейна и родственного Ганновера в 60-х годах прошлого века¹.

¹ Шлезвиг-Гольштейн в 1864 г. в результате войны между Пруссией и Австрией, с одной стороны, и Данией, с другой, перешел от Дании в совместное владение Австрии и Пруссии. В 1866 г., после победы Пруссии в войне с Австрией, Шлезвиг-Гольштейн целиком перешел во владение Пруссии. В результате этой же войны к Пруссии наряду с другими территориями было присоединено прежде самостоятельное королевство Ганноверское. — *Прим. ред.*

В первые годы службы за границей мне пришлось работать под знаком этого союза. В Пекине я как бы пережил медовый месяц франко-русского сближения. Оно было тогда еще более показательно потому, что двойственная в то время Антанта не включала Англии, остававшейся враждебной к обоим союзным странам — к России из-за азиатских дел, а к Франции из-за африканских. Между действиями русской и французской миссий в Пекине было полное согласие. В этом небольшом еще тогда дипломатическом центре подобные отношения сказывались весьма ярко. Оба империализма — русский и французский — шли рука об руку. При этом Франция занимала второе место, стремясь использовать успехи русского империализма в Северном Китае для укрепления своего влияния в Южном. Конечно, и здесь не всегда все шло гладко, и некоторые расхождения сказались уже при заключении московского секретного соглашения 1896 г. о Китайской Восточной железной дороге. Из личных воспоминаний тогдашнего французского посла в Пекине Жерара видно, что он ознакомился с текстом соглашения из записной книжки, как бы случайно забытой китайским сановником на своем письменном столе, когда тот на короткое время вышел из комнаты. Как известно, Ли Хун-чжан подписал упомянутое соглашение.

Как бы то ни было, близость между двумя миссиями была в 1895—1898 гг. неизменна. Каждый день к графу Кассини приходил Жерар, а я был близок с первым секретарем французской миссии графом Серсэ, которого в 1905 г. снова встретил в Черногории. И в Афинах, и в Цетинье, и в Бухаресте, и, наконец, в Мадриде чувствовалась согласованность в работе русских и французских дипломатов. Лишь во время войны, несмотря на ставшее как бы обязательным еще более тесное сотрудничество обоих правительств, оно сделалось несколько тягостным для русской стороны. Чувствовалось, что интересы России в течение войны постепенно отходят на второй, «служебный» план. Это сказывалось при всякой нашей военной неудаче. Получалась картина, не похожая на начало союза: уже не Франция равнялась по России, а Россия по ней. К тому же в ходе войны в Париже образовался центр, руководивший всеми военными действиями и «военной дипломатией» и взявший под свой контроль представительства других союзников.

После Октябрьской революции русские дипломаты были поставлены перед дилеммой — остаться ли с Россией или перейти на службу Франции, затушевав это признанием законности парижского «совета русских послов». Большинство моих коллег пошло на вторую комбинацию. Но в этом решении им пришлось впоследствии сильно раскаяться.

Как же понимали оставшиеся по ту сторону фронта коллеги линию моего поведения, в частности в отношении Стаховича? Как мне удалось случайно услышать, некоторые из них вроде Извольского, считавшего себя инициатором империалистической бойни, называли меня попросту «изменником». Оказывается, Извольский придумывал для меня всерьез или не всерьез всякого рода казни, а новый «посол во Франции» — Маклаков, с которым я, впрочем, никогда не встречался, говорил, как и некоторые другие: «Оставьте, это старый спор славян между собой». Если под славянами он подразумевал меня и Стаховича, то возникает вопрос, можно ли считать последнего за русского, после того как он явно перешел на сторону Франции, выступившей против России и начавшей с расстрела сражавшихся на Западном фронте русских солдат, которые, подчиняясь миролюбивым решениям Совета рабочих и солдатских депутатов, отказались воевать?

Через 12 дней наше заключение в Бельгарде окончилось. Не могу в связи с этим не рассказать забавного эпизода. Ко мне подошел проститься мой молчаливый партнер по игре в шахматы и сразу выдал действительную причину своего пребывания в Бельгарде. На мое замечание, что мы, вероятно, встретимся в поезде между Бельгардом и Женовой, он ответил мне, что из полученной им телеграммы он узнал, что оснований к его посещению Швейцарии больше нет. Он был в веселом расположении духа. Чувствовалось, что он радовался окончанию своей задачи следить за мной и с удовольствием возвращался в Париж.

Старая дипломатия имела часто обветшалые внешние формы, придавала порой значение мелочам, но во всяком случае она не теряла из виду длительный характер своей работы и не преследовала одни непосредственные задачи, поставленные военными нуждами. При многолетней дипломатической службе дипломаты вырабатывали

навык сохранять вполне корректные отношения, насколько это возможно, со всеми своими иностранными коллегами и представителями той страны, где они были аккредитованы; это было их профессиональной задачей с целью облегчения их будущей службы. Во всем мире насчитывается лишь около тысячи дипломатов — представителей всех стран, и даже после десятилетней службы каждый из них становится известен в большинстве стран. При переезде дипломата на новое место службы ему всегда предшествует полученная ранее репутация. В особенности это верно для дипломатов так называемых великих держав; хорошие отношения, завязанные между секретарями посольств, сказываются много лет позже, при встрече их на новом месте в качестве послов, посланников и советников. Естественно, что даже при натянутых по общеполитическим причинам отношениях между странами, которые они призваны представлять, между ними сохраняется определенное взаимопонимание, помогающее разрешению серьезных вопросов. Да простит мне, старому дипломату, современный читатель эти мысли профессионала, которые, несомненно, покажутся ему иллюзиями. Нельзя не отметить, что, как мне вскоре пришлось наблюдать, советская дипломатическая служба начала удачно свою работу тем, что вся ее деятельность была направлена на достижение мирных целей, на поддержание нормальных мирных отношений со всеми странами. Дипломатические задачи по существу мирные и находятся тем самым в полном противоречии с тем, что выпало на долю дипломатов, и, к сожалению, весьма многих из числа моих бывших коллег, оставшихся за рубежом, перешедших на службу империалистических держав и ставших врагами своей родины. Им пришлось в 1914—1917 гг. служить военным целям и участвовать во всех интригах, сопровождавших империалистическую войну и не имеющих ничего общего с дипломатией как таковой. Мне кажется, что в будущем дипломатия должна возродиться в Москве. Советские представители преследуют лишь мирные цели, к тому же по самому существу нашей страны работа ее представителей не имеет никакого шовинистического характера. Все национальности как в пределах СССР, так и за границей для нас одинаково близки, поскольку Советский Союз не преследует империалистических целей.

(1918 г.)



Империалистическая война представлялась совершенно безумной, когда приходилось наблюдать ее, как это случилось со мной, последовательно из двух нейтральных стран. Действительно, Швейцария еще больше, чем Испания, в течение четырех с лишним лет страдала от войны. Между тем военная обстановка уже к третьему году войны поставила Швейцарию в необычайно трудное как политическое, так и экономическое положение, однако швейцарцы выходили довольно удачно из бесконечных осложнений, вызываемых войной.

Так как в Женеве находился Международный комитет Красного Креста, швейцарцы оказывали услуги всем воюющим странам своими заботами о жертвах войны, военнопленных, больных и раненых. В результате вся Швейцария превратилась в своего рода обширный концентрационный лагерь. В ней скопилось много германских, австрийских, французских и английских интернированных раненых. В отелях и пансионах проживало большое количество лиц, лишенных возможности выехать из этой страны в каком бы то ни было направлении. То были особого рода жертвы войны. Они не допускались ни во Францию, ни на территорию центральных держав. В таком положении оказались смешанные по национальности браки, например: муж — немец, а жена — француженка, или же муж — итальянец, а жена — австриячка и наоборот. В таком же приблизительно положении ока-

зались и мы с дочкой, хотя были одной и той же национальности. Но, с трудом отделившись от французской военной дипломатии, мы были задержаны от дальнейшего путешествия тоже военной дипломатией, но теперь уже германской. Между тем я был уверен, что скоро получу визу на проезд через Германию в Советскую Россию с заездом в оккупированную немцами Польшу для урегулирования своих личных дел.

Наряду со случаями, подобными нашему, на берегах прозрачных швейцарских озер и в живописных горных местностях проживало много несчастных людей, лишенных войной возможности получения каких-либо средств из-за границы и исчерпавших весь свой кредит в скромных гостиницах и пансионах. Некоторые из них кончали жизнь самоубийством. Таким образом покончила с собой одна моя знакомая по Греции, сестра русского генерального консула в Пирее — Герихсон. Приток всяких средств из Греции был для нее прекращен, она была в долгу, казавшемся ей непомерным. Наняв лодку, она уплыла далеко от берега и бросилась в Женевское озеро.

После прибытия в Швейцарию мы выехали из Женевы в Берн, где пребывали все иностранные миссии. На следующее утро я был в германском консульстве, а затем в испанской миссии по вопросу о нужной мне визе. Дело оказалось, однако, далеко не таким легким, как я предполагал. Мы с дочерью пробыли восемь месяцев невольными гостями Швейцарии, хотя, спешу оговориться, не в очень плохих условиях; на первое время я располагал средствами, полученными от продажи моей обстановки в Мадриде, а затем нам удалось получить часть доходов с польского имения; задержав меня в Швейцарии, германские военные власти не могли отказать в уплате этих сумм. Еще во время войны в качестве защитника интересов русских граждан в неприятельских странах испанский король любезно предлагал раздобыть для меня из Варшавы полученные со времени ее оккупации неприятельскими войсками доходы с моего имения. Тогда я счел своим долгом отказаться от этого предложения, считая некорректным использовать положение русского представителя, для того чтобы получить свои частные средства, находившиеся у врага. На этот раз подобных препятствий больше не существовало, и я получил часть, правда незначительную, моих доходов,

накопившихся за последние три года у оккупационных германских властей в Польше.

Небольшой город Берн, столица Швейцарской федерации, резко отличается от большинства городов Швейцарии, превратившихся в сплошные курорты с большим количеством гостиниц и пансионатов, переполненных иностранцами. На некоторых из них, наиболее роскошных, красуется даже надпись: «Вход местным жителям воспрещается». Центром Берна в политическом отношении в 1918 г. служила самая большая гостиница «Бельвю», где помещался швейцарский штаб. Швейцарские войска были мобилизованы, на случай если Швейцарию постигнет та же участь, что и Бельгию, хотя, к счастью для швейцарцев, их армии не пришлось участвовать в военных действиях. Тем не менее среди собранных в довольно тесных помещениях войск разразилась злостная эпидемия «испанки» (роковой подарок нейтральной стране от воюющих стран). От нее умерли многие сотни солдат, а также два-три члена дипломатического корпуса в Берне. Все театры, кино и другие общественные места в течение двух недель были закрыты.

В первый же день приезда в Берн мы с дочерью отправились завтракать в гостиницу «Бельвю», где встретили нескольких знакомых и прежде всего моего бывшего коллегу, незадолго перед тем поверенного в делах Швейцарии. Попадались и другие знакомые, но я не спешил возобновлять прежние связи, хотя это и оказалось потом почти неизбежным ввиду небольших размеров Швейцарии. Даже выехав из больших центров страны, иностранцам приходится постоянно сталкиваться друг с другом.

Гостиница была переполнена всякого рода миссиями различных национальностей, работавших в нейтральной Швейцарии, главным образом по делам Красного Креста. В это время в Берне заседала комиссия по обмену тяжелоранеными между воюющими сторонами. Наладить работу этой комиссии было нелегко, так как союзники вначале не желали садиться за один стол с представителями центральных держав. Поэтому предполагалось, что переговоры сведутся к совместной работе двух делегаций в одном и том же помещении. В конце концов союзники смягчились, и было решено сесть за один стол, причем переговоры велись исключительно через предста-

вителя-швейцарца; а делегаты избегали даже разговаривать друг с другом. По-видимому, на Западном фронте союзники оказались непреклоннее, чем на Восточном. Еще в 1916 г. мне пришлось проездом остановиться в Стокгольме, где работала русско-германская комиссия по обмену пленных, и о таких затруднениях тогда не было и речи.

Когда я узнал, что на скорое получение визы рассчитывать трудно, мы уехали с дочерью на швейцарские озера и жили последовательно в Вевее, Люцерне, Фицнау и в Лозанне.

Кого только нам не пришлось перевидать за это время! В Монтрё я встретил брата бывшего египетского хедива, изгнанного англичанами из Египта за германофильство. По его рассказам, бывший хедив весьма тяготился невозможностью выехать в союзные страны, и брат хедива довольно наивно жаловался на то, что хотя он ни в чем не виноват, так как никогда германофилом не был и политикой не занимался, но на все его письма ему никто не отвечает, в том числе и бельгийский король. Между прочим, он сравнил свою участь с судьбой французского министра Мальви, которого по подозрению в сношениях с немцами сослали на пять лет в Сан-Себастьян. «Быть может, его сослали и за дело,— заканчивал свои жалобы египетский принц,— но за что же подобная участь постигла меня?»

Там же я встретил своего коллегу по Штутгарту графа Пюклера, женатого на француженке, бывшей жене французского полковника. Незадолго до войны они приехали в Штутгарт, но вскоре из-за сложных отношений с местным маленьким двором вынуждены были уехать, так как жена ни слова не говорила по-немецки, и Пюклеру пришлось выйти в отставку. Это было незадолго до войны, но французские и немецкие элементы даже в столь интернациональной среде, как дипломатическая, уже тогда никак не уживались. Война застала супругов Пюклеров во Франции, и там графа Пюклера засадили на три года в концентрационный лагерь, где он, судя по его рассказам, многого натерпелся. Я встретил его, когда он только что приехал в Швейцарию; здесь ему удалось, наконец, встретиться с женой.

Я мог бы рассказать еще о многих подобных случаях, но и этого достаточно, чтобы убедиться, какого рода во

время войны был невольный приток иностранцев в Швейцарию со всех концов Европы. Легко себе представить, какие богатые возможности для слежки секретных агентов давали обитатели больших швейцарских гостиниц. Почти все иностранцы в Швейцарии разделялись союзной контрразведкой резко на две категории: «желательных» и «нежелательных» элементов. Мне помнится, как на одном концерте бывшая великая княгиня Елена Владимировна с улыбкой заметила: «Здесь находятся и «желательные» и «нежелательные»». По-видимому, она намекала отчасти на себя как жену греческого принца Николая, брата изгнанного короля, быть может, на меня и во всяком случае на находившегося тут же советника австро-венгерской миссии де Во. В концерте участвовал известный польский пианист Радван. С ним связаны у меня приятные воспоминания. Помнится, как он давал небольшому кружку своих знакомых концерты при лунном освещении в своей комнате, выходившей окнами на озеро. Он прекрасно исполнял Шопена; большую прелесть музыке придавала обстановка. Электричество, впрочем, не зажигалось, так как в числе слушателей находились представители двух враждебных коалиций, которых он друг с другом не знакомил. Для этого темнота была уместна.

Говоря о встречах со знакомыми в Швейцарии, я не могу не остановиться подробнее на встрече с бывшим греческим королем Константином и всей его семьей, проживавшими в Швейцарии в качестве изгнанников. Как известно, король Константин был насильственно удален из Афин союзниками за то, что не хотел выступать на их стороне и упорно сохранял нейтралитет. Он был заменен вторым своим сыном, Александром, вскоре довольно таинственно умершим от укуса взбесившейся обезьяны. В течение последних дней до момента вынужденного отъезда короля представители Франции — верховный комиссар Жоннар и адмирал, командовавший французской эскадрой, — производили в Греции невероятные эксперименты, причем был захвачен весь греческий флот и даже от членов королевской семьи при выезде или въезде в Пирей (порт Афин) требовали соблюдения всякого рода полицейских формальностей. Впрочем, в 1916 г. союзники производили то же и при въезде и выезде путешественников через Торнио.

Проверка паспортов велась английским морским офицером.

В мое время в Швейцарии жили одновременно и греческие монархисты, сторонники короля Константина, и венизелисты, сторонники антантофила Венизелоса, и между ними происходил ряд недоразумений. Это вызывалось главным образом союзной политикой в нейтральных странах. Мне пришлось слышать от афинских знакомых весьма резкие отзывы об этой кухне. Однажды мне кто-то передал не лишнее остроумия сравнение, ходившее в афинских гостиных: «Если бы Германия победила, то она обратила бы Европу в образцовую тюрьму, но если война закончится победой союзников, то Европа, несомненно, станет «домом умалишенных»». Сумасшедшими назывались в Греции и сами союзники. «Les fous alliés» означает по-французски одновременно как «помешанные союзники», так и «буйнопомешанные».

С королем Константином XI, названным так в память византийского императора Константина X Палеолога, убитого в 1455 г. в сражении с турками у стен Византии, взявшими штурмом этот город, я встретился при следующих обстоятельствах.

При переездах по Швейцарии мы с дочерью попали как-то в Фицнау на Фирвальдштетском озере. В то время как мы пили чай в холле гостиницы, выходящем окнами на озеро, ко мне подошел молодой человек, которого я едва признал. Это был греческий наследник, будущий король Георг II, по принуждению союзников уступивший престол младшему брату. Он пригласил нас от имени отца, сидевшего в другом углу холла, присоединиться к ним. За столом сидели король, королева София, их дочь Александра, будущая румынская наследная принцесса, разведенная с Каролом II, ставшим затем королем.

На фоне серого Фирвальдштетского озера выделялась голова одетого в серый же пиджак изгнанного короля, которого я так часто видел на всякого рода приемах и парадах в Афинах под вечно голубым небом Греции. Не могу не отметить, что подобная встреча показалась мне не лишней интереса. Она подчеркивала роль Швейцарии как приюта для обломков ушедшего в историю монархического строя. Правда, король Константин вскоре вернулся, хотя и не надолго, в Грецию.

Его восстановившаяся популярность была вызвана главным образом ненавистью населения к союзникам, проделывавшим с Грецией в разгар войны невероятные эксперименты, кончившиеся тем, что страна была искусственно разделена на две части с двумя столицами — Афинами и Салониками. Во второй раз Константин процарствовал недолго и был окончательно свергнут после неудачной войны с Турцией из-за Константинополя¹, к захвату которого также неудачно стремился и его русский двоюродный брат Николай последний. В числе лиц, состоявших при бывшем короле, я встретил и старого знакомого по Афинам молодого Теотокиса, сына известного государственного деятеля, являвшегося во время моего пребывания в Греции премьер-министром. Молодой Теотокис, прозванный в афинском обществе «орленком», был военным министром во время похода греческой армии на Константинополь и после поражения, а затем при свержении монархического строя был одним из первых расстрелян новым правительством.

Встреча с греческой королевской семьей вызвала у меня ряд других воспоминаний, относящихся ко времени пребывания в Афинах. Мне вспомнились крайне ненормальные отношения между Россией и Грецией — результат феодального, вернее помещичьего, взгляда семьи Романовых на своих балканских «бедных родственников». Дипломатическому представительству было крайне трудно проводить русскую политику из-за постоянного вмешательства Романовых. Как ни странно это звучит, но и греческие «августейшие родственники» пытались вторгаться в русские дела. Для них это было облегчено тем, что петербургские родственники сплошь и рядом пасовали перед ними. Политические и семейно-династические интересы и в Афинах, и в Копенгагене или Цетинье, а порой и в Бухаресте так переплетались между собой, что для лиц, непосвященных в домашние счета, неизвестно было, где начинаются и где кончаются инте-

¹ Имеется в виду греко-турецкая война, возникшая в конце 1920 г. вследствие стремления правящих кругов Греции, подталкиваемых Англией, к захвату Константинополя. Греция потерпела поражение, ближайшим результатом которого явился военный переворот в стране. 27 сентября 1922 г. король Константин отрекся от престола в пользу своего сына Георга II и выехал за границу.— *Прим. ред.*

ресы России. Мои три последовательно сменившие друг друга начальника — посланники Ону, Щербачев и барон Розен — немало от этого страдали. Умный Ону, предвидевший по всем признакам неизбежное падение монархии и близко знавший по обстоятельствам своей службы царскую и королевскую семьи, говорил в тесном кругу миссии: «Ничего не может быть хорошего для России до тех пор, пока ею управляют люди, мнящие себя полубогами». Злосчастного Николая II Ону знал по поездке с ним в бытность его наследником на Дальний Восток в обществе греческого королевича Георгия. Последний держал себя непозволительно всю дорогу и сумел подчинить безвольного Николая. Через четыре года после вступления на престол Николай II, не считаясь со всей политической обстановкой на Ближнем Востоке и поражением, нанесенным Греции Турцией в 1907 г., сделал Георгия верховным комиссаром на Крите. В Швейцарии я встретил греческую королевскую семью уже в другом положении. Она находилась в изгнании как жертва союзного империализма, а Петроград, конечно, не являлся больше для нее покровителем.

В числе других невольных туристов мы встретили в Цюрихе испанского инфанта Альфонса Бурбонского и его жену инфанту Беатрису, младшую сестру королевы румынской Марии и бывшей великой княгини Виктории Федоровны. Инфанты жили в Цюрихе в довольно стесненных материальных условиях. Принцесса встретила меня в стареньком платье, она была занята перетапливанием масла, которого, кстати сказать, в Швейцарии во время войны было очень мало (масло приходилось продавать союзным и центральным державам в обмен на уголь, которого, как известно, в Швейцарии нет. Ввиду этого швейцарцы после войны занялись электрификацией по возможности всех своих железных дорог). Принц Альфонс, способный молодой человек и прекрасный летчик, слушал в это время лекции в Цюрихском университете, а перед тем он был слушателем в Оксфордском университете. Он много рассказывал о том, что в Англии сильно разрослось рабочее брожение и, как он ожидал, Англию должна постигнуть такая же социальная революция, как и Россию.

Время от времени я наезжал хлопотать о визе в Берн, но дело с ее получением сильно затянулось.

В середине мая 1918 г. в Берн прибыло одно из первых советских полпредств за границей. С тех пор вопрос о моей германской визе стал двигаться гораздо быстрее. Нельзя не упомянуть, что получение полпредством дома бывшей царской миссии в Берне на Юнгфрауштрассе сопровождалось враждебными выступлениями чинов бывшей российской миссии против сотрудников советского полпредства. Первые, несмотря на распоряжение швейцарских властей, не желали добровольно уступить помещение миссии советскому представительству. Эта продолжавшая как бы загробное существование миссия руководилась из Парижа «советом послов» и поддерживала сношения с весьма ограниченным кругом русских в Швейцарии; значительная же часть их вовсе не признавала ни миссии бывшего временного правительства в Берне, ни его консульства в Женеве. Вновь назначенный «посланником» в Швейцарию бывший член Государственной думы Ефремов поступил осторожнее Стаховича и появился в Швейцарии лишь на самое короткое время, не предприняв настоячивых шагов к «закреплению» представительства бывшего временного правительства в Берне. Но парижский «совет русских послов» имел своим представителем в Швейцарии молодого секретаря бывшей миссии Ону, который пытался изображать из себя «русского представителя». Подобные представительства из Парижа организовывались на некоторое время во многих европейских городах, получая определенное содержание из французской казны или из сумм бывшего царского правительства, присвоенных послом Бахметевым в Вашингтоне. Нечего и говорить, что они оказались в роли агентов союзного главного командования.

Берн 1918 г. был еще полон воспоминаний о В. И. Ленине, который оттуда начал свой знаменитый путь, когда возвращался в Россию. Мне как-то показали кафе, которое посещал Ленин, чтобы встречаться со своими друзьями. Среди швейцарцев было некоторое количество друзей, преданных русской революции.

Интересно, что Швейцарии во время мировой войны удавалось сохранять равновесие и выходить с честью порой из весьма трудных условий, в которые ее ставили воюющие коалиции. Швейцарцам удалось сохранить нейтралитет. Этого, однако, нельзя сказать о кантональных властях романской части Швейцарии. Вследствие

близкого соседства с Францией они часто во время войны становились на ультрапатриотическую французскую точку зрения, а весьма распространенная газета «Journal de Genève», выходящая в Женеве, порой оказывалась более нетерпимой ко всему неприятному для Франции, чем органы французской печати. Но отношение иностранного ведомства бернского правительства ко всем находившимся в пределах Швейцарии иностранцам оставалось обычно корректным. Во главе министерства иностранных дел стоял весьма разумный дипломат Паравичини. Я встречал его еще до войны, когда он был секретарем швейцарской миссии в Петербурге.

В Швейцарии с самого начала войны стал работать «Международный комитет Красного Креста». Он взял на себя пересылку корреспонденции и посылок, адресованных военнопленным в разных странах. На третий месяц войны он организовал в Женеве обширную канцелярию для ведения этого дела; в ней работало до 2 тысяч добровольных сотрудников. Что касается упомянутого выше интернирования военнопленных в 1918 г. в Швейцарии, то последние на этом выигрывала. Из-за войны приток туристов до крайности сократился, а за содержание своих военнопленных платили Швейцарии обе воюющие стороны. В частности, нельзя не отметить, что французские «пуалю» («poilus» — буквально «мохнатые» — так были прозваны французские солдаты самими же французами; это слово означало почему-то «храбрец») появлялись на берегах Женевского озера большими группами, держали себя не только свободно, но и вызывающе и выражались в достаточной мере нецензурно.

Мое пребывание в Швейцарии затягивалось. Дело в том, что и в Германии, как и во Франции, вопросы, касающиеся выдачи виз, на третий год войны перешли исключительно в руки военного командования. Это явилось для меня препятствием, несмотря на то что вопрос о моем въезде в Германию был энергично поддержан испанским послом в Берлине Поло де Барнабе, а к тому же я снесся непосредственно с министром иностранных дел Гинце, моим старым знакомым по Петербургу, где он был германским морским атташе в 1908 г. Меня долго кормили любезными обещаниями. По-видимому, надо было обратиться к военным властям, а этого я делать не хотел. Заступничество же дипломатов только портило дело.

Перестав верить в возможность быстро получить визу от немцев, я обратился к австро-венгерскому министру иностранных дел графу Буриану. Он долгие годы был посланником в Афинах. Буриан ответил мне через посланника в Швейцарии барона Музулина, тоже моего старого знакомого. Оказалось, что австрийцы ничего не могли сделать, ввиду того что я предварительно обратился к немцам. Как бы извиняясь за неоказанное содействие, Музулин пригласил меня с дочкой завтракать. Кстати об этом австро-венгерском дипломате. Это был единственный хорват на австро-венгерской дипломатической службе. Он был известен как хороший французский редактор, и именно ему пришлось редактировать по-французски австрийский ультиматум Сербии в 1914 г., который положил начало мировой войне. В связи с этим интересно отметить, что австро-венгерская дипломатическая служба была тщательно подобрана из представителей всех входящих в двуединую монархию национальностей, но между дипломатами преобладали национальности, так сказать, привилегированные, в особенности австрийская и венгерская; встречались также и представители польской и отчасти чешской аристократии. Что же касается русинов¹, то за всю мою службу я встретил лишь двух вице-консулов этой национальности.

Как бы то ни было, приходилось мириться с затянувшимся пребыванием в Швейцарии. Я тяготился отсутствием работы, а главное, тяжело было чувствовать, что ограничена свобода и нельзя покинуть эту небольшую, хотя и живописную, страну, в которую я никогда раньше не заезжал, так как моя дипломатическая служба не оставляла времени для туризма в Швейцарии. Отпуска же я проводил в России, куда меня вызывали дела, а позже семейные обстоятельства, так как дети поступили в учебные заведения.

Располагая свободным временем, я стал работать в последние месяцы в Швейцарии по делам оказания помощи неимущим русским. Надо сказать, что советская миссия сразу пошла навстречу делу поддержки многих бедствующих в Швейцарии русских и в первую очередь

¹ Так в официальной австро-немецкой, польской и русской литературе именовалось украинское население Галиции, Прикарпатья и Буковины.— *Прим. ред.*

наладила пересылку писем русских к их родственникам в Советской России, так как регулярной почтовой связи с ней в то время не существовало.

Наконец, в начале ноября все формальности, сопряженные с выдачей германской визы, были закончены, и, надо отдать справедливость, германская миссия сделала все возможное для моего беспрепятственного въезда в Германию. К тому же благодаря содействию нашего полпредства мне была обещана въездная виза в РСФСР, я был снабжен рекомендательным письмом. К несчастью, за несколько дней до предполагаемого моего выезда в силу приближения перемирия на Западном фронте и давления союзников на правительство Швейцарии советское полпредство вынуждено было покинуть эту страну.

Одновременно в Берне распространились слухи о начавшейся в Германии революции¹. Наступил ноябрь 1918 г. Со дня на день ожидалось перемирие на фронте, и в Лозанне, где я в последнее время жил, на светящемся транспаранте на главной площади красовались пресловутые «14 пунктов» Вильсона.

Наступал послевоенный период европейской истории. Империалистический Париж готовился распространить свою гегемонию на всю Европу. Вскоре мне пришлось в этом наглядно убедиться. Как бы обгоняя нас, быстро подвигались французы, и я, приехав в Польшу в свое имение Вышков, увидел уже попавшего туда французского офицера, строившего обращенные на восток траншеи на полях фольварка... С французами двигались и англичане, но они занимали побережье, мечтая о новых колониальных захватах путем образования полузависимых от Англии приморских стран, будь то на Балтийском, Черном или Каспийском морях. Все это происходило в атмосфере общего хаоса.

¹ Имеется в виду ноябрьская революция 1918 г. в Германии.— *Прим. ред.*

(1918 г.)



Седьмого ноября мы с дочерью пустились в дальнейшее странствование. Нельзя сказать, чтобы я, имея визы на проезд в Россию, был теперь уверен, что скоро туда попаду. Над всей Европой нависла туча послевоенных бедствий, и будущее представлялось для всех, в частности для нас с дочерью, весьма загадочным. Я избрал путь через Штутгарт, повидать который в новых условиях меня очень тянуло.

Через несколько часов пути поездом мы в Романсгорне пересели на пароход, совершавший рейсы по Боденскому озеру между Швейцарией и немецкими гаванями на этом озере. Чтобы попасть в Штутгарт, нам надо было высадиться в хорошо известном мне Фридрихсгафене. Кроме нас двоих, пассажиров на пароходе не было, и мы разговаривали только с капитаном, который с немецкой выдержкой хранил молчание о германских событиях, а может быть, он и сам, пробыв вчерашний день в швейцарских портах, мало знал о них.

В порту Фридрихсгафена было пустынно. Таможенный осмотр прошел быстро, наш багаж почти не досматривался. Поезд в Штутгарт уходил лишь вечером, и мы отправились позавтракать в гостиницу.

На первом же перекрестке я купил газету и был поражен тем, что узнал. Накануне произошло восстание флота. Со всех концов Германии поступали самые сенсационные сведения. Между прочим, сообщалось об отъезде Вильгельма II в Голландию, но официального отречения

еще не было, и страной управлял рейхсканцлер Макс Баденский.

Фридрихсгафен производил крайне мрачное впечатление; в магазинах пустые витрины, лишь в обувных магазинах можно было найти единственную, имевшуюся тогда обувь — с деревянными подошвами. Пришлось пойти в местное полицейское управление для получения временных карточек на хлеб, так как в ресторанах хлеба без карточек не давали, но к этому мы уже привыкли в Швейцарии, где карточная система также существовала. В ресторане на столике, покрытом бумагой, нам подали весьма скудный завтрак.

Вскоре мы отправились на вокзал. В вагоне никого не было, но в последний момент перед отходом поезда к нам в купе вошел пассажир. Легко было догадаться, что это полицейский агент, которому поручено сопровождать нас. В противоположность своему французскому коллеге в Бельгарде, о котором я рассказывал выше, он оказался весьма разговорчивым собеседником. Интересуясь происходящими в Германии событиями, я пытался поговорить с ним, но узнал от него по существу не так много. Если французы ко мне приставили приятного, но молчаливого наблюдателя, то немцы снабдили теперь нас более приятным собеседником. Да к тому же, впрочем, и обстановка в Германии была иная.

В Ульме, где поезд стоял около 20 минут, вокзал носил явные следы военного времени. На перроне был расположен большой буфет для раненых, сустились медсестры, было много военных и с трудом передвигавшихся раненых.

О положении в Штутгарте, Франкфурте и в других южных городах Германии ничего не было известно, и об этом ничего не мог сообщить даже приставленный ко мне любезный «осведомитель» — полицейский агент. В Штутгарте мы остановились в хорошо известной гостинице «Маркварт», куда в то время можно было попасть непосредственно с вокзала особым ходом. Встретивший нас портье, старый знакомый, поразил меня своей худобой. На нем был надет как бы чужой воротничок. Было видно, что в Германии в годы войны жилось несладко.

На следующее утро, когда я выглянул в окно, выходящее на площадь перед дворцом, мне представилось необычайное зрелище. На площади были развешаны крас-

ные флаги, из которых один был прикреплен к самой вершине украшавшего площадь памятника в ознаменование столетия Вюртембергского королевства (ставшего таковым милостью Наполеона I) ¹. Перед гостиницей собралась толпа, состоявшая наполовину из солдат, наполовину из рабочих. Я видел, как солдаты передавали рабочим свои тесаки-штыки. Создавалось впечатление, что революция в полном разгаре. Но все это происходило пока без каких-либо столкновений.

Мы отправились в город, чтобы посмотреть, что там происходит. По дороге встретили двух-трех знакомых, в том числе парикмахера, исхудавшего еще более, чем портье. Проходя мимо дворца, я увидел на нем надпись крупными буквами, сделанную мелом: «Volkseigentum» («народная собственность»). По-видимому, король уже выехал из дворца. Мне объяснили, что надпись была сделана во избежание возможного разграбления дворца толпой. На главной улице в витринах лучших магазинов было пусто, как и в Фридрихсгафене, а в окнах лучших обувных магазинов виднелась все та же обувь на деревянных подошвах.

Возвращаясь в гостиницу, мы встретили автомобиль, в котором ехали генерал, снявший погоны, матрос и рабочий, все с красными бантами, а возле шофера развевался большой красный флаг. По-видимому, то были представители только что образовавшегося Совета рабочих и солдатских депутатов, который взял в свои руки управление городом. В главном зале нашей гостиницы происходило большое собрание, на котором председательствовал тот же генерал.

Портье сообщил, что, по слухам, движение поездов на Франкфурт скоро совсем прекратится и советовал, не откладывая, продолжать путь. Так мы и сделали. Действительно, во Франкфурте, до которого мы благополучно доехали последним поездом, железнодоро-

¹ Вюртембергское королевство. По Пресбургскому миру, заключенному 26 декабря 1805 г. между Наполеоном и Австрией, вюртембергский курфюрст Фридрих I, принимавший участие в войне на стороне Наполеона, получил некоторые австрийские земли и титул короля. После этого Вюртемберг вступил в созданный Наполеоном Рейнский союз (союз южногерманских государств), фактически находившийся в вассальной зависимости от Франции.—
Прим. ред.

рожная забастовка была в полном разгаре, и вокзал был занят представителями новой власти с красными повязками на рукавах.

На следующее утро в гостинице нам сообщили, что поезд в Берлин отходит в 12 часов, но еще неизвестно, пойдет ли он дальше Галле. Мы с дочерью решили не задерживаться, сдали багаж и кое-как сели в переполненное купе. Купе занимала, по-видимому, деловая публика, и разговор шел с немецкой обстоятельностью о работе железных дорог и телеграфа, причем высказывались соображения, когда можно рассчитывать попасть в тот или другой город, получить телеграфный ответ и т. д. Слушая эти разговоры, я вспомнил такую же приблизительно поездку в переполненном купе в 1905 г., во время первой русской революции. Тогда я ехал из Варшавы в Петербург, но из Гатчины мне пришлось возвратиться: в Петербург невозможно было попасть ввиду забастовки работников железнодорожного узла. Только разговоры были тогда совсем другие, они касались широких революционных тем, преимуществ прямого, тайного и всеобщего голосования, о свободе слова, печати и т. д.

В пути кондуктор сообщил нам, что поезд дойдет до Берлина. Он провел меня в багажный вагон, и я тут же пересдал багаж на Берлин.

Добрались мы до Берлина поздним вечером. Вокзал был не освещен. При выходе из вагона наше внимание привлек разговор между пожилым пассажиром и, по-видимому, его племянником, молоденьким, бледным офицером в форме. Племянник возвращался из Швейцарии, где он был интернирован как тяжелораненый. Дядюшка, как выяснилось из разговора, убеждал его снять кокарду, но тот не хотел. И только перед самым выходом из вагона молодой человек уступил настояниям дяди.

В городе вдали слышалась стрельба. Кое-как мы добрались до гостиницы, мучил голод, а найти что-либо поесть было невозможно. Горничная сжалилась и дала нам кусок черного хлеба с чашкой кофе и таблеткой сахара.

На следующий день я занялся изучением вопроса, как нам выехать в Петроград, но вскоре выяснилось, что советское полпредство только что покинуло Берлин. Лишь на здании «украинского представительства» развевался никогда мной до того не виданный желто-голубой флаг.

Неподалеку от него возвышалась большая деревянная фигура Гинденбурга, утыканная гвоздями, вколотенными его почитателями. Среди них блестели пять золотых гвоздей — приношение болгарского царя Фердинанда.

Берлин в начале ноября 1918 г. представлял собой необычайное зрелище. На улицах то и дело раздавалась стрельба из пулеметов, и мы с дочерью несколько раз забегали в переулки, чтобы избежать шальной пули. Хотя у меня и было письмо к помощнику германского статс-секретаря по иностранным делам Надольному, я, решив выехать в тот же день, не имел времени зайти к нему и отправился в военное учреждение, ведающее выдачей виз для поездки в Польшу. Оно помещалось на Унтерден-Линден, против цейхгауза, стены которого были испещрены пулями. Все пространство перед учреждением было пусто, и толпа жалась вдоль стен, опасаясь пуль. Как бы то ни было, я перешел площадь и вошел в учреждение со сложным названием. По коридорам сновало много взволнованных чиновников и машинисток.

Получив немецкую визу, я поспешил отправиться за визой к польскому посланнику. Он выдал ее и даже любезно снабдил двумя рекомендательными письмами к начальникам ведомств в Варшаве, занимающимся майоратными делами. Впрочем, у меня уже тогда закралось сомнение в действительности выдаваемых мне в Берлине документов для Варшавы.

Нам предстояло переправить и сдать багаж на вокзал на Фридрихштрассе, отстоящий далеко от Ангальтского вокзала, возле которого находилась наша гостиница. Темнело, отовсюду слышались выстрелы.

В эти дни в Берлине, как я говорил, наблюдалось необычайное оживление. Улицы были переполнены покинувшими фронт солдатами. Это напоминало Петроград 1916 г., когда я видел его в последний раз. Большинство магазинов и банков было закрыто, и мне с трудом удалось разменять в единственном открытом банке швейцарские деньги на немецкие. Но лучше было бы этого не делать. Германская марка уже начала стремительно падать.



На вокзале мы, к счастью, нашли служащего отеля с нашим багажом. По его рассказам, он привез багаж окружным путем, избегая улиц, где шла стрельба. Благодаря дипломатическому паспорту мои три сундука были приняты, хотя по общему правилу багаж принимался в ограниченном количестве. В поезде было мрачно, пассажиров очень мало, вагоны плохо освещены. В вагоне-ресторане сидела лишь компания матросов и рабочих, оживленно о чем-то говоривших. На пограничную станцию Торн прибыли во втором часу ночи. Как только поезд остановился, послышались зловещие крики кондукторов «Alle aussteigen!» («Всем выходить!»). К тому же оказалось, что нашего багажа нет, и неизвестно было, отправлен ли он дальше, или задержался в пути. Граница была закрыта на неопределенный срок.

Со времени выезда из Мадрида мы в третий раз оказались перед закрытой границей. Переехали мы ее все же и на этот раз. Кое-как нашли приют и переночевали в маленькой гостинице. Как удалось утром выяснить, был открыт пограничный пункт Иллово. На следующее утро мы решили отправиться кружными приграничными путями и пробыли в пути целый день, пока не добрались до Иллово через Зольдау с тремя пересадками. Еще в Торне, на окружной железной дороге, мы подверглись обыску. Очевидно, подозревали, что у меня имеется оружие, и поэтому вскрыли один из чемоданов, бывших при нас. Но этим дело и ограничилось. В Зольдау власть была

в руках солдатского Совета, и на вокзале был вывешен ряд распоряжений от его имени. На последнем перегоне между Зольдау и Иллово я увидел большие толпы наших военнопленных, которых легко было узнать по нарукавной полосе коричневого цвета. При новой власти они были выпущены на свободу и самотеком направлялись к русской границе.

В Иллове происходило нечто невообразимое: с одной стороны, там скопилось много русских военнопленных, а с другой — этот маленький городок был переполнен разоруженными германскими офицерами и солдатами, выслаемыми из пределов Польши, где только что образовалось новое правительство¹.

Граница, как и в Торне, оказалась закрытой. Пришлось искать временный приют в одном из домов местечка, и нам чуть не ощупью — тьма была крошечная — удалось набрести на дом одной доброй женщины, которая согласилась нас приютить. На три дня мы и застряли у нее. На вокзале сказали, что наш багаж еще не прибыл, а возможности проехать в Польшу пока не предвидится. Есть было нечего, лишь изредка удавалось получить на вокзале порцию картофеля в виде невообразимого пюре. Наконец, на третий день, когда я во второй или третий раз посетил местного начальника пограничного пункта — германского офицера, — он согласился переправить нас через границу. Для этого он отрядил одного из унтер-офицеров, который сопровождал нас до пограничной линии. Там он нанял телегу какого-то польского крестьянина, возвращающегося порожняком в Млаву, и мы, таким образом, проехали около 11 километров между Иллово и Млавой. Путь лежал по песчаной и отчасти болотистой местности, повсюду виднелись кресты без надписей: то были могилы неизвестных солдат. Русские и немецкие рабочие и крестьяне в несчетном количестве сложили здесь свои головы за чуждые им интересы правящих классов. А мимо могил

¹ 14 ноября 1918 г. польская буржуазия, при поддержке стран Антанты, принудила уйти в отставку «регентский совет», состоявший из ставленников австро-германского командования. У власти стал Пилсудский, который был облечен правами президента и главнокомандующего армией. «Новая» Польша, по планам Франции и Англии, должна была служить барьером против «проникновения большевизма» на Запад и плацдармом для нападения на Советскую республику. — *Прим. ред.*

брили толпы военнопленных, вырвавшихся благодаря революции из плена после четырехлетнего заключения. Но настоящего мира для Европы все-таки еще не наступило.

При столь необычных обстоятельствах я снова оказался в знакомой мне с детства Польше. Последний раз мне пришлось там быть около трех лет назад, в 1915 г., когда я приезжал в Варшаву и Вышков за месяц до вступления туда германской армии. Мне невольно пришло в голову следующее сравнение. До войны, в июне 1914 г., я проехал от Мадрида до Варшавы всего два с половиной дня. Тогда только что был введен новый поезд между Мадридом и Парижем, уходящий из Мадрида по утрам. В час дня можно было попасть на сибирский экспресс, проходивший расстояние между Парижем и Варшавой за 30 часов. На этот раз я ехал из Мадрида в Варшаву около 10 месяцев. Тогда был призрачный расцвет капитализма, уже подходившего к своему крушению, теперь Европа была разорена, но далеко не призрачно.

Невольно вспомнились и слова, сказанные генералом Ордена иезуитов моему знакомому поляку графу Платеру в 1917 г.: «Все желают окончания войны, но мало кто отдаст себе отчет в том, что после войны наступят гораздо более трудные времена». Вспоминались и слова, слышанные мной в Монтрё перед самым отъездом из Швейцарии от одной француженки. Я ее поздравил с победой Франции. Она скромно заметила: «Да мы не радуемся: победили не мы, а другие». Это было верно. Вспоминается, что Извольский любил повторять: «Франция истекает кровью», но он мог бы с еще большим основанием говорить это о России. Хотя он был и русским послом, но о России забыл и во всяком случае не помнил о Зольдау, благодаря которому в самом начале войны был спасен Париж¹.

Вот с такими-то безотрадными мыслями я подъезжал к Млаве. На вокзале царил беспорядок. Пол был густо усыпан билетами всех видов, распоряжались на вокзале

¹ Зольдау — железнодорожный узел на территории Восточной Пруссии. В августе 1914 г. здесь происходили бои между германскими войсками и русской армией, наступавшей для отвлечения германских сил с Западного фронта. Это наступление имело большое значение для хода первой мировой войны, так как задержало удар немцев на Париж и дало возможность союзникам сосредоточить свои силы.— *Прим. ред.*

молодые люди в фуражках с белым орлом; то были вновь набербованные польские дружинники, находившиеся под начальством тех самых польских легионеров, которые еще так недавно сражались вместе с Пилсудским на стороне австрийцев.

В Варшаву отправлялся, к счастью для нас, едва ли не первый поезд, составленный исключительно из вагонов четвертого класса. Вагоны были переполнены русскими военнопленными. Наши спутники были весело настроены. Они были твердо уверены, что попали, наконец, к себе на родину и что их испытаниям наступил конец. Между тем завязалась беседа. Поезд шел очень медленно. Навстречу то и дело попадались поезда, переполненные разоруженными немцами, и в этих случаях наши спутники, военнопленные, сговорившись заранее, затягивали веселую хоровую песню: «Deutschland hat nur Marmelade Marmelade, Marmelade...»¹ Песенку они пели весьма добродушно, и я не мог не удивиться этой неизменной славянской незлобивости.

¹ «В Германии есть только мармелад, мармелад, мармелад». Песня, наверно, была составлена в лагере, где им приходилось жить впроголодь.— *Прим. авт.*



В Варшаву мы прибыли около 8 вечера. Город почти не был освещен. Изредка ходили трамваи, но нас с ручным багажом в вагон не пустили. Выручил меня один из наших новых приятелей-военнопленных: он помог донести багаж и достать извозчика, на котором мы доехали до центра города. Мы отправились в гостиницу «Бристоль», в которой я жил прежде в течение многих лет. Персонал гостиницы был тот же, и все нам от души обрадовались.

Как и прежде, эта гостиница была своего рода центром варшавской жизни. В ней размещались наши штабы во время первого года войны, там же останавливались затем и германские.

На следующий же день я отправился в Вышков, расположенный на Западном Буге, в 50 километрах от Варшавы, в двух часах езды по железной дороге, а на автомобиле — не более часа. Свой дом и сад, прилегавший почти непосредственно к посаду, я нашел в плачевном состоянии.

Правда, немцы сохранили все деревья, но заборы были сломаны, дом, где во втором этаже помещалось местное германское этапное управление, был в необычайно запущенном состоянии: окна в третьем этаже разбиты, а в нижнем — некоторые комнаты производили впечатление, что ими пользовались как конюшнями. Из мебели почти ничего не осталось. Но меня ожидала еще большая неприятность. Днем я зашел к арендатору майората Вышков В. Э. Громчевскому. Когда мы с

дочерью сидели у него, пришел молодой человек с ружьем в руках и объявил, что майорат взят в казну.

Пройдя с Громчевским по полям, я увидел весьма знаменательное зрелище. На них под руководством французского офицера возводились траншеи, причем обращены они были на восток. Интересно было убедиться, с какой поспешностью французские военные проникли в Польшу, возводя новые укрепления, направленные на этот раз против России. Я вспомнил виденные мной в тех же местах в 1915 г. траншеи, правда весьма неглубокие, выстроенные еще царскими войсками против немцев; тогда ими так и не воспользовались, так как территория Польши к востоку от Варшавы была сдана без боя. С другой стороны, работа французского офицера доказывала, что война еще далеко не закончена и что я нахожусь в окружении отравленных газами траншей в еще более насыщенном ядом тылу.

В тот же день я вернулся в Варшаву. В Вышкове теперь у нас остались лишь дом и часть сада. Тем не менее я решил окончательно порвать с Вышковым, не желая попасть в такое же положение, в каком очутились в 1918 г. оставшиеся в Польше русские помещики.

В гостинице меня ожидал приятный сюрприз: весь наш багаж был доставлен из Александрова в полном порядке.

В Варшаве, как пришлось скоро убедиться, я уже не в первый раз на своем пути в Москву вновь оказался в своего рода ловушке. Выехать оттуда в РСФСР в то время не было никакой возможности, если не идти на авантюру вроде нелегального перехода через границу. Тогда мы решили продать наш дом и небольшой участок при вышковском майорате, чтобы получить средства на существование.

В конце 1917 г. отношения Польши с другими странами были весьма неопределенными. С Германией и Австро-Венгрией все официальные отношения были порваны после ухода оккупационных войск. Попытка Берлина прислать в Варшаву посланника кончилась ничем, и поселившаяся было в гостинице «Бристоль» германская миссия в составе нескольких человек так же быстро исчезла, как и появилась. Других иностранных представительств также не было. Между прочим, здесь не было даже испанского консула, который мог бы защищать русские интересы во время войны. Что касается союзных держав, то

они не спешили с признанием польского правительства во главе с «комендантом» Пилсудским. Париж еще не забыл, что Пилсудский незадолго до того стоял во главе польских легионов, сражавшихся против России в рядах австро-венгерской армии. Варшавское правительство временно признало «польский комитет» в Париже, составленный из польских эмигрантов. В нем главными действующими лицами были Маврикий Замоийский, будущий министр иностранных дел Польши граф Сабанский и другие представители польской аристократии, которых я встречал в Париже во время войны.

Польская армия до момента прибытия частей с Восточного фронта и из Франции носила несколько фантастический характер. Она была составлена из случайных элементов и обломков австро-венгерской и царской армий. Можно было встретить польских офицеров, носивших георгиевский крест, что было, впрочем, вскоре запрещено. Немалым затруднением для новоявленных польских военных было и незнание в достаточной степени польского языка. Так, расположенный в казармах, принадлежавших ранее гвардейскому уланскому полку, польский уланский полк говорил почти сплошь по-русски.

Вообще внутреннее политическое положение в Варшаве было еще шатким. Приблизительно через месяц после моего приезда произошла попытка произвести переворот, который едва не удался. Группа офицеров попробовала арестовать жившего в гостинице «Бристоль» начальника главного польского штаба графа Шепетицкого, брата известного униатского епископа. Заговорщики подошли к нему у пресловутой входной вертушки и заявили, что он арестован. Но Шепетицкий не растерялся и приказал стоявшим у подъезда часовым арестовать заговорщиков. Через несколько минут был вызван из Лазенок по телефону уланский полк, который и решил дело. Одновременно с этим выступлением в «Бристоле» были арестованы два польских министра, которых продержали в заключении около 10 часов. В Бельведерском дворце также была произведена попытка арестовать самого «коменданта» Пилсудского. Во главе заговора стоял князь Сапега. Но заговор был раскрыт, и участники его наказаны. Сапегу, впрочем, вскоре простили, он был назначен председателем польского Красного Креста, затем — министром иностранных дел и, наконец, — послом в Лондон.

Не могу не привести здесь некоторые мои впечатления от прибытия французской миссии в Варшаву во главе с бывшим послом в России Нулансом. По обыкновению миссия остановилась в гостинице «Бристоль», где несколько дней большой зал был заставлен багажом, наминавшим снаряжение экспедиции в Центральную Африку. Тут были горы ящиков с консервами, автомобильные части и тому подобные принадлежности. Варшава встречала французов как победителей. С балкона «Бристоль» Нуланс произнес приветственную речь, причем, сказав несколько польских слов, дальше говорить по-польски не смог и вышел из положения, воскликнув: «Viva la Pologne!» («Да здравствует Польша!»). Закончился этот день, однако, несколько неожиданно. Балкон давно не отремонтированного здания гостиницы был так переполнен зрителями, что проломился. В результате было несколько человеческих жертв.

Почти в одно время с прибытием французской миссии и до приезда ряда дипломатических представительств приехал в Варшаву и новый премьер — известный пианист Падеревский. Этот пианист попал в премьеры главным образом благодаря своей близости к Вильсону. Впрочем, поляки сами утверждали, что он оставался в течение всего своего пребывания на посту премьера больше пианистом, чем государственным деятелем.

В общем пребывание в Польше становилось для нас тягостным. И тем не менее мне пришлось пробыть в этой своеобразной «ловушке» еще год: надо было подождать, пока устроятся дела дочери, неизменной до тех пор моей спутницы по разоренной войной Европе. Скоро, однако, мне удалось выбраться на две недели в Вену и Прагу, куда я съездил в качестве курьера Международного комитета Красного Креста. Краснокрестная работа меня всегда интересовала, и впоследствии я с большим увлечением проработал больше пяти лет в советском Обществе Красного Креста. К сожалению, империалистическая война отразилась на деятельности дипломатов и, быть может, еще более подорвала международное нейтральное положение творения Анри Дюнан.

Во всяком случае командировка Международного комитета Красного Креста дала мне возможность посетить Австро-Венгрию и увидеть своими глазами, в каком положении находится эта страна после войны.

Положение Центральной Европы как своего рода вассальных владений Парижа проявлялось во многом. Так, для переезда из страны в страну необходимы были союзные, точнее говоря, французские военные визы. Это требование не желающих разоружаться военных властей, естественно, сильно сковывало деятельность Красного Креста.

В гостинице «Бристоль» я встретился случайно со своим старым знакомым по Биаррицу виконтом де Сюзанне, женатым на дочери бывшего русского посла в Риме Муравьева. Он был мобилизован во время войны и ведал в Варшаве вопросами виз. Получив с помощью виконта де Сюзанне визу, я благополучно выехал в Вену. Между Варшавой и Веной к тому времени начали ходить скорые поезда с международными спальными вагонами, и я, излишне понадеявшись на вагон-ресторан, первую половину пути буквально голодал. Поезд шел по опустошенной стране; она производила особенно грустное впечатление при скудном свете серого мартовского дня. Несмотря на год с момента перемирия, кругом виднелось много развалин, станции были разрушены, на вокзалах достать что-нибудь поесть было невозможно. Спас меня оказавшийся в одном со мной вагоне знакомый поляк, который подкармливал меня до самой Вены.

Вена произвела на меня также крайне грустное впечатление. Город был как бы парализован. От былой жизнерадостности венцев, донельзя исхудавших после тяжелых лет, осталась лишь прирожденная любезность, проявлявшаяся в довольно жалкой улыбке при неизбежных у них приветствиях.

Улицы почти не освещались. Из-за недостатка электричества два-три открытых театра начинали свои представления в 5 часов дня, а часам к 9 город погружался в полный мрак. Магазины были пусты, нельзя было найти даже папирос. Большинство гостиниц было закрыто, действовали только две большие гостиницы, но в одной из них ресторан был закрыт, а в другой скудный обед можно было получить лишь до 9 часов вечера. Газеты были полны известиями о событиях в Будапеште¹, и средства

¹ В октябре — ноябре 1918 г. в Венгрии произошла буржуазно-демократическая революция. Новое буржуазное правительство не удовлетворило, однако, требований рабочих и крестьян. Поэтому революционное движение, руководимое организовавшейся в ноябре

связи с этим городом, являвшимся для союзников столь опасным очагом революции, были нарушены. Швейцарская краснокрестная делегация не пустила меня в Будапешт, хотя мне казалось, что именно там для Международного комитета Красного Креста нашлось бы широкое поле деятельности.

В Вене сказывался в то время процесс распада большого государства. Спешно печатались бумажные деньги, причем курс на них моментально изменялся, и в то время как чехословацкие кроны неуклонно повышались в цене, австрийские, напротив, обесценивались.

Дня через три я выехал в Прагу. От Вены до границы мы проехали около двух часов. Поездов было мало, и все они были переполнены. Я смог сесть в поезд лишь благодаря наруканной краснокрестной повязке, как нельзя более подходившей к обстановке городов Европы, бедствовавших после войны, быть может сильнее, чем во время ее.

Прага по сравнению с Веной производила впечатление сравнительно цветущего и оживленного города. Торговля шла полным ходом, и на первый взгляд лишь новые названия, как например «Вокзал Вильсона», да обилие союзных офицеров свидетельствовали о необычайных условиях вновь созданной страны.

Близость революционной Венгрии чувствовалась даже в гостинице, где я остановился: там находились бежавшие из страны венгры, по большей части крупные землевладельцы. Об этом же свидетельствовали и строгие полицейские меры в отношении приезжающих. На следующий день я завтракал с членами местной краснокрестной делегации. К нам подсел молодой французский офицер, которому, как оказалось, была поручена эвакуа-

1918 г. коммунистической партией, продолжало усиливаться. 21 марта 1919 г. вооруженные рабочие и солдаты Будапешта заняли важнейшие стратегические пункты города и разоружили жандармерию, полицию и офицерские отряды. В Венгрии была провозглашена Советская власть. В состав Советского правительства вошли коммунисты и социал-демократы. Советская власть провела в Венгрии национализацию помещичьей земли, фабрик, заводов и банков. Однако против молодой Советской республики выступили страны Антанты. Румыния и Чехословакия двинули против Венгрии свои войска. Ошибка Советского правительства Венгрии, а главное — предательство социал-демократии ослабили сопротивление страны более сильному противнику. Красная армия Венгрии после героической борьбы потерпела поражение, и 1 августа 1919 г. Венгерская советская республика пала.— *Прим. ред.*

ция военнопленных по Дунаю. Не лишен был прелести поставленный им откровенный вопрос, как называется река, на которой расположена Прага. А между тем он занимался своим делом уже не первый день и, казалось, должен был бы знать водную систему бывшей двуединой монархии.

В Вену я вернулся не без затруднений. На австрийской границе в связи с всеобщей железнодорожной забастовкой в Австрии было прекращено движение поездов. Лишь после продолжительных переговоров случайно оказавшегося в поезде английского генерала с железнодорожными служащими последние согласились отправить поезд. В этот фантастический период наибольшим авторитетом в европейских столицах пользовались военные власти, носившие форму одной из союзных держав.

В общем, если сравнить Вену 1919 г. с Варшавой, то обе столицы производили одинаково тяжелое впечатление. Чувствовалось, что, несмотря на заседавшую в Париже мирную конференцию, во вновь созданных странах царил полный хаос. Я, однако, не мог предполагать, что вскоре мне придется быть в Варшаве свидетелем событий, напавших, что до умиротворения Европы еще далеко. Город был на полувоенном положении. Движение на улицах прекращалось ровно в полночь, и многим приходилось невольно знакомиться с полицейскими участками, где проводили ночь лица, застигнутые военными патрулями на улице после 12 часов ночи. В Варшаве мне пришлось встретиться с двумя коллегами по бывшему министерству иностранных дел, поляками по национальности. Встреча была дружеская. К тому же спасал дипломатический навык исключать из разговора все неприятные темы или касаться их лишь тогда, когда чувствуется, что это не сопряжено с причинением собеседнику какого-либо неудобства. Иногда, впрочем, мои приятели, перешедшие на службу к польскому правительству, бывали весьма откровенны. Один из них мне как-то признался: «А ты думаешь, мы уверены, что не будет четвертого раздела Польши?» По-видимому, парижские эксперименты над Польшей многим полякам не внушали большого доверия; сказывалось опасение, что если Польша не будет больше нужна, то ее могут легко бросить на произвол судьбы. В 1919 г. главную роль в Варшаве стали играть французы. Туда прибыла многочисленная французская миссия,

имевшая целью подготовить Польшу к военным авантюрам против Советской России.

С прибытием в польскую столицу все новых и новых французских офицеров у меня лично связано неприятное воспоминание. Располагая еще достаточными для того средствами, я по старой привычке продолжал жить в гостинице «Бристоль», где останавливался в течение двадцати лет. Как-то раз, дня за два до отъезда в Вену, меня разбудили сильным стуком в дверь; в мой маленький номер вошли пять вооруженных солдат, окружили кровать и потребовали, чтобы я через полчаса освободил номер, понадобившийся для вновь прибывших чинов французской военной миссии. Картина напоминала приготовление к расстрелу. Я наскоро оделся и отправился к своему знакомому, адъютанту польского коменданта, помещавшегося тут же в «Бристоле». В результате распоряжение комендатуры было отменено, и я мог свободно прожить в гостинице еще несколько дней. Мне обещан был номер и после возвращения из Вены, но я не захотел более оставаться в этой гостинице и переехал в меблированную комнату.

Приближался конец 1919 г. Версальский мир был подписан и его отзвуки не замедлили сказаться в Варшаве усилением деятельности союзников и их ставленников, членов русского контрреволюционного центра в Париже. Французское командование стремилось использовать контрреволюционные элементы как на востоке (Колчак), так и на юге (Деникин, Врангель) и на северо-западе (Юденич) России. После разгрома молодой республикой большинства белых фронтов французское командование начало усиленно готовить войну против Советской России при помощи польских и русских контрреволюционных элементов в Польше. Что касается самого польского народа, то он был настроен далеко не воинственно. Как верно отметил в своих мемуарах д'Абернон, член союзной делегации, посланной в спешном порядке в Варшаву из Spa, где в то время происходила одна из мирных конференций между союзными державами и побежденной Германией¹, Польша была разбита не только в силу недо-

¹ Конференция в Спа — конференция союзников по вопросу о распределении получаемых с Германии репараций. На этой конференции было решено оказать военную помощь Пилсудскому в

статка военно-технического оборудования и твердой организации армии, но главным образом потому, что идея борьбы против Советской России была непопулярна и не могла объединить население Польши.

Французский генеральный штаб начиная с 1919 г. принял все меры к мобилизации Польши и подготовке наступления против России. Французское командование понимало, что после мира, заключенного на Западном фронте, было слишком рискованно бросать французские войска на восток. Уж очень показательно было восстание французского флота в Одессе ¹.

До 1914 г. мне казалось, что дипломатия во время войны должна выполнять функции тормоза, всегда готового к применению в случае непредусмотренного роста сопряженных с войной бедствий. Действительность оказалась совсем иной.

Ведение дипломатических сношений во время войны у союзных и у центральных держав перешло к военным. Если во Франции это руководство оказалось в руках у Фоша, то в Германии внешней политикой руководил Людендорф.

Скрытая борьба, которая и раньше велась в иностранных представительствах между послами и посланниками, с одной стороны, и военными агентами — с другой, во время войны закончилась решительным образом в пользу последних. Дипломатам с этого момента пришлось стать слепыми исполнителями указаний, исходящих из главных штабов. Конечно, вторжение военных в область внешней политики наблюдалось и до войны, но военная дипломатия как таковая окончательно оформилась лишь во время войны вместе с излюбленными методами последней: пропагандой и контрразведкой.

1919 год протекал под мрачным знаком Версальского мира. Наиболее ярким примером служебной работы дип-

войне против Советской России. Было решено послать военно-политическую делегацию во главе с лордом д'Аберноном (Англия) и ген. Вейгеном (Франция).— *Прим. ред.*

¹ В октябре 1919 г. вспыхнуло восстание матросов французского флота, стоявшего в Крыму и Одессе и осуществлявшего интервенцию против Советской республики. Матросы отказались выступить против революционных рабочих Севастополя, подняли на кораблях красный флаг и потребовали прекращения войны и возвращения флота во Францию. Французское командование вынуждено было отвести свой военный флот обратно во Францию.— *Прим. ред.*

ломатов при военном командовании в 1919 г. являлась деятельность бывших царских дипломатов, использовавшихся в Париже в целях подготовки контрреволюционного наступления в Восточной Европе. Их положение усугублялось тем, что они работали во враждебных их родине целях. Это можно было предвидеть еще в 1917 г., когда, с одной стороны, союзники объявили через своих представителей при русском главном командовании войну Советской России, а с другой стороны, приняли все меры, чтобы задержать на своей службе находившихся за границей дипломатических представителей царской России. Подобное положение могло создаться лишь в обстановке общего кризиса капиталистического строя, повлекшего за собой глубокие трещины во всей прежней системе международных отношений.



Как известно, в конце 1919 г. Красная Армия ликвидировала контрреволюционный фронт Колчака. Однако империалистический Париж, продолжая свою политику интервенции против Советской России, решил организовать новое наступление на Москву с помощью Польши и белогвардейских банд. В связи с этим в Варшаве появился небезызвестный Борис Савинков, командированный из Парижа, где он как представитель Колчака не раз заседал совместно с бывшим царским министром иностранных дел Сазоновым. Последний, впрочем, был не очень рад подобному соседству и замечал как бы в шутку, что он немало побаивается своего коллеги, присяжного заговорщика, опасаясь, что тот однажды незаметно подсыпет ему в чай какой-либо отравы. Эта маленькая подробность весьма показательна для характеристики тех разнообразных элементов, из которых сколотили союзники русский контрреволюционный центр в Париже.

Первые месяцы 1920 г. прошли для Польши в подготовке войны. Происходила новая расстановка мобилизуемых Парижем антисоветских сил. Этим и объясняется появление в Варшаве Савинкова непосредственно после ликвидации колчаковского фронта. Несколько позже на улицах Варшавы появились в фантастических мундирах члены контрреволюционных банд, мобилизованных против Советской России.

Наступление Антанты против Советской России было искусственно навязано польскому населению. Послед-

нее в своем громадном большинстве мечтало о мире и не было склонно к новым военным авантюрам. Доказательством может служить, между прочим, то, что в период наступления Красной Армии на Варшаву там оказалось до 80 тысяч польских дезертиров, сбежавших с фронта.

Настроение населения Польши в 1920 г. выявилося также в антипатии к русской Вандее¹ — Крыму. Несмотря на усиленную пропаганду союзников, население Польши было более чем равнодушно к русскому белогвардейскому движению на юге. К тому же влияние Октябрьской революции сказывалось на всем протяжении польско-русской границы. Если в разгар союзнической пропаганды пограничное население и стремилось иногда оставаться на польской территории, то впоследствии, после заключения Рижского мира² и при определении вышеупомянутой границы, целые пограничные деревни высказывались за то, чтобы остаться в пределах Советской Республики.

Что касается франко-польских отношений, то они были весьма натянутыми. Французское офицерство относилось отрицательно к польским собратьям по оружию, а поляки не скрывали своих антипатий к французам. Мне запомнились два факта, которые я наблюдал в поезде по пути в Берлин. Я оказался в одном вагоне с десятком польских офицеров, среди которых находился французский майор. Поляки относились к нему настолько неприветливо, что на его лице легко было прочитать большое неудовольствие своим окружением. Сидя против него, я стал с ним разговаривать, и он настолько этому вниманию обрадовался, что мы проговорили всю дорогу; не знаю, были ли довольны этим его польские собратья по оружию.

¹ Вандея — область во Франции. Во время Французской буржуазной революции конца XVIII века в течение трех лет (1793—1796) являлась основным очагом контрреволюции. Контрреволюция использовала здесь отсталость крестьянства, находившегося под влиянием духовенства. Слово «Вандея» стало нарицательным для обозначения очагов контрреволюционного восстания.— *Прим. ред.*

² Рижский договор — мирный договор между Советской Россией и Польшей, заключенный в Риге 18 марта 1921 г. Договор положил конец войне, которую при поддержке англо-французских империалистов затеяла Польша против Советской России.— *Прим. ред.*

В другом случае, выезжая из Польши, я оказался в купе с молодым французом, отрекомендовавшимся помощником французского военного атташе в Варшаве. Мне думается, что он несколько преувеличил свое звание. Однако, бесспорно, он был одним из многочисленных французских офицеров, наводнявших в то время Варшаву. На данцигской границе польская таможня, пропустив меня без задержки, отнеслась крайне недружелюбно к моему спутнику и подвергла строгому досмотру весь его багаж. Быть может, такое отношение явилось также иллюстрацией к настойчивым слухам в Варшаве о том, что французское офицерство под прикрытием своего привилегированного положения занималось нередко контрабандой.

Не поддержанная населением Польши контрреволюционная авантюра потерпела поражение. Красная Армия перешла в наступление. Все польские учреждения были эвакуированы в Познань. Я воспользовался этим и в Познани обратился с просьбой о визе для проезда в Берлин. Поляки выдали мне выездную визу сравнительно легко. Этому, по-видимому, способствовало также их желание отделаться от русского, считавшегося «красным». На одной из станций в Познани мой багаж подвергся обыску, а меня задержали на несколько часов.

Польшу я знал более 40 лет и теперь покидал окончательно Варшаву, признаюсь, не без грусти. Кроме того, там оставалась моя единственная дочь. Но она уже была невестой и выходила замуж за поляка, семью которого я знал давно. Я предвидел, что долго не увижу свою дочь. От меня как бы откалывалась значительная часть всей моей жизни.

Вскоре после отъезда из Варшавы я уже оказался в Берлине — переезд из Познани в Берлин продолжался всего лишь два часа.



После Варшавы, Вены и Праги Берлин в августе 1920 г. производил, быть может, самое тяжелое впечатление. На следующий год после Версаля, лишившего Германию многих ее окраин, Берлин был переполнен большим количеством беженцев, выехавших оттуда. Они бедствовали и искали работы. К тому же, помимо беженцев, в Берлине наблюдался большой приток русских эмигрантов. Германская столица, и без того изголодавшаяся за четыре года войны, продолжала голодать и после заключения мира. Все это не могло не отразиться на облике города с пятимиллионным населением; здесь никто уже не заботился о поддержании блестящего внешнего вида Берлина, производившего всегда такое сильное впечатление на иностранцев.

Надо, однако, отдать справедливость немцам — они с необыкновенной выдержкой переживали тяжелые моменты своей жизни и старались найти выход из бедственного положения. Конечно, нужда не отразилась на всех жителях Берлина: бедствовали рабочие, в нужде жила мелкая буржуазия, зато разбогатевшие «нувориши» (новые богачи, нажившиеся на военных поставках) продолжали беззаботное существование.

Рестораны, кафе, театры и увеселительные места были переполнены, и порой могла создаться иллюзия, что жизнь в городе вернулась в нормальное русло. Однако в действительности легко было заметить, что все внешние признаки обманчивы, и уклад вновь зарождающейся жизни еще далеко не прочен. Жилось хорошо лишь спе-

кулянтам, наживавшимся на начавшемся падении курса германской марки. Значительную роль играло также появление многих иностранцев, которые с особенной легкостью могли заняться спекуляцией в Берлине, так как находились под покровительством той или иной союзной миссии.

В особо привилегированное положение были поставлены союзные военные миссии, которые следили за выполнением драконовских условий, поставленных Германией Версальским договором, за ее полным разоружением, за ее финансами и т. д. В общем, союзники были хозяевами положения в Берлине, и, как довольно метко сказал один из моих старых коллег по петербургскому министерству иностранных дел, работавший в 1920 г. в одном из германских банков, немцы не были уверены, является ли мебель в их учреждениях германской собственностью. «Не думай,— сказал он,— что стул, на котором ты сидишь, или стол, за которым я пишу, не принадлежат до известной степени союзникам!» Таковы были ощущения и настроения среди коренного населения германской столицы.

Интересное зрелище представляло собой германское министерство иностранных дел. Большинство дипломатов и консулов было отозвано из стран, с которыми Германия воевала, и министерство поэтому стало походить на улей, в каждой ячейке которого сидел референт из числа вернувшихся в Берлин дипломатов и консулов, ведавший делами соответствующей страны.

Мне вскоре пришлось побывать в министерстве и познакомиться с заведующим русским отделом. Это был барон Аго фон Мальцан, будущий посол в Вашингтоне, погибший впоследствии при воздушной катастрофе между Берлином и Мюнхеном.

В начале 20-х годов Мальцан сыграл большую роль в деле восстановления советско-германских отношений. Будучи еще сравнительно молодым человеком, он энергично принялся за это дело, поставив перед собой задачу установить официальные отношения с Советским правительством.

Вскоре я стал работать в одной экспортной фирме, занимавшейся торговлей с Италией. В это время благодаря прежним дипломатическим связям я возобновил отношения с местными дипломатическими кругами.

После Версаля в Берлине долгое время давали себя знать крайне напряженные и сложные отношения между недавними врагами: странами Антанты, с одной стороны, и Германией — с другой. Но, несмотря на это, уже в конце 1920 г. и особенно в 1921 г. ярко проявилось стремление германских правящих кругов к сближению с новой Россией.

Я уже несколько не жалел, что избрал путь возвращения в Москву через Берлин, а не через Лондон, политика которого в отношении Советской России претерпела после 1917 г. такие большие колебания. Меня не оставляла мысль, что переход большинства моих коллег на службу Антанты, а точнее сказать Франции, был уродливым явлением и означал, что они стали служить врагам своей родины. Пример царским дипломатам дали в этом отношении чиновники петроградского министерства иностранных дел. Зная слишком хорошо атмосферу внутри министерства иностранных дел, я, признаться, не очень удивился, когда услышал рассказ о том, что произошло в дни Октября в стенах министерства. Царское министерство иностранных дел и в довоенное время было оторвано от своей страны. Это же случилось и в 1917 г.

Когда приехал представитель Советской власти принимать министерство, то оба товарища министра — Нератов и Петряев — ничем не проявили себя, оставшись безучастно стоять в дверях зала, где происходило собрание состава министерства.

Между тем организовавшиеся на «кадетский лад» молодые сотрудники министерства заняли враждебную позицию и демонстративно покинули зал заседания. За ними последовало начальство. В результате на советскую работу перешло небольшое количество лиц из прежнего состава министерства. Об этом вскоре стало известно за границей. И многие посольства, миссии и консульства царской России последовали примеру сотрудников министерства. Мучительно было переживать тот факт, что русский дипломатический корпус во многих даже не союзных странах сыграл на руку враждебной по отношению к Советской России политике Пуанкаре, Клемансо и Фоша, видевших в Советском правительстве лишь случайное и временное явление, нечто вроде новой Парижской коммуны 1871 г., подлежащее, по их мнению, такому же разгрому.

Как я уже говорил выше, деятельность послевоенного германского правительства в области внешней политики после поражения Германии, естественно, началась с противоположной Парижу исходной точки — сближения с Советской Россией. Министерство иностранных дел и оставшиеся в нем профессиональные дипломаты пошли по намеченному некогда Бисмарком пути ориентации на Россию. Инициатором этого движения был барон Аго фон Мальцан, занимавший в то время должность заведующего русским отделом министерства. С назначением министром умного хозяйственного Ратенау положение Мальцана существенно окрепло. Нельзя не признать, что Мальцан довольно удачно повел свою политику сближения с Советской Россией.

Стремление Германии к установлению нормальных дипломатических отношений с Россией получило свое оформление в 1922 г., когда был подписан Рапалльский договор¹. Однако в описываемый мной период нормальных дипломатических отношений между Германией и Советской Россией еще не было. В восстановлении же этих отношений были заинтересованы обе стороны. С ноября 1918 г. советского посольства в Берлине не было, и лишь постепенно там начали появляться советские представительства официозного характера в виде комиссий по обмену пленными и по другим вопросам, успешное решение которых между обеими странами стало неотложно. Но рядом с ними существовало и нечто вроде представительства парижской группы русских дипломатов. Правда, в силу дружелюбной по отношению к РСФСР политики Вильгельмштрассе роль «представителей» парижского контрреволюционного центра была сведена почти на нет.

Нельзя не сказать, что период, переживаемый советско-германскими отношениями в 1921—1922 г., был необычайно интересен на фоне общеевропейской разрухи и носил в себе зачатки нового европейского строя, выявив-

¹ Рапалльский договор — договор между РСФСР и Германией, урегулировавший взаимные претензии и установивший нормальные дипломатические и консульские отношения между обоими государствами; подписан в Рапалло (Италия) 16 апреля, во время Генуэзской конференции. Подписание Рапалльского договора сорвало попытку Антанты создать единый фронт капиталистических держав против Советской России. — *Прим. ред.*

шегося вскоре, естественно, в других формах, чем это представлялось в 1918—1919 гг. в Париже, когда союзники пытались вычеркнуть Россию из списка европейских держав. Подобная узкошовинистическая точка зрения Парижа не могла, конечно, оказаться жизненной. Можно было стереть с карты Европы былой русский империализм, но новый социальный строй России и мирную внешнюю политику правительства РСФСР вычеркнуть из жизни было невозможно.

Если в Варшаве я застал хаос в области международных отношений, то этот хаос являлся проявлением давления Франции на внешнеполитическую позицию Польши. В Берлине же мне пришлось видеть в местном хаосе намечавшиеся очертания новых отношений между европейскими странами, среди которых Советский Союз с его сказочно быстрым социалистическим строительством призван был вскоре занять столь большое место.

Возвращаясь к воспоминаниям о прошлом, мне бы хотелось рассказать и о следующем.

После роспуска Государственной думы премьер-министром оказался Столыпин. По изданным тогда новым основным законам империи ведомства иностранных дел, военное и морское, были изъяты из подчинения председателя Совета министров и оставлены под непосредственным руководством царя. Пользуясь этим, Извольский (как тогда говорили, не без влияния копенгагенских родственных сфер Эдуарда VII) разыграл в России роль своего рода либерального английского лорда. Он проводил англофильскую политику, окончившуюся, как известно, русско-английским соглашением 1907 г., встреченным с большим неодобрением во многих кругах и, в частности, среди виднейших русских дипломатов. Между прочим, на основе этого соглашения Извольский легкомысленно строил свои расчеты на успех комбинации в Бухлау, по которой Австро-Венгрия окончательно присоединила бы к себе Боснию и Герцеговину, а Россия получила бы под свой контроль черноморские проливы. Известно, с каким треском провалилась эта комбинация, созревшая в голове Извольского, мнившего себя великим государственным деятелем, а по сути дела ловкого международного авантюриста. Необычайное тщеславие губило его. Австрийским дипломатам легко удалось обойти Извольского в блестящей обстановке Бухлауского зам-

ка — владения графа Бертольда, посла в Петербурге и будущего министра иностранных дел двуединой монархии. В Лондоне, куда Извольский затем поехал, ему оказали не менее блестящий прием, но на комбинацию с Босфором было отвечено категорическим отказом. В Петербурге против незадачливого министра иностранных дел поднялась настоящая буря. В городе открыто говорили о его неминуемой отставке. К тому же за время его отсутствия в России послом в Константинополь был назначен или, как говорил Извольский, назначил сам себя, будучи на докладе у царя, товарищ министра Н. В. Чарыков; тогда состоялось назначение С. Д. Сазонова товарищем министра. Несмотря на то что П. А. Столыпин был отстранен от внешней политики, он не мог, естественно, не интересоваться ею, и самой лучшей комбинацией для него было назначение своего человека товарищем министра, для того чтобы иметь возможность впоследствии провести его в министры. Во время всех этих петербургских осложнений я занимал место управляющего бюро печати министерства и имел возможность довольно близко наблюдать все эти интриги. В 1909 г. С. Д. Сазонов оказался министром. Вскоре после своего назначения он начал проводить внешнюю политику под непосредственным руководством Столыпина. Так они установили вновь между собой близкий деловой контакт, не нарушая внешних прерогатив короны, за которые в Царском Селе крепко держались. В результате уже в 1910 г. состоялось Потсдамское свидание¹, во время которого Сазонов подписал соглашение с Германией, хотя и по второстепенному вопросу — по строительству железнодорожных линий в Персии. Предполагалось, что это соглашение будет в дальнейшем развито в более серьезный дипломатический акт между Россией и Германией.

¹ Потсдамское свидание. Имеется в виду состоявшееся в ноябре 1910 г. свидание между Николаем II и Вильгельмом II в присутствии министра иностранных дел России Сазонова и германского канцлера Бетман-Гольвега. Во время свидания был подготовлен проект соглашения, подписанного в августе 1911 г., по которому Россия, не давая общеполитических обязательств, обещала не препятствовать Германии в постройке Багдадской железной дороги и в проведении ветки от Багдадской железной дороги к персидской границе. Германия, в свою очередь, признавала северную Персию сферой влияния России.— *Прим. ред.*

Но в сущности Потсдам являлся слабой тенью Бьерке¹ и тоже был осужден на скорое исчезновение.

Во время пребывания в Петербурге мне пришлось несколько раз быть у Сазонова с докладом, причем он произвел на меня впечатление человека, весьма легкомысленного, не очень способного, а, главное, легко поддающегося самым разнообразным посторонним влияниям. Вся его фигура производила несколько странное впечатление. Был он невысокого роста с непомерно большим носом, ходил слегка вприпрыжку и потому напоминал молодого вороненка, выпавшего из гнезда.

Как бы то ни было, до смерти Столыпина, в 1911 г., внешняя политика России осуществлялась без особых трений. Но со смертью Столыпина все изменилось. Сазонов остался без всякого руководства в Петербурге, и к тому же он серьезно заболел злокачественным плевритом, в связи с чем вынужден был на некоторое время отойти от государственных дел. Министерством стал временно управлять крайне бледный в политическом отношении А. А. Нератов. Сазонов все более выпускал руководство внешней политикой, перешедшее в цепкие руки Извольского, который в последние годы перед войной превратил Париж в центр русской внешней политики. Помимо того, министерство вследствие отсутствия определенного руководства попало под влияние некоторых кругов Государственной думы, и не только кадетов и октябристов, но даже и польского кола. Их внешняя политика сводилась к так называемому «неославянизму», иначе говоря, к поддержке поляков и сербов и разделу между ними Австро-Венгрии. По существу неославянизм, заменивший собой изжившее себя славянофильство, был силой, уже не центристской, а центробежной.

Следующая моя встреча с Сазоновым произошла в октябре 1913 г., когда случай свел нас в Виши, где мы лечились. При этих обстоятельствах мне пришлось,

¹ Бьерке — имеется в виду русско-германский союзный договор, подписанный 24 июля 1905 г. в Бьерке (в финляндских шхерах) Николаем II и Вильгельмом II. По этому договору обе страны обязались оказать поддержку друг другу в случае нападения на одну из них какой-либо европейской державы. Кроме того, Николай II обязался принять меры к вовлечению в это соглашение Франции. Однако, вернувшись в Петербург, Николай II вынужден был отказаться от подписанного договора. — *Прим. ред.*

в особенности последние полторы недели пребывания там, оказаться постоянным спутником министра. Мое первое впечатление о Сазонове за это время не изменилось, и я чувствовал, что он, быть может не сознавая того, ведет нас к катастрофе. При этом он сам изредка как бы сознавался в своей неспособности разобраться в той сложной обстановке, которая создалась на Балканах, но предвидел возможность войны. Он как-то в шутку заметил: «Мне все говорят, что все идет как надо и что вылетит птичка. А так ли это будет, я не знаю: разбираюсь в балканских делах я плохо».

Как это ни странно, но, может быть, из-за слабых характеристик Сазонова и его болезненного состояния, не допускавшего большого напряжения, о его свидании с французскими министрами в Виши даже не было и речи: все внимание к нему на курорте ограничивалось русским флагом, вывешенным на балконе его комнаты в гостинице. Переговоры должны были произойти в Париже при непосредственном участии и действительном руководстве ими со стороны Извольского. Сазонову оставалось лишь покрывать своим авторитетом министра выполнение замыслов своего более умного и энергичного предшественника, забравшего к этому времени из Парижа все нити русской внешней политики в свои руки. Невольно приходят на память приписываемые Жоресу слова: «Enfin cette canaille d'Isvolsky a sa guerre» («Наконец, этот негодяй Извольский добился-таки своей войны»), которые он якобы произнес, когда почти накануне объявления войны встретился в приемной у Бриана с выходящим из кабинета последнего русским послом.

Когда мы с Сазоновым ехали из Виши в Париж, к нам в вагон вошел советник нашего посольства во Франции Севастопуло, доверенное лицо Извольского, и стал готовить министра к тому, с чем ему придется иметь дело в Париже. Я невольно подумал, что Сазонову будет доказано, что «птичка вылетит» и что единственным разрешением русской внешней политики является война. Надо добавить, что в начале войны Извольский был так собой доволен, что потерял дипломатическую сдержанность и часто повторял выдававшие его с головой слова «моя война». К несчастью для старой России, он смотрел на войну с точки зрения личной мести: он хотел расплатиться с австрийцами за то, что министром иностранных

дел двуединой монархии стал граф Берthольд, нанесший ему, Извольскому, по его мнению, непростительное оскорбление и тяжелое поражение в Бухлау, чем поставил его, русского министра иностранных дел, в обидное положение наивного сноба. Вся эта преступная политика, основанная на личном самолюбии, как нельзя больше вязалась с характером Извольского. При всех своих способностях он во всех шахматных ходах европейской политики и в придворных интригах добивался удовлетворения лишь своего тщеславия. Ему никогда не пришлось подняться до широкой государственной оценки международного положения, а главное, до понимания того бесконечного зла, которое он причинил желанной им войной народам, населявшим бывшую Российскую империю, не говоря уже о печальной судьбе, постигшей миллионы трудящихся за ее пределами.

В 1917 г. во время одного из моих последних свиданий с Извольским, жившим на покое в Биаррице после данной ему Временным правительством отставки, я как-то завел разговор о событиях в России, предшествовавших войне, и, между прочим, о впечатлении, произведенном на него царем. Мои надежды услышать от него что-либо новое не оправдались. Извольский долго и много говорил, но все лишь о себе. В его рассказе все сводилось к тому, как относились к нему лично придворные круги и как это отзывалось на его собственной карьере. В этом отношении Извольский был попросту авантюрист. В своем эгоизме и снобизме он перешел всякие границы, и, быть может, потому его так ненавидел почти весь без исключения состав министерства, а затем и большая часть служащих посольства в Париже. Вызываемые им к себе антипатии усугублялись его манерой держать себя до крайности высокомерно с низшими чинами и низкопоклонствовать перед высшими, а также непривлекательной наружностью. С его лица постоянно не сходила неприятная гримаса, вызываемая отчасти неумелым ношением монокля; с ней донельзя была схожа вымученная улыбка, когда он старался быть любезным и лстивым в присутствии высокопоставленных особ.

Мне придется еще раз вернуться к Извольскому, поэтому хотелось бы закончить сначала воспоминания о Сазонове. В Париже я его не видел. Через три дня после приезда туда я был спешно вызван в Мадрид, так как в

связи с отъездом посла должен был временно его заменить. Поэтому зайти в посольство мне не пришлось, хотя Сазонов и звал к себе, по-видимому, привыкнув ко мне в Виши. Правда, меня в наше посольство в Париже и не тянуло: слишком несимпатичен был Извольский, с которым мы так холодно расстались в Петербурге, а все то, что делалось вокруг него, не могло не кончиться плохо. Борьбаться же с овладевшим нашим иностранным ведомством отчасти по французской указке военным азартом я был не в силах, а потому держался в стороне на не имеющем большого политического значения посту в Мадриде. Но я все же надеялся, что не все в России потеряют голову и что дни Сазонова и Извольского сочтены. И в последнем я был прав: Сазонов и Извольский были уволены в отставку еще до окончания войны. Однако, сознаюсь, я не предвидел, что еще до возрождения нашей внешней политики на новых, мирных началах в России произойдет великая социальная революция, а ведение иностранных сношений перейдет в руки бывших политических эмигрантов и будет направляться гениальным В. И. Лениным. Я счастлив, что мне пришлось позднее принять скромное участие в иностранных делах новой России — СССР, причем пятилетняя работа в Народном комиссариате иностранных дел меня удовлетворила более, чем вся 25-летняя служба при старом режиме.

СССР, построенный на совершенно новых социальных основах, стал великим, могущественным государством, родиной всех трудящихся. И нельзя этого факта не сопоставить со словами слабого Сазонова в 1915 г.: «Мы больше не великая держава».

Следующая моя встреча с Сазоновым произошла в Петербурге в 1915 г. Тогда я видел его в последний раз; к этому времени плоды пагубной политики уже сказались и министр говорил совсем в другом, минорном тоне. Приехав в Россию в отпуск, я представился министру. Перед этим в последний раз я посетил Вышков в качестве майоратовладельца. Это было за месяц до вступления германской армии в Варшаву, и мне пришлось видеть на вокзале наши войска, возвращавшиеся с фронта, причем на пять солдат приходилось лишь по одному ружью. Из расспросов компетентных лиц я выяснил, что при таких условиях ведения войны наши потери были очень велики. Наш разговор с министром невольно коснулся

этой жгучей темы. Сазонов, как бы сознавая свою вину, старался переложить ее на военных. В это время мы терпели поражение за поражением на Карпатах, а командовавший армией Радко-Дмитриев не получал подкреплений из-за его ссоры с генерал-квартирмейстером Драгомировым, который состоял при генерале Иванове Н. И., командовавшем Юго-Западным фронтом. На телеграммы Драгомирову о присылке подкреплений Радко-Дмитриев вообще не получал ответа; Драгомиров, по-видимому, не находил даже нужным докладывать об этом Иванову. «Ну что ж! — заметил Сазонов, пожимая плечами, — если генералы собьются, то мы больше не великая держава». Заключение было верное, но предпосылка к нему была неточной. Конечно, в 1915 г., после отступления наших войск из Царства Польского, а затем и из многих западных губерний, мы перестали занимать положение великой державы среди своих союзников, которые почти не считались с мнением Сазонова или спрашивали его только для проформы, а поступали по-своему, но сваливать это на одних генералов было неосновательно. Ведь много потрудились, чтобы вызвать войну, и сам Сазонов, играя при Николае II роль военного министра. Из стратегических соображений он при соучастии Янушкевича настаивал перед бесхарактерным и недалеким царем на всеобщей мобилизации. В то время как царь подписывал указ о мобилизации, в этой же комнате ожидал доклада царю генерал Татищев, который должен был отправиться с личным письмом Николая II к Вильгельму II с предложением созвать в Гааге мирную конференцию. Из мемуаров Палеолога, графа Пурталеса, генерала Добровольского, а главное подлинных записей министерства иностранных дел под редакцией барона Шиллинга и других известно, что Сазонов и Янушкевич распорядились прервать телеграфное сообщение между главным штабом и Царским Селом, чтобы не дать возможности Николаю II раздумать и задержать мобилизацию, а это при бесхарактерности царя можно было наверняка предвидеть.

Со своей стороны Пуанкаре, вернувшись из Петергофа после свидания с Николаем II и его окружением, тоже работал для войны и пошел даже на передержки, задержав созыв французского парламента на два дня после начала военных действий, с тем чтобы вопрос

о военных кредитах поставить на голосование после мобилизации Германии. Так был организован заговор против народов Европы и мира небольшой группой бывших правителей двух империалистических группировок.

После 1915 г. я видел Сазонова еще один раз при следующих обстоятельствах. Мое кратковременное пребывание в Петрограде в 1916 г. совпало с организацией при министерстве суда чести. По проекту, этому суду подлежали младшие чиновники министерства, в том числе дипломатические и консульские, но только до 5-го класса. Будучи в 4-м классе, я ему не подлежал. Для избрания трибунала у Сазонова состоялось собрание, на которое были приглашены все дипломаты и чины министерства, находившиеся в то время в Петрограде, а равно и состоявшие в ведомстве министерства заслуженные сотрудники, покинувшие его, в том числе члены Государственного совета, бывшие послы Зиновьев И. А. и Сабуров П. А. Последнего я не знал, так как он уже давно покинул службу, на которой был посланником в Афинах и послом в Берлине. Меня познакомил с ним Сазонов, который во время совещания выглядел лучше, чем раньше, и был в хорошем расположении духа.

Это была моя последняя встреча с Сазоновым. Известно, что вскоре вместо него был назначен министром распутинский ставленник Штюрмер, а Сазонов стал, насколько помнится, членом Государственного совета. Правда, Временное правительство в критическую минуту вспомнило о Сазонове, на очень короткое время, когда наша внешняя политика переходила из рук Милюкова в руки Терещенко. Бывший царский министр был назначен на пост посла в Лондон, но в последний момент это назначение отменили, и министерство вернуло Сазонова из вагона на Финляндском вокзале, где он занял место, чтобы отправиться в Англию.

С последовавшими друг за другом после Сазонова с необычайной быстротой министрами иностранных дел («министерская чехарда» — слова Пуришкевича) мне не пришлось тогда встречаться. Из них я в детстве видел Штюрмера, молодого в то время церемониймейстера, а Терещенко встретил как-то в вагоне. Тогда он был еще молодым чиновником дирекции императорских театров. Терещенко возвращался в Петербург из команди-

ровки в Германию, где ему было поручено ознакомиться с немецкими театрами, изучить их организацию. Мы говорили исключительно на театральные темы, причем он восхищался постановкой театрального дела в Германии, где в то время существовало 52 оперные сцены. Это было года за два до войны, и, конечно, я в то время не думал, что этому молодому человеку придется сравнительно скоро стать моим начальником — министром иностранных дел. Впрочем, я его в этой роли никогда и не видел, так как в Петроград за время существования Временного правительства ни разу не приезжал.

После Октябрьской революции Сазонов, как известно, оказался за границей и даже принимал участие в парижском контрреволюционном «политическом совещании». Последние годы своей жизни он провел в Польше, где ему вернули имение под Белостоком в знак признательности за его полонофильскую политику в начале войны.

Что касается Извольского, то он умер ранее Сазонова. Похоронили его в Париже, причем на похоронах выяснилось, что Извольский неизвестно когда стал лютеранином и тщательно скрывал это. Не знаю, каковы были причины перемены им религии, но в некоторых монархических кругах это объяснялось в связи с излюбленной у них темой масонства принадлежностью Извольского к масонам, в чем уличались в бывшем министерстве иностранных дел, кроме Извольского, и Поклевский-Козелл и даже Сазонов, который как масон имел якобы самую низшую степень посвящения. Насколько это верно, не берусь судить, но бесспорно, что Извольский, ходивший всю жизнь в долгу, как в шелку, бывал порой в большой зависимости от неизвестных международных сил...

И тот и другой из последних двух царских министров иностранных дел, сыгравших столь роковую роль перед империалистической войной, оставили свои мемуары, но воспоминания Извольского не были им закончены, а воспоминания Сазонова, вышедшие в свет спустя несколько лет после войны, носят характер не только известной поспешности, но, быть может, и предумышленности, так как ни слова не говорят об изнанке французской политики в отношении России, которую Сазонов, конечно, знал, но не считал удобным раскрывать.

Заговорив о французской политике, я невольно подхожу к своим берлинским впечатлениям и к сравнению их с варшавскими. В 1919—1920 гг. в Польше все вертелось вокруг затеянной Францией интервенции против России и искусственного сколачивания за границей белогвардейской «третьей России». Под этим фантастическим названием подразумевалась «вторая Франция», проводившая в жизнь странные мечты о гегемонии над всей Европой. В Берлине, к счастью, я об этом уже ничего не слыхал, и немцы, естественно, относились к подобного рода планам с затаенной ненавистью, которую французская политика в самой Германии могла только разжигать. В Берлине среди русских, кроме настроенных явно контрреволюционно, было много и таких, которые не имели определенного политического миросозерцания, были крайне растеряны и тратили свои силы на выход из тяжелого личного положения. Даже мои коллеги, попавшие по тому или другому поводу в Берлин, были очень далеки от франкофильствующих настроений и сочувствовали политике сближения с новой Россией, которую, насколько это было возможно, проводило германское министерство иностранных дел. Мне помнится, как я однажды обедал у Мальцана вместе с нашим бывшим послом в Вене Н. Н. Шебеко. Это был порядочный человек, но он далеко не подходил к той ответственной роли, какая ему выпала перед войной в качестве представителя России в двуединой монархии. Там ему приходилось иметь дело с министром иностранных дел графом Берхтольдом, личным врагом Извольского. Небезынтересно отметить, что наше министерство иностранных дел после пресловутого инцидента в Бухлау сочло возможным при нормальных отношениях между обоими правительствами сноситься с австро-венгерским посольством лишь вербальными нотами, т. е. нотами, не подписанными министром, составленными от имени министерства и в третьем лице. Поскольку такие ноты касались принципиальных вопросов в международных сношениях мирного времени, то это являлось признаком натянутых отношений. Происходило это за пять лет до войны с Австро-Венгрией, но являлось чем-то вроде ее преддверья.

Во время моего пребывания в Берлине (по пути из Мадрида в Москву) я разрешил вопрос о получении

средств на жизнь путем поступления на частную работу в один из германских экспортных домов, ведущих торговлю с Италией, здесь мне пригодились мои познания во французском и отчасти итальянском языках. Наши корреспонденты писали нам из Италии по-итальянски, а мы отвечали им по-французски. Кроме того, у ювелира в Штутгарте сохранилось довольно много моей серебряной посуды, которую я готовил ко времени моего назначения посланником, а я имел слабость придавать большое значение вопросам представительства. Все это пошло мне на пользу. Съездив в Штутгарт, я нашел свое серебро в порядке и тут же продал его, причем расплатился со своими мелкими долгами и в этом городе. Мой многолетний поставщик сигар был так тронут, что преподнес мне в подарок целую коробку сигар.

За несколько лет, прошедших с момента моего посещения Штутгарта в конце 1918 г., город успел снова расцвести и принял тот облик, который я знал и любил во время моего трехлетнего пребывания в Бюртемберге.

Затем я расстался с ненужными мне больше вещами, продав их в одном из магазинов на Лейпцигерштрассе. Этот магазин скупал ордена, мундиры, военное снаряжение и т. п.— одним словом, всю мишуру строя, исчезнувшего почти одновременно в трех соседних монархиях. (Придворные мундиры я продал ранее в Испании через канцелярского служителя мадридского посольства.)

Магазин был очень похож на склад бутафории Большого театра. Тут было представлено и снаряжение гвардейских кавалерийских частей, например «Gardes du Corps», носивших мундиры вроде царских кавалергардов и конногвардейцев, и бесконечное количество орденных разных стран и т. д. и т. п. Но атрибуты эти уже никому не были нужны.

В связи с подобными мелочами невольно вспоминается вся феодально-бюрократическая обстановка старого режима, являвшегося отзвуком длительного исторического развития. Этот строй во многом являлся сколком с разных моментов истории России. В нем отражался прежде всего византийский строй, так или иначе возрожденный при московских царях («третий Рим») и выразившийся в своеобразном теократизме. К нему примешалось потом много монгольского, а затем феодального западноевропейского, главным образом немецкого.

Во время моих приездов в Россию я так или иначе принимал участие в придворных церемониях, и, как мне кажется, небезынтересно будет в общих чертах описать эти церемонии в том виде, в каком они существовали в начале XX века.

Когда я впервые присутствовал во дворце на свадьбе королевича Николая Греческого с Еленой Владимировной в качестве еще не придворного, а просто секретаря миссии в Афинах, то был поражен, с одной стороны, необыкновенной пышностью придворного обихода, а с другой — тем, что он напоминал во многих отношениях архиерейское служение. Те же длиннополые, украшенные золотом одежды, та же церемония при выходе царя (даже слово «выход» напоминает о выходе царя к обедне в старой Москве), но, конечно, многое было навеяно и западноевропейскими обычаями. Восточная пышность до известной степени сочеталась с роскошью XIX века. Названия всех придворных церемоний были немецкие. Русскую старинную поддевку я увидел лишь на одном из придворных — это был немец Диц, главный ловчий царя, одетый в сапоги, шаровары и державший в руках соболью шапку. В то же время уже на первой церемонии, на которой я присутствовал как посторонний наблюдатель, мое внимание привлек крайне разросшийся состав придворного штата, мало гармонирующий в царскосельском дворце с небольшими сравнительно комнатами — гостиными, через которые проходило шествие. Дело в том, что Сперанский еще при Николае I придал придворному штату бюрократический характер¹. Триста камер-юнкеров, столько же камергеров и около сотни так называемых вторых чинов двора — шталмейстеров, гофмейстеров и егермейстеров — комплектовались из чиновников, которым эти чины и звания «жаловались» в виде наград. Не удивительно, что при столь разросшемся дворе его церемонии более походили на великолепное представление, чем на нечто связанное с личностью самодержавного царя.

Все участвовавшие в этой церемонии были связаны с ней лишь формально. Даже главный актер, Николай II, чувствуя, вероятно, что совсем не подходит к своей роли,

¹ Автор ошибается. Эти мероприятия были проведены Сперанским при Александре I (в 1809 г.). — *Прим. ред.*

явно тяготился этим ритуалом, и было интересно наблюдать, как он со скукой, но не без известного любопытства рассматривал окружающих, оглядываясь на них и совершенно забывая о роли, какую он призван был играть. Мне помнится, что как-то после продолжительной и довольно утомительной церемонии, обставленной со всем блеском больших торжеств, когда весь двор, за исключением военных, появлялся в шелковых чулках и башмаках с пряжками, несколько не подходящих к длиннополым, расшитым золотом парадным мундирам, он стоял с усталым видом среди случайно собравшихся в какой-то проходной комнате придворных и тер себе перчаткой лоб. У него был вид актера, вышедшего после представления за кулисы.

Иногда большие выходы носили почти зловещий характер. Так, весной 1904 г. я присутствовал на пасху при выходе царя. В это время с Дальнего Востока стали приходить вести о наших неудачах. Погода стояла ненастная, многие из старых сенаторов и членов Государственного совета побоялись приехать. В результате, когда двор проходил (придворные шли впереди) громадный Николаевский зал, предназначенный для заседаний Государственного совета и сената, был почти пуст — в нем затерялись всего лишь человек 10 старцев в черных или красных (сенатских) мундирах. Следующий зал был полон, но то были командированные по наряду офицеры гвардейских полков. Шествие двигалось медленно, беспрестанно останавливаясь. По окончании церковной службы двор возвращался обратно теми же залами, и я заметил, что в Николаевском зале сенаторов и членов Государственного совета было еще меньше, хотя во время службы наружные двери дворца обычно закрывались и никого из присутствующих до ее окончания не выпускали.

Не менее зловещее впечатление произвел на меня в ноябре 1905 г. выход в день Георгиевского праздника. В этом случае царю предшествовали в процессии не придворные, а георгиевские кавалеры. Когда Николай II показался в церковных дверях, то перед ним, отделенные от него лишь одной фигурой обер-гофмаршала, шли генерал Куропаткин и адмирал Алексеев как единственные в то время кавалеры ордена Георгия III степени. Что за мрачное напоминание о безнаказанно проигран-

пой ими войне¹. Перед началом церемонии мне бросилась в глаза фигура великого князя Николая Николаевича в штатской одежде и в шапке с громадным султаном на голове, стоявшего перед георгиевскими кавалерами из числа нижних чинов огромного роста. Этот султан будущего верховного главнокомандующего маячил неестественно высоко в тумане петербургского ноябрьского дня как некое грозное привидение. Если фигуры Алексева и Куропаткина говорили тогда о прошлом поражении на Дальнем Востоке, то появление Николая Николаевича представлялось признаком будущего и окончательного разгрома царской России.

Крушение трех монархий (России, Германии и Австро-Венгрии) означало наступление новой эры в европейских международных отношениях. В то время как в 1914 г. в Европе существовали лишь три республики: Франция, Швейцария и Португалия, в настоящее время только на европейских полуостровах сохранилось несколько монархий, помимо других небольших королевств — Бельгии и Голландии.

Как я уже говорил, лозунгом государственного строя в европейских империях был третий Рим. Он в большей или меньшей степени служил руководящим началом у трех бывших членов Священного союза. В России, хотя и в несколько затухавшей форме, царь являлся главой православной церкви, после разрешения Петром I долгой распри в Москве между патриаршей и царской властью; в Австро-Венгрии император-король тоже опирался на религию. Он носил титул «апостолического величества», и даже лютеранин Вильгельм II считал необходимым выступать в ряде случаев в качестве проповедника. В России упомянутая формула — самодержавие, православие и народность — в первых двух словах носила понятие, явно навеянное извне; оно пришло из Византии, в то время как титул императора Священной Римской империи, непосредственно связанной с Римом, долго оспаривался между северной и южной Германией, затем — между Берлином и Веной и, наконец, формально остался за последней.

¹ Имеется в виду русско-японская война 1904—1905 гг. Алексеев был главнокомандующим вооруженными силами России на Дальнем Востоке, а Куропаткин — командующим сухопутной армией. — *Прим. ред.*

Когда в XX столетии приходится вспомнить об европейском строе, существовавшем до империалистической войны, то невольно кажется, что с тех пор прошли столетия: так мало вероятными кажутся сейчас события, имевшие место в России в прошлом веке. В 1881 г. даже слабая попытка Александра III, и то лишь в память отца, дать России подобие конституции вызвала резкое возражение со стороны «великого инквизитора» Победоносцева. Это были еще далеко не последние отзвуки того византийского строя, который слишком долго просуществовал в России и держал в своих тисках русскую государственную мысль вплоть до совместного крушения церкви и монархии, крушения, неизбежного по логике истории при появлении нового социального строя.

Как я уже говорил, последний период царской власти являлся своеобразным сочетанием пережитков феодально-теократического строя и порядка капиталистического, народившегося в России в течение главным образом XIX века, приведшего к внедрению иностранного капитала. Другие две соседние монархии во многом носили тот же характер. Можно сказать, что Австро-Венгрия в этом отношении сильно напоминала Россию: несмотря на события 1848 г., государственный строй ее был той же смесью феодализма и бюрократизма на фоне «демократического» конституционного строя, вызванного развитием собственного капитализма и его противовеса — рабочего движения, а теократизм носил лишь другой характер ввиду католического его происхождения. Многие уже успели, естественно, забыть, что император австрийский, король венгерский носил титул апостолического величества, и весь придворный обиход являл это во время участия императора в церковных церемониях, где он соблюдал специальный ритуал. К тому же Габсбурги были близки к другой, существовавшей многие столетия, испанской династии, а в лице бывшего императора Священной Римской империи Карла V соединялась власть и над Испанией и над германской империей того времени. Что касается внешних проявлений теократии, то как в Вене, так и в Мадриде до начала XX века сохранился своеобразный обычай, заставляющий в четверг на страстной неделе и «апостолическое» и «католическое» величества совершать обряд омовения

ног. В Мадриде я видел Альфонса XIII, лившего воду из большого серебряного кувшина на ноги двенадцати нищих, одетых по этому случаю за счет короля в сюртуки и цилиндры.

Лишь понемногу открываются те роковые последствия, которые имели интриги при венском дворе, сыгравшие мрачную роль даже перед самой войной, при убийстве эрцгерцога Франца-Фердинанда. Третья монархия, входившая почти до конца прошлого века в переживший себя Священный союз,—Германия во многом подражала своим двум соседкам, но ввиду своего недавнего обращения в империю делала это поспешно. Вильгельм II немало позаботился о придании блеска скромному прусскому двору, и, например, белый зал в берлинском королевском замке, где происходили большие придворные приемы, был облицован мрамором лишь незадолго до исчезновения в Германии монархического строя.

Все это мне приходило на ум в Берлине, где собрались одновременно обломки как монархического Берлина, так и бывшей царской России. Во всяком случае в Берлине и те и другие уже не представляли определенной сколько-нибудь сильной организации. Русские эмигранты-монархисты были заняты главным образом приисканием себе средств для существования или ссорами между собой по вопросам, имеющим лишь отдаленное отношение к окружающей действительности. Большинство жило воспоминаниями о невозвратном прошлом, которое представлялось для них еще обаятельным. Среди них были и такие, которые стремились в своих фантазиях сочетать бывший строй с нынешним. Между прочим, одна русская дама так и сказала: «Как было бы хорошо, если бы в России восстановилась монархия, но при условии, чтобы председателем Совета министров был Ленин».

Как я говорил, русская колония в Берлине в 1920—1921 гг. находилась в процессе разложения: она распалась на небольшие группировки, соединявшиеся по признакам своей бывшей службы при царской власти. Мне иногда представлялось, как это видишь иногда на сцене, что живые люди обращались постепенно в каких-то марионеток, совершенно потерявших человеческий облик, но еще продолжавших делать заученные жесты и

механически повторять затверженные слова. Надеюсь на возможность найти среди этой разрозненной толпы, собравшейся по разным причинам в Берлине, более разумных представителей старой России, которые поняли бы, что прежняя Россия отжила, а ее место заняла Советская Россия, я посещал время от времени публичные собрания русских всех направлений. В памяти у меня осталось собрание, устроенное в громадном зале, нанятом эсерами. На этом собрании выступали Чернов, Зензинов и др. Присутствовали на нем русские почти всех направлений и два или три представителя германского министерства иностранных дел. Задние ряды были переполнены русской черносотенной молодежью, которая явилась, чтобы устроить скандал инициаторам собрания. Как только на трибуне появился президиум, эта молодежь на продолжительное время задержала несмолкаемым свистом открытие собрания, которое все же состоялось, но после того, как большинство новоявленных «camelots du roi» («королевские молодцы») покинуло зал. Последний все же был переполнен. В это время русских в Берлине было необыкновенно большое количество. Один из представителей германского министерства иностранных дел, прекрасно владевший русским языком, заметил мне с улыбкой: «Нам скоро не будет места у себя дома». Поводом для такого заявления был ответ одного из русских молодых людей на вопрос, нравится ли ему Берлин: «Да, Берлин мне очень нравится, но в нем слишком много немцев». Как я уже говорил, на некоторых улицах Берлина в то время действительно можно было слышать так же часто русскую речь, как и немецкую.

После демонстрации монархической молодежи, несмотря на ее уход, собрание продолжалось не менее шумно, но оживление перешло уже на трибуну. Чернов выступил с пространной речью, делясь своими впечатлениями об одном из последних собраний эсеров совместно с большевиками в Петрограде, на котором остро проявился раскол между большевиками и эсерами. Но и между самими эсерами единства больше не существовало, и за первым оратором скоро выступил другой, насколько мне помнится, Зензинов. Он стал резко упрекать Чернова в том, что их партия бросила русский народ на произвол судьбы, испугалась и выпустила из рук бывшее влияние в России, в то время как большевики

сумели повести за собой народ и не покинули его среди общего хаоса. Невольно я себя спрашивал, с какой целью эсеры устроили это публичное самобичевание перед столь многочисленной и враждебно настроенной аудиторией. Во всяком случае они не достигли иных результатов, кроме отрицательных. Чувствовалось, что и это «левое» проявление русской мысли, представителями которой были эсеры, исчезает со сцены действительности, уходя в историю совместно с освиставшими их только что монархистами.

Описанное мной собрание было весьма наглядной иллюстрацией к полному изменению судьбы России и к сведению на нет всех прежних течений русской мысли, потерявших под собой реальную почву.

Эсеровское собрание заставило меня вспомнить о варшавских впечатлениях и главным образом о встрече с Савинковым, скатившимся постепенно до роли представителя Колчака в Париже и агента французского небонапартизма. Во всяком случае Варшава и Берлин представляли собой необыкновенно разнообразное поле для наблюдений.

В 1921—1922 гг. вся русская эмиграция в общем утратила уже в течение нескольких лет чувство реальной почвы. В то время как варшавская эмиграция находилась под влиянием Парижа, в Берлине преобладали другие настроения, но и те и другие эмигрантские круги продолжали мыслить по старым, довоенным трафаретам. Парижские, а следовательно, и варшавские круги отражали течения западнические, а берлинские настроения — славянофильские. Все это было музыкой безвозвратного прошлого. Русская общественность колебалась в прошлом столетии между двумя полюсами государственной мысли. Славянофилы боролись с западниками, для них Россия как бы противопоставлялась Западной Европе («Россия и Европа» Данилевского). Для первых движущим стимулом было объединение славян и завоевание Константинополя, древней Византии, являвшейся как бы колыбелью русской государственности, а другие искали свои идеалы на Западе, отрицая, что Россия имеет черты самобытности, противоположной западной культуре. Перед войной оба направления уже выродились. С одной стороны, многие из бывших руководителей царской внутренней и внешней политики питали надежду

на завоевание Константинополя, в чем видели и уврачевание всех русских болезней, так свирепо терзавших, по их мнению, русский народ: рабочее движение, социалистическое перерождение страны, остро назревший аграрный вопрос и т. д. и т. п. Между прочим, известный как посол в Константинополе А. И. Нелидов пользовался в своей частной переписке бумагой, на которой славянской вязью было напечатано: «посол в Царьграде». Другие реально мыслящие русские дипломаты, как например барон Розен, не могли без улыбки говорить об этом. Перед самой войной оба направления русской мысли переплелись совсем необыкновенными узорами, а проводящие эти мысли в жизнь руководители как-то выродились в карикатуру двух течений. С одной стороны, славянофильство было уже с 1905 г. подменено неославизмом, нашедшим свою главную опору в Польше и Сербии, а западничество явилось вдохновителем по преимуществу кадетской партии, для которой казалось необыкновенно лестным, что Россия очутилась в союзе с Францией и Англией. Мне представляется, что не было бы натяжкой, если бы, вернувшись к двум последним роковым министрам иностранных дел — Извольскому и Сазонову, видеть в первом представителя западничества, а во втором — славянофильства, причем, как я говорил, второе успело выродиться в неославизм, служивший почти исключительно интересам поляков и сербов, а первое в лице Извольского стало каким-то международным авантюризмом, руководимым небольшой группой посвященных в тайны выработки сложных комбинаций, преследующих корыстные цели. Оба течения, впрочем, во многом переплелись при попытке достигнуть одних и тех же целей. Так, захват Константинополя — исконная мечта бывших славянофилов — был на руку и западноевропейским заправилам капиталистических кругов, как например Пуанкаре, который обеспечил себя притворным сочувствием мечте многих в России о Босфоре и проливах, поддержкой русской армии в деле возвращения Франции Эльзаса и Лотарингии. В числе ярких представителей, хотя бы и на националистической почве, соединения в одно былых полюсов русской мысли — западников и славянофилов — был Милюков. Он во многом вдохновлял Извольского, а став министром Временного правительства, продолжал говорить о Константинополе как

о необходимой задаче русской иностранной политики, а следовательно, и о продолжении войны до победного конца. В результате были вызваны известные июльские дни в Петрограде в 1917 г. Последнее являлось как бы решительной схваткой между отживающими течениями русской политической мысли и вновь народившимся направлением Советской России, вдохновляемым гением В. И. Ленина.

Среди происшествий, отметивших в 1921 г. серую жизнь русской колонии в Берлине, надо упомянуть об убийстве в том же зале, в котором выступали эсеры, одного из выдающихся кадетов — В. Д. Набокова представителем черносотенной русской молодежи, которая освистывала Чернова и Зензинова. В действительности покушение замышлялось против Милюкова, который тогда только что прибыл из Парижа, чтобы сделать доклад о международном положении. Интересно отметить, что русские черносотенцы за границей стали все чаще прибегать к столь осуждаемым ими некогда методам эсеров, расправлявшихся путем убийства с лицами, для них неугодными.

По рассказам очевидцев, убийца во время перерыва побежал с револьвером по проходу к трибуне, на которой стоял Милюков, беседуя с несколькими лицами. Милюкову удалось заметить угрожавшую ему опасность, и он присел на пол, причем окружающие Милюкова лица — Набоков и др. старались его защитить, наклонившись над ним. Пуля попала в спину Набокова, и он был убит на месте.

Все эти проявления деятельности монархистов за границей отдаляли все дальше и дальше от них большинство русских. По прежней работе в министерстве иностранных дел мне пришлось волею судьбы последовательно жить в шести монархических странах, и, как ни странно, из них в трех самодержавных — в Румынии, Китае и Черногории. Между прочим, во всех этих странах монархический принцип уже отошел в историю, и на меня русское мракобесие черносотенцев производило самое отталкивающее впечатление. Я был приглашен однажды как сын одного из деятелей по освобождению крестьян на собрание в день 19 февраля. Как можно было убедиться из выступлений монархистов, они продолжали оставаться на помещичье-крепостнической

точке зрения и по всем данным относились отрицательно к деятелям этой реформы как своего рода изменникам дворянскому классовому строю — рабовладению. Но вскоре я понял, почему был приглашен. Сенатор Кестержецкий, большой почитатель памяти моего отца, выступивший с речью о его деятельности, усиленно подчеркивал мое присутствие на собрании. То, что наши монархисты последней формации, вернувшись, как я уже упоминал, вспять до времен московского царизма XVI или XVII веков, осуждали реформы Александра II, я знал уже и потому, что при праздновании в Петербурге 50-летия освобождения крестьян перед самой войной, несмотря на официальное торжество, это освобождение тщательно называлось просто крестьянской реформой; слишком резало еще в начале XX века слух реакционным правящим кругам слово освобождение.

После Великой Октябрьской революции оторвавшиеся совсем от подлинной России монархисты за границей вообще постепенно заходили в такие дебри какого-то кликушества, фанатизма и фантастики, что для реально мыслящих русских оставалось лишь одно — пожать плечами и отойти от них.

Получив в свое время образование в Александровском царскосельском лицее, я раза 2 или 3 бывал на собрании своих товарищей по лицее, но скоро убедился, что и они, в особенности молодежь, идут в своем мировоззрении по следам неистового Маркова 2-го. В день лицейского праздника мной был поднят вопрос о панихиде по Пушкине. На меня воззрились с ужасом. Как будто бы все забыли, что своей известностью лицей во многом обязан нашему великому поэту, что вместе с ним кончило лицей несколько декабристов, как например Кюхельбекер, Дельвиг и др., что значительно позже лицей кончил Салтыков-Щедрин, а во время освобождения крестьян был сослан в Сибирь за «преступную агитацию» один из лицеистов — Серно-Соловьевич (о нем писал в своих воспоминаниях мой отец. «Русская старина», 1881 г.). Считаясь с мировоззрением молодых товарищей из породы «зубров», я нисколько не удивился полученному мной за несколько дней до отъезда в Москву письму, в котором я как бы исключался из состава берлинской лицейской семьи за возвращение в Советскую Россию, о котором стало известно за

несколько недель до отъезда, так как я старался распространить об этом известие как можно шире в расчете, что мой пример подействует отрезвляюще на некоторых соотечественников, знавших меня давно. Но, как я уже упоминал, больше всего мне хотелось подействовать на своих коллег по б. министерству иностранных дел. Их в 1921—1922 гг. набралось в Берлине довольно много, и, как я замечал, многие из бывших русских дипломатов стояли довольно близко к моей точке зрения, а некоторые по примеру многих эмигрантов, отбросив всякие контрреволюционные замыслы, попросту мечтали о России, говоря, что каждое утро их мучает мысль, придется ли им когда-нибудь в ней побывать. Во всяком случае в Берлине не чувствовалось французского нажима на русских, в частности на бывших коллег.

К концу 1921 г. начала ясно вырисовываться картина нарастающего сближения между Германией и РСФСР, и не только на экономической, но и на политической почве. Причиной этого было одинаковое положение двух наиболее пострадавших от войны стран и возрождение старой политики Германии — ориентации на Восток. Как я уже говорил, в Германии сказывалась преемственность политики Бисмарка; эту политику поддерживали граф Брокдорф-Ранцау, барон Мальцан, фон Бюлов и многие другие германские дипломаты. С нашей стороны стремления Берлина получали поддержку, и сближение шло все усиливающимися темпами. Правда и то, что в Германии не могли не сознавать, что, как бы ни был тяжел для нее Версальский мир, он мог бы быть еще хуже, если бы во Франции не было страха перед угрозой «большевизации Европы». Этот страх последовательно усиливался начиная с середины 1917 г. и особенно после восстания французских моряков и десантных войск в Одессе.

Как я уже говорил, в конце 1921 г. русское посольство было еще закрыто и официальные дипломатические сношения между Советской Россией и Германией не возобновлялись. Однако в Берлине к этому времени находилось много советских делегаций, работавших по ряду специальных вопросов.

С момента приезда в Берлин меня не покидала мысль о возвращении в Россию, но мне хотелось, чтобы это возвращение состоялось открыто и чтобы по возможно-

сти одновременно со мной вернулось как можно больше русских, в частности моих коллег по министерству иностранных дел. Поэтому я поддерживал связь со многими находившимися в Берлине бывшими коллегами. Их было около 15—20 человек, и большинство из них в значительной степени разделяло мою точку зрения на те заблуждения, в которых были повинны царские дипломаты.

Что касается меня лично, то я уже давно решил вернуться на Родину и признаюсь, что, несмотря на мои уже немолодые годы, стал изучать марксизм. Вместе с женой мы начали посещать курсы марксизма, которые читались в Высшей школе имени Лейбница для вольнослушателей. Профессор попался даровитый, и у меня осталось от этих курсов весьма хорошее впечатление, тем более что перед тем я был совершенным невеждой в вопросах марксистской науки, уже перестроившей на новый лад жизнь стопятидесятимиллионного населения бывшей Российской империи, становившейся все ближе и понятнее народам Западной Европы.

Параллельно с этим я продолжал поддерживать хорошие отношения с бароном фон Мальцаном и присутствовал на нескольких его приемах. В это время между русскими и немцами установились более тесные связи. Было организовано, например, русско-германское общество по развитию экономических отношений, куда вошло много русских, в том числе и я.

Довольно часто у меня возникала мысль о необходимости издания газеты, которая стояла бы по возможности ближе к советской платформе и читалась бы русскими, находящимися на перепутье между старой и новой Россией и еще не нашедшими выхода из тупика. Действительно, мне скоро удалось при помощи некоторых знакомых журналистов начать выпуск маленькой газеты под заголовком «Воскресенье». Она выходила по воскресным дням и стала понемногу расходиться. Газетка была маленькая; она, конечно, не могла конкурировать с белогвардейскими газетами вроде «Руля», но для меня было приятно получить возможность каждую неделю помещать в ней что-нибудь свое, а вместе с тем приобщиться к журналистскому делу, совершенно до того мне незнакомому. Мои товарищи по издательству были опытнее меня, и я руководствовался их советами и довольствовался аккуратным посещением комнаты при маленькой

типографии, которая служила чем-то вроде редакции нашей газетки-листка. Направление нашей газеты пришлось очень по душе немцам, и они даже отзывались в солидных органах с похвалой о «Воскресенье». Между прочим, тогда мне впервые пришла в голову мысль писать воспоминания, что я и сделал, напечатав их в виде фельетонов в трех номерах. Во всяком случае до конца 1921 г. наша работа была еще весьма незначительной и ожидала для своего расцвета последующего периода в жизни русской колонии в Берлине. Этот период получил название «сменовеховства»¹.

Как я уже упоминал, в Берлине образовалось русско-германское общество, начало деятельности которого совпало с возобновлением дипломатических сношений с Германией. В ноябре 1921 г. советскому послу предстояло вручить свои верительные грамоты президенту Германской республики Эберту. В то время уже намечалась Генуэзская конференция, хотя место для ее проведения еще не было окончательно определено.

В двадцатых числах ноября я вместе с другими членами русско-германского общества получил приглашение на обед, во время которого должен был выступить Мальцан с приветствием от имени министерства иностранных дел. Обед состоялся в ресторане.

Собралось около 60 человек русских и немцев. Большинство русских оказалось моими знакомыми, из которых многие только что приехали в Берлин и с некоторым опасением приглядывались к незнакомой обстановке, созданной новыми политическими условиями. Некоторые приехали из Франции, как бы вырвавшись из союзнического плена. Как полагается на таких собраниях, Мальцан выступил со своей речью в конце обеда, но, признаться, я остался недоволен его речью. Вероятно, в малознакомом кругу русских он хотел быть осторожным

¹ Сменовеховцы — течение среди части русской буржуазии, преимущественно белоэмигрантской, интеллигенции. Сменовеховцы в 1921—1922 гг. издавали в Париже журнал «Смена вех» (откуда и название движения), а в Берлине газету «Накануне». Сменовеховцы проводили политику сотрудничества с Советской властью в расчете на буржуазное перерождение Советского государства. Социальной основой движения явилось некоторое оживление капиталистических элементов в Советской республике в связи с началом осуществления новой экономической политики.— *Прим. ред.*

и постарался не придавать русско-германскому только еще назревшему сближению слишком большого значения, тем более что он, как представитель немецких участников нашего обеда, выступал первым и при этом в качестве официального лица. Мальцан, по-видимому, не хотел первым слишком демонстративно протянуть руку, которая, хотя это было маловероятно, могла быть и не принята. Поэтому он ограничился лишь полуигривыми словами о красоте русских женщин и о своем преклонении перед ними. В общем, вышло, что он произнес тост лишь за русских женщин. Среди присутствовавших соотечественников почти никто не владел достаточно немецким языком или не считал себя призванным отвечать Мальцану. Русская колония в Берлине была разрознена, а потому никто из присутствовавших русских не хотел брать на себя обязанности отвечать немцам. Мои соседи начали просить меня ответить Мальцану, от чего я не считал возможным отказаться. К тому же я хотел исправить чрезмерную осторожность, проявленную немцами. Слова Мальцана о преклонении перед русскими женщинами дали мне возможность заговорить об отношениях мужчин между собой, и это помогло разрядить холодную атмосферу, вызванную словами Мальцана. Я говорил о двух народах, которые мужественно сражались друг с другом и с тем же мужеством и так же смело протягивают друг другу руку, придавая новой дружбе столь же серьезное значение, какое они перед тем придавали борьбе. Кажется все остались довольны моим выступлением.

По окончании обеда мы перешли пить кофе в другую комнату. Вскоре ко мне подошел Мальцан с приглашением приехать к нему на следующий день. У него должен был состояться прием по случаю вручения верительных грамот новым послом, так называемый в то время в Берлине «Bierabend» (вечер за кружкой пива). Я с радостью принял это приглашение, хотя, как потом узнал, некоторые из моих бывших коллег уклонились от этого. Я не берусь судить, почему они так сделали. Что касается меня, то я относился к своему пребыванию в Берлине лишь как к вынужденной остановке по пути в Москву, но Мальцан так или иначе помог мне утвердиться в правильности моего намерения, созревшего еще в Мадриде.

Чтобы не возвращаться больше к русско-германскому обществу, я должен упомянуть здесь, что, как стало

известно впоследствии, большинство членов этого общества стояло на иной платформе, чем я, и далеко не дружелюбно относилось к Советской власти. Когда в 1922 г. стало известно, что я еду в Москву, то секретарь общества намекнул, что мне неудобно оставаться членом общества, поскольку я возвращаюсь в Советскую Россию. Через две-три недели после этого, покидая Берлин, я известил секретаря, что выхожу из состава общества.

На следующий день я был у Мальцана. Когда я вошел в его сравнительно небольшую квартиру, она была уже полна приглашенных. Кроме состава Советского полпредства, там находились многие представители германского политического и газетного мира. Помнится, что присутствовали бывший статс-секретарь по иностранным делам фон Кюльман, издатель «Berliner Tageblatt» Теодор Вольф и некоторые другие, с которыми я раньше встречался.

Решив действовать постоянно в открытую, я не скрыл своего посещения Мальцана от русских знакомых, и многие из них отнеслись к этому сочувственно.

Хотя и чувствовалось, что парижское наводнение постепенно рассеивается, среди бывших русских дипломатов были и такие, которые, посещая оба, пока еще враждебных, лагеря, служили контрразведкам и делали из этого себе заработок.

За 25 лет моей дипломатической службы я привык проводить резкую разграничительную линию между обязанностями дипломата и неофициального осведомителя. Помнится, как для меня было неприятно, когда я, будучи как-то приглашен обедать в германский драгунский полк, расквартированный в Людвигсбурге, под Штутгартom, заговорил невзначай о впечатлениях от виденного мной накануне парада штутгартского гарнизона, причем обратил внимание, что у них в кавалерийских полках выводится в строй не 6, а 5 эскадронов. По перепуганному и несколько сконфуженному лицу моего собеседника-офицера я понял, что у него zakралось подозрение, что мной заведен этот разговор неспроста, что я будто бы желаю у него что-либо выведать.

Действительно, во время несчастной империалистической войны перешедшая все границы подозрительность распространялась не только на врагов, но и на собственных союзников и привела к разложению дипломатической

дружбы, к ее параличу. Мне помнится, как наши весьма частые собрания союзного дипломатического корпуса в Мадриде ввиду все более и более развивающегося недоверия друг к другу обратились в какие-то своего рода скучные молчаливые сборища, на которых единственным спасением являлись или обеды, за которыми приходилось вести пустые светские разговоры, или же игра в карты, позволяющая ограничиваться относящимися к игре замечаниями. Что же касается деятельности союзнических главных штабов, то она уже на второй год войны выродилась в такие приемы контрразведки во всех направлениях, что приходилось чуждаться наших военных коллег, желавших обратить нас, дипломатов, в своих агентов. К тому же мне всегда плохо верилось, что подобного рода осведомительная служба давала больше положительных, чем отрицательных результатов. Дело в том, что все военные агенты пользовались услугами мелких осведомителей, а последние, обратив свое дело в ремесло, ухитрялись обслуживать нескольких хозяев, и тут завязывались такие сложные отношения, что даже опытным руководителям контрразведки было трудно не стать самими пешками у низших агентов, обслуживавших во время войны одновременно разные военные коалиции. Дело не раз доходило до курьезов. Например, в самой большой гостинице в Берне «Бельвию» все знали, что бармен (слуга, обслуживающий бар, а потому имеющий возможность прислушиваться к разговору посетителей, когда те были навеселе) состоял одновременно на жаловании у французов и у немцев. Спрашивается, кому же он служил более ревностно? Мадрид во время войны тоже являлся центром европейской контрразведки. К нам в посольство как-то обратились из больницы за сведениями о приехавшем из Парижа молодом русском летчике, пострадавшем при автомобильной катастрофе. Этот молодой человек находился в автомобиле вместе с германским морским агентом и французенкой легкого поведения. И таких мелких фактов можно было бы привести много, но неужели из этого не вытекает, что мало-мальски опытный дипломат, даже при всем служебном рвении, должен держаться подальше от этого своеобразного мира.

Возвращаясь к обстоятельствам моего отъезда из Берлина в 1922 г., не могу не добавить, что по поводу моей первой встречи с советским полпредом стала гово-

рить вся русская колония в Берлине. Некоторые возмущались не столько тем, что я разговаривал с советским полпредом, а тем, что я об этом всюду открыто рассказывал, не скрывая, что советские представители, с которыми я познакомился, произвели на меня наилучшее впечатление.

В январе 1922 г. Советское правительство получило приглашение принять участие на Генуэзской конференции, и скоро не только в Москве, но и в Берлине началась усиленная работа по подготовке к этой конференции.

В связи с этим я получил от полпредства поручение составить записку по вопросу о Фиуме¹, в чем мне большую помощь оказал соответствующий референт германского министерства иностранных дел, бывший генеральный консул в этом городе. На меня произвел большое впечатление серьезный, научный подход к задачам международной политики в иностранном ведомстве Советской России, куда я так стремился, чтобы оказать посильную помощь в деле обновления нашей внешней политики, загнанной в грозный кровавый тупик царским министерством иностранных дел.

Как все знают, официально главой нашей делегации в Генуе был В. И. Ленин. Его заменял в Италии в качестве заместителя главы делегации Г. В. Чичерин, который вскоре по пути в Геную приехал в Берлин. В Генуе состоялась первая встреча на широкой политической арене наших советских представителей с делегатами западноевропейских капиталистических держав. Первое выступление Г. В. Чичерина в Генуе явилось призывом к пе-

¹ Фиуме (город на восточном берегу Адриатического моря со смешанным итало-хорватским населением) после первой мировой войны был объектом длительной борьбы между Италией и Югославией. Когда произошел распад Австро-Венгрии, в состав которой входил этот город, Италия потребовала присоединения Фиуме к ней. После того как Парижская мирная конференция отказалась выполнить требование Италии и провозгласила Фиуме вольным городом, итальянский писатель-националист Габриэль д'Аннунцио с отрядом итальянских легионеров захватил Фиуме (12 ноября 1919 г.), надеясь таким образом поставить державы перед совершившимся фактом. По Рапалльскому итало-югославскому договору от 12 ноября 1920 г. Италии все же пришлось согласиться на независимость Фиуме. Однако уже в начале 1922 г. власть в городе захватили сторонники присоединения к Италии. По Римскому договору 27 января 1924 г. Фиуме был передан Италии. После второй мировой войны Фиуме (Рекк) отошел к Югославии.— *Прим. ред.*

ресозданию всей европейской международной политики на новых, мирных началах. Он сказал: «Российская делегация, которая представляет правительство, всегда поддерживающее дело мира, с особым удовлетворением приветствует заявления предыдущих ораторов о том, что прежде всего необходим мир...

Она считает нужным прежде всего заявить, что явилась сюда в интересах мира и всеобщего восстановления хозяйства Европы, разрушенного долголетней войной и послевоенной политикой...

Установление всеобщего мира должно быть проведено, по нашему мнению, всемирным конгрессом, созданным на основе полного равенства всех народов и признания за всеми ими права распоряжаться своей собственной судьбой».

Свою речь Г. В. Чичерин закончил словами: «Мы готовы поддержать все прогрессивные предложения других стран, идущие в этом направлении...»

Эти слова явились вполне логическим развитием постановления II съезда Советов от 8 ноября 1917 г., которым все воюющие державы приглашались приступить к переговорам о заключении мира без «аннексий и контрибуций». Конечно, оппонентом Г. В. Чичерина явился делегат Франции Барту, закончивший свое выступление резким отказом говорить вообще о мире как таковом с точки зрения его организации под предлогом, что этот вопрос не входит-де в программу конференции. Далее французский делегат сказал: «Я говорю просто, но очень решительно, что в этот час, когда, например, русская делегация предложит первой комиссии рассмотреть этот вопрос, она встретит со стороны французской делегации не только сдержанность, не только протест, но точный и категорический, окончательный и решительный отказ».

Как бы то ни было, Советская Россия неизменно продолжала проводить свою мирную политику, а против нее выступала Франция, повинная в том, что война после мирного призыва, сделанного Советским правительством еще в 1917 г., продолжалась затем еще более трех лет, страшно разорив Восточную Европу, и выродилась в самую кровавую гражданскую войну. Последнюю Франция проиграла, но, конечно, не хотела сознаться в этом, а потому заняла в международных отношениях своеобразную позицию, проводя нечто вроде итальянской забастовки.

Выступление Г. В. Чичерина на Генуэзской конференции явилось вполне логическим продолжением той внешней политики, которая уже в течение трех с половиной лет проводилась Советской Россией. Но эти три с лишним года были почти сплошь заняты гражданской войной. Весной 1921 г. ярко сказались последствия морального поражения, постигшего Францию в этой войне. Именно поэтому Франция перешла к системе своеобразного саботажа дела мира и разоружения, на которое она не хотела согласиться в 1917 г., когда II съезд Советов вынес постановление пригласить всех участников войны на мирную конференцию.

Генуэзская конференция прошла под знаком бойкота ее со стороны Франции и привела к совершенно неожиданным и нежелательным для последней результатам: подписанию Рапалльского договора между Россией и Германией.

Все эти события, в высшей степени знаменательные для первых шагов внешней политики Советской России на международной арене, описаны во многих мемуарах. В особенности интересны воспоминания английского посла в Берлине лорда д'Абернона. В них подробно описана роль главных действующих лиц на конференции в Генуе.

Я уже неоднократно говорил о первых шагах Мальцана в области советско-германского сближения. Скажу теперь несколько слов о Ратенау. И Мальцан и Ратенау были среди главных действующих лиц на Генуэзской конференции. Мне пришлось лишь один раз случайно, но при очень удобных для продолжительного разговора условиях встретиться с Ратенау в Берлине у госпожи Гинденбург, невестки германского президента. Она была урожденной княжной Мюнстер, дочерью известного многолетнего германского посла в Париже. Ее мать — Голицына. В силу этого она была большой русофилкой и относилась к нам, русским, с большой симпатией. Она как-то позвала меня на чай и пригласила банкира Ратенау, который в то время еще не был министром иностранных дел, но считался наиболее вероятным кандидатом в министры. Разговор шел по-французски, и я убедился, что покойный министр прекрасно владел этим языком. К тому же он меня поразил своим блестящим разговором на политические темы и широкой ориентировкой в создавшемся после

Версаля положении в Европе. Надо признаться, что он во многом стоял на голову выше всех знакомых мне германских дипломатов, и чувствовалось, что от его руководства германская внешняя политика может только выиграть. Через две-три недели я узнал о назначении Ратенау министром иностранных дел. Встреча моя с ним у госпожи Гинденбург происходила в гостинице «Адлон», и я воспользовался этим, чтобы посетить знакомую мне по Петербургу графиню Клейнмихель, остановившуюся в той же гостинице. У нее — не могу не отметить интересного совпадения — я застал чету Пурталес. Как известно, граф Пурталес был последним германским послом в Петербурге и являлся представителем старой немецкой дипломатической школы. В Ратенау я видел новую Германию, а в Пурталесе — старую. В это время Пурталесы были не у дел и жили в своем имении в Восточной Пруссии. Приехав в Берлин, они посетили графиню Клейнмихель как старую петербургскую знакомую.

Пурталес стал известен своим последним свиданием с Сазоновым, когда вручал ему ультиматум германского правительства с требованием отменить мобилизацию русской армии в течение 12 часов, заявив при этом, что иначе будет мобилизована германская армия. Добрый, но не очень далекий Пурталес был так растерян при выполнении выпавшего на него поручения, что оставил на столе у Сазонова обе заготовленные ноты, из которых одна была ультимативной, а другая была заготовлена на случай, если разговор с Сазоновым даст благоприятные результаты. Когда Сазонов ответил ему категорическим отказом, то Пурталес заплакал, предвидя роковые последствия этого свидания. Легкомысленному Сазонову пришлось его утешать. Об этом сообщает в своих мемуарах французский посол Палеолог. Но надо добавить, что Сазонов, выполнявший волю Парижа, счел возможным сообщить Николаю II о посещении Пурталеса лишь после его ухода. Весь образ действий Сазонова при этих обстоятельствах совпадает, впрочем, с его последним докладом Николаю II перед мобилизацией. Во время доклада присутствовал генерал Татищев, который должен был везти письмо Николая Вильгельму. Роль Татищева была безгласной, так как царь его сразу оборвал. На замечание Татищева: «Да, решить трудно», царь резко ответил: «решать буду я». Невольно вспоминаются

мемуары графа Витте, где видно, как самые важные вопросы разрешались Николаем II втроем, причем царь видел свои prerogативы самодержца в том, что мог скрывать свое решение от того или иного собеседника, т. е. вводить его в заблуждение, в особенности, конечно, в случае если он разговаривал с ними поочередно. Конечно, Татищев был еще предан Николаю II, но, будучи человеком недалеким, он никакой роли в событиях, предшествовавших войне, играть не мог, а был лишь своего рода курьером для передачи личных писем, которыми обменивались в эти критические дни Николай II и Вильгельм II.

В последние месяцы своего пребывания в Берлине я сотрудничал в русской газете «Накануне», которая начала издаваться там весной 1922 г.

В связи с конференцией в Генуе мне пришлось в первый раз — по просьбе редакции — выступить в качестве журналиста. Я посетил ряд известных германских политических деятелей — профессора Гетча, моего знакомого фон Рейнбабена — представителя народной партии, Коха — представителя центра, Брейтшейда — социал-демократа и еще нескольких лиц.

Большинство моих бесед состоялось в здании рейхстага и прошло весьма гладко, так как мои «жертвы», отмечая успехи советской политики, тем самым отмечали удачу Германии в выправлении своего фронта в области внешней политики, главным образом ее выход из-под всепоглощающей опеки союзников после Версаля.

Как я уже говорил, это было первый раз, когда я выступал в качестве журналиста. До сих пор мне приходилось, в бытность управляющим бюро печати министерства иностранных дел, лишь самому давать интервью.

В связи с моей работой в газете «Накануне» не могу не отметить, что некоторые редакторы газеты были привлечены к работе нашей делегации на Генуэзской конференции в качестве консультантов по международно-правовым вопросам.

После заключения Рапалльского договора Г. В. Чичерин задержался на некоторое время в Берлине, и я воспользовался этим, чтобы посетить его. Наше свидание произошло в гостинице «Эспланадэ», в которой тогда жил советский комиссар по иностранным делам. Видел я его впервые. Г. В. Чичерин произвел на меня очень сильное впечатление. Он встретил меня приветливо и у

нас тотчас завязался разговор о предполагаемом моем возвращении в Россию на работу в НКВД, к чему он отнесся предупредительно. Но я очень благодарен Г. В. Чичерину за то, что он сразу уточнил мое положение, сказав, что я не должен рассчитывать на занятие каких-либо ответственных мест вроде моего последнего поста по дипломатическому ведомству в дореволюционной России. Я с этим вполне согласился. Мое решение работать на Родине, хотя бы на самых скромных постах, не поколебалось. Я так и ответил Г. В. Чичерину и стал считать себя в известной степени перешедшим на советскую работу. Стремление работать для своей Родины было главной причиной моего выезда из Мадрида и являлось логическим завершением 25-летней дипломатической службы.

Дня через два после свидания с Чичериным я получил от состоявшего при нем сотрудника первое задание — представить три работы, носившие характер своего рода дипломатического экзамена. Я должен был составить памятную записку с изложением своих взглядов на современную политику Советской России. Затем написать по-французски проект ноты, обусловленной предположением о захвате иностранным крейсером нашего торгового судна, и, наконец, составить по-английски проект речи для самого Чичерина, в случае если ему придется когда-либо быть с официальным визитом в Лондоне. Все три задания я неукоснительно выполнил, причем, как мне передавали, Г. В. Чичерин остался ими доволен, но не без улыбки заметил, что, по-видимому, я не учел лишь одного, что он не только не собирается в Лондон, но по всем признакам там и не будет при создавшихся условиях.

Некоторое время спустя я услышал, что в советском полпредстве (оно только что переехало в помещение бывшего российского посольства) вывешены списки бывших царских дипломатов, желающих вернуться на советскую службу в НКВД. Меня это весьма обрадовало. Новых экзаменов мне уже не предстояло, но я был доволен тем, что моему примеру последовали и некоторые другие бывшие коллеги. К спискам были приложены опросные листы, в которых кандидаты должны были дать сведения о том, какие языки они знают, каковы их специальные знания, если они у них имеются, где они работали и т. д. Записалось семь человек. В связи с этим предполагалось среди небольшой группы близких мне людей образовать

с разрешения советских властей небольшой комитет для оказания помощи при возвращении русских в пределы Советской России, но потом эта мысль почему-то была оставлена.

Последние месяцы, проведенные мной в Берлине и ушедшие на всякого рода сборы (по первоначальному предположению я должен был выехать вскоре из Москвы в Пекин в распоряжение нашего полпредства, а путь был далекий), оставили у меня самые хорошие впечатления.

Закончившаяся к этому времени Генуэзская конференция имела для многих близоруких ее участников неожиданные результаты; вместо общего международного договора, имевшего целью закрепить столь желанное Парижу подчинение России Европе, был заключен Рапалльский советско-германский договор, явившийся первым серьезным шагом по пути умиротворения, хотя бы и неполного, между частью Запада и Советской страной.

Франция хотела, чтобы мы признали «волю победителя», но подобное требование ни на чем не было основано. Генуя не походила на Версаль: наоборот, два с половиной года, прошедшие со времени Версаля и заполненные всеми ужасами гражданской войны, закончились победой Советской России. Не Советской России надо было принимать на себя роль пассивного подчинения «победителю» в мировой войне и не ей было играть роль, выпавшую в свое время на долю Германии. Все эти моменты, по-видимому, не были учтены Пуанкаре и его присными, когда он неожиданно для многих снова стал председателем Совета министров Франции. Конечно, Пуанкаре не мог изменить положения, которое было создано победой Советской России в гражданской войне,— положения, дававшего советской делегации столь большие преимущества на Генуэзской конференции. Все усилия представителя Франции Барту носили характер настойчивого, но бесцельного протеста. Ему не сочувствовали даже союзники Франции. Этим и объясняется то сравнительное одиночество, в котором оказалась Франция к концу конференции.

Последовавшее вскоре за Генуэзской конференцией убийство Ратенау не сыграло определяющей роли во внешней политике Германии. Политика германских монархистов как бы в подражание озверевшим русским белогвардейцам приняла дико террористический харак-

тер. Убийство германского государственного деятеля, участвовавшего на международной конференции, могло лишь еще более осложнить то положение, в котором находилась Германия. Если Франция в это время страдала чрезмерным зоологическим шовинизмом, препятствовавшим ей даже с точки зрения собственных интересов пожать 'плоды' побед, то Германия, бесспорно, страдала отсутствием единой разумной внешней политики, которая лишь одна могла бы вывести ее из того мрачного тупика, в котором она очутилась после проигранной войны и в особенности после Версаля, носившего характер не столько мира, сколько мести.

К описываемому нами времени, может быть, к счастью не только для Франции, но и для всей Европы, один из главных деятелей Версальского мира — Клемансо сошел со сцены. Ожидавшийся им после Версаля апофеоз в виде избрания его в президенты республики в 1919 г. в последнюю минуту не состоялся. Несмотря на то что он был уверен в этом избрании и даже назначил своим друзьям накануне выборов свидание на следующий день в Елисейском дворце, совершенно неожиданно был избран не он, а Дешанель, оказавшийся слабоумным вследствие прогрессирующего паралича. Невольно возникает вопрос, не был ли все же такой исход выборов лучше, чем водворение «тигра» в Елисейском дворце после всех его экспериментов во время нахождения у власти в качестве председателя Совета министров в 1917 г., а в особенности как председателя Версальской конференции в мрачный период «мирных» переговоров.

Как бы то ни было, в 1921 г. Пуанкаре воскрес ненадолго, и его мрачная фигура лишь в течение короткого времени тяготела над разоренной войной Европой.

Конечно, я далек от намерения выходить за рамки моих воспоминаний, но, явившись свидетелем положения дел в Европе в военные и послевоенные годы, невольно задаешь вопрос, какова была изнанка французской политики в эту грозную для Европы эпоху и какие еще история откроет пружины работы группы, заправлявшей судьбами Европы, если не всего мира. Вокруг нее, например, действовали такие загадочные авантюристы, как пресловутый сэр Базиль Захаров, «самый богатый человек в Европе», державший в своих руках военную промышленность обеих воюющих коалиций и награж-

денный — совершенное исключение для иностранцев — высшими английскими и французскими орденами. Интересное сопоставление: подобного царского ордена у Захарова не было, и русские военные верфи в Николаеве не были перед войной переоборудованы из-за расхождения Захарова с царскими военными властями по вопросу об интернационализации предприятия, а наш Черноморский флот оказался непригодным к началу войны. Как известно, в результате Босфорская экспедиция потерпела неудачу, а германо-турецкий крейсер «Гебен» безнаказанно хозяйничал в Черном море. Конечно, пока это все еще только томительные вопросы, но бесспорно, когда будет основательно писаться история первой половины XX века, то они будут, наконец, освещены. Как бы то ни было, повторяю, Генуя была началом наших международных отношений в большом европейском масштабе, и это начало было весьма удачным.

Г. В. Чичерин, оставшийся на некоторое время в Берлине, воспользовался своим пребыванием там, чтобы дать несколько интервью корреспондентам берлинских и иностранных газет по поводу Генуэзской конференции. В этих интервью были даны характеристики положения Советской России и ее внешней политики. Между прочим, 21 августа в английской газете «Observer» было приведено его интервью о том, что, несмотря на все усилия, Россию не удалось поставить на колени и что вообще этому не бывать.

Между тем время моего отъезда на Родину приближалось, и все мои приготовления к нему приходили к концу.

В Берлине стояла чудесная погода. Была середина августа. В последнее воскресенье перед отъездом мы с женой отправились по обыкновению за город. Нам приходилось расставаться. Как я говорил, НКВД вначале предполагал отправить меня в распоряжение нашего полпредства в Пекине неизвестно на какое время, а потому жене приходилось оставаться пока в Берлине. После моего приезда в Москву предложение о моей командировке в Пекин отпало, и жена приехала ко мне в Москву в том же 1922 г.

Окрестности города неизменно привлекают к себе берлинцев; они выезжают туда при первой возможности. С тех пор как я поселился в Берлине, я также усвоил эту привычку. Громадное количество народа, выезжавшего

за город по воскресеньям, свидетельствовало в 1921 г. и в особенности в 1922 г. о возвращении берлинских жителей к нормальным условиям жизни. Ужасы войны, а также голод во время блокады, от которого пострадала Германия, постепенно уходили в прошлое. Для меня жизнь в Берлине пришлось по душе своим размеренным культурным темпом, и я незаметно втягивался в скромную жизнь трудящегося населения столицы, привыкая к точному чередованию работы и отдыха и приучаясь довольствоваться малым: мы оба с женой вели трудовую жизнь, а тем самым я начинал считать себя подготовленным к новому укладу жизни на Родине, в России.

Лето 1922 г. ознаменовалось приездом в Берлин многих знаменитостей литературного и художественного мира из Москвы и отъездом туда литературных и художественных сил, оставшихся за границей. Между прочим, в Берлине гастролировала в это время труппа Александринского театра, а в одном из больших кафе на Курфюрстенштрассе образовалось нечто вроде клуба писателей. Эти собрания обычно начинались в большом зале, а заканчивались в меньших помещениях, причем бывало, что часть собравшихся пела «Интернационал», а другая протестовала, но тем не менее все эти шероховатости быстро сглаживались, и не помню, чтобы на этих встречах произошел какой-либо скандал.

В числе прибывших из Москвы мне пришлось как-то встретить Айседору Дункан, прилетевшую рейсовым самолетом вместе с поэтом Сергеем Есениным. В разговоре с Айседорой Дункан я вспомнил наше первое знакомство с ней в 1902 г. в Афинах, куда она приезжала изучать пластичные позы древней Греции и ходила по Афинам и их окрестностям в сандалиях и в древнегреческом хитоне. Я не очень настаивал на уточнении года нашей первой встречи, так как Айседоре Дункан в Афинах было уже свыше 30 лет и теперь ее возраст особенно сказывался в сравнении с необыкновенно юным ее спутником.

Перед отъездом в Москву мне пришлось довольно много хлопотать об урегулировании формальностей, связанных с получением нужных для выезда из Берлина документов, об уплате налогов, которые взимаются с иностранцев, проживающих в Берлине, при их отъезде, и т. п. Мне, однако, не пришлось ничего платить. В моем

распоряжении находилась бумага от соответствующего ведомства, в которой говорилось, что германское правительство признает за собой в отношении меня долг в размере 60 тысяч марок за суммы, взысканные с моего майората во время германской оккупации Польши. Германские власти приняли это во внимание, и с меня не было взыскано ни одного пфеннига.

Со стороны советского полпредства я могу отметить большую предупредительность. Я был снабжен служебным паспортом, мне дана была бумага на вывоз багажа и домашней обстановки. Последней у меня, впрочем, и не было. Записка оказалась для меня в Москве чрезвычайно полезной. Стоимость проезда была оплачена полпредством в германской валюте. В этом отношении мне пришлось немало похлопотать, так как мой отъезд совпал с катастрофическим падением германской бумажной марки. Все это время в Германии спекулировали на иностранной валюте, и я не могу здесь не привести рассказ одного немецкого знакомого о том, как один банкир, узнав в его присутствии об убийстве Ратенау, тут же поднял телефонную трубку, чтобы дать значительный заказ на покупку американских долларов.

Перед самым отъездом у меня было несколько интересных встреч, о которых не могу не упомянуть. Как-то раз, возвращаясь к себе, я столкнулся со старым знакомым по Афинам и Бухаресту, а затем Петербургу румынским посланником в Берлине Нано. Двадцать лет перед тем я был с ним дружен, когда он был посланником в Афинах; затем я его встречал в Бухаресте, где последовательно он был румынским делегатом в Дунайской комиссии, а затем — товарищем министра иностранных дел, наконец, я встретил его в Петербурге, где недолгое время он был посланником.

Встретив меня, Нано сообщил, что он прочел в «Temps»¹ в заметке, помещенной на первой странице, сообщение о моем отъезде в Москву. По-видимому, придавая моей личности большее значение, чем это имело место, он заговорил со мной о русско-румынских отношениях и о не разрешенных между этими двумя странами вопросах.

¹ «Temps» — одна из наиболее известных французских буржуазных газет. Выходила с 1861 по 1944 г.

За несколько дней до отъезда я зашел проститься с Мальцаном. Как комический эпизод мне вспоминаются слова курьера министерства. Этот старый служитель с перепуганным лицом сказал мне: «Как, и вы тоже, ваше превосходительство, едете в Россию?» Вопрос старого служителя отражал еще те взгляды на новую Россию и ужас перед ней, которые поддерживались враждебной нам печатью в разнообразных кругах берлинского общества.

С отъездом из Берлина связано еще одно воспоминание. Кто-то из моих случайных знакомых решил сделать мне подарок в виде деревянного портсигара, украшенного двуглавым орлом. Я не придавал этому украшению никакого значения и стал без всякого внимания к нему носить портсигар. Но другой, на этот раз уже приятель, относящийся весьма сочувственно к моему возвращению в Россию, преподнес мне взамен красный кожаный портсигар.

К 1922 г. в Европе произошел значительный сдвиг в сторону возобновления сношений по всем направлениям с «загадочной» для Европы восточной ее частью, а это желание шло совершенно вразрез с политикой Пуанкаре — Клемансо, не пожелавших в 1919 г. войти в какие-либо сношения с Советской Россией и резко выступивших против робких попыток пригласить советских представителей на мирную конференцию в Версаль. Даже во Франции, после того как был забаллотирован в качестве кандидата в президенты Клемансо, политика такого рода пошла на убыль, и уже в 1922 г. стало наблюдаться совершенно новое явление — своего рода паломничество в Россию различных французских деятелей. Так, например, в РСФСР несколько позже приехал Эдуард Эррио, будущий председатель Совета министров. Восточная Европа все более входила в сферу общеевропейских международных отношений.

Все эти настроения прекрасно учитывались Москвой, и руководитель ее политики В. И. Ленин, вождь мирового рабочего движения, был самым талантливым дипломатом. Он прекрасно использовал благоприятный для Советской России момент.

Приближался конец 1922 г.



Пятнадцатого августа я выехал из Берлина. На вокзале, кроме жены, меня провожали двое моих бывших коллег, желавших также вернуться в Москву.

Мой путь лежал (в то время прямого сообщения между Берлином и Москвой через Варшаву не было), через Литву в Латвию. Приходилось лишь проезжать через «Польский коридор», но для этого визы выдавались почти автоматически, и все обошлось без особых формальностей со стороны польских властей. Впрочем, вопрос о визе для меня был разрешен легко, так как я являлся уже советским гражданином и к тому же имел служебный паспорт.

На латвийскую границу поезд прибыл на следующий день. Наша бывшая пограничная станция Вержболово, разрушенная во время войны, была еще не полностью восстановлена. По ту сторону границы, в Эйдкунене, мы никаких развалин не видели; лишь отстоявший недалеко от границы Гумбинен обращал на себя внимание совершенно новенькими крышами. Этот городок был сожжен в самом начале войны.

После Вержболово путь лежал через Ковно¹ к латвийской границе. Прямого сообщения не было, и мы, советские путешественники, разместились в поезде, идущем до латвийской границы. В нашем купе большинство пассажиров, местных жителей, говорило исключительно на незнакомом мне литовском языке.

¹ Ныне Каунас.

В 1922 г. Литва производила впечатление страны, еще далеко не вошедшей в нормальное русло жизни, и невольно думалось о трудностях, которые ее ожидали впереди.

В Ригу мы прибыли на утро следующего дня и должны были провести там целый день в ожидании уходящего на Москву поезда. Этот город я хорошо знал с детства. В 1922 г. он производил весьма грустное впечатление. Прежде Рига, как, впрочем, и Варшава, играла роль парадного крыльца Российской империи, и городское хозяйство там было поставлено хорошо. Не то было в 1922 г. На Риге лежала печать пережитых ею тяжелых лет.

В течение дня я посетил наше полпредство для получения денег на продолжение поездки. Как я уже говорил, германские марки продолжали катастрофически падать, и на третий день моего путешествия ценность имевшейся в моем распоряжении небольшой суммы при размене на латвийскую валюту оказалась почти вдвое меньшей. В полпредстве мне любезно выдали дополнительную сумму.

На следующий день мы были на советско-латвийской границе, и здесь я убедился, насколько легче стал переход нашей границы с момента установления Советской власти. У меня не было никаких затруднений на границе, а багаж мой почти не досматривался.

Наконец, я вновь на Родине. Последний раз я приезжал в Россию летом 1916 г. Не могу не отметить какого-то особого радостного чувства, охватившего меня, когда осуществилась моя давнишняя мечта вернуться в Россию, откуда я выезжал столько раз, но всегда с уверенностью в возвращение. В общем, я ни на минуту не порывал связи с Россией, в какой бы стране ни нес дипломатическую службу. И мне представляется это вполне естественным и нормальным. Многим может показаться такой взгляд несколько абстрактным, но всякая служба имеет свои особенности. По роду своей деятельности мы, дипломаты, все время мысленно имеем перед глазами свою Родину и, быть может, думаем о ней гораздо чаще, чем живя в своей стране. Ведь своя страна при сопоставлении ее с чужой невольно встает в памяти со всеми ее большими и малыми особенностями и представляется отчетливо, ярко. Мысль о ней является тем главным, чем мы руководствуемся во всей нашей повсе-

дневной работе. Иначе пребывание в какой-либо столице, не представляющей большого значения, было бы лишено вообще всякого смысла, а наша работа — всякого интереса.

Но для меня возвращение в Россию имело и еще другое, большее значение: я находил ее теперь совершенно преобразенной, внимательно всматривался в мельчайшие детали жизни, сравнивая настоящее с прошлым, а главное, старался постичь причину ее скорого возрождения после перенесенного разорения.

Со мной в поезде ехало несколько возвращавшихся в Советскую Россию русских, но я никого из них не знал и, признаться, не стремился к знакомствам, желая пережить все впечатления один, без постороннего влияния. Моими собеседниками были несколько иностранцев, ехавших в Москву; из них два-три немца, которых вообще было много в поезде, француз и швейцарец, участвовавший в организации краснокрестной помощи в Поволжье. Что касается француза, то я не без интереса прислушивался к его разговору, так как никаких прежних мотивов в его отзывах о нас уже не было, и он весьма разумно рассуждал о новой России, причем мы с ним говорили об ожидаемом приезде в Москву Эррио, который уже тогда намечался председателем французского Совета министров. Кроме них, я беседовал с нашим дипкурьером, от которого узнал мельчайшие подробности жизни Наркоминдела. Между прочим, поездки советских дипкурьеров за границу явились нововведением, так как в царском министерстве иностранных дел дипломатическая почта за границу или из-за границы перевозилась поочередно служащими всех дипломатических и консульских рангов или же чиновниками центрального аппарата министерства.

По пути в Москву я внимательно смотрел в окно вагона, открывая снова Россию и стараясь подметить все то новое, что в ней можно было заметить из окна. Я радовался отсутствию следов разрушений, о которых так много говорилось и писалось в Берлине. Привлекало внимание обилие новых крыш и построек. Отметил я также сравнительно хорошее состояние железной дороги.



Поезд прибыл в Москву на Виндавский (Рижский) вокзал. В облике вокзала, в пустоте прилегающей к нему площади сказывались трудности восстановления Москвы после героических лет революции. Создавалось, по крайней мере на этой окраине, впечатление, что жизнь в советской столице еще только налаживается. Конечно, тогда еще не было ни нынешних новых мостовых, ни тротуаров. Необычным было также почти полное отсутствие носильщиков и извозчиков.

Впрочем, вскоре после приезда нам был предоставлен автомобиль Наркоминдела. Багаж я сдал на хранение на вокзале.

Автомобиль быстро доставил нас к одному из подъездов Наркоминдела. Оставив находящиеся при мне вещи у швейцара, я поднялся наверх, к одному из моих знакомых, и по его совету сразу же занялся вопросом о подыскании комнаты. В то время для приезжих по делам Наркоминдела была отведена гостиница «Савой», но она обычно была переполнена. Выйдя на балкон здания Наркоминдела, я стал осматривать центр Москвы. Стояла прекрасная летняя погода. Город производил хорошее впечатление. Москву я, кстати сказать, почти не знал, так как бывал в ней проездом и за всю жизнь не имел случая задерживаться в ней более двух-трех дней.

В связи с тем что номер в гостинице найти не удалось, мне была отведена хорошая комната со всеми удобствами в одном из особняков, принадлежавших Бюро Наркоминдела по обслуживанию иностранцев.

Все следующие дни я провел в Наркоминделе. Мне сразу же пришлось убедиться в том, что проделана большая работа по организации иностранного ведомства новой России. Вскоре я смог легко ориентироваться в обширном здании Наркомата и в расположении его многочисленных, систематически распределенных отделов.

В результате бесед в Наркоминделе мое назначение в Пекин отпало, и я начал работать в качестве консультанта Политического отдела по Дальнему Востоку, где вскоре занял должность референта по китайским делам.

Что касается общего абриса Наркоминдела, то он во многом отличался от старого министерства иностранных дел. Во главе его теперь стояла коллегия. Это название несколько напоминало петровское ведомство иностранных дел и представляло гораздо большие возможности для серьезного обсуждения вопросов иностранной политики, чем это было в Петербурге, где вся деятельность носила по преимуществу келейный характер. Конечно, по мнению многих, бывшее российское ведомство иностранных дел имело уже потому своеобразный облик, что представляло собой своего рода «собственную его величества канцелярию» по иностранным делам, и часто инициатива русской внешней политики подвергалась самым разнообразным влияниям извне, в том числе воздействию со стороны безответственного окружения самодержавного монарха и лиц, проникавших к нему с заднего крыльца. В Москве было иначе. Вся политика Советской республики проводилась коллегией во главе с наркомом, который являлся председателем этой коллегии при непосредственном подчинении ее лишь политическому коллективному руководству. Этим можно объяснить преемственность и определенность внешней политики после Великой Октябрьской социалистической революции; она была, наконец, поставлена на прочное основание. Не удивительно, что подобная ясная и логично проводимая линия не могла не привести к благоприятным результатам и не внушить доверия вне зависимости от симпатий или антипатий к советскому строю со стороны иностранных дипломатических канцелярий.

В Наркоминделе я посетил И. М. Майского. В то время он ведал бюро печати, и разговор с ним был для меня крайне полезен. Впоследствии мне пришлось и

самому работать в бюро печати Наркоминдела. Здесь невольно я сопоставлял наше бывшее бюро печати в Петербурге, которым мне пришлось вѣдать в 1908—1909 гг., с нынешним. Прежнее бюро, не могу не сознаться, во многом уступало нынешней организации подобного же бюро на Кузнецком мосту. Последнее руководило печатью в области внешней политики, а не отстреливалось, как это было в Петербурге, только от нападков газет, действовавших сплошь под враждебным России влиянием.

Работа моя в отделе Дальнего Востока скоро наладилась. Мне пришлось на первых порах написать целый ряд довольно обширных записок по различным вопросам, касающимся Дальнего Востока. Получаемые мной задания становились все интереснее.

Из опасения, как бы не забежать слишком далеко при описании первых месяцев пребывания в Советской России, венчающих мою поездку из Мадрида в Москву, постараюсь лишь кратко рассказать о моих первых московских впечатлениях и по возможности не захватывать следующие годы моего пребывания в Москве. Наш наркомат изучал вопросы намного глубже и шире, чем бывшее министерство иностранных дел, и, сознаюсь, мне пришлось уже в зрелые годы многому учиться или укреплять свои познания, чтобы не отставать в новой дипломатической работе; пять лет работы в Наркоминделе меня больше удовлетворили, чем все 25 лет службы в царском ведомстве иностранных дел.

1922 год (я был в Москве с августа) заканчивался успешно. Рапалльскій договор был признан за границей повсеместно, несмотря на отдельные протесты союзников; на Дальнем Востоке после Вашингтонской конференции¹ приближался момент возвращения в состав

¹ Вашингтонская конференция — конференция ряда капиталистических стран, завершившая после первой мировой войны передел колониальных владений и сфер влияния на Дальнем Востоке и Тихом океане. Происходила с 12 ноября 1921 г. по 6 февраля 1922 г. На конференции был подписан договор об установлении соотношения между линейными флотами США, Англии, Японии, Франции и Италии, как 5:5:3:1,75:1,75. Таким образом, США получили морской паритет с Англией. Была установлена взаимная гарантия неприкосновенности островных владений США, Англии, Японии и Франции на Тихом океане. Особым соглашением девяти

Советской России Приморской области вместе с Владивостоком.

Успехи Советской власти были завершены образованием СССР. Вместе с другими сотрудниками Наркоминдела я присутствовал в Большом театре во время провозглашения образования СССР.

Неоспоримое торжество новой России означало вместе с тем окончание тягостного периода войн, продолжавшегося почти до конца 1921 г.

Когда будет писаться история первой четверти XX века, то будут отмечены все неисчислимые промахи военной дипломатии и недостойное место, которое было отведено профессиональным дипломатам не только в течение войны, но и спустя несколько лет после ее формального завершения. Мне пришлось провести эти годы за границей, и я на собственном опыте убедился, как было трудно выбраться из тех сетей, которые приготовило союзное главное командование после возникновения Советской России нам, русским дипломатам. Несмотря на мирные заявления II съезда Советов, уже на следующий день после Октябрьской революции бывший русский дипломатический корпус за границей оказался на службе, враждебной их стране, продолжая вводить в заблуждение как массы русских за границей, так и друг друга.

Еще хуже, если только это возможно, обстояло дело в самой России в течение последнего года войны. Послы и посланники Антанты рассматривали Россию как некий враждебный им тыл и в помощь военной интервенции вели диверсионную войну в Петрограде, Москве, Вологде, Архангельске, Мурманске. Иностранные представительства прибегали к методам, отнюдь не свойственным дипломатам в обычное время. В ход были пущены все средства, включая подкупы, шпионаж, организацию восстаний и т. д. и т. п.

Не удивительно, что за несколько месяцев эти дипломаты успели совершенно скомпрометировать себя в гла-

держав были признаны территориальная целостность и административная независимость Китая и политика «открытых дверей» в нем. В результате конференции был расторгнут существовавший с 1902 г. англо-японский договор. Вашингтонские соглашения должны были служить основой послевоенного режима на Дальнем Востоке. На самом деле этот режим оказался также непрочен, как и версальская система в Европе.— *Прим. ред.*

зах Советского правительства и населения. Лишь талантливое, как всегда, вмешательство В. И. Ленина, сказавшееся в аресте одного из посланников, заставило дипломатический корпус несколько призадуматься и вспомнить, что его обязанностью и целью пребывания в России являются поддержание сношений с местным правительством, а не организация интриг и заговоров против него. На четвертый год империалистической войны в сущности ничего не оставалось от нормальной дипломатической деятельности. Мне исключительно посчастливилось, что, несмотря на все затруднения, я вернулся на Родину, в Москву, и стал работать в иностранном ведомстве Советского Союза. В XX веке новый порядок международных сношений сложился не на Западе, а на Востоке Европы — в Москве. Конечно, когда я приехал в Россию, мне многое еще не было ясно. Но успехи советской внешней политики были вполне очевидны.

3 января 1923 г. я поместил в берлинской газете «Накануне» статью «Россия выправляет фронт», в которой писал следующее: «1922 год, наверное, назовется в истории России годом конференций. Генуя, Гаага, Лозанна, Москва. Сколько пути пройдено! Оглядываясь назад, молодая Российская республика может убедиться, как далеко она ушла вперед. Сначала бешеными скачками великой революции, а затем спокойным, но невероятно быстрым ходом государственного строительства на новых началах, на твердом основании мировой державы, быть может, в недалеком будущем и самой могущественной, если не количеством штыков, то прежде всего идеями, обновляющими человечество. Радиоактивность ее уже пронизывает мир. К новой Москве тянутся, а также от нее исходят тысячи нитей, достигающих и Японии, и Южной Америки, и Австралии. Заседает ли Коминтерн, собирается ли Профинтерн, Россия трепещет, как чувствительная пластинка, вбирающая и испускающая радиолучи. Можно смело сказать, что ничто человеческое нам не чуждо и что мы в свою очередь очень близки ко всему человеческому. «Чудо преображения» свершилось на наших глазах в одно мгновение. Что значат пять лет в исторической перспективе? В 1917 г. Россия — наемница Антанты. В 1918 г. она уже опутана цепями германского империализма. В 1919 и 1920 гг. она вынуждена бешено отбиваться от напора бывших союзников и пове-

лителей. В 1921 г. она еще защищается от поднятых на чужие деньги восстаний. В 1922 г. Россия справляется со стихийным бедствием — голодом. Она победила и, не теряя времени на размышление, с той же энергией приступает к внутреннему государственному строительству.

И в то же время в международном отношении Россия выявляет свое лицо, расправляя свои усталые от нечеловеческого напряжения члены.

Оглядываясь вокруг себя, она только теперь замечает размеры пройденного пути. Ей не диктуется чужая воля. Все козни наших врагов рассеялись, как дым, и одного появления России достаточно, чтобы повлиять на европейскую обстановку.

В Генуе была прорвана моральная и экономическая блокада. В Гааге мы стряхнули с себя попытки финансового порабощения России. В Лозанне мы очищаем от чужого хозяйничанья Черное море. В Москве мы приглушаем своим миролюбием направленное на нас острие чрезмерных вооружений наших ближайших соседей. Наша политика — политика мирного сотрудничества со всеми народами. И с нами солидарны все пострадавшие от Версальского и других «мирных» договоров. Победа наша бескровна. Нам не приходится добиваться ее с оружием в руках. Победоносного шествия идей не остановить ни проволочными заграждениями, ни сверхдреднотами, и едва ли возвращения отторгнутых от нас Бессарабии и Северного Сахалина нам придется дожидаться 50 лет и причинить при их возвращении столько бедствий всему человечеству, как это пришлось сделать Франции из-за Эльзас-Лотарингии.

Россия выправляет свой международный фронт, создавая для себя возможность приступить к мирной творческой работе. Созидательная работа началась на всем бесконечном пространстве РСФСР от «потрясенного Кремля до стен неподвижного Китая». Распространяется она и много дальше, ибо стен, раньше разделявших пробужденные ныне Россией народы, нет. Мы идем рука об руку со всем человечеством, и оно идет с нами к новому, лучезарному будущему. Вехами этого шествия в 1922 г. служат Генуя, Гаага, Лозанна и Москва.

Эта статья появилась со следующим примечанием: «Помещая в настоящем номере «Накануне» статью Ю. Соловьева, мы надеемся, что она доставит удоволь-

ствие авторам самых достоверных известий в эмигрантской печати, которая давно и настойчиво поведала миру, что Ю. Соловьев арестован в Москве, подвергся строгому заключению, предается суду и т. д. Для успокоения их сообщаем, что Ю. Соловьев не только написал настоящую статью, но и вообще никаким арестам не подвергался».

В течение 10 лет моего советского гражданства и пребывания в Москве я написал в газетах и журналах много статей по вопросам международной политики, но мне кажется небезынтересным поместить приведенную выше статью как выражение моих мыслей в конце 1922 г., после того как я закончил свое путешествие «из Мадрида в Москву», из одного мира — в другой. Четыре месяца, проведенные в 1922 г. в СССР, не пропали для меня даром. «Мадрид» — иначе говоря, старый дипломатический мир, в котором я провел всю мою жизнь, — являлся такой противоположностью «Москве» — новому миру, порожденному Великой Октябрьской социалистической революцией, что, лишь в корне пересмотрев свое прошлое мировоззрение, я мог уверенно стать на новые основы того бесклассового социалистического строя, который начал выковываться в Восточной Европе,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Худо ли это, хорошо ли, но моя жизнь прошла за границей. По роду моей деятельности Россия всегда стояла у меня перед глазами. Во внутренней жизни страны я деятельного участия не принимал и ни в каких партиях не состоял. Будучи дипломатом, я участвовал лишь во внешней политике как профессионал.

Не знаю, является ли десятилетний срок, прошедший с момента завершения моей активной дипломатической службы, достаточным, чтобы дать нужную перспективу тому, свидетелем чего я был. Во всяком случае события последнего десятилетия шли столь быстрыми темпами, что, пожалуй, этот срок можно счесть за столетие.

За это время в России наступила новая эра, многое было сметено, многое, совершенно новое, расцвело. На территории бывшей Российской империи воздвигнута первая в мире социалистическая республика. Советский Союз, сменивший царскую Россию, живет теперь жизнью, обновленной социальной революцией. Судьба позволила мне своими глазами увидеть, как создается на моей Родине бесклассовое социалистическое общество.

За это же время в международных отношениях буржуазных стран исчез прежний комплекс «великих держав», распоряжавшийся по-своему судьбами Европы.

При прежнем порядке я провел почти всю свою дипломатическую службу. В молодости я даже принимал этот порядок международных отношений за нечто неизбывное. С самого начала службы я был приобщен к международной деятельности не только России, но и осталь-

ных великих держав, составлявших для других стран некий ареопаг, несмотря даже на разногласия среди его членов. К его голосу приходилось поневоле прислушиваться полупорабощенным или полузависимым народам Дальнего и Ближнего Востока. Среди них я провел первую половину своей службы. В Петербурге я прослужил недолго, но достаточно, чтобы видеть те мелочные, личные расчеты, которые вели к мировой катастрофе. Войну я провел в нейтральной стране. Это дало мне возможность, как мне кажется, беспристрастно оценить военный кризис.

На прошлом поставлена точка. Воскрешать это никому больше не дано, но тем более чувствуется потребность спокойно и объективно отнестись к этому прошлому, оценить его. Это необходимо для создания исторической связи между еще недавними событиями и современной политической обстановкой.

Последние десять лет показали, что в области международных отношений не все еще кануло безвозвратно в вечность. Хотя французы и говорят, что «*comparaison n'est pas raison*»¹, невольно напрашивается сравнение между Европой довоенной и нынешней. Не хотелось бы думать, что в капиталистической Европе многое забыли и ничему не научились. Как-никак тайная дипломатия еще действует, дипломатические канцелярии продолжают работать на прежних основаниях. Называются ли руководители этой политики Чемберленами, Болдуинами и Брианами или же Извольскими, Сазоновыми и Берхтольдами, безразлично. Надо, однако, отметить, что Пуанкаре фигурирует и в прежней и в нынешней группе «вождей». И перед нами в настоящее время стоит вновь роковой вопрос: не вызовет ли эта новоявленная группа следующую мировую войну?

Когда я писал свои воспоминания, я не задавался столь широкими задачами, как освещение прошлых и будущих судеб мира. Пусть читатель сам сделает вывод из моей непосредственной передачи впечатлений, вынесенных за 25-летнюю дипломатическую службу, сделает свои собственные заключения; я их отнюдь не намерен подсказывать. Задача, которую я себе ставил, гораздо скромнее. Я старался без прикрас описать жизнь рядо-

¹ Сравнение — не доказательство.

вого дипломата такой, какой она была до войны, т. е. дать очерк дипломатического быта эпохи, отошедшей безвозвратно в прошлое.

Что касается меня лично, то, как ни скромна была моя роль, я горжусь своей работой в Советском Союзе. Горжусь я и тем, что будущий мировой строй зародился в моем родном городе Петрограде, нынешнем Ленинграде.

Да простят мне читатели, если я, быть может, несколько упрощенно рассказал о моем мировоззрении после «25 лет дипломатической службы», путешествия «из Мадрида в Москву» и десяти лет советской работы. Но о наших достижениях, если о них говорить по-настоящему, следует сказать очень много, а это выходит далеко за пределы моих воспоминаний.

Москва, 1928—1932 гг.

СОДЕРЖАНИЕ

Вступительная статья	5
ЧАСТЬ I. Двадцать пять лет моей дипломатической службы (1883—1918 гг.)	
Предисловие автора	23
I. Министерство иностранных дел (1893—1895 гг.)	25
II. Из России в Китай (1895 г.)	37
III. Шанхай — Чифу — Тяньцзинь (1895 г.)	49
IV. Пекин (1895—1898 гг.)	56
V. Возвращение в Европу (1898 г.)	101
VI. Афины (1898—1904 гг.)	109
VII. Из Афин в Цетинье (1905 г.)	143
VIII. Цетинье (1905 г.)	146
IX. Мой черногорский инцидент	160
X. Между Петербургом и Варшавой (1905—1906 гг.)	164
XI. Бухарест (1906—1908 гг.)	179
XII. Синайя (1907 г.)	190
XIII. Из Бухареста в Петербург (1908 г.)	201
XIV. Бюро печати (1908—1909 гг.)	206
XV. Штутгарт (1909—1911 гг.)	219
XVI. Мадрид (1912—1917 гг.)	239
ЧАСТЬ II. Мадрид — Москва (1918—1922 гг.)	
I. В Мадриде (Осень 1917 г.)	307
II. Между Мадридом и Женевой (1918 г.)	318
III. В Швейцарии (1918 г.)	325
IV. По революционной Германии (1918 г.)	337
V. Между Берлином и Варшавой	342
VI. Варшава. Вена. Прага (1918—1919 гг.)	346
VII. Польша (1920 г.)	356
VIII. В Берлине (Осень 1920 г. — начало 1922 г.)	359
IX. Из Берлина в Москву	402
X. В Москве	405
Заключение	412

ВЫПУСКОМ В СВЕТ КНИГИ Ю. Я. СОЛОВЬЕВА
«ВОСПОМИНАНИЯ ДИПЛОМАТА»
СОЦЭКГИЗ ВОЗБНОВЛЯЕТ ИЗДАНИЕ
«БИБЛИОТЕКИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ»

В 1959 ГОДУ В ЭТОЙ БИБЛИОТЕКЕ
ВЫЙДУТ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ:

1. *Воровский В. В.* Статьи и материалы по вопросам внешней политики. Объем 25 л. Цена 9 р. 50 к.
2. *Луначарский А. В.* Статьи и речи по вопросам международной политики. Объем 25 л. Цена 9 р. 50 к.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ НА КНИГИ
«БИБЛИОТЕКИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ»
ПРИНИМАЮТСЯ ВСЕМИ КНИЖНЫМИ МАГАЗИНАМИ

Соловьев Юрий Яковлевич
ВОСПОМИНАНИЯ ДИПЛОМАТА
1893—1922

Редактор *В. Готовицкая*

Оформление художников *В. Алексеева и С. Данилова*
Художественный редактор *Н. Еремينا*
Технический редактор *Р. Москвина*
Корректоры *В. Смирнова и М. Лыткина*

Сдано в набор 8 сентября 1958 г. Подписано в печать 11 ноября 1958 г.
Формат бумаги 84 × 108¹/₃₂. Бумажных листов 6,53. Печатных листов 22,3.
Учетно-издательских листов 21,8. Тираж 75 000 экз. А 07034. Цена 8 р. 5 к.
Заказ № 4111.

Издательство социально-экономической литературы.
Москва, В-71, Ленинский проспект, 15.

Типография «Красный пролетарий» Госполитиздата
Министерства культуры СССР. Москва, Краснопролетарская, 16.